F 129
24
veepor.

Г129
74
ф 1-79
11749

Александръ Закржевскій.

Не копировать

РЕЛИГІЯ.

ПСИХОЛОГИЧЕСКІЯ ПАРАЛЛЕЛИ.

ДОСТОЕВСКІЙ.

З. ГИППІУСЪ.
Д. С. МЕРЕЖКОВСКІЙ.
Н. М. МИНСКІЙ.
С. БУЛГАКОВЪ.
Н. А. БЕРДЯЕВЪ.
В. В. РОЗАНОВЪ.
АНДРЕЙ БѢЛЫЙ.
ВЯЧ. ИВАНОВЪ.
АЛЕКС. БЛОКЪ.
АЛЕКС. ДОБРОЛЮБОВЪ.

ИЗДАНІЕ ЖУРНАЛА „ИСКУССТВО“.

1913.

2007051117

РЕЛИГІЯ.

Х 129
74

Александръ Закржевскій.

РЕЛИГІЯ.

ПСИХОЛОГИЧЕСКІЯ ПАРАЛЛЕЛИ.

ДОСТОЕВСКІЙ.

З. ГИППІУСЪ.
Д. С. МЕРЕЖКОВСКІЙ.
Н. М. МИНСКІЙ.
С. БУЛГАКОВЪ.
Н. А. БЕРДЯЕВЪ.
В. В. РОЗАНОВЪ.
АНДРЕЙ БѢЛЫЙ.
ВЯЧ. ИВАНОВЪ.
АЛЕКС. БЛОКЪ.
АЛЕКС. ДОБРОЛЮБОВЪ.

ИЗДАНІЕ ЖУРНАЛА „ИСКУССТВО“.

ГУБЛИЧ. Н. РУМЯНЦОВ. МУЗЕЙ БИБЛІОТЕКА
XIII 140

1913.

КІЕВЪ.
Типографія А. М. Пономарева п. у. И. И. Врублевскаго, Крещ. 58-2.
1913.

Посвящаю

Ольге Петровне

Прохаско.

Еслибъ кто мнѣ доказалъ, что Христосъ внѣ истины, и *дѣйствительно* было бы, что истина внѣ Христа, то мнѣ лучше хотѣлось бы оставаться со Христомъ, нежели съ истиной.

Достоевскій

(изъ письма къ Н. Д Фонъ-Визиной).

Недостаткомъ религіи объясняется гибель Ницше. Человѣкъ можетъ погибнуть только отъ недостатка религіи, ни отъ чего другого. Ужасный примѣръ въ этомъ отношеніи представляетъ геніальный человѣкъ. Геніальный человѣкъ—самый религіозный и если его покидаетъ религія, то его покинулъ и геній.

Отто Вейнингеръ.

Знаете-ли вы, что религія есть самое важное, самое первое, самое нужное? Кто этого не знаетъ, съ тѣмъ не для чего произносить „А" споровъ, разговоровъ.

Мимо такого нужно просто *пройти*. Обойти его *молчаньемъ*.

Но кто это знаетъ? Многіе-ли? Вотъ отчего въ наше время почти *не о чемъ* и *не съ кѣмъ* говорить.

В. Розановъ.

Нашъ путь степной, нашъ путь—
въ тоскѣ безбрежной,
Въ твоей тоскѣ, о Русь!

Александръ Блокъ.

Предисловіе.

Эта книга—третья часть задуманной мною трилогіи о творчествѣ Достоевскаго въ связи его съ современностью и является какъ бы синтезомъ, въ которомъ примиряются противоположности первыхъ двухъ частей—„Подполья“ и „Карамазовщины“.

Для Достоевскаго эти три элемента („Подполье“, „Карамазовщина“ и „Религія“) не были послѣдовательными этапами творческаго развитія, но переплетались между собой почти въ каждомъ его произведеніи.

Но несомнѣнно, что дисгармоническія начала его творчества—духъ бунта и сатаны и духъ карамазовщины—искали постоянно для себя выхода и разрѣшенія, требовали своею демоническою напряженностью того освободительнаго выхода, той спасительной гармоніи, той божественной силы, благодаря которой являлась бы возможность не только сохраненія, но и утвержденія индивидуальной свободы. Этотъ выходъ, эта сила и эта гармонія открылись Достоевскому въ религіи. Такимъ образомъ религіозное сознаніе послужило для Достоевскаго не только синтезомъ, не

только сконцентрированіемъ дисгармоническихъ силъ его творчества, но также и утвержденіемъ его генія, внутреннимъ освобожденіемъ, спасшимъ его *я* отъ разложенія въ рабствѣ нигилизма, отрицанія и хаоса.

Не то въ современности: здѣсь эти три элемента наслѣдія Достоевскаго постоянно ферментируютъ въ хаотическихъ формахъ, здѣсь они раскалываются на тысячи осколковъ, здѣсь ихъ своеобразныя сплетенія образуютъ лабиринтъ безъ выхода. И нѣтъ для нихъ гармоническаго сочетанія, и нѣтъ объединяющаго синтеза, нѣтъ даже страстной искренности, въ которой бы засверкалъ огонь возрождающій—все въ разложеніи, и искры Достоевскаго, зароненныя въ современное сознаніе, лишь тлѣютъ, не потухая и не загораясь.

Современность—лишь тусклая параллель міросозерцанія Достоевскаго, иногда она является копіей, иногда видоизмѣняется въ чахлые побѣги оригинальности, иногда совершенно уходитъ въ сторону, пересѣкаясь съ параллелями прообраза робкими, неувѣренными линіями, но никогда не можетъ достигнуть совершенства, но вѣчно хранитъ въ тайникахъ своихъ какое то смутное ожиданіе, какую то робкую надежду проснуться и загорѣться новымъ огнемъ.

Современность лишена творчества, того динамическаго, мощнаго, подземнаго творчества, которое замѣчается у Достоевскаго, современность лишена горизонтовъ и невѣдомыхъ далей религіи, современность—въ разложеніи, въ потуханіи, въ концѣ. И искусство, и литература, и религія—иногда спортъ, иногда покушенія съ негодными средствами, иногда—улица, но никогда, или же въ очень рѣдкихъ случаяхъ—служеніе, восторгъ, литургія.

И въ этомъ—наше трагическое удаленіе отъ Достоевскаго, и въ этомъ же—позоръ нашего вѣка.

Самое большее, на что мы способны—это талантливое, иногда вдохновенное, иногда пророческое—*отрицаніе*. Мы всѣ—въ отрицаніи, въ непріятіи и въ разложеніи. Наше положительное—нуль: наше отрицательное (то, что въ насъ)—и сущность наша и наша надежда. Мы ничего не можемъ создать, мы стоимъ какъ бы на краю, гдѣ кончается міръ нашъ и гдѣ бездна тьмы, мы лишены всякой увѣренности, мы не ощущаемъ и не сознаемъ ничего въ себѣ, кромѣ пустоты, и единственная сила наша—крикъ, и единственный подвигъ нашъ—гибель.

Личность обезцвѣтилась, лишена содержанія. И никто не вѣритъ въ возможность зари. И даже въ безуміи нашемъ мы ничтожны и слабы.

Таково наше общее. Спору нѣтъ—есть исключенія, есть частности. Но дѣло не въ нихъ.

И вотъ—ради спасенія этого общаго, ради нашего внутренняго освобожденія, ради продолженія конченнаго пути—мы, какъ Достоевскій и по его завѣтію—снова подошли въ нашемъ сознаніи къ дверямъ религіи и церкви, снова приблизились къ мучительной и невѣдомой тайнѣ вѣковъ—ко Христу.

Насъ и здѣсь терзаютъ сомнѣнія, и здѣсь больше отчаянія и сладостнаго самообмана, нежели вѣры, и здѣсь тоска, и здѣсь пришибленность, но это—все, что осталось намъ, но это—единственный сохранившій для насъ обаяніе путь.

Мы знаемъ, что путь личности на самую крайнюю вершину развитія есть единственно реальный путь. Но мы знаемъ также, что есть точ-

ка на этой вершинѣ, гдѣ кончается путь и гдѣ необходимы или паденіе, или полетъ; но есть самая послѣдняя глубина личности, гдѣ ощущается ужасъ дна; но тамъ, гдѣ страданье отъ глубины достигаетъ своего апогея—начинается ледяная пустыня; но личность, распятая въ послѣдней мукѣ, требуетъ новыхъ творческихъ силъ извнѣ, требуетъ спасенья. И это спасеніе и эти силы—въ религіи.

И Христосъ поэтому есть полетъ личности надъ ея вершиною. Христосъ есть *укрѣпленіе* индивидуальной свободы, Христосъ есть творческое безуміе, начинающееся тамъ, гдѣ личность умираетъ, достигнувъ наивысшей своей точки.

Именно для того, чтобы получить возможность идти дальше, а не назадъ, по пути индивидуализма—нужна религія. Религія такимъ образомъ является единственной движущей силой процесса индивидуализаціи.

Религія есть импульсъ къ вознесенію духа выше той точки, которая казалась предѣльной въ дорелигіозномъ сознаніи.

Религія есть апоѳеозъ *я*, доведеннаго до предѣловъ безконечности.

Религія—*крылья безумія.*

. . . . . .

Отношеніе Достоевскаго къ церкви страдаетъ неопредѣленностью. Онъ больше заботился о той роли, которую можетъ играть церковь въ жизни народной, для него церковь являлась лишь могучею силою, которая способна возсоединить разрозненныя силы Руси, побѣдить атеизмъ и соціализмъ и вообще содѣйствовать укрѣпленію православія и народности. И этою своею стороною онъ приближался къ

славянофиламъ. Но съ другой стороны—онъ былъ чуждъ имъ своимъ поверхностнымъ пониманіемъ церкви, какъ мистическаго организма. Современное религіозное сознаніе въ этомъ отношеніи сдѣлало большой шагъ впередъ: хотя въ основѣ своей оно хранитъ завѣты Достоевскаго относительно церкви, но идея послѣдней, благодаря славянофиламъ и философіи В. Соловьева—приняла теперь болѣе сложное обоснованіе. Понятіе церкви не какъ внѣшней организаціи, а какъ мистическаго организма—углубляется, расширяется, обогащается свѣжими струями, и, воспринявъ въ себя элементы современныхъ культурныхъ запросовъ и исканій,—выходитъ изъ рамокъ историческаго христіанства, стремясь къ творчеству церкви новой, грядущей, вселенской, удовлетворяющей запросамъ жизни и времени, связанной съ потребностями политики, науки, искусства...

Такимъ образомъ сохраняется отъ церкви исторической всего лишь основное ядро, вокругъ котораго формируется назрѣваніе новаго организма.

Но эта реформа церкви не имѣла ровно никакого вліянія на реальныя ея судьбы, эта реформа, эти исканія и эти чаянія оказались лишь продуктомъ поэтическихъ мечтаній „неохристіанъ“ и такъ и застыли въ узкомъ заколдованномъ кругѣ ихъ міровоззрѣнія. И какъ ожидавшееся соединеніе ихъ съ господствующею церковью, такъ равно и творчество новыхъ формъ церкви потерпѣли крушеніе.

Такимъ образомъ „неохристіане“ оказались въ сущности оторванными отъ православной церкви. И въ этомъ отношеніи снова замѣчается разница между ними и Достоевскимъ. Для Достоевскаго церковь была непоколебимымъ столпомъ православія и на-

родности—для нихъ лишь мечтой; Достоевскому церковь не внушала никакихъ сомнѣній относительно ея истинности, современное религіозное сознаніе все насквозь пропитано ядомъ сомнѣній.

Но какъ Достоевскій, такъ равно и „неохристіане“ прошли мимо того пониманія церкви, которое, можетъ быть, болѣе всего приближается къ истинѣ—они потеряли изъ виду значеніе церкви какъ царства не отъ міра сего, какъ мистическаго ковчега среди потока вѣковъ, какъ силы, которая разрушаетъ міръ видимый, настоящій и жизнь видимую и реальную—во имя безумнаго чуда внѣ жизни, внѣ времени и пространства, внѣ бытія.

. . . . . .

Характерно также отношеніе „неохристіанъ“ къ догмѣ. Это отношеніе часто колеблется, часто обнаруживаетъ признаки полнѣйшей неустойчивости, полнѣйшаго безсилія и неувѣренности въ себѣ. Они какъ будто поняли, что для нихъ кромѣ догмата ничего больше и не осталось, они ухватились за догматъ, какъ за послѣдній рычагъ религіи, они обнаружили лихорадочное рвеніе къ обоснованію догмата.

И иногда кажется, что догматъ дороже для нихъ, чѣмъ Христосъ.

Религія есть постоянная эволюція, постоянное развитіе, непрерывное творчество личности. Поэтому она противоположна догмѣ, ибо догма—это насильственное завершеніе потенціальнаго роста личности, это точка замерзанія, это непрерывный законъ омертвѣнія въ опредѣленной формѣ жизненной энергіи.

Вѣра Достоевскаго была по существу адогматична, она не умирала, она росла, она отличалась творчествомъ.

VII

У современниковъ нѣтъ творчества, а есть догматъ и послѣдній иногда замѣняетъ первое.

Но мы знаемъ, что религія должна быть не только вѣрна догматамъ, но также преслѣдовать творческую эволюцію, но мы знаемъ, что помимо догмъ—существуютъ въ религіи пути, прямо противоположные догмѣ и можетъ быть, именно въ нихъ наше спасеніе.

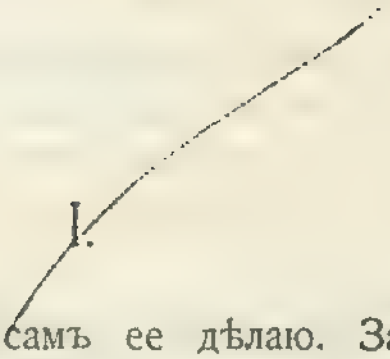
Въ крѣпкій узелъ связался нашъ духъ съ духомъ Достоевскаго; несмотря на всѣ выше изложенныя различія между нимъ и нами— мы всетаки проникнуты его идеями и исторія нашего религіознаго возрожденія есть какъ бы зеркало, въ которомъ снова во всей своей яркой силѣ отразился духъ геніальнаго писателя.

Въ трехъ моихъ книгахъ параллельно съ критикою творчества разсматриваемыхъ мною писателей—идетъ мой личный путь, путь моихъ собственныхъ исканій, моего душевнаго развитія и становленія.

Творчество мое—это не погруженіе *я* въ объектъ критики, не только сліяніе съ этимъ объектомъ и исчезновеніе въ немъ, не только творчество, но также—мое стремленіе къ отысканію смысла жизни. Такимъ образомъ то, что проводится мною какъ тріада творческаго развитія Достоевскаго—является *сверхъ того* также и тезисомъ, антитезисомъ и синтезомъ моего личнаго міровоззрѣнія..

Александръ Закржевскій.

7 ноября 1912 г.
Кіевъ.



„Что совѣсть? Я самъ ее дѣлаю. Зачѣмъ-же я мучаюсь? По привычкѣ. По всемірной человѣческой привычкѣ за семь тысячъ лѣтъ. Такъ отвыкнемъ и будемъ боги"!—Такъ говорилъ чортъ Ивану Карамазову.

Въ полночь, еле сдерживая безумную боль рыданія, уже въ полусознаніи, вяло боролся Иванъ Ѳедоровичъ со своими искушеніями. Не могъ бороться. Впереди былъ сумасшедшій домъ.

Фридрихъ Нитцше, написавшій „Волю къ власти", „По ту сторону добра и зла", „Веселую науку"—тоже былъ въ такомъ же состояніи, въ состояніи сѣрой, тупой, грызущей тоски, и тоже сознавалъ, что кромѣ сумасшедшаго дома—пристани нѣтъ и не можетъ быть... Оба въ тоскѣ пребывали, оба шли по пути отрицанія, оба міръ разрушить хотѣли, совѣсть убить, душу убить—и оба отъ совѣсти и отъ потемокъ глубины душевной погибли, даже не погибли, а были раздавлены!... Конечно, Иванъ Карамазовъ былъ куда глубже Нитцше, вся философія этого послѣдняго была только частью его души, а созданная имъ геніальная легенда о великомъ инквизиторѣ въ тысячу разъ глубже, продуманнѣе и сильнѣе, чѣмъ

ницшевскій „Антихристіанинъ“. Но отчего же они оба погибли? Не оттого ли, что та презираемая Иваномъ совѣсть, которую онъ такъ пытался преодолѣть, оказалась сильнѣе его, не оттого-ли, что Христосъ, всячески распинаемый и проклинаемый Нитцше, былъ и есть сильнѣе всѣхъ антихристовъ, и тѣхъ, которые идутъ противъ Него, которые всю жизнь свою посвящаютъ отрицанію Его и всяческой вѣры,—Онъ обрекаетъ на муки вѣчныя, на гнетъ, на тоску, на мертвую гниль, на раздавленное бытіе въ сумасшедшемъ домѣ?...

Отъ вѣка одна и та же трагедія, одно и то же дерзаніе, одинъ и тотъ же каиновъ путь въ Дамаскъ, и мракъ, и уныніе, и тошнота сатанинскихъ мукъ, а на пути внезапное облако неизрѣченнаго свѣта, и голосъ тихій, одна мелодія, одна чарующая боль укоризны:

— „Савлъ, Савлъ, зачѣмъ ты гонишь Меня? Трудно тебѣ идти противъ рожна“?...

Да, трудно, невыносимо, невозможно, немыслимо!... И всѣ отрицатели знаютъ это, и множество ихъ не знаютъ, зачѣмъ идутъ и къ чему идутъ, потому что даже цѣль свою они предали насмѣшкѣ, даже сознаніе свое предали сомнѣнію, даже бытіе собственное раздавили ироніей, безсиліемъ своимъ, страхомъ своимъ, мукой своей!

Въ томъ гниломъ, сыромъ подвалѣ въ „Униженныхъ и Оскорбленныхъ“, гдѣ впервые предсталъ предъ Достоевскимъ „мистическій ужасъ смерти“, онъ понялъ, что всѣ пути закрыты для его больной, для его изуродованной души, что если-бы даже въ сумасшедшій домъ поступилъ, то и тамъ надежда на выздоровленіе убила бы душу тоской привычной,

мрачнымъ безсиліемъ, бѣдными мыслями, нудными, тошными мыслями подпольной гибели!...

Отчего же это? Отчего Достоевскій не могъ вынести тяжести отрицанія и всего, что связано съ нимъ, отчего отрицаніе привело Ивана Карамазова и могло привести самого Достоевскаго, если бы онъ не своротилъ съ пути—*только* въ сумасшедшій домъ?... Отчего сверхчеловѣчество только на бумагѣ приложимо, а въ дѣйствительности—лишь насмѣшка надъ жизнью, только красивыя слова, или непосильное страданіе, хуже самой неизлѣчимой физической болѣзни, хуже чумы?... И ясно, что вынести до конца эту тяжесть можетъ только или убѣжденный раціоналистъ (Нитцше), или Смердяковъ, а тѣ, что поглубже да у кого боли больше—не выдерживаютъ и изъ Савловъ дѣлаются Павлами?... Такъ было отъ вѣка...

Путь отрицанія и всякое ницшеанство по существу всегда раціоналистично, все построено на умѣ и на логикѣ. Эта надоѣвшая вольтеріанствующая иронія, желчное остроуміе, неистощимый запасъ ловкихъ афоризмовъ, эта зѣвающая изъ души скука и всегда здоровый разсудокъ—таковы аттрибуты этого направленія. И если таково оно по существу, то еще сносно, но если оно всю жизнь превратитъ въ гангрену, если не останется мѣста здороваго, если тоска станетъ богомъ (Достоевскій), то тутъ ужъ человѣкъ да еще съ русской душой, не выдержитъ, и душу откроетъ, и зарыдаетъ, несмотря на весь свой умъ, на всю свою философскую серьезность: „да, Господи, трудно, невыносимо трудно идти мнѣ противъ рожна“!...

Если болитъ душа, если всѣ пути закрыты, если кромѣ ранъ ничего нѣтъ и не будетъ, если страданіе одно нужно принять и съ проклятьемъ, съ тоской

упиваться безсиліемъ своимъ,—то неужели же не пойметъ человѣкъ, что разумъ не спасетъ, не можетъ спасти отъ этого состоянія, что нужно прорваться всею силою души своей сквозь душный мракъ въ безконечность, что душу окрылить надо, забыть себя, забыть свои сомнѣнія, что Бога увидѣть надо и припасть, и зарыдать, и уничтожиться въ изступленной, въ безумной мольбѣ:

— Господи, что мнѣ дѣлать? Какъ спасти мнѣ душу свою, чѣмъ убить невѣріе свое, какъ увидѣть лицо Твое?

И хорошо тѣмъ, которые чудомъ своимъ могутъ преобразиться сразу въ Павловъ и идти уже въ иныхъ одеждахъ и съ иной душой, но что дѣлать тѣмъ, которые, какъ вотъ Иванъ Ѳедоровичъ—обречены вѣчно оставаться Савлами, вѣчно терзаться сомнѣніями, вѣчно слышать укоряющій голосъ неизвѣстной тайны?

Ибо одно—сознать неизбѣжность Христа, а другое, совсѣмъ другое—увѣровать въ Него!.. А такому человѣку, какъ Иванъ Карамазовъ—необходимо *до конца* увѣровать чтобы спасти свою душу, частичная вѣра тяжести не сниметъ, тутъ нужно убить всего себя, убить свою прежнюю жизнь, свою прежнюю душу, вырваться изъ когтей сатаны и обновиться, преобразиться, ребенкомъ стать, или юродивымъ, глупымъ стать, всю культуру, всю науку, всю философію прахомъ пустить, ибо ясно, что не съ о. Паисіемъ, не съ Вл. Соловьевымъ Христосъ, а съ тѣми убогими, Иванушками-дурачками, блаженными, глупенькими, которые уже погибли для міра, но которые истинно вѣруютъ и нѣтъ у нихъ никакихъ сомнѣній, никакихъ тревогъ!...

Полное отреченіе отъ самого себя, отъ своей личности, полное сліяніе съ Богомъ, смерть въ Богѣ и освобожденіе въ Немъ, и воскресеніе, и вѣчная радость, и вѣчная жизнь—вотъ какова должна быть истинная вѣра... И ясно, что *такъ* никто не можетъ сейчасъ вѣрить, а если и увѣруетъ—то сейчасъ же уйдетъ отсюда, невыносимо ему станетъ здѣсь жить, и уйдетъ куда-нибудь, въ пустыню уйдетъ, въ царство свое нездѣшнее...

Трагедія же Ивана Ѳедоровича была въ томъ, что вся душа его была изъѣдена уже самыми отчаянными сомнѣніями, самымъ губительнымъ ядомъ отрицанія и онъ не могъ отъ этого отречься, ибо это стало уже частью его существа, но съ другой стороны было сознаніе, что не въ этомъ истина, что это—одна мука, одинъ лишь кошмаръ, одно преступленіе, и что жить этимъ однимъ нельзя, немыслимо и не подъ силу... Онъ былъ именно одинъ изъ тѣхъ людей, которыхъ теперь такъ много, изъ которыхъ и состоитъ-то наша интеллигенція и о которыхъ такъ удачно выразился Достоевскій, что они могутъ „такія бездны вѣры и невѣрія созерцать въ одинъ и тотъ же моментъ, что право иной разъ кажется: только бы еще одинъ волосокъ,—и полетитъ человѣкъ „вверхъ тормашки“ („Бр. Карамазовы“).

Видѣть эти молніеносно сверкающія бездны, а самому находиться въ нерѣшительности, вѣчно колебаться, вѣчно не вѣрить самому себѣ, вѣчно обманывать себя, изъ лжи дѣлать правду и изъ правды ложь, душу распинать, проклинать себя, проклинать землю, проклинать Бога, а потомъ, въ какую-нибудь глухую, безпросвѣтную ночь, въ кошмарѣ безсонницы, въ предчувствіяхъ смерти, вдругъ ощутить со-

дрогающимся существомъ своимъ, что безъ Бога нельзя жить, что если даже не вѣришь въ Него—Онъ долженъ быть, Онъ долженъ быть только хотя бы для того, чтобы хоть на минуту кончилась мука души, чтобы легко было дышать, чтобы отошелъ призракъ смерти, отошелъ невыносимый страхъ, лихорадочный, адскій страхъ, мѣшающій думать, мѣшающій жить!..

И тогда начались эти кошмары, геніально описанные Достоевскимъ и безъ сомнѣнія и имъ самимъ пережитые, и тогда къ душѣ подошелъ и овладѣлъ ею, кровью упился, перевернулъ ее вверхъ дномъ—-единственное доступное чудо—ловкій, галантный, культурный Чортъ...

Въ эти ночи—послѣднія ночи, когда еще тускло свѣтитъ разсудокъ, но душа уже не здѣсь, душа выше разсудка и сильнѣе его, въ эти ночи, когда кажется—вотъ кончится жизнь, кончится адскій круговоротъ пытокъ, пропадутъ дни, и можно будетъ взлетѣть, вырваться на волю, въ бурѣ исчезнуть—въ такія ночи приходилъ къ Ивану чортъ, и желѣзными руками выдавливалъ изъ мозга его всѣ надежды, все человѣческое, все разсудочное, чортъ—его второе *я*, а можетъ быть—существо высшее, какая-то таинственная сила, реальная сила, черный ангелъ тоски и безсилія, божество нашей придавленной, несчастненькой, сѣренькой жизни, божество нашихъ затаенныхъ проклятій, нашихъ заботъ, нашей обыденщины и нашего вѣчнаго подполья...

Отчего же такъ болѣзненно искривлены губы Ивана и лицо блѣдное, больное, какъ въ послѣдній часъ?... Вѣдь другого пути нѣтъ и не можетъ быть, вѣдь къ этому все шло, вѣдь долженъ же наступить

какой либо конецъ всѣмъ его мукамъ, всему его отрицанію, спасенья нѣтъ... Его коварный искуситель, его вторая совѣсть, его единственная вѣра теперь воплотилась въ силу и давитъ душу и нашептываетъ палящій огонь искушеній, и мучитъ такъ безпощадно, какъ можетъ мучить одинъ лишь чортъ...

Пути Ивана должны были привесть его къ этой встрѣчѣ, но вмѣсто того, чтобы радоваться, что наконецъ, наперекоръ разсудку, пришлось увидѣть чудо—живого чорта, который долженъ быть близокъ душѣ его, онъ испытываетъ брезгливый страхъ, онъ мучается совѣстью, убійствомъ отца, смердяковщиной, то есть, всецѣло стоитъ на другой сторонѣ, противъ чорта и внѣ его!..

А чорту онъ обязанъ многимъ: онъ нашептывалъ ему его геніальную „Легенду“, которая въ сущности вся цѣликомъ его созданіе, а не Ивана, онъ карамазовскими страстями мутилъ, зажигалъ кровь, онъ уводилъ далеко, высоко, показывалъ всѣ царства вселенной, обѣщалъ ихъ ему, обѣщалъ безмѣрную власть, власть разрѣшать всѣ вопросы, власть совершать преступленья, власть человѣкобога... И теперь, когда такъ далеко Христосъ, когда торжествуетъ Смердяковъ, приведшій въ исполненіе Ивановы замыслы, когда погибла жизнь, когда погибъ разсудокъ, чортъ впивается хищнымъ отравленнымъ жаломъ послѣдняго соблазна въ душу и шепчетъ все одну и ту же роковую, демонскую мысль:

„Такъ какъ Бога и безсмертія все таки нѣтъ, то новому человѣку позволительно стать человѣкобогомъ, даже хотя бы одному въ цѣломъ мірѣ, и ужъ конечно въ новомъ чинѣ, съ легкимъ сердцемъ перескочить всякую прежнюю нравственную преграду

прежняго раба—человѣка, если оно понадобится. Для Бога не существуетъ закона! Гдѣ станетъ Богъ—тамъ уже мѣсто божіе! Гдѣ стану я, тамъ сейчасъ же будетъ первое мѣсто... „все дозволено“ и шабашъ!! („Братья Карамазовы“).

Въ такую минуту, когда, кажется, должна наступить его побѣда и самъ чортъ пришелъ ему въ этомъ помочь, всѣ силы оставляютъ Ивана и онъ идетъ не за чортомъ, а за голосомъ попранной совѣсти, которую преступилъ только въ помыслахъ, и значитъ, что эта совѣсть, эта смутно живущая въ душѣ тѣнь Бога, это прекрасное лицо Христово, противъ котораго шелъ онъ всю жизнь свою путями Савла—оказывается сильнѣе всѣхъ человѣкобожескихъ теорій, сильнѣе дьявола, сильнѣе отрицанія!..

Но также вѣшается и Смердяковъ—это безчувственное передовое мясо всякаго прогресса, этотъ типичный „товарищъ“, который не вѣритъ ни въ Бога, ни въ чорта, ни въ душу человѣческую, этотъ вѣчный щенокъ, который всегда бѣжитъ около великихъ людей и тутъ-же забрасываетъ грязью всѣ глубокія мысли, эта вѣчная пошлость, вѣчная середина!.. Даже и въ немъ восторжествовала совѣсть, даже онъ не могъ выдержать...

Такъ кончается путь отрицанія въ русской душѣ!... И всѣ человѣкобожескія теоріи пасуютъ передъ богочеловѣческой правдой!...

Зрѣетъ въ русской душѣ лазурная нива, волнуются, бродятъ въ спѣлыхъ колосьяхъ непочатыя силы. глухо въ ней, темно въ ней, жутко въ ней, и пути ея, и ея судьба, и ея назначенье неизвѣстны, загадочны, страшны... Но одно ясно—не въ торжествѣ разума, не въ земныхъ ожиданіяхъ, не въ че-

ловѣческомъ царствѣ лежитъ она, а гдѣ-то совсѣмъ въ другомъ мірѣ, гдѣ-то въ своихъ мечтахъ, въ своихъ исканіяхъ, и царство ея не отъ міра сего.

И вотъ,—откроется душа, обнажится на встрѣчу синей, звѣздной ночи (только ночью душа открывается), и въ эту душу, спаленную страстями, сожженную и израненную, тусклую и мрачную отъ вѣчной неизлѣчимой тоски—войдетъ прозрачный холодъ неба, и поманитъ, и заколдуетъ, и заколышетъ тайна ночная, тайна мучительная, тайна святая, и станетъ душа одной пѣснью, однимъ восторгомъ, однимъ распятьемъ,—и полетитъ.

Какъ исполнились на Иванѣ слова Достоевскаго: „природа человѣческая не выноситъ богохульства, и въ концѣ концовъ, сама же себѣ всегда и отмститъ за него"... Да и богохульство-то Ивана больше отъ неотмщеннаго страданья происходило, чѣмъ отъ невѣрія. Съ существованіемъ-то Бога онъ готовъ былъ бы согласиться (это признавалъ цѣлый рядъ философовъ, что, однако, не мѣшало имъ оставаться атеистами въ душѣ), но міра, имъ созданнаго, міра, въ которомъ каждая душа обижена, каждая душа страдаетъ,—онъ не могъ принять, со слезинкой замученнаго ребенка не могъ примириться, и вотъ откуда была его скорбь! Тамъ, гдѣ видѣли мудрецы міра сего какую-то гармонію или по крайней мѣрѣ—стремленіе къ ней—онъ видѣлъ адъ неотмщенныхъ страданій, безумную боль міра, міровую тяжесть... О, онъ несмотря на свои молодые годы—почувствовалъ, понялъ всю горечь жизни, весь ея тяжелый кошмаръ, все ея страданье, онъ заглянулъ въ темныя глубины ея, въ тѣ глубины, гдѣ водоворотъ, гдѣ необходимость Бога, гдѣ мольба, гдѣ смерть,—и

тяжесть легла на душу, и придавила, и обезсилѣла!.. Рабская человѣческая доля—вотъ что поразило его въ самое сердце, рабья звѣриная душа сладострастнаго насѣкомаго—человѣка,—это было нѣчто безобразное, уродливое, преступное, какъ весь міръ Достоевскаго!.. Цѣлый хаосъ преступныхъ замысловъ, искушеній, соблазновъ, пороковъ пришлось ему пережить уже (вѣдь онъ былъ карамазовское созданье!), вся правда вторичнаго распятья Христа римскою церковью изсушила его, весь гнетъ жизни и безысходность ея были поняты имъ,—поистинѣ, если бы существовалъ подобный человѣкъ, а не будь онъ только мечта Достоевскаго, только схема души его—это было бы какое-то чудо! Онъ еще могъ понадѣяться на бунтарство свое, на свое отрицаніе (еще бы не понадѣяться въ 24 года), хотя больше надежды было совсѣмъ на другое, на сладострастье свое карамазовское, на кубокъ молодости, кубокъ жизни, на клейкіе листочки, на любовь, да и то все это было разсчитано на нѣсколько лѣтъ, самъ зналъ, что до 30 лѣтъ этимъ прожить еще можно, а потомъ—кубокъ объ полъ—и кончена жизнь, конченъ покой, кончена свобода!..

— „Влюбился въ барышню, въ институтку. Мучился съ ней и она меня мучила. Сидѣлъ надъ ней... Мучила-то она меня какъ! *Воистину у надрыва сидѣлъ*“.

Всѣ они у Достоевскаго съ надрывомъ любятъ, иначе что же это была бы за любовь: чѣмъ же жили бы они, если бы любовь была обыкновенная, какъ у всѣхъ?.. Но женщина, даже такая, какъ Катерина Ивановна, все же не смогла вмѣстить въ себѣ такую душу, хоть и понимала она ее; вотъ Грушенька, та бы

сожгла ее на кострѣ, въ ураганѣ истомила бы, именно непониманіемъ своимъ затмила бы разсудокъ, гибель—блаженную гибель дала бы, такія въ любви даютъ радостную смерть...

Но Иванъ Ѳедоровичъ больше надрывъ свой любилъ, чѣмъ женщину, анализъ души своей любилъ, женскія чары мукой были, а не упоеніемъ, говорилъ предъ нею вдохновенно (а онъ говорить былъ мастеръ)—а потомъ расхохотался—и ушелъ,—и весь бредъ прошелъ, и любовь исчезла, и снова тоска мнимой свободы, снова дѣйствительность, снова скитаніе!.. Эти „русскіе мальчики“ вѣчные вопросы предпочитаютъ любви, они думаютъ, что отъ того, что они будутъ рѣшать эти вопросы—измѣнится жизнь. „Вѣдь у насъ—говоритъ онъ Алешѣ—„съ тобой какая теперь задача? Задача въ томъ, чтобъ я какъ можно скорѣе могъ объяснить тебѣ мою суть, то-есть, что я за человѣкъ, во что вѣрую и на что надѣюсь“... Ужъ не оттого ли и женщины сторонятся ихъ, несмотря на весь ихъ умъ и идутъ къ Дмитрію, даже Ѳедора Павловича предпочитаютъ, чѣмъ ихъ?.. Иванъ Ѳедоровичъ, какъ и Ставрогинъ—любилъ только созерцать любовь, у надрыва сидѣлъ, но закружиться въ бреду, исчезнуть въ любви—не могъ, совсѣмъ не могъ... И въ этомъ вся трагедія его!... Дмитрій, когда горитъ на кострѣ—забываетъ и всѣ вопросы, да и Ѳедоръ Павловичъ тоже, а вотъ Иванъ весь изъѣденъ ими, кромѣ этого—для него ничего не существуетъ... Недаромъ Карамазовы говорятъ, что Иванъ чужой. „Иванъ никого не любитъ—говоритъ Ѳедоръ Павловичъ—Иванъ не нашъ человѣкъ, эти люди, какъ Иванъ, это, братъ, не наши люди, это пыль поднявшаяся... Подуетъ вѣтеръ и пыль пройдетъ“...

Да, Карамазовымъ это вовсе чуждо:—всецѣло отдаться загадкамъ жизни, разрѣшеніямъ вѣчныхъ вопросовъ, находиться между Христомъ и Діаволомъ... Слишкомъ они были полножизненные и никакой Богъ имъ не нуженъ былъ, для нихъ сладострастье оправдывало всю жизнь... А вотъ Иванъ—тотъ совсѣмъ другой: его вопросы замучили, его Христосъ замучилъ!..

„Легенда о великомъ инквизиторѣ“—вѣдь это цѣлое міровоззрѣніе, выношенное въ душѣ годами, это цѣлая мудрость, цѣлое ницшеанство, она служитъ доказательствомъ, какъ дорогъ былъ Ивану Христосъ и все, что связано съ Нимъ, какъ мучительны были для него вопросы христіанства (вѣдь онъ и статью о теократіи написалъ) и судьба православной церкви!.. Какая двойственность: Иванъ, который въ статьѣ своей говорилъ о роли церкви для государства, о преображеніи церкви въ государство, въ своей „Легендѣ“ понялъ какъ нельзя лучше, что церковь не Христосъ, что церковь и ея организація и все христіанство противъ Христа, но не съ Нимъ, что оно извратило все Его ученіе, вмѣсто проповѣди свободы проповѣдуетъ рабство и насиліе, что оно обманываетъ народъ, заставляя вѣрить его въ то, во что само оно не вѣритъ, что обманомъ своимъ оно хочетъ купить гармонію и порядокъ, что даже живого Христа, появившагося вновь на землѣ—великій инквизиторъ приказываетъ арестовать и посадить въ тюрьму!.. Какая иронія, какая насмѣшка надъ Римомъ и его церковью, даже Ницше не смогъ создать ничего подобнаго!.. Сколько глубины, сколько горькой правды скрывается въ этомъ заключеніи Христа въ тюрьму слугами Его церкви, которую Онъ создалъ, которая называется Его име-

немъ, которая Ему молится!!!. Кто понялъ это, тотъ пойметъ, что подобнаго издѣвательства, подобной насмѣшки надъ христіанствомъ не создавалъ еще никто!. Что-то жестокое кроется въ этомъ, какая-то затаенная месть, какая-то кровная обида за человѣка, за весь міръ, за всю судьбу людей...

Да, католическая церковь не Христосъ, она вся противъ Христа... Онъ далъ людямъ безмѣрную свободу, они-же—великіе инквизиторы и обманщики—поняли человѣческую природу, поняли ея рабій характеръ, поняли, что не вынести человѣку этой свободы, она выше ихъ силъ, она дѣлаетъ ихъ только бунтовщиками, и они сами ищутъ случая, чтобы избавиться отъ свободы своей, чтобы передать ее кому-нибудь стоящему выше ихъ, снова попроситься въ рабство, снова во имя обмана, хлѣба и покоя продать свою душу... И развѣ не правъ инквизиторъ? Развѣ не великій онъ психологъ въ своемъ взглядѣ на человѣка. Развѣ не правъ онъ, говоря Христу: „кого Ты возвнесъ до Себя? Клянусь, человѣкъ слабѣе и ниже созданъ, чѣмъ Ты о немъ думалъ... Неспокойство, смятеніе и несчастье—вотъ теперешній удѣлъ людей послѣ того, какъ Ты столь претерпѣлъ за свободу ихъ“!...

Эти инквизиторы, эти обманщики, ведущіе за собой народъ и держащіе душу его въ рукахъ своихъ—гораздо сильнѣе Христа, они умѣютъ устраивать жизнь, умѣютъ держать въ повиновеніи человѣческое стадо, и „люди обрадовались, что ихъ снова повели какъ стадо, и что съ сердецъ ихъ снятъ наконецъ, столь страшный даръ, принесшій имъ столько муки“!... Римская церковь, руководительница политической и земной жизни людей—есть царство отъ міра

сего, нѣчто по существу своему антихристіанское, а ея руководители, ея ложные священники не вѣрятъ вовсе въ Бога, но за то свято вѣрятъ въ себя, въ непоколебимость своей власти, въ земное царство—и во имя этого ведутъ за собой людей... А Христосъ, плѣненный собственной церковью Христосъ—смотритъ въ лицо инквизитора молча и проникновенно кроткими глазами своими—прекрасный какъ всегда, безсильный какъ всегда, и какъ всегда—вѣчно таинственный, нѣжный, весь не отъ міра сего, весь—мечта, весь—красота неземная!.....

Да, такая церковь противъ Христа, она позоръ для Него, хотя врядъ-ли можетъ быть какая либо другая... Исполнился ли въ дѣйствіяхъ этой церкви хоть одинъ изъ завѣтовъ Христа, хоть одна Его заповѣдь, хоть одно Его слово? Гдѣ свобода и братство людей, гдѣ любовь, гдѣ всепрощеніе, гдѣ непротивленіе злу, гдѣ кротость, гдѣ Царство Духа Святого!.. Вмѣсто всего этого ужасы инквизиціи, царство папъ кровопійцъ и безбожниковъ, вродѣ Александра Борджія, или неумолимыхъ деспотовъ вродѣ Григорія Великаго или Иннокентія III-го, развратъ въ монастыряхъ, развратъ среди бѣлаго духовенства, индульгенціи, подкопы, интриги, проститутки на престолѣ св. Петра—и это церковь Христова, это плоды Его ученія, это результаты Его пришествія въ міръ! Если бы кто нибудь рѣшился написать безпристрастный, объективный трудъ о томъ, во что превратилось христіанство послѣ IV-го вѣка,—со всѣми подробностями, со всѣми деталями и фактами, и сравнить все это съ Евангеліемъ, съ истиннымъ обликомъ Христовымъ—контрастъ получился бы вопіющій, необъяснимый, поразительный!.. Вотъ это все мучило Ивана больше

всего, вотъ это все было положено во главу угла его „Легенды“, и послужило причиной необычайно глубокаго пониманія историческаго христіанства!..

Но съ другой стороны также ясно, что вся Иванова „Легенда“ есть произведеніе Сатаны, духа отрицанія, духа мрачнаго подполья, въ которомъ столько пришлось перестрадать и переболѣть и Достоевскому и Ивану. Ясно видно, что все это издѣвательство надъ Христомъ, которое произноситъ устами инквизитора печальный Духъ Скорби, всѣ эти геніальныя искушенія и нашептыванія—происходятъ только отъ того, что Иванъ не вѣритъ во Христа и мучится этимъ своимъ невѣріемъ, и какъ Іуда—творитъ надрывный свой бунтъ противъ Его кротости и силы, и какъ Іуда—продаетъ Его великому инквизитору, чтобы этимъ еще разъ доказать, что власть земли и власть Сатаны выше власти Божіей, что не Христу принадлежитъ устройство царства сего, не Ему принадлежитъ вся земля и все стадо человѣческое, а тому, кто понимаетъ больше земныя нужды, человѣческую слабость, человѣческій страхъ, раболѣпіе и низость, тому, кто ближе и самому Ивану,—князю міра сего—Сатанѣ!...

Но знаетъ Иванъ свою трагедію, безысходность ея вѣдома всѣмъ отрицателямъ, всѣмъ безпріютнымъ, всѣмъ циникамъ, всѣмъ пессимистамъ, всѣмъ непріемлющимъ міра, всѣмъ бунтовщикамъ, ибо тамъ, гдѣ кончаются слова ихъ проклятья, тамъ, гдѣ начинается одиночество—возникаютъ провалы, начинается трудная, невыносимая, больная жизнь, безпріютная, нечистая, мутная, сиротливая, жизнь дѣтей, оставленныхъ отцомъ и матерью, жизнь вѣчныхъ скитальцевъ, несущихъ бремя свое въ вѣчную тьму неизвѣстно

зачѣмъ, неизвѣстно куда, жизнь безпросвѣтная, не жизнь, а одинъ надрывъ, одно проклятье, одна безбрежная, убійственная, смертельная тоска.

И не гармоніи хочется Ивану, не успокоенія, не благодушія, знаетъ онъ отлично цѣну человѣческаго страданья, знаетъ, что отъ страданья никуда не уйдешь да и уходить не надо, нѣтъ, ему хочется *свободы*, той свободы, которой не можетъ дать ему сатана, той свободы, которая совсѣмъ не въ бунтѣ познается, не въ отрицаніи, не въ пессимистическомъ цинизмѣ, а въ вѣрѣ въ Бога, въ познаніи Христа, ибо и великому инквизитору даже извѣстно, что Христосъ есть истинная свобода, а не то рабство, которое изобрѣли люди во имя Его!..

Иванъ, какъ и всѣ отрицатели, проповѣдывающіе свободу—въ сущности самъ рабъ, рабъ своего одиночества, своего безсилья передъ жизнью, своей неуютности, своей покинутости, своей безмѣрной усталости... Онъ идетъ противъ міра, но чѣмъ упорнѣе, чѣмъ безстрашнѣе, чѣмъ глубже его бунтъ, тѣмъ сильнѣе чувство покинутости, разслабленности, безпомощности и тоски!.. Онъ все потерялъ, все отвергъ, все предалъ насмѣшкѣ, у него нѣтъ подъ ногами почвы, нѣтъ увѣренности, онъ самый несчастный человѣкъ на всей землѣ!.. Вмѣсто освобожденія онъ впалъ въ рабство, онъ порабощенъ именно тѣми законами, тѣми императивами, тѣми богами, противъ которыхъ былъ направленъ его бунтъ и которые своею непоколебимостью, *своею вѣчною непоколебимостью* обезсилили его, лишили покоя, лишили всѣхъ надеждъ!.. Онъ чувствуетъ невыносимую тяжесть въ душѣ своей, радъ бы отъ нея избавиться, ищетъ освобожденія, ищетъ отдыха, ищетъ спасенья, но закрыты всѣ пути,

закрыты всѣ двери, и ночь,—глухая, сатанинская ночь хохота и проклятья, развернулась вокругъ черными, чудовищными крыльями.

Въ темную ночь такъ трудно, такъ непосильно трудно жить!

Въ темную ночь такъ хочется забыться, такъ хочется взлетѣть!

И слышенъ тихій, заглушенный, рыдающій шепотъ въ темную ночь:

— Савлъ, Савлъ, зачѣмъ ты гонишь меня? Вижу, трудно идти тебѣ противъ рожна?

И отвѣчаетъ больная, погибшая душа въ лихорадочномъ, въ тяжеломъ бреду:

— Да, Господи,—трудно!.. Выше силъ моихъ, выше жизни моей!..

II.

Если человѣкъ глубокъ не только на словахъ, но и на дѣлѣ, то каждая ступень лѣстницы индивидуализма будетъ куплена цѣной нечеловѣческой боли!.. И чѣмъ выше—тѣмъ больше боли, и чѣмъ геніальнѣе вызовъ и чѣмъ безумнѣе бунтъ противъ міра,—тѣмъ безысходнѣе судьба смѣльчака, безсоннѣе ночи, невыносимѣе дни, непосильнѣе скорбь усталаго, одинокаго сердца... А кто выдержитъ это, кто пройдетъ сквозь это, тотъ *окаменѣетъ*... А кто царство свое захочетъ утвердить на камнѣ, на душѣ своей, превращенной въ камень,—тотъ погибнетъ отъ пустоты, ибо чѣмъ будетъ питаться онъ въ пустынѣ своей, откуда возьметъ силы, чтобы удержаться на мертвой точкѣ?...

Самый отчаянный индивидуалистъ есть все же самый безсильный человѣкъ, ибо сильнѣе его одна минута, минута его смерти, неизбѣжной смерти, которая придетъ, какъ бы онъ ни надрывался въ увѣренности, что онъ побѣдилъ міръ... Самый отчаянный отрицатель есть все-же самый несчастный человѣкъ, ибо не можетъ онъ преодолѣть *страха жизни*, мистическаго страха, глазами тысячеокихъ чудовищныхъ медузъ глядящаго въ душу изъ глубины всѣхъ познанныхъ вещей!...

И вотъ—безсловесная, горькая мелодія о гибели сверхчеловѣка, о гибели человѣкобога, жгучимъ морозомъ проносится надъ головой:

Сущность судьбы человѣка отъ вѣка есть гибель, гибель одна не обманетъ.

Сущность судьбы человѣка есть смерть, смерть никогда не обманетъ.

Сущность судьбы человѣка есть ужасъ жизни, ужасъ всегда безпощаденъ.

Что человѣкъ:—пылинка въ морѣ вѣчности, дрожащее пламя въ ночи, искра мгновенная.

Что человѣкъ:—распятый крикъ мольбы между бездной смерти и бездной жизни!

Человѣкъ—самый несчастный плодъ всѣхъ замысловъ Божіихъ, онъ уже отъ рожденія обреченъ на гибель...

А отовсюду болѣзни, холодъ, вражда, пошлость, животность, злоба, смятеніе, страхъ, глупость, тупость, усталость, снова болѣзни, снова несчастья, а отдыха нѣтъ, напрасны проклятья, напрасна грязная брань, напрасны всѣ страшныя, всѣ уродливыя слова, напрасны угрозы:—среди сѣрой пустыни мчится жизнь изъ неизвѣстности въ неизвѣстность, трупнымъ, гнилымъ воздухомъ насыщая усталую душу... Слезы, хохотъ, усталость, тоска...

Чѣмъ излѣчить погибающую душу свою? Какъ спастись отъ гніенія?..

А изъ вѣчности холодъ струится, въ холодѣ жизнь замерзаетъ!..

Черною ночью мчится безсонная мука по ледяной равнинѣ, не можетъ замерзнуть мука, не можетъ заснуть, смотритъ несчастными, кровью налитыми глазами въ темную вьюгу, въ морозъ, въ безысход-

ную даль,—и мчится, мчится безумно, мчится, извиваясь и корчась въ прыжкахъ лихорадки...

Какъ уйти отъ тебя, проклятая, холодная, черная?!...

Нѣтъ отвѣта... Только зимнія сумерки, только вспотѣвшія окна, мутныя окна вѣчной тюрьмы, только бредъ, только рыданья да боль въ тишинѣ безпошадная, и слезы, проклятья, болѣзни, несчастья, тоска...

Чѣмъ же спастись отъ смерти, какъ побѣдить ее и въ побѣдѣ найти беззакатный свѣтъ?

Чѣмъ побѣдить ужасъ жизни и гдѣ найти силы, чтобы хоть разъ улыбнуться, ребенкомъ стать, чтобы выросли крылья?...

Какъ поступить, чтобы, оставаясь человѣкомъ, душу свою спасти, душу несчастную, замученную, одинокую?

Или надо забыть слова, забыть всякій разумъ, забыть всякую пошлость надеждъ, и только молиться, только молчать, только молчать, улыбаясь?...

Въ дѣтской растерянной улыбкѣ неземного восторга забыться?

. . . . . .

. . . . . .

И вотъ—всѣ пути перепутались и остановились, всѣ скорби, всѣ рыданья слились въ одно ожиданіе, въ одну мольбу, въ одну устремленность, а среди всего этого, между людьми, стоитъ Человѣкъ озаренный, и кроткимъ свѣтомъ души залилъ, и говоритъ:

— Придите ко мнѣ всѣ труждающіеся и обремененные и Я успокою васъ...

Еще никогда не слышали люди такого обѣщанія, еще никогда никому не приходило въ голову,

что можетъ найтись среди нихъ кто-либо, кто возьметъ на себя всѣ страданья, кто сниметъ иго, кто душу излѣчитъ, кто дастъ столь желанный отдыхъ душѣ!...

И вотъ—сколько вѣковъ—все идутъ за голосомъ распятаго Бога, ищутъ Его всюду, сами распинаются, чтобы только найти Его, только бы спастись, только бы услышать одно это обѣщаніе, обѣщаніе успокоенія, обѣщаніе облегченія отъ жизни, спасенія отъ жизни, пощады отъ жизни. И чѣмъ сильнѣе страданье, чѣмъ сильнѣе покинутость, безысходность, чѣмъ искалѣченнѣе душа, тѣмъ ближе Христосъ, ближе Его ликъ тихій, ликъ необычный уже тѣмъ, что впиталъ въ себя всю скорбь, всю кровь міра, ликъ таинственный и нѣжный, ликъ усталый, единственный...

До дна души своей нужно дойти (до того мѣста, гдѣ кончается глубина и начинается ужасъ) чтобы понять, что такое Христосъ... Все въ жизни потерять нужно, чтобы найти Христа... До безобразія изуродовать себя нужно и всю горечь жизни испить, и всѣми страданьями—физическими и душевными пресытиться, чтобы найти радостную и скорбную боль во Христѣ!...

На грани между жизнью и самоубійствомъ, между жизнью и отчаяньемъ, между жизнью—и сумасшедшимъ домомъ—обрѣтаютъ Христа... И далеко не всѣхъ любитъ Христосъ, (хоть и весь міръ—Его), онъ больше всего и нѣжнѣе всего любитъ страдающихъ, обманутыхъ, изуродованныхъ, искалѣченныхъ, оскорбленныхъ и униженныхъ, безнадежно несчастныхъ, безпріютныхъ и одинокихъ, это имъ Онъ открываетъ бездонность объятій своихъ, это имъ Онъ

обѣщаетъ спасенье, это имъ Онъ говоритъ въ часъ гибели, въ часъ безпросвѣтной скорби:

— Придите ко мнѣ всѣ труждающіеся и обремененные и Я успокою васъ.

. . . . . .

Въ странахъ холодныхъ, покинутыхъ, угрюмыхъ, въ странахъ глубокой, надрывной тоски, гдѣ солнца меньше, гдѣ хмурые, сѣрые дни, гдѣ въ сумеркахъ воетъ отчаянье, гдѣ дикая жизнь и рабская доля, гдѣ казематы и тюрьмы, гдѣ степи и глушь, и бездонное горе—тамъ ждутъ Христа съ особенной болью, тамъ всего нужнѣе и ближе Христосъ!..

Въ Россіи—въ блѣдной, измученной странѣ скорби и ужаса, дикой тоски и уныніи—вся душа изнываетъ, вся душа рвется ко Христу. Въ Россіи—и можетъ быть—*только въ Россіи*—возможно истинное царство Христово. И только въ Россіи могутъ такъ безмѣрно мучиться красотой лика Христова, такъ безмѣрно тосковать по Немъ, такъ бездонно молиться!.. Это страна таинственной тоски, страна вѣчной тайны, страна прозрачной печали, и только здѣсь люди соединились для страннаго творчества во Христѣ, для смутныхъ предчувствій, для тревожныхъ и жуткихъ ожиданій, для распятій, для жертвъ, для молитвъ, для все одного и того же желаннаго чуда всей жизни!...

Какая глухая, какая жуткая ночь, и нѣтъ пощады отъ призраковъ, и нѣтъ отдыха отъ кошмаровъ, но въ самой глубинѣ ночи сіяетъ какая-то необъяснимая, какая-то робкая надежда. но въ нѣдрахъ, въ чащахъ, въ провалахъ, въ бездиахъ блуждаютъ огни, загораются костры, вспыхиваютъ пожары, и близится зарево восхода, и будетъ свѣтило это необычное,

какого еще не видѣлъ міръ, „отъ востока звѣзда сія возсіяетъ“...

Для міра Христосъ одинъ и тотъ же, для Россіи—Христосъ особенный, *Христосъ Русскій*, бѣлый, Христосъ воскресшій изъ страданья!...

Одни ищутъ и ждутъ Его внѣ церкви, оторваннаго отъ всего міра, въ отчаяньи своемъ Его ищутъ, для своего спасенья, для *своей* жизни, для своей комнаты, для своего одиночества!...

Другіе мечтаютъ создать Ему здѣсь церковь, новую церковь, особенную, какой еще міръ не видѣлъ... Эта церковь, предметъ мукъ, творчества, жизни, искусства избранныхъ людей—художниковъ, литераторовъ, поэтовъ, это они создаютъ ее, а не духовенство,—духовенство совсѣмъ въ сторонѣ, церковь такая ему совсѣмъ не нужна!...

Словно въ первые вѣка христіанства здѣсь ждутъ церкви настоящей, Христовой, а не человѣческой, понимаютъ ее какъ что-то спасительное, единственное, что можетъ обновить жизнь, освятить ее, пристанью послужить не только для избранныхъ, но для всей страны, для всѣхъ безпріютныхъ, для всѣхъ потерявшихъ надежды, для всѣхъ разочарованныхъ и погибшихъ!

Въ мечтахъ этихъ людей церковь какъ чудо цвѣтетъ, неземнымъ цвѣтомъ, неземной надеждой врачуя усталую душу, въ творчествѣ этихъ людей церковь—истинная, непорочная, тоскующая Невѣста Христова, для нихъ она заколдованный замокъ, хрустальная мечта, нѣчто несбыточное, туманное, неясное!

Одни хотятъ вернуть церковь къ тому состоянію, въ которомъ она находилась во времена пер-

выхъ христіанъ, другіе хотятъ приспособить ее къ культурнымъ запросамъ современности, третьи желаютъ оставить ее какъ она есть, со всѣми догматами и даже зависимостью отъ государства, вдохнувъ въ нее душу живую, утвердивъ ея вѣчный и незыблемый смыслъ...

Отъ славянофиловъ, черезъ Вл. Соловьева и Достоевскаго до Мережковскаго и Булгакова тянется эта нить русской мечты—мечты о церкви, о роли ея въ личной и общественной жизни... Въ отчаянномъ усиліи, въ послѣднемъ усиліи погибающаго, ухватилась душа русская за идею церкви—и въ этомъ ея великія миссія, и въ этомъ залогъ если не возрожденія, то во всякомъ случаѣ—спасенія ея отъ разложенія, отъ того сѣраго, тусклаго, кошмарнаго состоянія, въ которомъ находится весь Западъ, по существу своему весь вырождающійся, весь *духовно-буржуазный*...

Русскій индивидуализмъ совсѣмъ особенный, и радостно подчеркнуть эту особенность, выдѣляющую русскую душу изъ рамокъ обыденной нтеллигентской пошлости, уводящую ее на чудесныя поля тайны, дѣлающую эту душу самой загадочной, самой удивительной, самой необычной...

Особенность эта заключается въ томъ, что какого бы отчаянья ни достигалъ русскій индивидуализмъ, на какія бы вершины ни возносился, въ какое бы отрицаніе ни уклонялся, все же по существу своему онъ *мистиченъ*, все же царство русской души не отъ міра сего, все-же, несмотря на весь гнетъ, на всѣ безумные замыслы, на весь анархизмъ, на всѣ антихристовы искушенія—пути его идутъ не по землѣ, а ввысь, къ Ѳаворской горѣ вѣчной, един-

ственной тайны, гдѣ сіяетъ все тотъ же роковой Ликъ, гдѣ высится все тотъ же дѣтскій, именно *дѣтскій*, хрустальный, прозрачный, сказочный храмъ!..

Эту особенность рельефно выдѣлило творчество Достоевскаго, изъ котораго развернулся весь русскій индивидуализмъ, все русское „декаденство", все современное отрицаніе. Достоевскій—этотъ не только русскій, но міровой индивидуалистъ, равнаго которому нѣтъ въ мірѣ—своей судьбой, судьбой своихъ героевъ, судьбой своихъ геніальныхъ замысловъ, показалъ эту основную особенность, особенность русской души, особенность русскаго индивидуализма.

Индивидуализмъ Достоевскаго не могъ окончиться въ подпольѣ, не могъ застыть на мертвой точкѣ отрицанія, не могъ исчезнуть въ мелкомъ болотѣ обыденщины и трагическаго безсилія, онъ почувствовалъ въ себѣ другія стремленія, другія надежды, онъ на крыльяхъ томительной тоски поднялся въ горнюю высь, туда, гдѣ кончается тоска и начинается ураганъ стихійной радости, туда, гдѣ минуты неземного восторга разрываютъ всю душу, и въ этихъ минутахъ познается вся вѣчность, вся безбрежная даль, вся головокружительная высь!...

И тотъ же самый Иванъ Карамазовъ, который сочинилъ антихристіанскую „легенду" и весь какъ будто бы отдался мелкой чертовщинѣ—пишетъ статью по церковному вопросу, въ которой съ юношескимъ жаромъ развиваетъ мысль о преобразованіи государства въ церковь...

Николай Ставрогинъ, проникшій въ такія дали, за которыми остается только погибнуть, Ставрогинъ — величайшій русскій индивидуалистъ, равнаго которому нѣтъ, не будетъ и не можетъ быть—говоритъ

удивительныя слова, что если бы ему доказали, что истина внѣ Христа, то онъ все таки остался бы со Христомъ, а не съ этой истиной... Родной братъ его—Версиловъ—любитъ русское духовенство и по существу своему религіозенъ (онъ даже вериги носилъ)... И даже Раскольниковъ, этотъ первый ницшеанецъ, (до Ницше), переходитъ внутренней интуиціей за черту индивидуализма и исповѣдуетъ покаяніе—излюбленное таинство русской души, таинство внутренняго возрожденія, таинство весенняго цвѣтенія души, таинство чуда!...

Свидригайлову—и ему даже вѣдомы эти завѣтныя минуты касанія міровъ иныхъ, минуты таинственнаго причащенія небесныхъ тайнъ, тѣ минуты, которыя такъ любитъ типичный русскій идеологъ человѣкобожества—Кирилловъ, тоже крайній анархистъ, но въ этихъ минутахъ—настоящій религіозный ясновидецъ...

Димитрій Карамазовъ—здоровый человѣкъ, стоящій надъ жизнью, этотъ символъ русской стихійности, русскаго Діонисизма, русскаго раздолья, буйнаго похмелья, типъ по существу своему героическій, связанный всѣми фибрами тѣла и души съ землей, съ ея дыханьемъ, съ ея сладострастными чарами, какой-то русскій сатиръ, карамазовское насѣкомое, преступное, разрушающее, бурное—даже онъ, когда очутился въ тюрьмѣ—почувствовалъ всю Иванову трагедію Богоотрицанія, но въ душѣ своей, въ самомъ русскомъ складѣ ея, въ ея подземныхъ невѣдомыхъ нѣдрахъ—вдругъ ясно почувствовалъ вѣру въ Бога, присуствіе Бога, необходимость Бога, т. е. все то почувствовалъ, что раньше было ему вовсе чуждо, ненужно, о чемъ онъ даже и думать не

могъ... И какъ странно звучатъ въ устахъ Дмитрія эти необычныя для него слова, роковыя слова индивидуализма русскаго и индивидуализма Достоевскаго, все одни и тѣ же кровныя, выстраданныя, надрывныя слова:

— Мнѣ это здѣсь пришло... вотъ въ этихъ облѣзлыхъ стѣнахъ... А ихъ вѣдь много, ихъ тамъ сотни, тысячи, подземныхъ-то, съ молотками въ рукахъ. О, да, мы будемъ въ цѣпяхъ, и не будетъ воли, но тогда, въ великомъ горѣ нашемъ мы вновь воскреснемъ въ *радость*, безъ которой человѣку жить невозможно, а Богу быть, ибо Богъ даетъ радость, это его привилегія, великая... Господи, истай человѣкъ въ молитвѣ! Какъ я буду тамъ подъ землей безъ Бога? Вретъ Ракитинъ: если Бога съ земли изгонятъ, мы подъ землей Его срѣтимъ! Каторжному безъ Бога жить невозможно, невозможнѣе даже, чѣмъ некаторжному? И тогда мы, подземные человѣки, запоемъ изъ нѣдръ земли трагическій гимнъ Богу, у котораго радость!

Да здравствуетъ Богъ и Его радость! Люблю Его! („Братья Карамазовы").

Вотъ какъ проявилась въ творчествѣ Достоевскаго эта своеобразная особенность русскаго индивидуализма, особенность, придающая этому послѣднему религіозное оправданіе, особенность, образующая въ немъ глубокій прорывъ въ вѣчность, сообщающая человѣческому духу безмѣрную, головокружительную, безконечную свободу...

Такимъ образомъ, прежній подпольный, рахитичный, безсильный, демоническій индивидуализмъ перевоплощается въ индивидуализмъ религіозный, тѣмъ самымъ обрѣтая невѣдомую доселѣ свободу...

Подпольный индивидуализмъ не былъ свободенъ, потому что не было просвѣта, не было отдыха отъ безумной тяжести, не было облегченья отъ мукъ, все было сгущено въ грязную, болотную тучу, гдѣ сырая разслабленность, гдѣ вѣчное проклятье, вѣчный зудъ боли и вѣчная ненависть!.. И не давали душѣ удовлетворенья эти злобные, хихикающіе, ядовитые выпады, послѣ которыхъ собачья приниженность оставалась въ прежней силѣ и не давала жить, не давала дышать; не было удовлетворенія и послѣ проклятья, ибо каково бы ни было проклятье, до какихъ бы размѣровъ оно ни простиралось, а обида все же останется и будетъ жить въ душѣ, будетъ жить тупой болью, неисцѣлимой, гніющей раной; не было возможности на воздухъ выйти и безъ страха взглянуть въ лицо человѣку, не было возможности отмстить плюгавенькому офицерику, который тѣмъ и обидѣлъ, что не обратилъ никакого вниманія,—и именно отъ этого надрывалось въ мукахъ ночныхъ несчастное, забитое, рабское сердце, истекало кровью, терзалось, трепетало, какъ раненая птица, падало, разбивалось, въ ужасѣ, въ трепетѣ, въ рыдающей невыносимой боли билось въ сыромъ подвалѣ, изнемогало, таяло, умирало, уничтожалось въ одномъ сознаніи, въ сознаніи своей безпомощности, своего безсилья, своего безысходнаго униженія!.. Такого состоянія живая душа не можетъ долго выносить, не можетъ по существу своему, такого рабства—безпросвѣтнаго, болѣзненнаго чаднаго,—немогъ вынести Достоевскій...

И вотъ въ эту минуту ему на помощь пришло религіозное сознаніе, которое многое измѣнило, многое преобразило, многое обновило въ его жизни и

творчествѣ, хотя *не спасло*... Оно освободило душу его изъ подполья, вывело на свѣтъ Божій, раскрыло невѣдомые горизонты, о которыхъ онъ до того не имѣлъ и понятія, оно пріобщило его къ тайнѣ русскаго творчества, къ тайнѣ глухой и мучительной, но дающей странный восторгъ, странный трепетъ, неземныя предчувствія изстрадавшемуся, закоснѣвшему, уничтоженному въ безплодномъ анархическомъ бунтѣ духу...

И нѣтъ сомнѣнія, что этому религіозному освобожденію Достоевскій обязанъ жизнью, благодаря ему онъ сохранилъ въ себѣ силы, благодаря ему— онъ сталъ геніальнымъ писателемъ, благодаря ему— онъ былъ въ состояніи нести непосильный крестъ человѣка, который обладалъ невыносимо утонченной душой, который чувствовалъ то, чего не можетъ вынести ни одинъ человѣкъ, который зналъ такія тайны, раскрытье которыхъ, можетъ быть разрушило бы весь этотъ міръ до основанія!...

Это освобожденіе рабскую душу напоило горнимъ свѣтомъ, оно открыло передъ этой душой такія дали, предъ которыми она повергласъ въ ужасѣ, въ трепетѣ, въ судорогахъ, въ нѣмомъ, обезсиливающемъ экстазѣ, и только въ уста Кириллова да князя Мышкина вложила свое чудесное знаніе о тѣхъ минутахъ, когда душа отдѣляется отъ тѣла и становится причастной божественной тайнѣ, о тѣхъ минутахъ, которыя не выносимы, которыя извѣстны только избраннымъ, только озареннымъ, только блаженнымъ!...

Въ чемъ-же эта новая религіозная свобода Достоевскаго, въ чемъ сущность этой свободы, въ чемъ ея сила? Прежде всего и несомнѣнно—въ расшире-

ніи горизонтовъ духа, въ соединеніи земного съ небеснымъ... Предъ Достоевскимъ развернулась свѣтозарная дорога и не было ей конца, и конецъ былъ невозможенъ, ибо она уходила въ вѣчность, и по этой дорогѣ пошла его душа.

Подпольная, горькая, отравленная правда преобразилась въ правду религіозную, анархическіе замыслы оказались предъ этой единственной правдой ненужными и постылыми, злоба, проклятье, ненависть, разрушенье, адское, порочное, преступное хоть и сохранились въ немъ, но не въ нихъ теперь было главное, все это подчинилось чему-то новому, чему-то совершенно отличному отъ прежняго—чудотворной мечтѣ всѣхъ этихъ юродивыхъ, блаженныхъ, припадочныхъ, больныхъ, всей широкой и необъятной святой Руси...

И это было вовсе не ограниченіе личности, какъ это можетъ показаться на первый взглядъ и что особенно замѣчается въ религіозномъ переворотѣ Толстого, въ томъ-то и вся красота и сила личности Достоевскаго, что религія не сузила горизонтовъ его духа, не ограничила, необезкрылила его, а наоборотъ—расширила, углубила, придала ему необычайный, геніальный размахъ, и благодаря ей, онъ оказался въ силахъ проникнуть въ такія дебри, постичь такія тайны, заглянуть въ такія глубины, которыя раскрываются только религіозному творчеству и возможны только въ немъ.

Страшная молнія озарила черными тучами покрытое небо, и изъ оглушительнаго грома, изъ слѣпительнаго сверканія, изъ кровавой обнаженности неба—родилась свѣтоносная, опьяняющая вѣсть...

Трагедія преобразилась въ мучительной боли восторга изъ безсилія въ героическую силу...

Но не было спасенья, не было дѣтской улыбки, той единственной улыбки, уничтожающей ненужную тяжесть, которая облегчаетъ муку...

Нѣтъ, мука осталась, мука снова сжала въ своихъ безпощадныхъ объятіяхъ душу, снова моремъ кровавымъ разлилась въ мозгу.

И мука была безгранична...

И мука была—Богъ...

III.

Эта мука отъ Бога прошла сквозь душу, сквозь жизнь Достоевскаго, она родила въ немъ не только вѣру, не только христіанскую добродѣтель, нѣтъ, она вызвала цѣлую бездну сомнѣній, множество глубинъ манящихъ и неизвѣданныхъ открыла ему, множество самыхъ безумныхъ замысловъ зародила въ немъ, и вотъ—цѣлое царство, цѣлая страна, цѣлый міръ передъ нами, и въ немъ—все та же неуспокоенная больная мука, и въ немъ все тотъ же бредъ, все то же творческое безуміе... Безуміе неразгаданныхъ сновъ... Безуміе генія...

Да, не было покоя въ этой навѣки потерявшей всякое спокойствіе, всякую гармонію, душѣ!.. Не было ни одной минуты, когда бы не трясла имъ эта роковая, надрывная лихорадка... Не было пристани, гдѣ бы кончилось воспаленное горѣніе... Не было силы, которая бы смогла залѣчить его раны и снять съ сердца невыносимо тяжелый камень!.. Такого страданья не вынесетъ, не можетъ вынести одинокая душа, а его душа—уже вслѣдствіе своей геніальности—не могла не быть одинокой... Такое страданье сдѣлаетъ творчество пыткой одной, и не будетъ забвенья ни въ радостяхъ творчества, ни въ славѣ, ни въ вѣч-

ности!.. А сердце такъ проситъ хоть минуты одной, когда бы появился хоть лучъ одинъ надежды, а сердце замереть хочетъ въ спокойствіи, сердце больное устало отъ мукъ, надорвалось отъ жизни, надорвалось въ желаніи уйти отъ себя!.. И не надо уже ни глубины, ни боли, ни счастья отъ сновъ безумныхъ, не надо таланта, хочется только увѣренности въ себѣ, хочется облегченія, оправданія, выхода, хочется всю жизнь продать за одну увѣренность, что все это, вся эта мука не только сонъ, не только кошмаръ, а правда, ради которой стоитъ жить...

Достоевскій въ послѣдней мукѣ нашелъ свою правду, правда была Христосъ... И вовсе не система какая-нибудь религіозная, не соловьевская философія, не книжная риторика была его правда (въ этомъ случаѣ онъ оказался бы въ дуракахъ) а живой, воплотившійся въ русскую душу Христосъ, тихій, истерзанный, безмѣрно прекрасный Христосъ, что-то родное, что-то опьяняющее свѣтомъ, что-то снова безумное, снова страдальческое, снова надрывное, но за то дающее жить, дающее *увѣренность жить*, роднящее съ вѣчностью, съ народомъ, съ церковью, съ міромъ!..

И вотъ для выбора два пути: или душу умертвить догмой, или—предать Христа искушеніямъ своимъ, замучить Его пороками своими, адскими страстями, проклятьями, злобой своей, до черты дойти, душу чорту продать, полетѣть въ бездну вверхъ тормашками, истлѣть, изгрызться, осатанѣть въ черномъ отчаяньи, а потомъ—снова съ рыданьемъ, съ воплемъ, съ ужаснымъ звѣринымъ крикомъ припасть ко Христу, истаять, исчезнуть, воскреснуть!..

Конечно, Достоевскій по натурѣ своей—долженъ былъ пойти по второму пути. И сколько бы онъ ни

вынесъ сомнѣній, въ какіе бы омуты ни погружался, въ какое бы отчаянье ни приходилъ, но подпольнаго мрака, но карамазовскаго бреда уже не было, была тихая жуткая глубь,—и въ ней тонула вся жизнь, была незримая спасительная красота,—и она стояла, струилась, таилась вокругъ, было близко чудо,—и оно открывало новые горизонты, и оно колдовало!...

Достоевскій сталъ христіаниномъ.—Онъ задумалъ написать цѣлый рядъ романовъ о Христѣ, воплощенномъ въ русской жизни, о новой землѣ, о новомъ Христовомъ Градѣ, о новомъ христіанинѣ, котораго должна создать Россія и въ которомъ—ея будущее, ея оправданіе, ея новая жизнь. Вмѣстѣ съ Вл. Соловьевымъ онъ ѣздитъ въ знаменитую Оптину Пустынь, вся жизнь русскаго монашества, все сокровенное, все глубокое, что таитъ въ себѣ Православная Церковь, иночество, бродячая Русь, Русь подвижниковъ, старцевъ, юродивыхъ, блаженныхъ,—проходитъ мимо него, въ душу тѣснятся кровные, родные, чудные образы старца Зосимы, Алеши, въ душѣ сквозь чадъ и бредъ, сквозь застывшую черную муку, просвѣчиваетъ вѣра,..

Достоевскій—христіанинъ... И вотъ, изъ творчества воскресаетъ въ образахъ, въ живыхъ символахъ—его христіанское настроеніе... Передъ нами: кн. Мышкинъ, Шатовъ, старецъ Зосима, Долгорукій-отецъ, Алеша и другіе. Передъ нами живые лики этого третьяго міра Достоевскаго, и въ психологіи этихъ лицъ, въ ихъ переживаніяхъ, въ ихъ дѣйствіяхъ—ключъ къ пониманію ихъ творца... И не разсужденія, а только проникновенное сліяніе съ этими созданіями должно указать намъ путь къ душѣ великаго писателя, иными путями, за отсутствіемъ полной

и вѣрной біографіи Достоевскаго (которой, къ нашему стыду—еще нѣтъ)—идти и невозможно...

На первомъ планѣ—самое загадочное, самое удивительное лицо, равнаго которому по грандіозному замыслу и не найдете у Достоевскаго—лицо этого русскаго, истиннаго русскаго христіанина, этого очаровательнаго юродиваго—князя Мышкина...

Вотъ, приблизилось оно и засіяло, и словно душистое облако таетъ въ душѣ, и радостно; и совсѣмъ не то лицо у него, что въ романѣ, очерченное двумя—тремя ничего не говорящими штрихами, а другое, совсѣмъ другое.... Вотъ такое, какъ на картинахъ Нестеро а—единственнаго художника, который могъ бы его возсоздать, такое вотъ, какъ у Отрока Дмитрія Убіеннаго, но пожалуй—еще рельефнѣе, еще болѣе захватывающее, чтобы глаза были чуть-чуть безумные и тихіе, и тоскующіе, манящіе въ глубину, въ нѣжный омутъ прозрачной глубины, а вокругъ глазъ—синева, и щеки блѣдныя, а на дрожащихъ, непорочныхъ губахъ—неземная улыбка, и въ улыбкѣ—самая главная, томительная, захватывающая прелесть!..... Ангелъ... Серафимъ... Ребенокъ...

Все, что было у Достоевскаго неземного, непорочнаго, свѣтлаго, больного, нездѣшняго—вошло въ этотъ образъ, воплотилось въ него, ожило и пошло въ жизнь...

Въ жизнь его нарочно отправилъ, можетъ быть съ не меньшею злобой и сарказмомъ, чѣмъ у Рогожина были,—направилъ...

Можетъ быть, было желаніе увидѣть, что скажутъ люди, когда къ нимъ подойдетъ *такая* душа, какъ примутъ они ее, смогутъ-ли понять?..

Можетъ быть—снова рукой водилъ діаволъ и нашептывалъ тихія искушенія, и вмѣстѣ смѣялись, надрываясь надъ міромъ, людьми, и вмѣстѣ бросали въ пошлость и грязь бѣлоснѣжную душу, и боль была отъ обиды, и горечь была безпредѣльна, и ѣдкій смѣхъ смѣнялся слезами безъ искупленія, слезами надъ міромъ, людьми, надъ душой своей одиноко й отравленной, ни міру, ни людямъ ненужной?...

Ибо не на словахъ, не въ прекрасно написанныхъ книгахъ хотѣлось христіанниномъ быть, нѣтъ, нужно было понести свою правду въ жизнь, въ самую обыкновенную жизнь, къ самымъ обыкновеннымъ людямъ, нужно было снова увидѣть хоть отблескъ, хоть тѣнь рокового лика здѣсь, сейчасъ-же, на мѣстѣ, въ пыли и грязи, среди улицъ, въ гостиныхъ, на рынкѣ, въ чаду страстей и интригъ!..

Пусть предстанетъ предъ глазами воскрешенная правда, ибо разъ она правда—нужно безпрестанно, безконечно, неутомимо воскрешать ее всюду,—чтобы жила она во плоти и крови—живая, чтобы вновь и вновь постигать ея сокровенный смыслъ, чтобы вновь и вновь созерцать красоту ея, пить ея кровь, пить воду живую и вѣчную, распинаться въ тоскѣ и сомнѣніяхъ, горѣть, пропадать, воскресать!..

Вотъ, каковъ долженъ быть русскій христіанинъ, вотъ оно—наше чудо!—говоритъ Достоевскій, облекая Мышкина въ жалкіе штиблетишки, толкая въ переднія, предавая насмѣшкамъ, оскорбленіямъ, терзая его безпощадно, издѣваясь и злобствуя, и снова съ надрывомъ любви припадая устами къ блѣднымъ, прозрачнымъ, ненайденнымъ, нездѣшнимъ чертамъ!..

Какая пытка—создавать подобное лицо и въ немъ видѣть исполненіе своихъ жуткихъ замысловъ!..

Нѣтъ-ли въ этой хитрой, несомнѣнно хитрой, работѣ—извѣстной доли богохульства? Есть, безъ сомнѣнія есть... Но Достоевскій не былъ бы самимъ собой безъ богохульства, это ужъ такъ, это вѣрно!..

Вотъ онъ ведетъ Мышкина на муки отъ жизни, самъ знаетъ, что этотъ не отъ жизни, и не здѣсь ему быть, а оставаться нужно у Шнейдера въ лечебницѣ, ибо все, что не отъ жизни—должно быть въ лечебницѣ, иного мѣста еще не выдумали; а все же—ведетъ, подталкиваетъ, хохочетъ....

Жестокій талантъ—вотъ это опредѣленіе извѣстнаго критика, совсѣмъ не понявшаго Достоевскаго—сейчасъ-же и всплыло, когда видишь эти авторскія затѣи... Впрочемъ, чѣмъ было и наслаждаться, кромѣ жестокости и саможестокости, такая ужъ была душа отъ природы!...

Какъ живутъ эти люди! Цѣлый сѣрый адъ, цѣлый сѣрый кошмаръ!.. Во что они превратили дни свои, куда, въ какое мѣсто спрятали они душу свою человѣческую, что сдѣлали они изъ жизни!.. Эти генералы Епанчины, Иволгины, эти Тоцкіе, Ганечки, Фердыщенки, всѣ эти скотскія рожи, скалящія зубы, хрюкающія надъ всѣмъ святымъ, надъ всѣмъ вѣчнымъ, сытыя, съ глазами заплывшими жиромъ, изъ грязи своей хрюкающія безпощадно!.. Всѣ помыслы направлены на интриги, на деньги, на спасенье, на карты, на мелкія страстишки, на сальныя развлеченья... Пѣвички, концерты, духи, брилліанты, сонная одурь изъ мутныхъ душъ, тошнота и рвота, и мертвая безмятежность, и мертвая пыль отъ всѣхъ дѣлъ, отъ всѣхъ бумагъ, отъ всей жизни!.. И жирное генеральское сало, и тощая чиновничья Ганечкина злоба, и юродивая Лебедевская пришибленность—одинаково

мерзки, одинаково ужасны, какъ ужасна вся реальная жизнь—обыденщина отъ Гоголя и до нашихъ дней!..√Только Гоголь-то, можетъ быть, одинъ и понималъ мертвый этотъ ужасъ человѣческой ежедневной жизни, Гоголь, потому можетъ быть, и сжегъ всю эту безконечное число разъ воплощеную мерзость, что невмоготу стало больше ее воплощать, что вовсе никакого смѣха не можетъ быть отъ того, что мертвая жизнь и мертвыя души, что забыть, поскорѣе забыть ему было нужно весь этотъ сѣрый ужасъ, оттого и сжегъ его, оттого и умеръ, оттого и „лѣстницу!“ кричалъ... И не пора-ли наконецъ изъять эту червивую мерзость изъ всѣхъ повѣстей, романовъ, не пора-ли понять, что не надо ея, что она хуже всякой литературы и что вся мерзость литературы—ничто въ сравненіи съ этой проклятой дѣйствительностью, все остающейся объектомъ для художниковъ!.. Не пора-ли предоставить это постыдное, черное занятіе газетѣ и разомъ отдѣлиться отъ пошлости, отбросивъ ее въ сорную яму? Не пора-ли творить только вѣчное, а то, что душитъ, что душу гложетъ, что тошнотой выворачиваетъ внутренности—предать безпощадной казни?

Достоевскій всѣ эти гостинныя, меблированныя комнаты, трактирчики,—покорно описывалъ, ибо иначе, безъ нихъ—не выходило бы романовъ... Сюда и Мышкина повелъ...

За человѣческую душу страшно въ этой жизни, но если еще эта душа не такая, какъ у всѣхъ, если въ ней сіяетъ красота, если она вся дрожитъ здѣсь, трепещетъ, рвется отсюда вонъ, къ голубому чудному небу рвется и напрасны молитвы, напрасна любовь, напрасенъ подвигъ, потому что нѣтъ ей здѣсь спа-

сенья,—то страхъ переходитъ въ ужасъ и хочется—пусть бы умерла лучше она совсѣмъ. во имя избавленія отъ адскаго, невыносимаго понятія: „жить“!

Глубокія души, пусть не касаются онѣ жизни, пусть пролетаютъ онѣ надъ землей нерожденными, пусть исчезаютъ въ вѣчности, пусть ангелы, которые несутъ ихъ—знаютъ земную истину, великую, смертоносную истину, на которой строится жизнь, истину о томъ, что какъ бы ни была глубока душа, какъ бы ни была божественна ея глубина,—ее убьетъ пошлость, ее раздавитъ ползучая, гадкая, склизкая, мокрая пошлость, вонью своею задушитъ, замучитъ, истомитъ, развратитъ, прахомъ развѣетъ!...

Сколько разъ (и какіе титаны) пытались спасти этотъ міръ,—и что осталось отъ ихъ попытокъ? Былъ человѣкъ, равнаго которому нѣтъ и не будетъ,—и даже Его міръ не пощадилъ, распялъ Его міръ, кровью Его, мукой Его, смертью Его захлебнулся, и не погибъ міръ, нѣтъ, проглотилъ все это безъ труда и стоитъ—огромный,—стонетъ, хохочетъ, реветъ, чадомъ, вонью, гуломъ, ядомъ, трупной заразой отравляетъ воздухъ прозрачной вѣчности, съ непоколебимымъ спокойствіемъ, съ нѣмымъ равнодушіемъ огромнаго жвачнаго животнаго—тупо ждетъ своего суда!.. И судъ придетъ, придетъ великій, страшный судъ, карающій землю за всѣ ея дѣла, за всѣ кресты, за всѣ обиды, за всѣ поношенія, за всѣхъ распятыхъ, за всѣхъ замученныхъ, за всѣхъ оскорбленныхъ, и не будетъ пощады міру, и міръ погибнетъ!.. И если отнята послѣдняя надежда на воскресенье, на вѣчную жизнь, если отняты всѣ силы, если оставлены безъ отвѣта всѣ мольбы, всѣ жалобы, всѣ вопли, всѣ проклятья. то нужно жить

хоть этой слабой, больной надеждой, надеждой на судъ, который придетъ, который долженъ придти, иначе вся жизнь и всѣ мы—обманъ!

Всѣ вокругъ сами распинаются, сами убиваются, если ихъ не хотятъ мучить; всѣ поскорѣе стремятся тѣло свое бросить на растерзаніе страшному Звѣрю,—лишь бы только знать, что искуплена чѣмъ нибудь ихъ жизнь безсмысленная, темная и глухая, лишь бы повѣрить, что вмѣсто цѣли и смысла снова и нынѣ и вѣчно въ кровавомъ сіяніи горитъ неизмѣнный крестъ!..

Да, освѣтить темную пучину пылающей кровью крестовъ своихъ—развѣ есть, развѣ можетъ быть путь другой, кромѣ этого?...

Жизнь дается для счастья. А счастье—обманъ. Что-же дѣлать, гдѣ найти свою пристань, гдѣ найти свой необманный обманъ, гдѣ найти свою вѣчную правду?..

Или нужно только горѣть, неизмѣнно горѣть, изъ себя раздувая костеръ, на кострѣ своемъ позабывъ и о лжи, и о правдѣ?.. Никто не отвѣтитъ...

Но вотъ—снова рождается распятый Богъ, снова сіяетъ Ликъ, снова радость...

И должно быть—несказанный восторгъ въ душѣ у того, кто вѣритъ, кто чувствуетъ, что Его слышитъ Христосъ, что Христосъ припалъ грудью къ многострадальной землѣ, и доносится до Него каждый ея звукъ, каждое рыданье, каждая слеза!...

И молится душа: о, приблизься ко мнѣ, загляни въ мою душу, воскресни! Воскресни въ слезахъ моихъ, въ крови моей, въ потѣ моемъ, въ огнѣ пылающемъ, воскресни, явись!...

. . . . . .

Огромный, каменный городъ, царство князя міра сего, царство бездушное, мертвое, холодное,—открыло свою пасть.—и какъ въ горнилѣ—въ мукахъ черныхъ, въ грязи, во лжи и коварствѣ потонула бѣлая, прекрасная, святая душа!..

Какъ разъ совершаются злыя затѣи, тихіе, змѣиные соблазны, подготовляютъ куплю и продажу, душой торгуютъ, дѣлятъ ее на части, хотятъ продать Настасью Филипповну, купить ее отъ Тоцкаго для Ганечки, а Ганечка ужъ за извѣстную сумму долженъ уступить ее генералу Епанчину...

А та, которой торгуютъ эти люди,—обезумѣла отъ нанесенной обиды, вся дрожитъ, вся готова къ кровожадному прыжку, какъ пантера, и такая усталая (сколько страстей, сколько вожделѣній, сколько огненныхъ помысловъ сквозь душу ея прошло!), и такая блѣдная и такая отчаянная!.. Закружила имъ головы, отуманила—чудный, рѣдкій товаръ, рѣдкая красота...

И Тоцкій хочетъ отъ нея отдѣлаться, весь испуганный, знаетъ, что она и на преступленье рѣшиться можетъ, и Ганечка ненавидитъ ее какъ свой будущій позоръ, какъ свою муку, какъ болѣзнь свою. Ганечка Аглаю любитъ...

А изъ туманнаго угара глядятъ пылающіе, раскаленные въ больномъ огнѣ страсти глаза Рогожина, сторожатъ ее всюду, упиваются каждымъ шагомъ, готовятся къ нападенію...

Вся ослабѣвшая отъ этого похмелья страстей—злобно смѣется, устраиваетъ скандалы, дышетъ злобой, ненавистью, горемъ, свою безумную боль, свою неизлѣчимую рану, свою изломанную, несчастную судьбу заливая жертвенной кровью страданія!..

А души не видитъ никто!.. Душа обвита пьянящимъ тѣломъ красоты,—и множество рукъ въ трепетѣ, въ жаждѣ тянутся къ ней; какъ собаки воютъ люди, прыгая около лакомаго кусочка, каждый хочетъ себѣ, каждый другого зарѣжетъ изъ за обладанія, кровью, слюной похотливою, потомъ и грязью брызжутъ въ лицо повисшее надъ ними...

А на лицѣ гордая замершая скорбь... А на лицѣ испугъ и презрѣніе, и очарованіе безсилья. И грусть...

Всѣ эти люди полны человѣческаго и дальше человѣческаго не могутъ пойти. И сыты. И если бы даже въ душу закралась мысль о какихъ-то мірахъ нездѣшнихъ, о какомъ-то невозможномъ царствѣ—они бы заглушили эту мысль ироніей, смѣхомъ своимъ нечистымъ, бранью, сытостью здоровыхъ скотовъ!.. Всѣ эти люди не знаютъ черты, за которою открывается ужасъ, смятеніе, безуміе... Всѣ эти люди увѣрены, что ихъ жизнь—самая правильная, самая безукоризненная, самая образцовая жизнь... И довольны...

И вотъ приходитъ Мышкинъ. Лицо странное, движенія неувѣренныя, кротость, улыбка, разговариваетъ о душѣ своей съ лакеемъ, не знаетъ, что прилично а что—нѣтъ, вѣритъ каждому и каждаго любитъ; когда надъ нимъ смѣются, онъ смѣется тоже. полнѣйшее отсутствіе хитрости, продажности, злобы, ничего человѣческаго, никакихъ страстей ничего земного...

И сейчасъ употребили готовую кличку: идіотъ. Эту кличку подхватилъ Достоевскій, поставилъ заглавіемъ, любуется...

Ну, конечно-же, другой клички нельзя и найти... Все, что выходитъ изъ рамокъ жизни—отправляютъ въ лечебницу,—всякій, кто не можетъ жить какъ всѣ, у кого нѣтъ „приличнаго жеста", кто не умѣетъ лгать и обманывать,—тотъ идіотъ!

Онъ жилъ вдали отъ людей. До 24 лѣтъ былъ безумный... Потомъ вылѣчили. Толкнули въ жизнь.

Шнейдеръ обучалъ наукамъ... Шнейдеръ съ трудомъ убѣдилъ, что вотъ тамъ гдѣ-то живутъ люди и у нихъ своя жизнь, и эта жизнь правильная, и другой быть не можетъ...

Еще объяснилъ Шнейдеръ, что люди живутъ по законамъ разума и разумъ—царь этой жизни, а кто отступитъ отъ него хотя бы на іоту—погибнетъ... Еще Шнейдеръ обучалъ правиламъ ариѳметики, грамматики, логики... И началась жизнь!..

Какъ трудно, какъ жалко было спускаться внизъ, по ступенямъ разума, каждая ступень давалась цѣной невыносимой боли, и все было чужое вокругъ:—эти лица, эти рѣчи, эти слова, эти странные поступки, которые назывались правильными и образцовыми, вся эта чужая, непонятная жизнь!..

Словно изъ міра горняго, изъ міра красоты—такой чудесной, которая должна міръ спасти и которая снилась въ безумныхъ снахъ,—словно изъ этого никому не доступнаго міра, гдѣ небо слилось съ душою въ одномъ неразрывномъ объятіи,—выбросили, вытолкнули внизъ, на эту землю, къ этимъ людямъ, въ этотъ клубящійся адъ, который зовутъ единственно вѣрной дѣйствительностью, обучили приличнымъ жестамъ, заставили жить!

Покорно сталъ жить, покорно слушался Шнейдера, пріѣхалъ въ Петербургъ, къ этимъ людямъ,

которые смѣются надъ нимъ и называютъ идіотомъ, самъ повѣрилъ, что онъ идіотъ, но что такое жизнь и зачѣмъ она—понять не могъ...

Широко раскрытыми дѣтскими своими глазами глядѣлъ вокругъ, улыбался, любилъ, принималъ все, старался понять, не могъ!

Жалѣлъ, что нѣтъ Шнейдера... Тотъ бы ему все разъяснилъ, онъ имѣлъ на него магическое вліяніе... Онъ бы ему прекрасно разъяснилъ, по пунктамъ,—и все бы стало понятно, и онъ бы повѣрилъ, и не было бы сомнѣній...

Эти Шнейдеры могутъ сдѣлать такъ, что и сомнѣній не будетъ, они сумѣютъ доказать, что человѣкъ машина и что всякія волненія души излѣчиваются бромомъ и гидропатіей—и всегда достигаютъ результатовъ!..

Но Шнейдера не было.. Вокругъ были чужіе люди. Люди творили адъ, торговали собой, торговали другими, говорили приличныя слова, а въ душѣ издѣвались надъ человѣкомъ, лгали неутомимо, артистически, сонная скука, безпросвѣтная чадная ночь, сонная одурь царили надъ ними,—и это называлось дѣйствительностью, построенною по законамъ разума, и всѣ были довольны!..

Но не могъ ненавидѣть... Любилъ... Любилъ всѣхъ, жалѣлъ всѣхъ, входилъ въ положеніе каждаго, понималъ несчастныхъ, думалъ,—если приблизиться къ человѣку и начать гладить лицо его рукой, долго, нѣжно гладить и улыбаться растеряно, по дѣтски,—то все пройдетъ и будетъ хорошо!

Но мучительно было съ людьми, люди не понимали улыбокъ, люди гасили улыбки холодомъ, злобой, презрѣніемъ, и не нужна была никому его лас-

ка, не нужна душа улыбчивая, свѣтоносная, женственно нѣжная, и было отъ этого больно!..

Вотъ дѣти—тѣ его принимали, дѣти понимали его съ перваго слова и были въ восторгѣ. И Шнейдеръ говорилъ:—„вы ребенокъ“...—А онъ убѣждалъ всѣхъ, что только дѣти—правда и что нужно лечиться черезъ дѣтей.

Это была душа не только религіозная, но какъ бы носящая въ себѣ небо, это было нѣчто божественное, оторванное отъ неба и по ошибкѣ попавшее на землю... А отъ земли была боль, земля была непонятна, земля была чужая всегда и люди чужіе, и безпомощная, дѣтская, растерянная любовь была къ людямъ!.. Тамъ, откуда пришелъ, гдѣ находился до 24 лѣтъ—было совсѣмъ иначе, *какъ*—разсказать не могъ... Правда, тамъ была больная, мрачная тяжесть, тамъ былъ смутный хаосъ, тамъ была безконечность, но тамъ же было и хорошо, хорошо оттого, что не было никакихъ словъ, никакого разума, никакихъ сомнѣній, никакого обмана, хорошо оттого, что душа возносилась, душа поминутно отдѣлялась отъ тѣла и пребывала—гдѣ? неизвѣстно,—можетъ быть, въ голубомъ небѣ, можетъ быть, среди сонма ангельскихъ ликовъ, можетъ быть, у престола Христа!...

Странные, волнующіе, безмятежные звуки рыдали и пѣли въ душѣ, душа была какъ одна вѣчность, какъ вѣчность, живущая въ музыкѣ, душа была какъ беззакатное, пылающее, творческое чудо... Тамъ была красота.

Но нельзя припомнить, нельзя возродить ее въ разумѣ. Она выше разума, она выше жизни... Она какъ Жена Облеченная въ солнце...

И теперь только снится въ усталыхъ безнадежныхъ земныхъ снахъ, и болью сжимается сердце, и хочется рыдать, хочется душу утопить въ рыданіяхъ, когда проснешься... И зачѣмъ тогда жизнь?...

Теперь—только отраженія, только мгновенные возвраты, только тоска, только слабость... Теперь только сонъ, сонъ тяжелый и мрачный... Теперь тюрьма!

Достоевскій чудо свое облекъ нарочно въ это худенькое, никому не нужное, больное, странное тѣло, нарочно заставляетъ мучиться Мышкина въ жизненныхъ цѣпяхъ... Онъ знаетъ прекрасно, что Мышкинъ не отъ жизни, что все его христіанство призрачно и таетъ какъ паръ отъ прикосновенія къ жизни, онъ знаетъ, что это—лишь символъ горняго міра, лишь ангельскій ликъ, повисшій надъ жизнью этихъ людей, чтобы манить, чтобы очаровывать, и напрасно онъ вкладываетъ въ эти уста свои христіанскія разсужденія, они подъ стать Соловьеву, Аксакову, Самарину, кому угодно, только не Мышкину, который *не можетъ* разсуждать, какъ бы ни хотѣлъ этого Достоевскій, который можетъ только по лицу гладить рукой или смотрѣть въ душу безумными своими глазами и говорить безъ словъ о непостижимомъ, о запредѣльномъ, о тайномъ.

Для славянофиловъ, для христіанскихъ философовъ, для всѣхъ умныхъ людей міра сего вѣра нужна какъ миросозерцаніе, какъ система, какъ догматъ, безъ которыхъ жить они никакъ не могутъ, вѣра для такихъ людей есть и можетъ быть только средствомъ, а не цѣлью, да они убьютъ своимъ разумомъ и своими рѣчами всякій огонь вѣры, всякій экстазъ, всякое безуміе! Они такъ привыкли

къ словамъ, они такъ порабощены землей, такъ испорчены наукой, что все—всякій даръ Божій у нихъ превращается только въ одинъ ненужныя фразы.

Мышкинъ совсѣмъ не такой... Онъ именно единственный *истинный христіанинъ* въ творчествѣ Достоевскаго, единственный, кому можно открыто повѣрить, единственный, кому можно безъ колебанія открыть душу... Это—одно воплощеніе вѣры, той дѣтской, безпомощной, но бездонной вѣры, которой отличается истинное христіанство... Онъ ни передъ чѣмъ не поколеблется, не задумается, онъ на все готовъ пойти, онъ полонъ безумія, полонъ экстаза, онъ полонъ той больной красоты, новой, непостижимой красоты, которая кружитъ душу, уводитъ душу на таинственные пути и обрекаетъ на мученья, на тоску, на неудовлетворенность земнымъ и возможнымъ!... Онъ именно изъ тѣхъ немногихъ—юродивыхъ, блаженныхъ, которые бродятъ по русской землѣ вѣчными странниками и о которыхъ еще Вл. Соловьевъ выразился, что именно они могутъ быть названы людьми истиннаго христіанства.

Мышкинъ—это воплощенное чудо въ жизни, то чудо, о которомъ Достоевскій думалъ, что если даже не спасетъ оно міра, то по крайней мѣрѣ—удивитъ всѣхъ, наполнитъ душу страшнымъ восторгомъ, заронитъ помыслы и видѣнія не отъ міра сего, жуткою дрожью пройметъ!

Но нѣтъ, только двѣ женщины поняли это чудо, поняли и преклонились предъ нимъ съ молитвой, съ восторгомъ, съ любовью приняли его въ свою душу...

Всѣ же прочіе остались въ недоумѣніи. Они отнеслись къ нему какъ къ уроду, какъ къ оригиналу, какъ къ потѣшному Донъ-Кихоту, они хоть и пони-

мали, что онъ выше ихъ, выше ихъ жизни, но въ душѣ при всемъ расположеніи къ нему—смѣялись надъ нимъ-же, не могли простить ему его неумѣнія держать себя въ обществѣ, его простодушія, его обнаженной откровенности... И жизнь не измѣнилась, никто не пошелъ за нимъ, никто не увѣровалъ въ его Бога, онъ оказался ненужнымъ въ этой жизни, какъ ненужны въ ней всѣ необычные, всѣ безумные, всѣ знающіе тайну люди... Такимъ людямъ жизнь никогда не проститъ ихъ необыкновенности, такихъ людей жизнь замучитъ, исковеркаетъ, испошлитъ, или выброситъ вонъ,—и только немногія, родныя души робко приблизятся въ недоумѣніи и пойдутъ за ними къ одной цѣли—безмолвныя, грустныя, ненужныя никому и одинокія до отчаянья...

Настасья Филипповна полюбила его за то, что онъ увидѣлъ сквозь красоту тѣла ея несчастную, одинокую, обезумѣвшую отъ страданья душу, приблизился къ этой душѣ, хотѣлъ взять на себя весь ея позоръ, всю ея тяжесть, принести всего себя въ жертву во имя ея, во имя той красоты чудесной, которая такъ близко была его душѣ и которую онъ уже видѣлъ неизвѣстно гдѣ, не можетъ припомнить—можетъ быть въ снахъ...

Это здѣсь, въ ней онъ увидѣлъ отраженіе своихъ погибшихъ міровъ безумія, которые были жизнью его, которые были его небомъ—и весь содрогнулся, и полюбилъ...

Та затаенная больная грусть, что свѣтилась въ глазахъ ея и которою она была обвита вся словно гирляндами странныхъ, усталыхъ, нѣжныхъ цвѣтовъ—эта грусть, можетъ быть, была содержаніемъ тѣхъ его погибшихъ міровъ, той покинутой заколдованной

страны безумія, въ которой онъ пребывалъ столько лѣтъ...

И въ больномъ тѣлѣ—больная любовь... Любовь странная, почти невозможная въ мірѣ, почти чудесная, истинно христіанская, безполая, безстрастная, безмятежная, вся какъ улыбка одна—эта его чарующая, измученная, странно дѣтская улыбка, вся какъ неземной восторгъ, вся—одна душа, только душа!..

Сколько женщинъ тоскуютъ именно по такой любви, сколько женскихъ жизней вянутъ и умираютъ оттого, что *такая* любовь, любовь—мечта, любовь—небо, любовь—тайна—не пришла, сколько обмановъ, сколько жертвъ, сколько разбитыхъ душъ оттого, что даже въ любви—земля!... Надъ ожиданіемъ подобной духовной, небесной любви смѣются, называютъ это институтскими мечтаніями, но бѣлый цвѣтокъ чудесной любви цвѣтетъ тайно и скрытно въ женской душѣ, цвѣтетъ и дрожитъ, замирая въ безумной тоскѣ, вздрагивая отъ оскорбленія землею юныхъ сновъ, сновъ о невозможномъ чудѣ, обливаясь кровью все одной и той же трагической жертвы въ пользу земли!...

То, что было невозможнымъ для міра,—возможно для этихъ странныхъ больныхъ дѣтей, юродивыхъ, возможно для Мышкина! Онъ любитъ Настасью Филипповну, любитъ Аглаю, и обѣихъ любитъ только *духовно*, безъ малѣйшей примѣси плотскаго, безъ всякой страсти, безъ всякаго физическаго желанія, онъ любитъ ихъ любовью ребенка—невиннаго ребенка, оторваннаго отъ сновъ безумія къ грязной, постылой землѣ, любитъ больше жалѣя, больше восхищаясь, больше молясь, чѣмъ желая—и въ этомъ вто-

рое чудо этой загадочной души, этого пророка новой красоты на землѣ... Онъ соединяетъ двѣ любви къ двумъ женщинамъ въ одну святыню, и хотя отъ этого столько недоразумѣній, столько взаимнаго непониманія, ревности, мученій, но онъ чуждъ всему этому, онъ цѣлуетъ съ одинаковымъ восторгомъ и портретъ Настасьи Филипповны, и записку Аглаи, и къ обѣимъ одинаково чувствуетъ свое дѣтское, больное, неземное, чудесное...

А земля смѣется... А земля проклинаетъ... Земля безмолвствуетъ... Не хочетъ принять земля никакихъ чудесъ, никакихъ подвиговъ, никакихъ жертвъ, у нея свои законы, свои велѣнія—и непреодолимая грязь, и тоска, и пресыщенье, и сонъ—тупой сонъ сытыхъ жвачныхъ животныхъ въ минуту рожденія великаго чуда...

Кто вѣренъ землѣ—тотъ, хотя и будетъ сытъ на минуту, но не оставитъ его неутолимая, тоскливая, упорная жажда, сдѣлаетъ его вѣчнымъ странникомъ безъ пріюта, отравитъ всѣ минуты, и если есть у него душа—онъ не выдержитъ гнета земли, не выдержитъ безпросвѣтнаго мрака...

Всѣ они жаждутъ чего-то безпрестанно, и, хоть и получатъ—не успокоятся... Ганечка жаждетъ блестящей карьеры, красивой жены, Лебедевъ—денегъ, Ипполитъ—безсмертія, отмщенія за болѣзнь, разрѣшенія всѣхъ жизненныхъ вопросовъ... Мышкинъ не чувствуетъ вовсе никакой жажды, не испытываетъ волненій, не знаетъ страстей и въ этомъ его счастье!...

Но зато у него есть богатство, недоступное ни для кого, у него есть свое счастье—счастье не отъ міра сего, счастье больное, такое счастье, которое всѣ сочтутъ наказаніемъ, котораго никто не пойметъ!...

Это его минуты вознесенія, минуты, когда въ мучительномъ припадкѣ душа снова возвращалась въ покинутую обитель свою, минуты геніальнаго прозрѣнія, когда вся душа, вся жизнь, весь міръ соединяются въ одну изводящую боль блаженства, *минуты религіознаго экстаза.*

Въ такія минуты онъ постигалъ то, что закрыто отъ всѣхъ, что недоступно никому изъ прикрѣпленныхъ къ землѣ, въ такія минуты *„кажется, что времени больше не будетъ“*, что вѣчность проходитъ сквозь душу, что Богъ воплощается въ душу.

И вотъ какъ Мышкинъ самъ объясняетъ эти удивительныя минуты своего непостижимаго счастья:

„Какое до того дѣло, что это напряженіе ненормальное, если самый результатъ, если минута ощущенія, припоминаемая и разсматриваемая уже въ здоровомъ состояніи, оказывается въ высшей степени гармоніей, красотой, даетъ неслыханное и негаданное дотолѣ чувство полноты, мѣры, примиренія и восторженнаго молитвеннаго слитія съ самымъ высшимъ синтезомъ жизни? Въ томъ же, что это дѣйствительно красота и молитва, что это дѣйствительно высшій синтезъ жизни, въ этомъ онъ сомнѣваться не могъ, да и сомнѣній не могъ допустить!...“

Безумное чудо Достоевскаго покорилось предъ жизнью, ибо предъ жизнью безсильно все, что не отъ міра сего, все, что выше середины, но путь, тотъ единственный путь, котораго душа искала всю жизнь и въ которомъ возможно было преображеніе—былъ найденъ...

Путь этотъ былъ—живая религіозная жизнь въ откровеніяхъ безумія.

IV.

Безпощадна моя дорога,
Она меня къ смерти ведетъ.
Но люблю я себя какъ Бога,
Любовь мою душу спасетъ.
З. Гиппіусъ.

Такіе люди, какъ Мышкинъ—новые люди... Пусть они безсильны, и безпомощны, и смѣшны въ глазахъ человѣческихъ, но они знаютъ тайну, они носятъ ее въ душѣ своей, и міръ нездѣшній, міръ чудный, горній въ нихъ, и они ищутъ *слова*... Слово должно быть откровеніемъ, слово будетъ магическимъ ключемъ къ невидимому царству, вокругъ котораго они ходятъ, слово укажетъ путь... Въ страдальческомъ напряженіи душа Мышкина рвется сквозь жизнь къ той минутѣ, когда ослѣпительный свѣтъ духомъ святымъ снизойдетъ на него, когда экстазъ вознесенія съ небомъ сроднитъ, когда времени больше не будетъ... И въ этомъ—жизнь... А все остальное—не жизнь, а лишь тѣнь неземной красоты, къ которой такъ рѣдко, такъ рѣдко и трудно вернуться!... И за Мышкинымъ—многіе, ему подобные—чающіе чуда, чающіе новой земли и новаго царства, для которыхъ земная жизнь—не жизнь, а мученіе...

Съ горняго міра срываются эти души и падаютъ на землю, и теряютъ крылья, и всѣ ихъ стремленія направлены къ возврату, и всѣ ихъ мысли и переживанія такія странныя, такія непонятныя и чуждыя людямъ, и вся ихъ мука и вся ихъ молитва кажется этимъ людямъ далекой, смѣшной... Въ нихъ зрѣетъ безуміе, и безумные, непосильные сны имъ снятся, и они видятъ чертоги нездѣшніе—хрустальные—прозрачные—и нѣтъ силъ войти въ нихъ, и безуміе, и изумленный восторгъ, и страхъ...

А жить нужно. Жизнь требуетъ исполненія ея законовъ, жизнь заставляетъ дѣлать то, что дѣлаютъ всѣ, жизнь безпощадна...

И они—эти блаженные, эти Мышкины, эти странные люди,—запутываются въ жизни и, сквозь обыденное, сквозь гнусное, сквозь житейское—стремятся къ далекой землѣ, къ таинственному храму, къ чуду нездѣшнему,—и въ этомъ ихъ трагедія... Безуміе имъ грезится, сверхчеловѣческіе подвиги, невозможное, необъяснимое—и путь ихъ—путь души, стремящейся изъ жизни къ Богу, религіозный путь...

Такіе новые люди, такіе вѣстники новаго, грядущаго, можетъ быть невозможнаго царства—проходятъ предъ нами въ творчествѣ З. Н. Гиппіусъ—единственной глубокой, незаурядной женщины—писательницы въ Россіи...

Я не напрасно говорю, что она—единственная. Она и вправду единственная; тщетно ищу, кого бы сравнить съ ней—и не нахожу... Здѣсь она со всею своей сложностью, со всей многогранностью и глубиной бездонной—какъ бы ненужная, какъ бы далекая, и такая *отдѣльная*... И совсѣмъ, совсѣмъ по-

вая, какъ новы тѣ люди (а можетъ быть и не люди, а призраки, тайные символы, смутные образы), которыхъ она создаетъ... Она вся—тайна. Она вся—неразгаданность...

Мышкинъ поражалъ всѣхъ своей странностью, но онъ-же наводилъ и чары,—и чары кружили голову, завораживали кровь, уносили душу куда-то, и предъ душою Настасьи Филипповны открывались новыя дали. Прикасалась душой къ запредѣльному, содрогалась отъ прикосновеній... А то, что открывало въ Мышкинѣ небеса—было чудо, была религіозная истина, было предчувствіе чего-то безумнаго, нечеловѣческаго... То же и въ Гиппіусъ. Въ ней Мышкинъ отразился довольно отчетливо, многія, многія ея черты, многіе изъ ея „новыхъ людей“ идутъ по пути Мышкина и его душа *часть* души, часть творчества самой Гиппіусъ. Хотя и не все отъ Мышкина вошло въ нее, многое ей вовсе чуждо, но его причастность къ запредѣльному міру, его горній свѣтъ, его неземная, чудотворная, божественная красота, красота безумія—родственны ей, составляютъ плоть ея творчества...

Только свѣтъ получился очень ужъ тусклый, холодный, жуткій, только безуміе отразилось слишкомъ ужъ слабо, сквозь разумъ, не женскій разумъ ея прошло это безуміе и стало оно не творческимъ, какъ у Мышкина, а больше умственнымъ, сочиненнымъ, и красота стала другой, слишкомъ тонкой, слишкомъ неуловимой, слишкомъ прозрачной...

Не дѣтская это красота, не улыбчивая, не восторженная. И Мышкинъ бы ея не понялъ. Мышкинъ—ребенокъ. А Гиппіусъ не ребенокъ, что-то жуткое, что-то зловѣщее чувствуется въ ея душѣ,

больше родственное Достоевскому, чѣмъ Мышкину...

Я думаю, безъ Достоевскаго Гиппіусъ не была бы возможна; это красота, это жизнь Достоевскаго, это его сложность въ ней, и она безъ него, пожалуй, и непонятна!...

Мышкинское—только часть міра Гиппіусъ, и это Мышкинское въ ней переломилось весьма своеобразно, вылилось въ цѣлое, чисто субъективное, настроеніе, въ цѣлую мистерію, въ царство странныхъ, непонятныхъ міру и чуждыхъ ему людей—одинокихъ, загадочныхъ, которые живутъ здѣсь какъ бы въ полуснѣ, и вся жизнь ихъ кажется тѣнью, отраженіемъ, мечтой!...

Изъ Мышкинскаго безумія, изъ его дѣтской кротости, изъ его безсловеснаго очарованія, изъ его болѣзни—эти люди создали себѣ религію, религію новой грядущей жизни, которая должна придти и смѣнить то ужасное, косное, червивое, что утвердилось вокругъ...

Ихъ такъ мало, и всѣ они такіе слабые, невыраженные, въ намекахъ еще, въ штрихахъ, въ силуэтахъ, въ предчувствіяхъ, въ снахъ, и всѣ они до того поглощены мечтой своей, своимъ волнующимъ, сжигаемымъ чаяніемъ, что кажется—нѣтъ людей, не видно лицъ, не слышно голосовъ, а струится что-то прозрачное, какъ паръ, какъ астральное тѣло, въ смутныхъ очертаніяхъ образуя плоть тайны; это струится изъ жизни къ безпредѣльнымъ вершинамъ душа Гиппіусъ, *только душа ея, а не люди*, ибо слишкомъ необычна, слишкомъ неуловима мечта ея и слишкомъ далеки чертоги царства, чтобы можно было облечь символы души въ плоть и кровь человѣческихъ образовъ... Какъ въ драмахъ Мэтэрлинка

люди не плоть, а безъобразный хаосъ движеній души, такъ въ разсказахъ Гиппіусъ нѣтъ людей, а есть только ихъ отраженія изъ души автора въ міръ видимый, человѣческій...

Можетъ быть и есть въ обыденной жизни такіе люди (и навѣрное есть), но Гиппіусъ не смогла дать почувствовать, что они—живые, ибо слишкомъ символично ея творчество и эти люди лишь мысли ея, отраженныя на его экранѣ, лишь мечты, лишь сны...

Сны о томъ царствѣ, царствѣ новыхъ людей, съ новыми душами, съ новыми жизнями, къ которому стремится ея религіозный путь, сны о несбыточномъ, о невозможномъ, обо всемъ, чего нѣтъ, чего не будетъ, чего быть не можетъ...

Иные знаютъ, что не будетъ и невозможно, а все же могутъ сдѣлать такъ, что почувствуешь, что возможно, (это люди глубокой вѣры, зажигательной творческой силы),—Гиппіусъ не можетъ...

И не потому, что творчество ея лишено этой силы, а потому, что вѣра поколеблена изломами, соблазнами, искушеніями, водоворотомъ глубины, хаосомъ сомнѣній...

Вотъ почему ея религіозный путь есть путь страдальческій, какъ и путь Достоевскаго!..

Вотъ почему и онъ и она—соприкасаются въ общихъ точкахъ, въ роковыхъ точкахъ все одной и той же муки отъ Бога...

И оба міръ разрушающіе, и ненавидящіе его, и освящающіе чудомъ, и оба любящіе Бога и стремящіеся къ Нему сквозь сатанинскую тину соблазновъ, но оба не въ силахъ побороть и проклятье, и зло, и дьявола, который не меньше, чѣмъ Богъ близокъ душѣ... Въ этомъ-то и главная мука.

Въ стремленіяхъ героевъ Гиппіусъ къ новому царству, къ новой землѣ, къ граду невидимому, струящемуся посреди жизни и жуткою мукой маящему,—въ этихъ стремленіяхъ чувствуется душа Мышкина, его очарованье...

Это очарованье околдовало душу. Знаетъ душа, видитъ, чувствуетъ, что не здѣсь, не въ этой клоакѣ грязи, пошлости и непониманія—обитель ея, знаетъ душа, что здѣсь все—призракъ, все—тьма, все—обманъ, невѣрныя, смутныя отраженія пылающей, манящей небесной бездны, ослѣпительной и алой какъ кровь, знаетъ душа, что сбросить нужно тяжелыя, грязныя одежды и освободить себя нужно, взлетѣть, раствориться, исчезнуть,—воскреснуть...

Въ очарованьи этомъ кроется живительная истина о землѣ, превращенной въ небо, о сліяніи земли и неба въ одно блаженное царство, о чудѣ великомъ, чудѣ исполненія невозможнаго, чудѣ преображенія всей жизни, чудѣ созданія единственнаго слова, которое стало бы плотью и открыло бы *все!*...

И объ этомъ чудѣ молится душа. И безконечна, и печальна, и безотвѣтна молитва ея среди жизни. И въ молитвѣ—напѣвъ безутѣшной грусти.

Окно мое высоко надъ землею,
Высоко надъ землею.
Я вижу только небо съ вечерней зарею,—
Съ вечерней зарею.
И небо кажется пустымъ и блѣднымъ,
Такимъ пустымъ и блѣднымъ...
Оно не сжалится надъ сердцемъ бѣднымъ,
Надъ моимъ сердцемъ бѣднымъ.
Увы, въ печали безумной я умираю,
Я умираю...
Стремлюсь къ тому, чего я не знаю,
Не знаю...

И это желаніе не знаю откуда,
Пришло откуда,
Но сердце хочетъ и проситъ чуда,
Чуда.
О, пусть будетъ то, чего не бываетъ,
Никогда не бываетъ:
Мнѣ блѣдное небо чудесъ обѣщаетъ,
Оно обѣщаетъ,
Но плачу безъ слезъ о невѣрномъ обѣтѣ,
О невѣрномъ обѣтѣ,
Мнѣ нужно то, чего нѣтъ на свѣтѣ,
Чего нѣтъ на свѣтѣ.

И стала душа однимъ желаніемъ, одной тоской: изъ земли, изъ людей, изъ жизни вырвать хоть намекъ одинъ на это невозможное, на это чудесное, запредѣльное, пойти къ чуду цѣною мукъ и жертвъ, найти свое чудо хоть въ призракѣ, хоть въ подземельяхъ души своей воплощеннымъ!..

Исканіе чуда, исканіе царства не отъ міра сего, исканіе невозможнаго—оно прошло мечомъ острымъ и холоднымъ сквозь душу Гиппіусъ, оно отравило творчество ея больными грезами, неземными видѣніями, тоской мучительной,—и творчество стало предчувствіемъ, ясновидѣніемъ, колдовствомъ неустаннымъ, и если даже ничего не найдено, если всѣ надежды разсыпались въ прахъ, если все напрасно, то все-же путь ея есть истинно религіозный, живой, творческій путь, ибо даже въ гибели, даже въ послѣднемъ отчаяніи можно почувствовать Бога, а разъ почувствуешь Бога, значитъ путь, значитъ мука, значитъ сомнѣнія были не напрасны, а нужны... А это главное...

Какіе они усталые, надорванные—эти „новые люди", ждущіе исполненія своихъ странныхъ сновъ... Среди жизни они совсѣмъ безпомощны и ненужны,

жизнь заглушаетъ всѣ ихъ стремленія, отбрасываетъ въ сторону, какъ щепки, и они не то, что покоряются, а какъ то уходятъ въ себя, таютъ, блѣднѣютъ, вянутъ... У нихъ нѣтъ огня и не могутъ они пойти на костеръ, слишкомъ много сомнѣній; и бываютъ минуты, когда не знаешь, зачѣмъ всѣ стремленія и къ чему все, и они не могутъ стать побѣдителями, они всегда побѣжденные, и они не знаютъ увѣренности...

Но ясно, что вся душа, все существо души,—рвется къ новому граду—невидимому, но ясно, что не солнечный свѣтъ имъ нуженъ, а холодное сіяніе нездѣшнихъ, ненайденныхъ, чудесныхъ міровъ...

Это трудный путь. Они не могутъ преобразить дѣйствительности (хотя бы для себя) такъ просто и такъ безсознательно, какъ это дѣлаетъ Мышкинъ. Послѣдній повинуется своему безумію, и стоитъ ему отдаться своему экстазу, этимъ преображающимъ мукамъ его припадковъ—и онъ уже не на землѣ, онъ какъ бы въ вѣчности, онъ знаетъ то, чего никто не знаетъ, онъ совершаетъ человѣкобожеское таинство...

А они не могутъ, имъ нужно все это добывать изъ себя, имъ нужно себя мучить и мучить безпощадно, ибо они не безумные, а только желающіе стать безумными и безуміе свое изобрѣтающіе...

Кто знаетъ—можетъ быть и откроется имъ тайна такимъ образомъ, можетъ быть и почувствуютъ они ее, но завладѣть ею, но *ощутить* въ ней—не могутъ, слишкомъ сильна власть разсудка и самоанализа, слишкомъ холодна душа...

Они могутъ все испробовать, пройти сквозь всевозможныя—тончайшія, глубочайшія настроенія, они мо-

гутъ душу свою заворожить какими угодно чарами и на какія угодно вершины взойти готовы—но нѣтъ во всемъ этомъ того, что бы захватило, что бы воспламенило, что бы кровь влило, что бы закружило, вознесло, нѣтъ глубокой, истинной вѣры, двигающей горами!...

И всѣ они такіе осторожные, такіе рефлектирующіе. Во имя новаго неба погибнуть не могутъ, чтобы другіе увидѣли жертву и увѣровали и за ними пошли—новое небо лишь въ утонченныхъ, загадочныхъ, сложныхъ мысляхъ...

Новое слово свое воплотить въ опредѣленную, живую, плотскую форму не могутъ, боятся... Чего боятся? Того-ли, что, получивъ выраженіе—это слово станетъ какъ всѣ слова и умретъ? Того-ли, что оно неизвѣстно? Или что нѣтъ его вовсе и не можетъ быть, а есть лишь стремленіе къ нему безумное, безъ котораго жить невозможно?... Все равно, лишь бы открылось оно—и тогда близокъ часъ чуда!... Лишь бы распять себя въ словѣ, замѣнить его крикомъ, мольбой, молчаньемъ, только чтобъ жизнью было оно, чтобы рѣки воды живой заструились изъ распятаго въ словѣ сердца!... Этого имъ не дано...

Любовь свою они замучили, боятся ея, уходятъ отъ нея, презираютъ ее... Отчего?... Оттого-ли, что невозможно въ земную любовь воплотить свое небо, или оттого, что душа холодна, холодна и безстрастна и для земной и для чудесной любви?... Неизвѣстно...

Одно извѣстно и одно радостно: не могутъ сойти они съ своего пути, хоть и туманенъ онъ и не знаютъ сами, куда ведетъ,—не могутъ сжиться съ

окружающей пошлостью, не могутъ жить возможнымъ, не могутъ быть сытыми—и въ этомъ ихъ религіозность, въ этомъ та красота, которая дѣлаетъ ихъ дѣйствительно новыми людьми...

Даже самый обыденный изъ нихъ—Андрей („Миссъ Май", „Suor Maria") не можетъ примириться съ засасывающей тиной той пошлости, которая его окружаетъ, не можетъ закрыть свою душу отъ неземныхъ своихъ сновъ, которые навѣваетъ на него таинственный образъ миссъ Май... Жизнь его была реальная, дѣйствительная, (это можетъ быть единственный реальный человѣкъ въ творчествѣ Гиппіусъ), у него была самая обыкновенная, олицетворяющая всю эту пошлость, жена, были дѣти, сытость, довольство, здоровье, но не могъ побороть тоски своей—почти физической, невыносимой тоски, но прозрачный, сотканный изъ свѣтлаго холода образъ миссъ Май постоянно колдовалъ его душу, отрывалъ отъ земли, уносилъ въ безконечность... И онъ былъ несчастенъ, онъ былъ искренно и безнадежно несчастенъ, но Май не спасла его, Май отвергла любовь, какъ отвергли ее всѣ эти новые люди, Май знала слово... Она его ободряетъ надеждой на то, что откроется слово и въ немъ онъ найдетъ свое счастье, но сказать его ему она не можетъ, она только мертвой улыбкой на блѣдныхъ губахъ чаруетъ, кто она—женщина, призракъ-ли, сонъ?—неизвѣстно!... Но она говоритъ, что слово есть, что нужно вѣрить въ него и жить этой вѣрой—и холодна, какъ всѣ женщины Гиппіусъ—холодна безпощадно!... У Андрея являются сомнѣнія, онъ не можетъ повѣрить въ этотъ пронзительный холодъ. Онъ сынъ земли.

— Ты мнѣ кажешься иногда не живой! Да, да, неживой! Говоришь о жизни, о словѣ, и я вѣрю, я не могу не вѣрить, точно это я же себѣ говорю... Точно ты *во мнѣ* говоришь... Но ты сама? Развѣ ты страдала? Вотъ, какъ мы, грубые, простые люди страдаемъ, въ путахъ грубой, простой любви, кровью страдаемъ? Развѣ ты можешь понять трудъ и боль? („Suor Maria“).

И Андрей правъ. И миссъ Май, и всѣ эти жестокія, какъ она, неживыя, холодныя женщины, и всѣ эти люди съ новой душой—не отъ жизни, а совершенно вдали отъ нея, ничѣмъ съ ней не связанные, чуждые земному горѣнію, они—на своихъ вершинахъ, съ гордостью, съ презрѣніемъ глядятъ внизъ на страданія людскія, на кровь, на борьбу, и они такіе спокойные въ своей оторванности отъ міра, такіе прозрачные, такіе невозмутимые... Эти должны быть счастливы: кто побѣдилъ жизнь, кто ушелъ отъ нея, тотъ долженъ быть безмѣрно счастливъ... Но эти души до того безстрастны, до того отданы небу своему—блѣдному, холодному, что даже счастья не знаютъ они, не въ силахъ почувствовать его... Можетъ быть благодаря этому своему жуткому холоду они и жизнь побѣдили, можетъ быть и побѣда то эта имъ не стоила никакого труда, ибо сами они какіе-то неживые... И судьба ихъ поэтому завидная!...

Отъ жизни уйти имъ дается легко, но зато найти выраженіе своимъ смутнымъ предчувствіямъ и найти плоть для своего неизвѣстнаго, дремлющаго въ нѣдрахъ души слова—они не могутъ. И не потому, что они „слишкомъ ранніе предтечи слишкомъ медленной весны“, а потому, что силъ не хватило сказать, выразить слово, потому что лю-

бимъ мы предчувствія и грезы свои больше, сильнѣе, чѣмъ невѣрный образъ воплощенія...

Но очарованіе ожиданія жуткимъ, волнующимъ трепетомъ охватило душу. И радостно, и свѣтло. И торжественно. Ожиданіе какъ крылья. Ожиданіе какъ волна душевная, плывущая въ вѣчность. Лишь бы только знать, что оно не напрасно, что откроются двери, что безумную усталость земную смѣнитъ причастіе небу! И ждать, среди глубокой мертвой ночи ждать трепетно и истомленно!...

А духъ бѣлый, неземной, пречистый раздуваетъ въ душѣ небесное, усталое, дремлющее пламя.

Въ началѣ было слово. Ждите слова.
Откроется оно.
Что совершалось—да свершится снова
И вы, и Онъ—одно.
Послѣдній свѣтъ равно на всѣхъ прольется,
По знаку одному.
Идите всѣ, кто плачетъ и смѣется,
Идите всѣ,—къ Нему.
Къ нему придемъ въ земномъ освобожденьи
И будутъ чудеса.
И будетъ все въ одномъ соединеньи—
Земля и небеса.

У нихъ все необычное:—мысли, желанія, чувства. Все:—человѣческую плоть, человѣческія страсти хотятъ они „перевернуть“ по новому и жить совсѣмъ иначе, *какъ* жить—не знаютъ, но только совсѣмъ иначе, чѣмъ живутъ всѣ вокругъ...

И они вѣрятъ въ чудо свое и ищутъ его всюду, и старая, одряхлѣвшая земля, кружась, носитъ ихъ на груди своей такъ привычно, и небеса далеки, и мрачно, и тоскливо!...

Для нихъ иного неба, кромѣ своей души—нѣтъ, для нихъ иного міра, кромѣ міра своего я—не существуетъ, а сами такіе слабые, ничего героическаго нѣтъ въ нихъ—оттого столько усталости, столько затаенной скуки, столько унынія...

Если бы Христосъ былъ близокъ, если бы дѣйствительно истинная, живая вѣра жила въ нихъ, то навѣрное бы Онъ раскрылъ небо, вознесъ, растворилъ, но у нихъ вѣра только въ образъ Его—смутный образъ, отраженный въ собственной душѣ, но у нихъ и эта вѣра не ради самой вѣры, а ради той красоты, того эффекта, которые получаются отъ чувства вѣры и которые всего важнѣе для нихъ, какъ важенъ для нихъ всякій рефлексъ вообще, всякій самоанализъ, всякое анатомированіе души!...

А отъ слабой надежды—безсиліе. А отъ мертвой вѣры—мертвыя души. И тоска...

„Гдѣ же наша сила?“—говоритъ Бѣляевъ въ разсказѣ „Алый Мечъ“—„Говоримъ только: любить землю, любить небо, но иначе“... *А какъ? Не знаемъ. „Новая земля будетъ, новое небо“... Какія?... Опять не знаемъ“...* *)

Индивидуализмъ Гиппіусъ вообще несчастенъ. Несчастенъ потому, что неплодотворенъ. Она не можетъ всецѣло отдаться ни Богу, ни своему я, она виситъ между двухъ безднъ и не можетъ ни упасть внизъ, ни взлетѣть, это самое ужасное состояніе, хуже быть не можетъ...

Если бы была вѣра—все было бы иначе. Но вѣры нѣтъ. Есть только холодное любопытство заглядывать въ нѣдра глубинъ.

---

*) Курсивъ мой. А. З.

„Очень ужъ мы сложные, ни къ чему неприспособленные люди! Тяжело намъ!“—говоритъ, подчеркивая горькую истину, тотъ же Бѣляевъ...

Да, слишкомъ сложные. А гдѣ сложность—тамъ нѣтъ увѣренности, нѣтъ и вѣры, сложность замучитъ, убьетъ, отравитъ, отниметъ всѣ надежды, отниметъ покой, тысячами сомнѣній закружитъ голову, какъ трясина засосетъ, и человѣкъ утонетъ, и Богъ будетъ далеко, и не услышитъ никто, потому что кто сложенъ, тотъ страшно одинокъ... Не надо сложности. Не надо соблазновъ. Кто хочетъ пройти сквозь ужасъ жизни—пусть будетъ цѣльнымъ, пусть будетъ простымъ и неглубокимъ, въ противномъ случаѣ пусть запасется холодной броней, тогда можетъ быть и останется живымъ и неповрежденнымъ...

— „Слабы мы, Алеша...

— Нѣтъ, мы не слабые, мы только прошлые. Мысли у насъ новыя, а тѣла наши—старыя. Оттого и мысли наши—невозможное.

„Онъ помолчалъ. Бѣляевъ тоже.

— „Невозможныя, небывалыя, пустыя надежды!—продолжалъ Алексѣй Ивановичъ—И никому непонятныя, неуловимыя—теперь. Подумай: чего мы хотѣли? Чтобы Богъ вошелъ въ жизнь, а жизнь сплелась съ Богомъ. Да развѣ это было когда нибудь? Развѣ искусство, знаніе, любовь—служили Богу, Христу? Онъ—узкій, темный корридоръ къ душеспасенію, жизнь—большая, круглая, безвыходная площадь, тамъ и любовь, тамъ и слова, тамъ и то, что зовутъ искусствомъ. Храма еще никогда не было. Были только подземелья, катакомбы.

— ...Иная, новая любовь души хочетъ и новой тѣлесной любви, а тѣло старое. Мы—прошлые, Федя.

Долго мы боролись, всѣ трое, во имя еще смутныхъ, едва рождающихся желаній,—и всѣ трое, полумертвые, упали на старую, безнебесную землю. („Алый Мечъ“)...

Въ этихъ словахъ вскрыта вся трагическая судьба этихъ „новыхъ“ людей, идущихъ сквозь старую дряхлую землю къ своему слову, къ своему чуду... Они безсильны передъ дѣйствительностью—и въ этомъ ихъ ужасъ... Гдѣ же ихъ религіозность? Отчего она не спасетъ ихъ отъ этой жизни, отчего она не возноситъ, отчего не преображаетъ? Гдѣ же ихъ Богъ?

Очевидно, въ сердцѣ столько искушеній, столько соблазновъ, столько тоски, что все это заглушаетъ всходы живой, простой вѣры. Очевидно, что „культурность“, эта проклятая убійственная культурность современнаго человѣка, погубила и эти души, жаждущія возрожденія жизни, она отравила ихъ своимъ ядомъ—ядомъ губительнымъ, смертельнымъ,—и они погибли, какъ погибаютъ всѣ наши „интеллигенты“, у которыхъ кромѣ томительной скуки и неврастеніи нѣтъ ничего, за что бы можно было ухватиться руками...

А вокругъ пустота, пустота безнадежная... А вокругъ—торжествующая пошлость міра!

Для интеллигентнаго человѣка вѣра доступна именно въ такомъ видѣ, какъ вотъ у героевъ Гиппіусъ. Можетъ быть такая вѣра и въ тысячу разъ хуже самаго настоящаго безвѣрія, но для нихъ она все же необходима, безъ нея они не могутъ обойтись такъ же, какъ безъ пищи, зачѣмъ она—для сильнѣйшаго ли безсилія, для утонченнаго отчаянья, или для спокойствія, объ этомъ знаютъ одни лишь они...

Вѣра бездонная не боится свершеній, у нея предѣла нѣтъ, вѣра истинная открываетъ вѣчную радость и даетъ живую воду, послѣ которой человѣкъ не можетъ возжаждать вновь. Вотъ такую вѣру несутъ въ міръ немногіе, очень немногіе люди, вотъ такую вѣру исповѣдуютъ тѣ раскольники на „Свѣтломъ Озерѣ“, поглазѣть на которыхъ ѣздила Гиппіусъ съ Мережковскимъ, но для „новыхъ людей“ доступна только эта холодная эстетическая полувѣра, которая ни отъ чего не спасаетъ и ничего не даетъ...

И какъ боятся они, чтобы сбылась хоть одна ихъ надежда!... Какъ боятся они раскрытія тайны, не признакъ ли это того, что нѣтъ вѣры въ самое существованіе тайны? Не значитъ-ли это, что боится душа, какъ бы вдругъ мечты не смѣнились самой обыкновенной дѣйствительностью и какъ бы не погасли единственные огни въ черномъ мракѣ. Лучше пусть будетъ все только въ грезахъ, въ предчувствіяхъ, въ снахъ!...

Сердце исполнено счастьемъ желанья,
Счастьемъ возможности и ожиданья,—
Но и трепещетъ оно и боится,
Что ожиданіе—можетъ свершиться...
Полностью жизни принять мы не смѣемъ,
Тяжести счастья поднять не умѣемъ,
Звуковъ хотимъ,—но созвучій боимся,
Праздными желаньемъ предѣловъ томимся,

Вѣчно ихъ любимъ, вѣчно страдая,—
И умираемъ, не достигая...

И вотъ предъ душою, закрывая всякую надежду на чудо—встала дѣйствительность... Что такое эта дѣйствительность, какъ понять ее, какъ разгадать? Не всегда можно понимать ее метафизически, она

грубая, она всевластная, она всеразрушающая... Пока еще не пробился сквозь холодъ душевный ея теплый ужасъ—Гиппіусъ вѣрила, что дѣйствительность лишь отраженіе, что міръ—зеркало, въ которомъ отражается невѣдомая сущность предметовъ...

Въ зеркальномъ мірѣ душа полна страха, ничего нельзя понять, ничего нельзя разгадать... Все—и лица и предметы—одни лишь отраженія, одинъ лишь старый обманъ... Нельзя проникнуть сквозь зеркала, нельзя понять сущность вещей, все—лишь обманъ, все—невѣрно!... Если бы предметы во всей обнаженной тѣлесности предстали предъ душой—можетъ быть раскрылась бы мучительная тайна, но нѣтъ—все—только холодъ отраженій, все—только подобіе истиннаго міра, а гдѣ онъ самъ—неизвѣстно! И хочется бросить міръ смутный, тусклый, міръ отраженій, зеркальный міръ, и уйти въ уединеніе, въ тихую ночь, въ молчанье, въ чуть слышный, таинственный шопотъ души...

Тихою ночью, когда люди спятъ и такъ странно живутъ цвѣты, въ лунную, волшебную ночь, когда близка смерть и близокъ и понятенъ трепетъ космическаго хаоса—душа оживаетъ, душа освобождается, душа расправляетъ крылья свои...

Мертвый глазъ вѣчности—холодная луна, наводитъ одурманивающія чары, сливается съ холодомъ души, манитъ, влечетъ...

Матовое серебро лунныхъ лучей отражается въ водѣ такъ мучительно, такъ странно,—и жуткіе шорохи, сказочные сны, предчувствія, грезы дремлютъ въ сознаніи, сливаясь въ ночную балладу безъ словъ, баюкающую, колдующую, прозрачную...

И тогда близка безумная тайна вѣчности, неба, звѣздъ, тишины...

Раскрыла манящія свои нѣдра вѣчность, сквозь лунное очарованіе струится ея вѣщій, пронзительный холодъ...

Весь міръ какъ одна могила... А ночь—какъ томительная жизнь освобожденнаго Духа...

А душа какъ упоительный напѣвъ безсловесной, молитвенной музыки...

И тишина. И блаженство. И прозрачная, сонно печальная, колдующая дрема...

О, дни мои мертвые! Ночь надвигается—
И я оживаю. И жизнь моя—сны.

Суета жизни стирается, все уходитъ, все человѣческое спитъ мертвымъ сномъ. Обнаженная душа полна очарованія, темный воздухъ ночи прильнулъ къ лицу поцѣлуемъ росистымъ, только ночь видитъ душу, только ночь да безмѣрная высь, да звѣзды... да Богъ...

Свѣтъ вечерній лучи бросаетъ
Сквозь кровавый шелкъ на листы...
Тѣло нѣжное оживаетъ,
Пробудились злые цвѣты.
Съ ядовитаго арума мѣрно
Капли падаютъ на коверъ...
Все таинственно, все невѣрно...
И мнѣ тихій чудится споръ.

Отдаться безсловесному, тайному, ночному! Утонуть въ прозрачномъ мерцаніи луны. Быть безстрастнымъ, быть безмятежнымъ, неживымъ, печальнымъ.

Теперь міръ далеко. Теперь все мертво.

И какъ выразить то, что дремлетъ—нерожденное, невоплощенное—въ душѣ, и какъ понять ее—эту душу—такую невѣрную, такую загадочную, такую сложную—эту душу, куда закрыты для людей пути, гдѣ горделиво замираетъ скорбь, гдѣ небо и земля, и духъ святой, и грѣхъ—все слито, сплетено въ загадочно-обманное и жуткое молчанье сфинкса...

Что то огромное, страдальческое, божественно прекрасное сокрыто въ ней. Кажется вся тайна міра вошла въ нее и присосалась, и замерла, и проситъ воплощенія, но слова такія пустыя, такія ненужныя, такія сѣрыя, не надо словъ въ минуту эту—святую и торжественную, пусть умираютъ безсильныя слова!

И слышу я какъ шепчетъ тишина
О тайнахъ красоты невоплощенной.
Лишь неразгаданнымъ мечтанья полны.
Не жду и не хочу прихода дня.
Гармонія неслышная таится
Въ тѣняхъ, въ нетрепетной зарѣ... И мнится:
Созвучій нерожденныхъ вкругъ меня
Поютъ и плещутъ жалобныя волны.

Вся природа въ лунномъ свѣтѣ какъ алмазный храмъ. Раскрываются таинственныя чащи и изъ нихъ струятся очертанія неземныхъ видѣній... Шорохи и стоны, и протяжныя мольбы ночи обнажаютъ, затихая, ея безмолвное, неслышное сердце, и сердце такъ понятно, такъ близко, такъ прекрасно...

Но безсильны слова передать эту тайну, она какъ чудесная музыка струится, рыдая, замирая, въ тиши,—и знаешь, что эта музыка природы прекраснѣе всѣхъ симфоній міра, ибо въ ней поетъ сама тайна, ибо въ ней—скорбь міра, вѣчность, загадка, Богъ...

„Я слушаю музыку только въ тишинѣ, я пишу такую музыку, это правда, какъ я ее понимаю, но для моей музыки еще не выдуманъ инструментъ. Вотъ—вѣтеръ пронесъ струю воздуха, вотъ умершее эхо тонкаго колокола съ берега, вотъ по водѣ всплескъ, даже не всплескъ, а только желаніе всплеска отъ далеко скользнувшей гондолы, вотъ звонъ чуть дрогнувшей гдѣ-то струны, задѣтой случайно вѣтромъ, вотъ трепетъ желтаго паруса на взморьѣ,—вотъ тѣ нѣжные, безхитростные и глубокіе звуки, изъ которыхъ можетъ выйти еще небывалая и не родившаяся гармонія! И я записываю эти звуки, но боюсь соединять ихъ въ аккорды, не умѣю... я думаю, что Богъ въ тишинѣ, и потому слушаю музыку—въ тишинѣ“ („Луна“).

А сверху льются волны лунныхъ лучей... Луна открыла душу свою безмолвно нѣжную, безстрастно бѣлую, и тихо манитъ и тихо шепчетъ, и тихо колдуетъ, улыбаясь мертвенной, зябкой, посылающей трепетную тревогу улыбкой...

И лунные чары музыкой блѣдной, печальной, больной—говорятъ о томъ, что нужно взлетѣть, землю оставить, землю отвергнуть, въ вѣчномъ безстрастьи раствориться безслѣдно...

И хотѣлось бы взлетѣть, но крыльевъ нѣтъ, есть тусклая, привычная игра, есть ложь, есть острое желанье, а крыльевъ нѣтъ, нѣтъ и не будетъ... Отчего крыльевъ нѣтъ?... Развѣ не безумна, развѣ не властна душа? И изумленно спрашиваютъ глаза... И опускаются въ безсильи руки... И жалобно изнываетъ сердце въ тоскѣ...

Что мнѣ дѣлать съ тайной лунной?
Съ тайной неба блѣдно-синей,

Съ этой музыкой безструнной,
Со сверкающей пустыней?
Я гляжу въ нее—мнѣ мало,
Я люблю— мнѣ недовольно...
Лунный лучъ язвитъ какъ жало—
Остро, холодно и больно.
Я въ лучахъ блестяще—властныхъ
Умираю отъ безсилья...
Ахъ, когда-бъ изъ нитей ясныхъ
Могъ соткать я крылья, крылья!

Но крыльевъ нѣтъ. и душа Гиппіусъ—холодное зеркало, отражающее міръ... И все, что отражается въ этой душѣ—тоже холодное, прозрачное, тусклое, неуловимое, смутное.

И вся природа у нея какъ бы поблекла отъ холода, зябкая она, непривѣтливая. Въ ней все таинственно, все—невѣрно... Небеса всегда блѣдныя, словно вымытыя, солнечные лучи холодноватые, блѣдные, вокругъ стужа, тишина, оцѣпенѣніе, холодная, манящая луна, такая близкая душѣ, такая понятная, словно два мертвыхъ міра сливаются въ одно объятье. И даже лица въ ея разсказахъ—невѣрныя, туманныя, часто не живыя И особенно мертвенны женщины. У нихъ пустые, манящіе, холодные глаза. У нихъ неподвижныя, застывшія въ жестокой печали лица со сжатыми плотно губами, у нихъ мертвыя руки и слова—ледяныя жала. И жутокъ шорохъ ихъ длинныхъ платьевъ, словно шелестъ скользящихъ змѣй... И онѣ умерщвляютъ любовь.

Онѣ какъ жестокія, гордыя царицы—убиваютъ пламя земное,—страстное, жаркое,—убиваютъ въ зародышѣ, отвергаютъ, уходятъ, оставляя холодъ своихъ ненужныхъ словъ, а за ними струится ледяная, пропитанная змѣинымъ ядомъ—тѣнь тайны!...

И онѣ внушаютъ роковую, терзающую мысль, что не надо свершеній въ любви, не надо міровой пошлости тамъ, гдѣ можетъ быть чудо, что нужно уходить отъ любви своей, всегда уходить, проклиная плоть и все человѣческое, уходить отъ счастья,—куда?—неизвѣстно... Можетъ быть туда, гдѣ счастье сливается съ вѣчностью въ одну неземную гармонію...

Эти женщины такъ боятся любви, такъ боятся ея воплощенія. Онѣ уходятъ, не дойдя до конца, бросая на костеръ тѣхъ, кого любятъ, дѣлая это не ради жестокости, а ради того, чтобы сохранить чудо любви своей незапятнаннымъ, чтобы для себя, для себя одной сберечь его неземное пламя и слиться съ нимъ и вознестись хоть въ грезахъ, хоть въ смутныхъ мечтахъ въ голубую вѣчность, туда, гдѣ любовь живетъ внѣ времени и пространства, внѣ смерти и жизни, внѣ концовъ и началъ... И имъ хорошо!

О, если бы душа не была такъ холодна, до самыхъ глубочайшихъ нѣдръ, можетъ быть прорвалась бы страсть сквозь нее, сожгла, истерзала бы ее всю, и въ этомъ распятіи и въ этихъ мукахъ воскресла бы истинная, глубокая, животворящая вѣра!... Но душа холодна, холодна до безжизненности—и оттого мертвое творчество, мертвыя, не живыя лица и неподвижный мракъ холодныхъ глубинъ въ душѣ. И надъ глубинами—туманъ безжизненной тоски...

И свой холодъ сознаетъ душа. И торжествуетъ. Ибо безмѣрно счастливъ тотъ, у кого холодная броня. Онъ можетъ разрушить землю и пройти мимо нея съ высокомѣрнымъ презрѣньемъ. Это высшее счастье.

Что холодитъ меня во мнѣ такъ странно?
Я, слушая не слышу бьенья сердца.
Какъ будто льда обломокъ остроганный
Въ меня вложили тайно вмѣсто сердца.

Но именно на этотъ-то холодъ и вся надежда. Міровую муку, міровую пошлость и всю эту далекую, ненужную землю легче понять, легче увидѣть сквозь холодное стекло души. Можно пройти сквозь жизненный адъ, сквозь костры мученій, сквозь паутину грѣха, не повредивъ души, сохранивъ эту безстрастную тишину, эту гордую, презрительную улыбку на мертвенно холодномъ лицѣ.

А сквозь ледяной, бѣлый ужасъ царства души одинокой, презрѣвшей все—сверкаютъ алые лучи утра. И хорошо. И близокъ душѣ, можетъ быть болѣе близокъ, чѣмъ люди—безстрастный, бѣлый снѣгъ... Только снѣгъ понимаетъ эту душу. И поцѣлуи снѣжныхъ хлопьевъ нѣжнѣе поцѣлуевъ любви...

Опять онъ падаетъ, чудесно молчаливый,
Легко колеблется и опускается...

Какъ сердцу сладостенъ полетъ его счастливый!
Несуществующій, онъ вновь рождается.

Все тотъ же, вновь пришелъ, невѣдомо откуда,
Въ немъ холода соблазны, въ немъ забвеніе...

Я жду его всегда, какъ жду отъ Бога чуда,
И странное съ нимъ знаю единеніе.

Пускай уйдетъ опять—но не страшна утрата.
Мнѣ радостенъ его уходъ таинственный.

Я вѣчно буду ждать безмолвнаго возврата,
Тебя, о ласковый, тебя, единственный.

Онъ тихо падаетъ, и медленный и властный...
Безмѣрно счастливъ я его побѣдою...

Изъ всѣхъ чудесъ земли тебя, о снѣгъ прекрасный,
Тебя люблю... За что люблю—не вѣдаю...

Въ жестокой бронѣ не умираетъ, не хочетъ умирать душа... Ея смерть-жизнь. Ея холодные чары—блаженство надежды. Ея безстрастье—никому неизвѣстный таинственный восторгъ...

Будетъ утро. Придетъ алое, зимнее утро, и предстанетъ тайна предъ душой—тайна единственная. И ждетъ душа. Не можетъ истаять. Все тверже ледъ ея—творческій ледъ, прозрачный, синеватый, чистый.

Душа, душа—не бойся холода!
То холодъ утра,—близость дня.
Но утро живо, утро молодо,
И въ немъ—дыханіе огня.
Душа моя, душа свободная!
Ты чище пролитой воды,
Ты—твердь зеленая, восходная,
Для свѣтлой утренней звѣзды.

Но какъ бы ни была холодна душа, разъ глубока она, разъ умѣетъ она тонко и проникновенно понимать и чувствовать міръ,—ей не избѣжать столкновеній съ той дѣйствительностью, которую она презираетъ, ей не уйти отъ того ужаса—ужаса міровой пошлости, который скрывается въ этой дѣйствительности и который обезкрыливаетъ самыя утонченныя души...

Только безумные не чувствуютъ этого ужаса, только истинные дѣти Божіи проходятъ мимо него безъ вреда, только умершіе для міра, только юродивые свободны отъ него!...

Но кто вѣчно колеблется, кто вѣчно находится между Богомъ и Діаволомъ, между міромъ и не-

бомъ, кто тонокъ-и глубокъ душой, кто впечатлителенъ на всѣ явленія жизни, тотъ задохнется въ чаду мѣщанства, обыденщины, пошлости и будничнаго мрака, и чѣмъ меньше въ немъ вѣры, тѣмъ сильнѣе окружающая его пошлость.

Гиппіусъ измѣрила душой весь этотъ ужасъ, она видитъ, чувствуетъ это стоячее болото, въ которомъ задыхаются люди, она видитъ, что все кругомъ совсѣмъ не то, что въ мечтахъ миссъ Май, что „пыльное облако невѣжества и хамства повисло надъ нами" („Свѣтлое Озеро"), что все, что вокругъ до того безобразно, до того безпощадно, что вся душа содрогается, прикасаясь.

И вотъ въ какихъ словахъ она рисуетъ эту страшную дѣйствительность, которая прежде казалась отраженьемъ, а теперь живая и нѣтъ отъ нея спасенія:

Страшное, грубое, липкое, грязное,
Жестко тупое, всегда безобразное,
Медленно рвущее, мелко—нечестное,
Скользкое, стыдное, низкое, тѣсное,
Явно—довольное, тайно—блудливое,
Плоско—смѣшное и тошно—трусливое,
Вязко, болотно и тинно застойное,
Жизни и смерти равно недостойное,
Рабское, хамское, гнойное, черное,
Изрѣдка—сѣрое, въ сѣромъ упорное,
Вѣчно лежачее, дьявольски—косное,
Глупое, сохлое, сонное, злостное,
Трупно-холодное, жалко ничтожное,
Непереносное, ложное, ложное!...

Но жалобъ не надо; что радости въ плачѣ?
Мы знаемъ, мы знаемъ: все будетъ иначе.

Гдѣ и когда все это будетъ иначе—объ этомъ Гиппіусъ не знаетъ. Но вырваться изъ тины ей легко. Ея душа хоть и изломана, но все же религіозна, а только религіозная душа можетъ освободиться отъ этого мертваго застоя. Но что ей въ этой свободѣ? Истинная свобода только въ Богѣ, а эти люди, что живутъ вокругъ, эти типичные интеллигенты, профессора, ученые, литераторы—рабы, рабы своей ненужности, своего безсилія передъ тайной, которая окружаетъ ихъ, передъ тѣмъ неизвѣстнымъ, жуткимъ, что стоитъ за ними и передъ которымъ разлетается въ пепелъ вся ихъ жизнь...

Вотъ профессоръ Ахтыровъ („Обыкновенная вещь") живетъ обыкновенной, безтолковой, интеллигентской жизнью, вся его душа вошла въ лекціи, въ біологію, въ занятья со студентами, въ засушенное профессорское бытіе, оторванное отъ жизни, отъ ея загадокъ, отъ той тайны, которая въ ней.

И когда тайна вдругъ врывается въ эту жизнь—ненужную, сѣрую, мертвую, когда умираетъ его ребенокъ и надъ ученой пошлостью смерть широко открываетъ свои пустые и бездонные и манящіе глаза,—Ахтыровъ приходитъ въ замѣшательство, вся его ученость, весь его строгій, всезнающій видъ, вся его біологія оказывается смѣшнымъ и жалкимъ дѣломъ передъ тайной, которая открылась вдругъ такъ неожиданно и о самомъ существованіи которой онъ какъ будто и забылъ вовсе... И весь онъ растерялся, поблѣднѣлъ, поблекъ, и вся жизнь теперь показалась ему однимъ страшнымъ чудищемъ, ибо зачѣмъ жизнь, зачѣмъ культура, зачѣмъ знаніе, если ничто, никакая біологія, не спасетъ отъ такой простой и такой вѣчной и такой неразгаданной тайны какъ смерть?...

Жизнь нашей интеллигенціи всецѣло ушла въ будничное, въ мелкое, въ человѣческое, никто не думаетъ о спасеніи, никто не думаетъ о Богѣ и о смерти, всѣ увѣрены, что человѣческое, земное, можетъ спасти, насытить душу, можетъ заполнить ея вѣчно живую, вѣчно бездонную пропасть... И не оттого ли тоска, растерянность, смятеніе, страхъ, что когда живешь вотъ такъ, а потомъ столкнешься съ одной изъ загадокъ жизни, то ничего нельзя противопоставить тому ужасу, который при этомъ охватываетъ душу, ничего нельзя извлечь изъ себя для защиты (все человѣческое тогда такъ безсильно и такъ смѣшно!), потому что никакой религіи, никакой увѣренности, никакой молитвы нѣтъ въ душѣ во всю жизнь!...

Вотъ передъ нами другой примѣръ такой сѣрой, неустроенной, интеллигентской жизни („Въ четвергъ“).

Андрей Ивановичъ Молостовъ—редакторъ журнала, весь ушедшій въ свою работу, ставшій типичной бумажной крысой, почувствовалъ вдругъ, когда отхлынуло рабочее время, на страстной недѣлѣ—невыносимую, необъяснимую, сѣрую тоску...

Прежде, когда онъ съ головой уходилъ въ царство чернилъ и бумаги—эта тоска не сознавалась имъ, ему казалось, что онъ дѣлаетъ самое важное, самое главное дѣло—и это заполняло все, и этимъ онъ былъ сытъ... Но теперь, когда онъ оторвался, отошелъ отъ своей работы—все:—и жизнь его, и жена, и вся обстановка, и всѣ дѣла показались вдругъ такими скучными, сѣрыми, совсѣмъ ненужными, потому что не было, не чувствовалось въ этомъ никакого смысла, а было маленькое, смѣшное,

житейское, а то—главное, вѣчное, важное, о чемъ не думалось никогда—стояло совсѣмъ въ сторонѣ и казалось и далекимъ, и непонятнымъ...

Когда мальчика Волю, сына Молостова—нянька хочетъ взять съ собой въ церковь, родители съ брезгливостью смотрятъ на нее. Какая церковь? зачѣмъ она? И къ чему идти туда мальчику, который тамъ еще и не былъ, которому все въ ней чуждо, какъ та тайна плоти и крови, которую силится объяснить ему нянька... Мальчика отпускаютъ въ церковь, онъ бѣжитъ туда весело и радостно, только старики да дѣти идутъ туда радостно, это ихъ царство...

Отецъ и мать остаются одни. Сѣрая, зѣвающая, непреодолимая скука воцаряется и въ квартирѣ редактора и въ душахъ этихъ людей, которые не знаютъ зачѣмъ живутъ...

Онъ вдругъ сознаетъ, что между нимъ и его женой нѣтъ общности, что они чужды другъ другу, неизвѣстны, хоть и прожили вмѣстѣ столько лѣтъ въ совмѣстной работѣ. „Все, въ чемъ они были связаны, что было у нихъ общимъ:—убѣжденія, мысли о благѣ человѣчества, совмѣстная работа на пользу ближняго, даже его любовь къ ней, какъ къ „удивительной личности“—все это показалось ему такимъ не связывающимъ; просто внѣшними, перетлѣвающими нитками связаны, и полжизни прошло, а вотъ, она—отдѣльно, и онъ отдѣльно. Пока въ суматохѣ, въ работѣ, пока громкія слова звенятъ—не замѣчаешь; а вотъ тишина, и странная полуфизическая тоска поднимается со дна сердца—и тотчасъ каждый отдѣльно. Чѣмъ душнѣе и необъяснимѣе тоска—тѣмъ отдѣльнѣе“.

Среди этой мертвой пошлости, ненужной суеты, ненужныхъ дѣлъ—гдѣ то тамъ вдали сіяетъ огнями церковь, куда пошелъ его мальчикъ, церковь—единственная тайна, единственное живое чудо, которое можетъ уничтожить раздѣльность, можетъ соединить несоединимое, можетъ искупить одиночество, но для церкви онъ такъ же далекъ, какъ и всѣ герои Гиппіусъ...

Они всѣ страдаютъ отъ одиночества, отъ раздѣльности, отъ непониманія, отъ той стеклянной стѣны, что стоитъ нерушимо между душами, они знаютъ, что, можетъ быть, только церковь смогла бы соединить ихъ разъединенныя души и утопить въ тайнѣ своей всю тоску ихъ, всѣ страданья, весь страхъ, но и это чувство неувѣренно, и оно колеблется, и оно не устойчиво, а церковь и тайна ея такъ далеко, а личная усталость, личное одиночество такъ безпощадно, такъ остро и невыносимо больно чувствуются даже въ минуту сознанья, что церковь—единственная пристань.

И вотъ—другая трагедія Гиппіусъ, другая боль, другая причина ея оторванности отъ міра—одиночество...

Всѣ раздѣльны, всѣ чужды другъ другу, всѣ непонятны другъ другу и далеки, какъ же жить съ этой какъ бы врожденной раздѣльностью, какъ любить, какъ понять другъ друга?...

„Никакого сообщенія между людьми нѣтъ“ („Все къ худу“)—жалуется одинъ изъ нихъ. И знаетъ душа, что этого „сообщенія“ и быть не можетъ, что каждый самъ по себѣ и чужая душа—потемки и что такъ и надо!...

И какая тоска, когда сознаешь эту трагедію вѣчнаго одиночества, какое уныніе, какая безпомощность...

Въ странѣ, гдѣ все необычайно,
Мы сплетены побѣдной тайной.
Но въ жизни нашей, не случайно,
Разъединяя насъ легло
Межъ нами темное стекло.
Разбить стекла я не умѣю,
Молить о помощи не смѣю;
Приникнувъ къ темному стеклу,
Смотрю въ безрадужную мглу,
И страшенъ мнѣ стеклянный холодъ...
Любовь, любовь, о дай мнѣ молотъ,
Пусть ранятъ брызги, все равно,
Мы будемъ помнить лишь одно,
Что тамъ, гдѣ все необычайно,
Не нашей волей, не случайно,
Мы сплетены послѣдней тайной...
Услышитъ Богъ... Кругомъ свѣтло.
Онъ дастъ намъ силъ разбить стекло.

Но не слышитъ Богъ. И вовсе не свѣтло. А если и свѣтло, то этотъ свѣтъ безжизненный, холодный, мертвый свѣтъ. Онъ не зальетъ ранъ души, не залѣчитъ ихъ, не согрѣетъ иззябшую отъ безконечной стужи душу. Онъ не дастъ силы...

И душа замираетъ въ безсильѣ. И вотъ, вмѣсто правды—произносятся лживыя, коварныя, жестокія слова, лишь бы мука стала сильнѣе, лишь бы хоть въ этой мукѣ, въ этой нарочно причиненной боли вылить досаду свою, проклятье свое, злобу свою на свое одиночество, на свою роковую отдѣльность отъ міра!...

Не слушайте меня; не стоитъ: бѣдныя
Слова я говорю; я лгу.

И если въ сердцѣ знанья есть побѣдныя,
Я отъ людей ихъ берегу.

Какъ дѣти, люди: злые и невинные,
Любя, умѣютъ оскорблять.
Они еще не горные,—долинные...
Имъ надо знать,—но рано знать.

Минуютъ времена узаконенныя...
Завѣтныхъ сроковъ ждетъ душа.
А до временъ, молчаньемъ утомленные,
Мы лжемъ, скучая и—смѣша.

Но не надолго и ложь. Ложь жаломъ безмѣрной обиды, безмѣрнаго стыда закрадется въ душу и станетъ понятна вся ничтожность тонкой, ускользающей, змѣиной игры. И станетъ больно.

Но сердце на вѣки закрыто отъ людей. Люди тамъ, за стекломъ, далеко. Люди такъ чужды, такъ ничтожны. И не знаетъ душа, зачѣмъ они, зачѣмъ она среди нихъ—одинокая и холодная, зачѣмъ страданья, зачѣмъ любовь?

Открой мнѣ, Боже, открой людей!
Они Твои-ли, Твое-ль созданье,
Иль вражьихъ плевелъ произрастанье?
Открой мнѣ, Боже, открой людей!
Верни мнѣ силу, отдай любовь.
Отдай ночныя мои прозрѣнья,
И трепетъ крыльевъ, и озаренья...
Отдай мнѣ, Боже, мою любовь.
И въ часъ побѣды—возьми меня.
Возьми, о, жизни моей Властитель,
Въ Твое сіянье, въ Твою обитель,
Въ Твое забвенье возьми меня!

Если бы была вѣра, та истинная, живая вѣра, безъ сомнѣній, можетъ быть и душа стала бы проще, можетъ быть и любовь и радость воцарились бы

въ ней!... Но такой вѣры нѣтъ. Есть холодное чувство, можетъ быть даже не чувство, а мысль...

Но развѣ можетъ мысль одна успокоить мятущуюся душу, развѣ можетъ *разумная* вѣра исцѣлить ее?...

Тишина и молчанье такое томительное... И наростаютъ въ глухой тишинѣ зловѣщіе, отдаленные шумы, рождаются сомнѣнія все опаснѣе, все ядовитѣе, открываются соблазны все очаровательнѣе, все губительнѣе—и приближается Діаволъ къ душѣ и закидываетъ въ нее свои сѣти.

Ловитъ Діаволъ душу, терзаетъ, кружитъ, все ближе, все роднѣе его черная, мрачная, оскорбленная, проклятая душа, и вотъ съ этою душой уже сплетается сознаніе, уже неразрывныя нити чувствуются между ними, вѣдь тамъ, гдѣ Богъ—только мысль одна, Діаволъ можетъ быть чувствомъ, можетъ быть кровью и плотью!...

И неизвѣстно, и нельзя понять, отчего и Діаволъ и Богъ одинаково близки душѣ, отчего то, что такъ раздѣльно въ мірѣ, здѣсь соединено во что-то ужасное, кровавое, липкое, преступное, и мѣшаетъ жить, и кружитъ, кружитъ надъ безднами, надъ кручами, надъ адскими провалами!...

И приходятъ черныя, острыя, больныя мысли—темныя предчувствія, шорохи, ожиданія, соблазны.

А все-жъ какая сила
У Духа лжи и зла!
...И снова сердце жаждетъ
Таинственныхъ утѣхъ...
Зачѣмъ оно такъ страждетъ,
Зачѣмъ такъ любитъ грѣхъ?
О, мудрый соблазнитель,

Злой Духъ, ужели ты
Непонятый учитель
Великой красоты?...

Эта красота такая манящая, такая жестокая, такая темная... Не мало жертвъ она обрекла на вѣчную тоску, на гибель, на вѣчный мракъ, на вѣчное подпольное проклятіе. Она застигаетъ душу въ минуту растерянности, безпочвенности, слабости, на головокружительныя вершины возноситъ она духъ и указываетъ всѣ царства вселенной и все обѣщаетъ, всякую власть, всякую волю за одно слово отреченья отъ Бога...

Но всякая власть—обманъ, всякая свобода и всякое разрушенье—сатанинскій вымыселъ.

Ничто не разрушится. Разрушится только собственная душа...

Но соблазнъ такъ близокъ душѣ. Въ этомъ соблазнѣ—то, чего не хочетъ признать Богъ—въ этомъ соблазнѣ—великая боль, великое страданье, бездонная слабость.

Я Дьявола за то люблю,
Что вижу въ немъ—мое страданье.

Борясь и мучаясь, онъ сѣть
Свою заботливо сплетаетъ...

И не могу я не жалѣть
Того, кто какъ и я—страдаетъ.

Въ такія минуты душа познаетъ отчаянье, разложеніе, мракъ, пустоту. Въ такія минуты все дальше Богъ и все ближе Сатана и его подземельное царство. Въ такія минуты нѣтъ пощады міру, нѣтъ ему прощенья, и душа любитъ отчаянье свое безмѣрное, и грезится внизу тихій прудъ, на днѣ кото-

раго—вѣчный покой, вѣчная тишина, единственный вѣрный выходъ—смерть!...

И еще любитъ теперь душа свою жестокость, выше міра, выше жизни своей превозноситъ безпощадную пытку жестокости.

И какая сила въ этой тупой, безысходной жестокости, какое наслажденье въ ней, какая дикая, вѣдьмовская радость!...

Самъ Достоевскій, близкій въ этомъ отношеніи Гиппіусъ, болѣе, чѣмъ кто либо другой, и находящій въ жестокости свое освобожденіе—все-же остается позади ея въ этомъ отношеніи.

Она вся—всѣмъ существомъ своимъ, всею силою души своей буквально *воплощается* въ жестокость, становится страшнымъ и грознымъ ея символомъ, и вотъ уже нѣтъ души, нѣтъ Бога, нѣтъ никакого утѣшенія, никакой пощады, есть вмѣсто всего этого жестокое, злобное чудище, терзающее, дикое, жадное, пьяное и холодное.

Краснымъ углемъ тьму черчу,
Колкимъ жаломъ плоть лижу,
Туго, туго жгутъ кручу,
Гну, ломаю и вяжу.

Шнурочкомъ ссучу,
Стяну и смочу.
Игрой разбужу,
Иглой пронижу.

И я такая добрая,
Влюблюсь—такъ присосусь.
Какъ ласковая кобра я
Ласкаясь, обовьюсь.

И опять сожму, сомну,
Винтъ медлительно ввинчу,

Буду грызть, пока хочу.
Я вѣрна—не обману.

Ты усталъ—я отдохну,
Отойду и подожду.
Я вѣрна, любовь вернy,
Я опять къ тебѣ приду,
Я играть съ тобой хочу,
Краснымъ угленъ зачерчу...

И эта сторона—не минутное явленье, не настроеніе, не преходящій капризъ, этотъ демоническій элементъ является частью души, оттого она и многогранна и сложна, оттого и загадочна, но вслѣдствіе того же и несчастна...

Такова судьба: вѣчно стоять на распутьи, ни на что не надѣяться, никого не любить, ничему не отдаваться всецѣло, все презирать, все отвергать, всякую кровь, всякую бездну, всякое безсиліе покрывать ледянымъ своимъ, прозрачнымъ покровомъ и стремиться только къ холодному своему, безстрастному свѣту—въ этомъ Гиппіусъ, въ этомъ ея загадочная и трагическая сущность!...

Соблазны діавола такъ же манятъ къ себѣ Гиппіусъ, какъ и Божіе лицо. И съ одинаковымъ проникновеніемъ она заглядываетъ и въ бездну нижнюю, и въ бездну верхнюю. Но въ то время, какъ Достоевскій закружился въ дьявольскомъ водоворотѣ, всю душу свою истерзалъ чертовщиной (Ивана Карамазова чортъ до безумія довелъ), Гиппіусъ ничему отдаться не можетъ душой, она измѣряетъ все разумомъ, насколько силъ хватитъ у разума измѣрить, а потомъ отходитъ въ сторону съ нѣмымъ равнодушіемъ и съ застывшей своей, мертвенной неподвижностью...

Какъ смѣло, какъ проникновенно смотритъ она въ лицо діаволу! Не смутитъ ее адская бездна, она безстрашна... Сильны діаволовы искушенія и страшенъ ликъ его черный и очарованіе его, но зловѣщій холодъ ея души выше страха и ужаса, выше смерти и жизни, выше добра и зла!...

Но какъ глубоко она понимаетъ діавола и тоску его бездонную, тоску міровую и безумную, ту тоску, отъ которой нѣтъ спасенья, которая засасываетъ, которая испепеляетъ душу!

И вотъ предъ нами—злыя, странныя предчувствія, тихій ропотъ нечистой силы, чертовская трясина и маленькій дохлый діаволенокъ (стихотв. „Діаволенокъ"), и измученный, больной демонъ, взявшій на себя страданья міра, отвергнувшій всякое сожалѣніе, всякую отраду, всякую надежду на спасеніе—и не выдержавшій и умирающій (разсказъ „Онъ—бѣлый")... И странно близокъ и понятенъ не меньше, чѣмъ Христосъ—Іуда, вдохновитель проклятья, соблазнитель и разрушитель міра, и вотъ его черты дышатъ очарованіемъ, и съ трепетомъ душа чувствуетъ, что „они были похожи какъ близнецы (Христосъ и Іуда). Только одинъ былъ весь темный, а другой—весь свѣтлый, одинъ яркій, другой ясный. И въ лицахъ обоихъ была разная тишина (разск. „Они похожи")...

Но знаетъ душа, что не во тьмѣ путь, а гдѣ-то на еще ненайденныхъ, неизвѣстныхъ, таинственныхъ поляхъ, можетъ быть внѣ и добра и зла, но во Христѣ, а гдѣ этотъ путь—душа не знаетъ.

Полная холода и безстрастья, окаменѣвшая въ горѣ, усталая отъ безплодныхъ исканій—она опу-

скается на дно и дремлетъ въ тинѣ и видитъ обморочные, кошмарные сны.

И тогда сквозь муку холода—роковое признаніе, тяжелое, ледяное, какъ глыба—скатывается въ душу и давитъ, и душитъ, и убиваетъ покой, и надежду, и свѣтъ:

Тебя привѣтствую, мое пораженіе,
Тебя и побѣду я люблю равно;
На днѣ моей гордости лежитъ смиреніе,
И радостъ, и боль—всегда одно.
Надъ водами, стихнувшими въ безмятежности
Вечера яснаго—все бродитъ туманъ;
Въ послѣдней жестокости—есть бездонность нѣжности
И въ Божіей правдѣ—Божій обманъ.
Люблю я отчаяніе мое безмѣрное,
Намъ радость въ послѣдней каплѣ дана.
И только одно здѣсь я знаю вѣрное:
Надо всякую чашу пить до дна.

Но такъ же ясно, что и страданіе не для нея, и страданье замучитъ разумъ, не дастъ ему расцвѣсть, не дастъ залить кровью безстрастно — холодную душу.

Я чашу пилъ мою до дна...
Но тамъ, за стрѣлами ограды—
Молчанье, мракъ и тишина.

Можетъ быть, отъ соблазновъ діавольскихъ, отъ красоты для красоты—бѣжала душа потому, что тамъ открылась зіяющая бездна гибели, а впереди ничего нѣтъ, а душа мертва, устала и обезкрылена—и только одинъ соблазнъ, только одинъ призракъ, только одна святыня еще не мертва для души и непрестанно манитъ къ себѣ, загадкой своей манитъ, свѣтомъ

своимъ, своей безумной тайной:—Христосъ. Только стонъ въ ночи, только безсиліе молитвы, только печаль передъ Ликомъ святымъ, сквозь отчаянье безмѣрное, сквозь ледяную неподвижность души—блѣдная тѣнь восторга, робкая мысль—утѣшенье:

Мы не жили и умираемъ
Среди тьмы.
Ты вернешься... Но какъ узнаемъ
Тебя—мы?
Все дрожимъ и себя стыдимся,
Тяжелъ мракъ.
Мы молчаній Твоихъ боимся...
О, дай знакъ!
Если нѣтъ на землѣ надежды—
То все прахъ.
Дай коснуться Твоей одежды,
Забыть страхъ.

Но не готова душа ни къ чуду, ни къ пришествію, ни къ вѣрѣ. Одно безстрастье, одна тоска...

Подобно всѣмъ современнымъ христіанамъ—у Гиппіусъ не найдете вѣры и не найдете лучей, а одинъ холодъ, одно равнодушное, скрываемое безсиліе. Безсиліе современнаго „неохристіанства"—этотъ всѣми скрываемый, но всѣмъ извѣстный секретъ; она сама признаетъ, сама говоритъ объ этомъ въ одномъ изъ своихъ стихотвореній, и хотя оно озаглавлено „Только о себѣ"—на самомъ дѣлѣ истина, вскрываемая въ немъ—одинаково приложима ко всѣмъ, а не только къ ней одной:

Мы—робкіе,—во власти всѣхъ мгновеній.
Мы—гордые—рабы самихъ себя.

Мы вѣруемъ—стыдясь своихъ прозрѣній;
И любимъ мы, какъ будто не любя.

Мы—скромные,—безстыдно молчаливы,
Мы въ радостяхъ боимся быть смѣшны,—

И жалобно всегда самолюбивы,
И жизненно всегда раздѣлены!

Мы думаемъ, что новый храмъ построимъ
Для новой, намъ обѣщанной земли...
Но каждый дорожитъ своимъ покоемъ
И одиночествомъ въ своей щели.

Мы—тихіе—въ себѣ стыдимся Бога,
Надменные,—мы тлѣемъ, не горя...
О, страшная и рабская дорога!
О, мутная, послѣдняя заря!

Какое цѣнное, какое глубоко искреннее признаніе—не каждый сможетъ высказать его. А между тѣмъ, сколько въ немъ сказано!...

Теперь Гиппіусъ отъ тоски своей убѣжала подъ стягъ общественности. Я объясняю эту перемѣну вовсе не симпатіями ея къ общественнымъ интересамъ, а просто—однимъ изъ средствъ къ спасенію отъ пустоты и ледяныхъ вершинъ опаснаго индивидуализма, за которымъ—безсиліе...

Такимъ образомъ—общественность замѣнила Христа, христіанство стало средствомъ, а не цѣлью, а первую дань общественности—„Чортову куклу“ читать безъ скуки нельзя, просто не нужно все это и мертво, а для общественниковъ и смѣшно даже...

Поворотъ къ общественности такой глубоко антиобщественной по духу своему, по складу своего творчества писательницы, какъ Гиппіусъ—мнѣ кажется особенно трагичнымъ еще потому, что я чувствую, что она не вѣритъ въ общественность, пре-

зираетъ ее, а стремится въ этотъ омутъ безличности и стадности только потому, чтобы хоть въ чемъ нибудь забыться, чтобы почувствовать себя живой, а не заживо погребенной, чтобы хоть пошлыми, избитыми средствами избавиться отъ той великой „унильницы"—міровой тоски, которая такъ страшна и отъ которой глубокой душѣ нѣтъ спасенія!...

Говоритъ она избитыя фразы общественныхъ истинъ, пишетъ никому ненужныя „Чертовы куклы" а на самомъ дѣлѣ—все это не то, что въ душѣ, и сама Гиппіусъ словно своими же словами подчеркиваетъ свой, нужный для собственнаго спасенья, трагическій обманъ:

Не слушайте меня, не стоитъ: бѣдныя
Слова я говорю; я—лгу.

...Такъ и теперь, сплетая рѣчь размѣрную
Лишь о напрасностяхъ твержу.

А тайну грозную, послѣднюю и вѣрную—
Я все равно вамъ не скажу.

Что же на днѣ души? Неужели же тамъ нѣтъ ни одного луча свѣтлаго и нѣжнаго, ничего женственнаго, ничего святого?... Но вотъ сама она говоритъ страшную правду о душѣ своей. И въ этомъ отношеніи Достоевскій также сплетается съ Гиппіусъ въ одно. Но у него это было только частью души, тогда какъ для нея это—*все*...

Въ своей безвѣстной и жалкой низости,
Она какъ пыль сѣра, какъ прахъ земной.
И умираю я отъ этой близости,
Отъ неразрывности ея со мной.
Она шершавая, она колючая,
Она холодная, она змѣя.

Меня изранила противно—жгучая
Ея колѣнчатая чешуя.
О, еслибъ острое почуялъ жало я!
Неповоротлива, тупа, тиха.
Такая тяжкая, такая вялая,
И нѣтъ къ ней доступа—она глуха.
Своими кольцами она, упорная,
Ко мнѣ ласкается, меня душа.
И эта мертвая, и эта черная,
И эта страшная—моя душа!

Когда въ разложеніи, въ отчаяньи, въ злобѣ истлѣваетъ духъ—тогда нѣтъ надежды, тогда нѣтъ пощады, вся душа словно раздавленная... Задыхается отъ жизни, отъ духоты житейской, кричитъ: „изнемогаю отъ усталости, душа изранена въ крови“, но знаетъ, чуетъ даже эта отравленная всѣми соблазнами душа, что гдѣ-то есть Богъ, есть невѣдомая, но близкая тайна, и вотъ снова уста, только что произносившія хулу, проклятье, сатанинскія заклинанія—произносятъ такія привычныя, такія усталыя слова молитвы. И въ этой молитвѣ словно гимнъ всего страданья, всей покинутости, всей оторванности своей отъ Духа, и въ этой молитвѣ уже искренняя, усталая, бездонная скорбь...

Тѣни луны неподвижныя.
Небо серебряно—черное...
Тѣни, какъ смерть, неподвижныя...
Живо ли сердце покорное?
Кто-то изъ мрака молчанія
Вызвалъ на землю холодную,
Вызвалъ отъ сна и молчанія
Душу мою несвободную.

Жизни мнѣ далъ униженіе,
Боль мнѣ послалъ непонятную...
Къ Давшему мнѣ униженіе
Шлю я молитву невнятную.
Сжалься, о Боже, надъ слабостью
Сердца, Тобой сотвореннаго,
Надъ безконечною слабостью
Сердца, стыдомъ утомленнаго!
Я—это Ты, о Невѣдомый,
Ты—въ моемъ сердцѣ обиженный,
Такъ подними же, невѣдомый,
Духъ Твой, Тобою униженный!
Прежнее дай мнѣ безмолвіе,
О, возврати меня вѣчности...
Дай погрузиться въ безмолвіе,
Дай отдохнуть въ безконечности!...

Какъ далека отъ этой косности бѣлая душа Мышкина! Вотъ у кого не было никакихъ сомнѣній, никакихъ соблазновъ. Кротокъ былъ и тихъ—и въ этомъ было его счастье, болѣзнь свою любилъ—и въ болѣзни возносился въ высоту поднебесную. Безуменъ былъ—и, благодаря безумію своему, достигалъ наивысшаго счастья—ощущенія, что времени больше не будетъ, что болѣзнь побѣдила міръ...

Душа Гиппіусъ—вся въ плѣну разума, холода и соблазновъ—не смогла побѣдить ни времени, ни законовъ земли, ни человѣческаго.

Свою вѣру она не смогла раздуть въ пламя алое, побѣдное, душу и тѣло сжигающее. Свою душу не смогла сохранить въ цѣльности, нужной для вѣры—и душа раскололась.

Теперь стоитъ на распутьи—оцѣпенѣвшая отъ собственной стужи, жестокая, изломанная, многоликая. А вокругъ нея простерлось ледяное царство безжизненнаго, холоднаго, прозрачнаго свѣта...

Но свѣтъ этотъ не исцѣлитъ душу. И не вознесется она.

И не придетъ безумная, спасительная радость. И не вырастутъ крылья. Никогда, никогда...

V.

— „Алешка, есть Богъ?

— Есть Богъ.

— Иванъ, а безсмертіе есть, ну, тамъ, какое-нибудь, ну хоть маленькое, малюсенькое?

— Нѣтъ и безсмертія.

— Никакого?

— Никакого.

— То есть, совершеннѣйшій нуль или нѣчто? Можетъ-быть, нѣчто какое нибудь есть? Все же вѣдь не ничто!

— Совершенный нуль.

— Алешка, есть безсмертіе?

— Есть.

— А Богъ и безсмертіе?

— И Богъ, и безсмертіе.

— Гмъ! Вѣроятнѣе, что правъ Иванъ. Господи, подумать только о томъ, сколько отдалъ человѣкъ вѣры, сколько всякихъ силъ даромъ на эту мечту, и это столько ужъ тысячъ лѣтъ! Кто же это такъ смѣется надъ человѣкомъ, Иванъ? Въ послѣдній разъ и рѣшительно: есть Богъ или нѣтъ? Я въ послѣдній разъ!

— И въ послѣдній разъ нѣтъ.

— Кто же смѣется надъ людьми, Иванъ?

— Чортъ, должно быть—усмѣхнулся Иванъ Ѳедоровичъ („Братья Карамазовы").

Въ этихъ словахъ стараго развратника заключена не только вся трагедія Достоевскаго, но трагедія міровая, трагедія вѣчности и трагедія современнаго человѣка... Замѣчательно, что вся семья Карамазовыхъ—самыхъ опустившихся, растлѣнныхъ, испорченныхъ людей—не исключая лакея Смердякова—вѣчно думаетъ о Богѣ и мучается имъ!...

„Меня всю жизнь Богъ мучилъ"—повторяетъ Достоевскій все время, во всѣхъ произведеніяхъ своихъ эти слова, и всегда, куда бы, въ какія пропасти онъ ни проникалъ, въ какую бездну невѣрія и отрицанія ни погружался, въ какіе бы притоны разврата ни заглядывалъ—всюду предъ нимъ стояло это незримое, страшное, загадочное лицо Бога, всегда и вездѣ изводила душу его одна и та же загадка, одна и та же скорбь, одно и то же страданье!...

И еслибы не мучился онъ Богомъ и если бы Богъ не спасалъ отъ муки и не являлся на гибельномъ пути—кто знаетъ, можетъ быть жизнь бы стала пыткой одной!...

Чрезъ горнило сомнѣній и жертвъ прошла его надрывная „осанна!", и восторгъ озарялъ душу темную и искалѣченную; въ великомъ своемъ одиночествѣ колеблясь межъ Чортомъ и Богомъ, между пучиной темной и небомъ, между идеаломъ Содомскимъ и идеаломъ Мадонны—зналъ и чувствовалъ одно, что за гибелью—смерть, что за смертью—тайна, и за тайной—Богъ...

Распиналъ себя, безуміе свое бросалъ этому Богу, всю тоску своей каторжной жизни, все прокля-

тье и боль свою,—вкладывалъ въ одну молитву какъ стонъ одинъ, какъ надтреснутый ужасъ припадочнаго своего вопля, истерзался, озвѣрѣлъ въ отчаяньи. Но съ мыслью о Богѣ не разлучался!

И въ его мукѣ, и въ его великомъ сердцѣ, въ его измученной безнадежной мольбѣ рыдала, сливаясь въ одно—вся Россія.

Россія воплотилась въ немъ цѣликомъ—прошлое и будущее ея слились въ немъ, онъ былъ [illegible]омъ ея тайныхъ, неизвѣданныхъ, загадочныхъ, глубинъ, онъ душу ея—дикую, пьяную, преступную, унылую и больную постигъ до дна, онъ былъ пророкомъ ея путей, онъ заглянулъ въ такіе дни ея будущаго, о которыхъ никто и не думалъ, онъ, въ наши дни, снова вернулъ ее къ себѣ и показалъ, что она въ немъ, и онъ—въ ней, и вмѣстѣ они—загадочное, жуткое и стихійное—одно!...

Въ началѣ девятисотыхъ годовъ, когда встрепенулась впервые въ Россіи религіозная мысль, у культурныхъ очаговъ, среди длинныхъ, страстныхъ споровъ, сквозь дымъ и чадъ тяжелыхъ и радостныхъ предчувствій—снова зачернѣло лицо Достоевскаго, снова начали повторять его мучительныя слова, снова съ великой силой возродилась мука его, его сомнѣнія, его проклятья, его Богъ и чортъ!...

Въ Петербургѣ, на Шпалерной улицѣ, у церкви Всѣхъ Скорбящихъ, и дома предварительнаго заключенія, около тѣхъ мѣстъ, гдѣ находился нѣкогда дворецъ сына Петра Великаго, царевича Алексѣя, въ четвертомъ этажѣ огромнаго новаго дома, въ квартирѣ Василія Васильевича Розанова, по воскреснымъ вечерамъ происходили любопытныя собранія. Изъ незанавѣшенныхъ оконъ столовой видны

были звѣздно-голубыя дали Невы съ мерцающей цѣпью огоньковъ до самой Выборгской. Здѣсь между Леонардовой Ледой съ лебедемъ, многогрудою фригійской Кибелой и египетской Изидой съ одной стороны, и неизмѣнно теплящейся въ углу, передъ стариннымъ образомъ лампадкою зеленаго стекла—съ другой, за длиннымъ чайнымъ столомъ, подъ уютно-семейною висячею лампою, собиралось удивительное, въ тогдашнемъ Петербургѣ, по всей вѣроятности, единственное общество: старые знакомые хозяина, сотрудники *Московскихъ Вѣдомостей* и *Гражданина*, самые крайніе реакціонеры и столь же крайніе, если не политическіе, то философскіе и религіозные революціонеры—профессора духовной академіи, синодальные чиновники, священники, монахи,—и настоящіе „люди изъ подполья", анархисты—декаденты. Между этими двумя сторонами завязывались апокалипсическія бесѣды, какъ будто выхваченныя прямо изъ „Бѣсовъ" или „Братьевъ Карамазовыхъ". Конечно, нигдѣ въ современной Европѣ такихъ разговоровъ не слышали" *).

Тогда же организовалось въ Петербургѣ по иниціативѣ этихъ собесѣдниковъ религіозно-философское общество, засѣданія котораго послужили вѣрнымъ зеркаломъ религіознаго возрожденія...

И вотъ возникло изъ сліянія наиболѣе талантливыхъ представителей русской интеллигенціи съ душой Достоевскаго—новое религіозное сознаніе.

Въ сущности, новаго въ этомъ сознаніи не было ничего, Достоевскій и Владиміръ Соловьевъ сквозили почти въ каждомъ словѣ, новыми являлись

*) Д. Мережковскій: „Не миръ, но мечъ", стр. 109.

только то воодушевленье, та сила и искренняя жажда истины, что вкладывались въ эти споры и разсужденія, новою казалась возникшая изъ пепла позитивизма и марксизма религіозная мука, великая тоска о Богѣ, новыми казались вѣчно старыя, наболѣвшія слова, произносимыя съ почти юношескимъ жаромъ, и такъ произносились рѣчи, и такъ обсуждались вопросы, словно отъ этого зависѣла вся жизнь и судьба всей Россіи.

Въ чемъ же была сущность этого движенія, каковы были его основныя вѣхи, къ чему стремилось оно?...

Трудно отвѣтить на этотъ вопросъ... Когда послѣ зимней спячки вдругъ встрепенется въ трепетѣ первыхъ солнечныхъ лучей вся природа, когда надъ дымящейся черной землей заструится опьяняющій вѣтеръ весны—развѣ можно словами передать то, что бродитъ вокругъ, что кружитъ голову, что таинственно манитъ въ туманную даль?... Когда человѣкъ въ продолженіи долгаго времени изсушитъ себя мертвенной скукой позитивнаго знанія и вдругъ встрепенется, зарыдаетъ душа, и палящимъ вихремъ пройдутъ сквозь нее вѣчность, Богъ, смерть, небо, земля, и неизбывная, творческая, но мучительная тоска хмѣлемъ безумнымъ закружитъ голову—тогда будетъ второе рожденіе, тогда будетъ трепетъ еще невысказанныхъ словъ, и ожиданіе, и близость чуда, и вопросъ, и надежда, и крылья... А слова, разсужденія, догмы, формулы, объясненія,—все это придетъ потомъ, какъ *придатокъ*, но главнаго въ нихъ не почувствуешь, главное—въ этомъ весеннемъ броженіи, въ этихъ бѣлыхъ, прозрачныхъ надеждахъ,

въ этомъ голубомъ, безоблачномъ небѣ, отраженномъ въ душѣ... Главное—въ мукахъ рожденія...

„Въ душѣ *новаго* человѣка перекрещиваются наслоенія разныхъ великихъ эпохъ: язычество и христіанство, древній богъ Панъ и новый Богъ, умершій на крестѣ, греческая красота и средневѣковый романтизмъ, Діонисъ, въ которомъ образъ бога языческаго сливается съ образомъ Бога христіанскаго, и возрожденіе—рожденіе человѣка новой исторіи и жажда новаго грядущаго возрожденія. Новая душа раздваивается, усложняется до послѣдняго предѣла, идетъ къ какому-то кризису—желательному и страшному. Упадочники превращаются въ символистовъ и мистиковъ. Воскресаютъ въ насъ боги и Богъ, опять вселенскія темы вступаютъ въ свои вѣчныя права, дѣлаются самыми важными. И мы живемъ не только въ эпоху упадка и измельчанія культуры, въ безбожную эпоху малыхъ дѣлъ на равнинѣ, но и въ захватывающую по своему всемірному значенію и интересу эпоху зачинающагося новаго религіознаго возрожденія, загорающагося новаго религіознаго сознанія“ [1]).

Главными представителями этого новаго религіознаго сознанія, тѣми писателями, въ которыхъ великая мука Достоевскаго воплотилась особенно ярко и которые являются настоящими его духовными сыновьями, нужно считать Мережковскаго, Бердяева, Булгакова и Розанова.

Д. С. Мережковскій среди нихъ замѣчателенъ тѣмъ, что въ его творчествѣ эти, „вселенскія темы:“ богъ языческій и Богъ христіанскій, земля и небо,

[1]) Н. Бердяевъ: „О новомъ религіозномъ сознаніи“ (Вопросы жизни, сентябрь, 1905).

плоть и духъ, индивидуализмъ и общественность, отрицаніе и свобода, нашли себѣ особенно глубокое и талантливое выраженіе...

Но наиболѣе важная заслуга Мережковскаго въ томъ, что онъ первый въ Россіи по настоящему затронулъ проблему истинной культуры, открылъ глаза русской читающей публикѣ на того великаго грядущаго Хама, который стоитъ надъ судьбой Россіи,—и далъ весьма проникновенную оцѣнку анархической особенности русскаго духа...

Мережковскій касается въ своемъ творчествѣ самыхъ основныхъ, самыхъ роковыхъ вопросовъ бытія, вотъ почему писанія его представляютъ глубокій интересъ.

Мережковскій, можетъ быть глубже, чѣмъ кто либо другой—понялъ трагедію современной души, понялъ ея роковую надломленность, происходящую отъ неудовлетворенности жизнью, ея неизбывную тоску, тоску, возносящую душу только въ болѣзненныхъ грезахъ надъ жизнью, тоску безкрылую, понялъ хаосъ противорѣчій, и смятенія и всевозможныхъ искушеній въ этой душѣ, и все безсиліе крайняго анархическаго индивидуализма, и паденія съ высотъ, и глубочайшій пессимизмъ, и какъ слѣдствіе всего этого—ужасъ неизбѣжнаго и близкаго конца!...

Понялъ же онъ все это потому, что его собственная душа была подвержена этой болѣзни вѣка и сквозь нее прошло отчаянье, и этотъ страхъ, и эта тоска, и самъ глубоко почувствовалъ, что виситъ надъ бездной, что міръ клонится къ концу, что дряхлая и измученная вѣковѣчной скукой душа міра проситъ покоя и небытія, что всѣ источники изся-

кли, что нечѣмъ больше жить, что нужно искать спасенья и что нѣтъ силъ нигдѣ и ни въ чемъ его найти!

Пессимизмъ приводитъ человѣка къ тупику, но сознаніе гибели міра, сознаніе конца, сознаніе безысходности не есть еще пессимизмъ, потому что горитъ въ душѣ мечта о новомъ мірѣ—воскресшемъ, преображенномъ, грядущемъ, потому что есть въ ней тайное знаніе о Богѣ и чудѣ, соединяющемъ дряхлую, конченную землю съ міромъ новымъ, съ царствомъ Духа, въ которомъ расцвѣтетъ жизнь полная, идеальная, гармоническая и святая, въ которомъ небо и земля сольются въ одно, въ которомъ плоть будетъ душой и душа плотью, въ которомъ человѣческая трагедія будетъ искуплена преображеніемъ человѣка въ богочеловѣка!

Въ лирикѣ Мережковскаго заключена именно эта сторона:—та великая усталость, то холодное и томительное одиночество и та глубокая тоска, которыя толкнули его на путь къ новому сознанію, которыя привели его къ Богу...

Въ лирикѣ, гдѣ меньше разума и гдѣ больше искренности и непосредственности—вообще ярче и отчетливѣе отражается душа и ея сокровенность, и чтобы понять Мережковскаго, чтобы понять всю необходимость пришествія его ко Христу,—нужно заглянуть сюда, въ эту сторону, гдѣ душа живетъ свободнѣе, гдѣ не стѣсняетъ ее ненужная логика сѣрыхъ, безжизненныхъ, ненужныхъ человѣческихъ словъ!

По холодной, безжизненной, однообразной равнинѣ тоски бродитъ здѣсь душа. И душа—прозрачная, усталая, уже словно застывшая, и сквозь ея ле-

дяную прозрачность видна тупая боль, и желаніе безстрастья, и желаніе забвенья!...

Словно духъ земной неподвижности, оледенѣлости, оцѣпенѣнія и угнетающей жути воплотился здѣсь, словно морозъ изукрасилъ мертвенно нѣжными узорами стекло души, и нѣтъ надежды, что будетъ весна и растаетъ ледъ, что будетъ солнце, и нѣтъ яркихъ лучей, нѣтъ дыханія жизни, а только сѣрые сумерки, безжизненная даль равнинъ, погребенныхъ въ снѣгахъ, только туманы!...

Тихихъ небесъ поблѣднѣвшая твердь
Дышитъ безсмертною радостью,
Сердце чуруетъ мнѣ смерть
Непзрѣченною сладостью!

Тихая, не волнующая, а спокойно струящаяся печаль баюкаетъ сердце, и не надо яркихъ красокъ, не надо надеждъ, вся душа погружена въ безстрастье, вся душа истомилась и исчезла въ усталости, и міръ стоитъ вокругъ тоже усталый, мертвенно блѣдный, ненужный, чужой!...

И вспоминаются вѣщія слова Евангелія объ этомъ состояніи: „въ тѣ дни будетъ такая скорбь, какой не было отъ начала творенія“...

Именно такая безутѣшная, ледяная, острая скорбь вѣетъ отъ этихъ стиховъ, скорбь предчувствія близкаго мірового конца, скорбь одинокаго, погребеннаго среди льдовъ, среди тумановъ тоски, сердца.

Мнѣ самого себя не жаль.
Я принимаю всѣ дары твои, о Боже,
Но кажется порой, что радость и печаль,
И жизнь, и смерть—одно и то же.
Спокойно жить, спокойно умереть—

Моя послѣдняя отрада.
Не стоитъ ни о чемъ жалѣть,
И ни на что надѣяться не надо.
Ни мукъ, ни наслажденій нѣтъ.
Обманъ—свобода и любовь, и жалость,
Въ душѣ—безцѣльной жизни слѣдъ—
Одна тяжелая усталость.

Кто позналь такую усталость, кто почувствовалъ въ душѣ своей мертвое дыханіе смерти, кто вкусилъ ядъ разочарованія жизнью, презрѣнія, тупого безстрастья,—тотъ, значитъ, носитъ въ себѣ глубокую тоску, глубокую неутоленную жажду высшаго міра, другой жизни, другихъ міровъ, значитъ, не здѣсь его душа, и земное, ограниченное, пошлое, преходящее не насытятъ его голода, не успокоятъ томительную боль сердца, оторваннаго отъ міра, къ небу стремящагося!...

Онъ чувствуетъ себя среди людей какъ въ пустынѣ, отъ людей только непріятная дрожь, какъ отъ прикосновенія къ холодному тѣлу гада, отъ людей ничего нельзя ждать, всѣ они чужіе и между имъ и людьми—стѣна...

Никто не пойметъ, чѣмъ полна душа, всѣ далекіе, и онъ самъ не чувствуетъ къ нимъ ничего, и красною нитью проходитъ сквозь всю его лирику нелюбовь къ людямъ, холодное къ нимъ презрѣніе, а это значитъ, что не отъ міра сего и душа и жизнь въ ней, ибо кто отъ міра—тотъ всегда заодно съ людьми...

Даже послѣ, когда совершился переворотъ въ творчествѣ Мережковскаго, когда онъ сталъ христіанномъ—нигдѣ нѣтъ христіанской любви въ его писаніяхъ. Даже Христосъ не могъ научить его любви къ людямъ...

Ибо можно признавать эту любовь въ теоріи, можно ее чувствовать вообще ко всему человѣчеству, но только при одномъ условіи: чтобы не было видно человѣческаго лица... Это чувство было хорошо вѣдомо Достоевскому, онъ всю жизнь свою не любилъ людей, хотя и былъ христіаниномъ, онъ устами Ивана Карамазова хорошо и вѣрно высказалъ эту свою особенность, свойственную и Мережковскому и многимъ другимъ, которые потому и не могутъ любить людей, что душа ихъ внѣ міра и внѣ людей.

Я людямъ чуждъ и мало вѣрю
Я добродѣтели земной:
Иною мѣрой жизнь я мѣрю,
Иной, безцѣльной красотой.
Я вѣрю только въ голубую
Недосягаемую твердь,—
Всегда единую, простую
И непонятную какъ смерть.
О, небо, дай мнѣ быть прекраснымъ,
Къ землѣ сходящимъ съ высоты,
И лучезарнымъ, и безстрастнымъ,
И всеобъемлющимъ, какъ ты.

Эта невозможность любви къ людямъ терзаетъ сердце, не даетъ покоя, но она выше силъ, она лежитъ въ душѣ непредолимою тяжестью, а душа можетъ любить только себя и Бога, она чужда всему, она пронзена холодной стрѣлой безстрастья, и въ тишинѣ несется мольба ея къ Богу, жалоба на свое отчаянье, на свою невозможность любить людей.

О, если бы душа полна была любовью,
Какъ Богъ мой на крестѣ—я умеръ бы любя,
Но ближнихъ не люблю, какъ не люблю себя,
И все таки порой исходитъ сердце кровью.

...Въ постели я плакалъ, припавъ къ изголовью;
И было прощеніемъ сердце полно,
Но все-жъ не людей—безконечной любовью
Я Бога любилъ и себя, какъ одно.

...И хочу, но не въ силахъ любить я людей:
Я чужой среди нихъ; сердцу ближе друзей—
Звѣзды, небо, холодная, синяя даль
И лѣсовъ, и пустыни нѣмая печаль...

...И мнѣ страшно всю жизнь не любить никого.
Неужели на вѣкъ мое сердце мертво?
Дай мнѣ силы, Господь, моихъ братьевъ любить!

Даже въ той любви, которая искупляетъ всякое одиночество, которая пріобщаетъ къ небу, которая должна заполнить всю пропасть душевную, всю тоску испепелить въ душѣ, даже здѣсь—одиночество, жестокая мука, одно томленье, одинъ и тотъ же мертвящій холодъ, мѣшающій слиться во едино, мѣшающій отдать всю душу и принять въ себя душу любимую. И въ этомъ—трагедія земная, трагедія вѣчная, неразрѣшимая и роковая, трагедія любви! Нельзя ни отдаться всецѣло, ни побѣдить любви, любовь—это борьба, вражда, роковой поединокъ—и одинъ изъ двухъ долженъ пасть, долженъ покориться, долженъ стать рабомъ на всю жизнь, но даже въ этомъ рабствѣ не уничтожить одиночества, не растопить душевнаго холода!

Чужое сердце—міръ чужой,
И нѣтъ къ нему пути!
Въ него и любящей душой
Не можемъ мы войти.
И что-то есть, что глубоко
Горитъ въ твоихъ глазахъ,
И отъ меня—такъ далеко,
Какъ звѣзды въ небесахъ...

Въ своей тюрьмѣ—въ себѣ самомъ,
Ты, бѣдный человѣкъ,
Въ любви, и въ дружбѣ, и во всемъ
Одинъ, одинъ—навѣкъ!

Въ жалкомъ безсильи умираетъ душа, нѣтъ выхода, нѣтъ путей, нѣтъ просвѣта, только рабство, только ложь и усталость, только слабая безкрылость,—такова эта сторона творчества Мережковскаго, сущность которой вполнѣ выражена въ слѣдующихъ строкахъ:

Ницъ простертые, унылые,
Безнадежные, безкрылые,
Въ покаяніи, въ слезахъ—
Мы лежимъ во прахѣ прахъ.

Мы не смѣемъ, не желаемъ,
И не вѣримъ, и не знаемъ,
И не любимъ ничего.

Боже, дай намъ избавленья,
Дай свободы и стремленья,
Дай веселья твоего.

О, спаси насъ отъ безсилья,
Дай намъ крылья, дай намъ крылья,
Крылья духа твоего!

Я сказалъ, что эта бездонная скорбь, это безсиліе и усталость, которыя составляютъ основу лирики Мережковскаго—впослѣдствіи привели его къ окончательной пристани, къ той пристани, которая уготована всѣмъ глубокимъ и страдающимъ, всѣмъ отчаявшимся и потерявшимъ почву—ко Христу...

Но, даже принявъ Христа въ свою душу, даже сознавъ что Онъ—единственное разрѣшеніе всѣхъ вопросовъ, что въ Немъ одномъ—спасенье,—Ме-

режковскій не могъ избавиться отъ сомнѣній, терзающихъ душу, отравляющихъ покой ея, не могъ побороть тоски своей великой и безмѣрной, не могъ всецѣло искупить свою скорбь, заглушить соблазны, разрѣшить загадки...

Вѣра Мережковскаго—не та вѣра, что всецѣло спасаетъ душу и даетъ ей безмятежный покой и свѣтлую радость, это не та слѣпая вѣра святыхъ, юродивыхъ, мучениковъ, которая двигаетъ горами и создаетъ чудеса, въ ней нѣтъ *силы*, но также нѣтъ и той сытости, происходящей отъ слишкомъ усердной преданности догмѣ, которая такъ характерна для нѣкоторыхъ его единомышленниковъ.

Вѣра Мережковскаго—это вѣра современнаго человѣка съ утонченной и больной душой, отравленной всѣми искушеніями современной мысли и культуры,—перешедшей всѣ границы, познавшей роковую двойственность и соблазны двухъ безднъ—верхней и нижней, и соблазны двухъ божествъ—чернаго и свѣтлаго...

Вѣра Мережковскаго по существу своему трагична и все творчество его можетъ быть охарактеризовано какъ *трагическая религіозность*...

То же самое было и у Достоевскаго. Богъ не насытилъ души его до конца, Богъ былъ для него только *окончательной* пристанью, тою надеждой, за которую онъ хватался какъ за соломинку въ минуты отчаянья, страха и тоски; и въ одну и ту же минуту онъ могъ испытывать бездонность вѣры и самаго жестокаго безбожія,—и полная крайняго бунта легенда объ инквизиторѣ таинственно сочеталась съ образами Мышкина и Алеши—этихъ Божіихъ младенцевъ, и рука, написавшая „Записки изъ под-

полья"—это евангеліе современнаго нигилистическаго бунтарства,—написала также и дышащія истиннымъ христіанскимъ благочестіемъ и смиреніемъ поученія старца Зосимы!...

Эта же двойственность замѣчается и у Мережковскаго: онъ весь какъ бы состоитъ изъ двухъ началъ; человѣческое и божеское, вѣра въ Бога и таинственное обаяніе сатаны, провалы плоти и аскетизмъ, Венера и св. Софія, Христосъ и Антихристъ, индивидуализмъ и общественность—все это переплетается въ душѣ его, образуя трагическій узелъ, распутать который онъ не въ силахъ...

Но это же придаетъ всѣмъ его писаніямъ особенный интересъ, но въ искренности и обнаженности ихъ чувствуется то обаяніе, котораго нѣтъ у другихъ представителей „новаго религіознаго сознанія" (за исключеніемъ Розанова)...

Какія зловѣщія нотки звучатъ уже въ первой его большой работѣ: „Толстой и Достоевскій". Здѣсь какъ бы воплотилось его таинственное знаніе о міровомъ концѣ, его углубленное пониманіе трагической судьбы современной души, его отчаянное желанье ухватиться за что-нибудь, чтобы забыть обо всемъ, чтобы утѣшить себя послѣднимъ утѣшеньемъ выбившагося изъ силъ человѣка, чтобы принять въ свою душу Христа и Ему отдать свою тяжесть, и въ Немъ утопить свою томительную тоску!

„Дальше идти некуда: историческій путь пройденъ, дальше—обрывъ и бездна, паденіе или полетъ,—путь сверхъисторическій—религія...—*„Вся дорога пройдена, историческій путь конченъ—дальше идти некуда, но мы знаемъ, что когда кончается исторія, начинается религія. У самаго края бездны*

необходимо и естественно является мысль о крыльяхъ, о полетѣ, о сверхъисторическомъ пути—о религіи". („Толстой и Достоевскій" томъ I, стран. 8—9*).

Эти слова Мережковскаго подтверждаютъ мое опредѣленіе его религіознаго сознанія, какъ трагическаго по существу... Его религія является слѣдствіемъ послѣдняго отчаянья, его религія не есть непосредственное, живое, творческое чувство, она является средствомъ спасенья отъ гибели, она есть бѣгство отъ сознанія кончины міра, она только въ мукѣ, она только въ одномъ робкомъ и холодномъ чаяніи!...

И въ этомъ отношеніи Мережковскій сходенъ съ Ницше; какъ послѣдній понялъ, что человѣкъ долженъ погибнуть и на его мѣстѣ долженъ родиться сверхчеловѣкъ, владыка земли, что путь до черты весь пройденъ, а за нимъ—бездна и полетъ надъ бездной, такъ и Мережковскій приблизился къ той-же чертѣ, но понялъ, что человѣкъ есть нуль, а сверхчеловѣкъ—безсиліе, абсурдъ взбунтовавшагося послѣдняго язычника на землѣ, ненавидящаго Бога и за эту ненависть поплатившагося жизнью. Мережковскій понялъ, что не въ человѣческой власти взлетѣть, что только Богъ можетъ дать крылья, что за бездной сіяютъ чертоги новаго града въ царствѣ грядущемъ, въ царствѣ Духа!...

Но не далъ крыльевъ Богъ, ибо крылья даются только безумцамъ и фанатикамъ, вѣра же Мережковскаго—холодная, умственная съ прорывами отчаянья, котораго не въ силахъ побороть ничто, съ вѣчными сомнѣніями, съ вѣчною мукой и вѣчной

---

*) Курсивъ мой А. З.

тоской!... Онъ повисъ надъ бездной и застылъ въ оцѣпенѣніи и жуткомъ страхѣ; ни полетѣть внизъ, ни вознестись вверхъ нельзя, созерцаетъ обѣ бездны—нижнюю и верхнюю, и одна и другая одинаково понятны и близки, и одна и другая постигнуты разумомъ до дна, *но сердце застыло въ холодномъ созерцаніи*, и не можетъ оно загорѣться, не можетъ облиться кровью, не можетъ разорваться, оно какъ ледъ... И въ этомъ-то и главная трагедія...

Но любопытно и замѣчательно одно: когда Мережковскій говоритъ о Христѣ, о грядущемъ царствѣ св. Духа, о великомъ значеніи догмата,—слова его такія холодныя, неубѣдительныя, безжизненныя, безплотныя, они не передаются душѣ, въ нихъ не чувствуешь *огня вѣры*, они такія торжественныя и такія напрасныя; когда же сквозь эту морозную туманность вѣры прорываются старыя сомнѣнія, когда ужасъ, смятенье и отчаянье звучатъ въ нихъ—чувствуешь большую искренность, чувствуешь, что это уже не умственное, это изъ души, это—живая правда, живая плоть, и какъ то лучше воспринимаешь это, и вѣришь этому, и чувствуешь, что не въ вѣрѣ его главное, а въ этомъ!... Ту же самую искренность проявляетъ онъ, когда отчаянье сочетается, сплетается, сливается со словами о Христѣ, о Его великомъ значеніи, о Его роли въ жизни современнаго человѣка,—и въ этомъ странномъ сплетеніи снова ярко выступаетъ трагическій характеръ его религіознаго сознанія.

„Кто-то недавно хотѣлъ „убить Бога". Жалкое безуміе—убивать мертваго. Впрочемъ, жилъ Богъ или умеръ, какое дѣло людямъ до Бога? На что имъ Богъ? Они наги—Богъ не одѣлъ ихъ; голодны—

Богъ не накормилъ, въ рабствѣ—Богъ не освободилъ. У звѣрей нѣтъ Бога, а люди живутъ хуже звѣрей. Сначала сдѣлайте людей людьми, а потомъ говорите имъ о Богѣ.

„Чѣмъ на это возразишь? Словами стыдно; а дѣлами—гдѣ же собственно религіозныя дѣла нашихъ дней? Какъ не доказать, а показать, что религія—самое нужное изъ всѣхъ человѣческихъ дѣлъ? Если что либо въ религіозныхъ переживаніяхъ потеряно окончательно и, какъ будто, невозвратно, то это именно ощущеніе религіознаго дѣйствія. Пока говоришь о религіи, какъ объ идеалѣ, всѣ соглашаются или, по крайней мѣрѣ, никто не споритъ—кажется, впрочемъ, потому, что всѣмъ наплевать; но, только что пытаешься связать религію съ реальной дѣйствительностью, оказываешься или въ дуракахъ или въ подлецахъ, ибо за память современнаго человѣчества единственная религіозно-общественная реальность—глупость обманутыхъ, подлость обманщиковъ“ *).

Искренность этихъ словъ, какая-то надрывная, отчаянная искренность—невольно поражаетъ...

Въ самомъ дѣлѣ, кто изъ нашихъ книжниковъ и фарисеевъ, много разглагольствующихъ о вѣрѣ, но въ глубинѣ чувствующихъ лишь мертвую пустоту и скуку — осмѣлится публично признаться въ этомъ?...

Въ томъ-то и обаяніе Мережковскаго, что свою трагедію—трагедію умственной, созерцательной, холодной, неспособной на подвигъ вѣры—онъ обнажаетъ прямо и не смущаясь, не можетъ тамъ, гдѣ

*) „Не миръ, но мечъ“, стр. 3.

все должно быть свято—лгать, не можетъ обманывать себя и другихъ, не можетъ кривить душой передъ Богомъ, который видитъ всю душу насквозь и знаетъ каждую потаенную мысль, который есть сама совѣсть!...

Если человѣкъ безуменъ, если нѣтъ выхода изъ безсилья, если все для него погибло и даже Богъ не можетъ спасти, то онъ долженъ кричать о своемъ безсильи, онъ долженъ душу свою распять въ тоскѣ, въ мольбѣ своей несчастной, пусть слышитъ земля, пусть слышатъ люди, можетъ быть хоть отъ этого станетъ легче, можетъ быть хоть въ этомъ рыдающемъ крикѣ обнаженнаго отчаянья спадетъ съ души непосильная тяжесть муки, съ которой не сравнится ничто!...

Въ этой трагической правдѣ, высказываемой открыто, передъ лицомъ міра—есть что-то жертвенное, что-то исцѣляющее, что-то безумное!...

Если потеряна послѣдняя надежда, то пусть Богъ видитъ всю боль, весь ужасъ, все смятеніе и всю безнадежность, пусть Онъ сжалится надъ человѣческой душою, поверженной въ прахъ на могилѣ мертваго міра, пусть Онъ войдетъ въ душу и раздуетъ навѣки угасшее пламя, пусть сожжетъ Онъ ее, кровью зальетъ, истерзаетъ, замучитъ, убьетъ, но только пусть растаетъ безстрастный ледъ, пусть оживетъ человѣкъ хоть передъ Богомъ живымъ, въ которомъ воскресаетъ всякая тварь, для котораго нѣтъ смерти и не можетъ быть!...

Для истиннаго христіанина, вѣрующаго въ будущую жизнь и въ воскресенье Христа смерть является только переходомъ въ другіе міры, смерть для него не страшна; смерть—это вдохновительница

христіанства, особенно христіанства восточнаго, смерть для него не ужасъ, а высшая нетлѣнная жизнь. И въ этомъ—счастье христіанства. Но Мережковскій, измученный сомнѣніями—не можетъ примириться со смертью, смерть для него трагична, какъ трагиченъ для современнаго сознанія весь міръ, смерть для него—жестокая тайна, неумолимый ужасъ, страхъ, зло—и онъ въ паническомъ страхѣ бродитъ около смерти, ища отъ нея защиты, сознавая, что главное въ мірѣ не жизнь, а смерть, и что если есть смерть, то напрасно все, напрасны всѣ надежды, напрасна мысль, напрасны всѣ усилія!...

„Если бы наступилъ рай на землѣ, въ которомъ человѣчество нашло бы утоленіе всѣхъ своихъ потребностей, не только физическихъ, но и духовныхъ, и одна смерть осталась бы непобѣдимою, непобѣдимою, то человѣкъ, не отказавшійся отъ своего человѣческаго достоинства, не могъ бы удовольствоваться этимъ раемъ... Въ какой бы мѣрѣ ни побѣдилъ человѣкъ силы природы, достаточно одной возможности смерти, какъ уничтоженія личности, для того, чтобы уничтожить всю реальность бытія: если смерть есть, то ничего нѣтъ, кромѣ смерти; если смерть есть, то все—ничто.

„И если бы всѣ люди стали эмпирически безсмертными, но смерть продолжала бы существовать, только какъ метафизическая возможность, хотя бы на отдаленнѣйшихъ предѣлахъ пространства и времени, то человѣкъ совершеннаго религіознаго сознанія не могъ бы все-таки принять міръ. Религіозное, то есть абсолютное утвержденіе жизни требуетъ и абсолютнаго отрицанія смерти, абсо-

лютной побѣды надъ смертью". („Не миръ, но мечъ"). *).

Воскресеніе Христа, а не самъ Христосъ—вотъ что, по мнѣнію Мережковскаго—является главнымъ въ христіанствѣ, вотъ что заставляетъ стремиться къ нему всѣхъ отчаявшихся, всѣхъ обезумѣвшихъ отъ сознанія, что смерть неизбѣжна—людей!... И въ этомъ отношеніи онъ правъ: не было человѣка, который бы не боялся смерти, смерть—таинственная сущность жизни, „если бы не было смерти—говорилъ Шопенгауэръ—не было бы философіи". Все знаніе, вся наука, вся человѣческая мудрость направлены къ тому, чтобы побороть смерть; для современнаго человѣка, извѣрившагося во всемъ, не знающаго ни Бога, ни чорта, потерявшаго всякую увѣренность, всякую почву—смерть является страхомъ, переполняющимъ всю жизнь, страхомъ, убивающимъ волю къ жизни, страхомъ ядовитою стрѣлой вонзающимся въ сердце и отравляющимъ всѣ дни, всѣ дѣла, творчество, литературу, любовь,—безмѣрной, ноющей, разъѣдающей, страшной тоской!... Самоубійство—вотъ что сдѣлалось содержаніемъ современной жизни. Самоубійство—это единственное эмпирическое дѣйствіе, въ реальность, въ спасительность котораго можетъ вѣрить современный человѣкъ.

Христіанство тѣмъ и побороло смерть, что все время само шло на встрѣчу ей, оно прямо смотрѣло ей въ глаза—въ бездонные, пустые, жуткіе глаза—оно принимало ее въ свою душу, оно само мало по малу превращалось въ культъ смерти; аскетизмъ, распинаніе плоти, бѣгство отъ міра, проклятье

*) Курсивъ мой. А. З.

и непріятіе міра, ненависть ко всему плотскому въ концѣ концовъ превратилось въ то же самое, только видоизмѣненное самоубійство, ибо для христіанства, для *настоящаго*, подлиннаго христіанства—плоть должна быть уничтожена во имя духа, во имя будущей жизни—безплотной, безпечальной, безгрѣшной, „идѣ же нѣстъ ни печаль, ни болѣзнь, ни воздыханіе, но жизнь безконечная!“... Христіанство очаровано смертью, оно видитъ сквозь нее неземные міры, великолѣпные чертоги, незримую для плотскихъ очей красоту, оно влюблено въ смерть больной и странной любовью, любовью божественной и безсмертной, въ которой исчезаетъ весь міръ... И Тотъ, кто сказалъ „мужайтесь, нынѣ я побѣдилъ міръ!“—тоже убилъ свое тѣло, распялъ его и замучилъ во имя воскресенья въ духѣ, во имя преображенія міра въ небо, во имя избавленія отъ путъ... Воплотившись въ тѣло—не для того ли убилъ его, чтобы показать, что оно преходяще, что оно есть прахъ и тлѣнъ, что нельзя и не должно на него надѣяться и придавать ему какую бы то ни было цѣну, ибо оно во злѣ лежитъ, ибо оно ничтожно, ибо оно прикрѣпляетъ къ землѣ и дѣлаетъ человѣка рабомъ?... И Христосъ и христіанство есть жестокая инквизиція Духа надъ тѣломъ, есть самоубійство ради спасенья, есть пытка во имя блаженства, есть страданье во имя безмятежнаго, вѣчнаго счастья, съ которымъ не сравнится ничто на землѣ... Побѣда надъ міромъ возможна въ христіанствѣ не посредствомъ преображенія плоти въ духъ, а посредствомъ распятья, муки, убійства плоти, посредствомъ вышибанія обухомъ изъ тѣла души.

Таково по преимуществу христіанство восточное, совсѣмъ отрекшееся отъ мірскихъ дѣлъ, предоставившее власть человѣческую и суету мірскую Риму, который менѣе всего христіанскій и менѣе всего близокъ Христу...

Христіанство восточное есть почти сплошная аскеза, одно экстатическое созерцаніе вѣчной жизни сквозь умерщвленную плоть, одна восторженная молитва объ избавленіи отъ тѣла, отъ міра, отъ плоти, отъ людей!... Знаменательныя слова апостола: „Не любите міра, ни того, что въ мірѣ“ красною нитью проходятъ сквозь творенія и жизнь православныхъ знаменитыхъ аскетовъ и мучениковъ: Исаака и Ефрема Сирина, Іоанна Лѣствичника, Антонія Великаго и другихъ!...

Вотъ именно эта сторона христіанства особенно мучаетъ Мережковскаго, является вѣчной загадкой для него, вызываетъ сомнѣнія, возбуждаетъ недовѣріе, колебаніе въ вѣрѣ, иногда даже отталкиваетъ его отъ христіанства...

Это умерщвленіе христіанствомъ жизни, это презрѣніе къ міру и къ плоти—вовсе ему чуждо, въ этомъ кроется для него какая-то главная ошибка, какое-то тайное недоразумѣніе, жестокая мука. И онъ всѣмъ своимъ существомъ возстаетъ противъ аскетическаго начала въ христіанствѣ, ибо жизнь для него не одно сплошное зло, не скверна и не помойная яма, а не меньшая тайна, чѣмъ небо и духъ...

Съ другой стороны ему становится понятно, что жестокій аскетизмъ, присущій христіанству, можетъ быть, противорѣчитъ самому Христу, ибо ясно и всѣмъ хорошо извѣстно, что воскресеніе Христа совершилось не только въ духѣ, но и во плоти, что

Христосъ явился и являлся не одинъ разъ послѣ смерти ученикамъ не только какъ духъ, но и какъ тѣло, слѣдовательно послѣдняя тайна христіанства не есть раздѣленіе плоти и духа, но—соединеніе плоти и духа въ одну священную гармонію, воскресеніе плоти и духа, преображеніе плоти, освященіе ея!

„Ежели, однако, плоть есть абсолютная нечистота, отрицаніе Бога, чистаго Духа, то зачѣмъ воплощеніе слова, явленіе Христа во плоти? Зачѣмъ воскресеніе плоти? Зачѣмъ таинство Плоти и Крови? Не кощуственно-ли погружать святыню, Плоть Христову, образъ безплотнаго Духа въ бездушную плоть человѣческую—гной, грязь, лужу, въ которой воплощаются бѣсы, какъ свиньи? Какое же это таинство? Какое соединеніе противоположностей?... *Слово, ставшее плотью*—есть откровеніе Божеской Сущности,которая воплощается въ мірѣ, становится имманентною міру. Но христіанская святость—отреченіе отъ міра, доведенное до предѣла своего—до отрицанія міра, какъ начала несоизмѣримаго съ Богомъ,—предполагаетъ откровеніе Божеской сущности, не имманентной, а трансцедентной міру. Если же это дѣйствительно такъ, то не могло ли бы оказаться христіанство, по крайней мѣрѣ, въ нѣкоторыхъ точкахъ своей метафизики—страшно сказать, но страшнѣе молчать—противоположнымъ Христу?“ *).

Эта мысль—мысль объ игнорированіи христіанствомъ плоти, объ осквернены плоти, объ отреченіи отъ нея—становится особенно важной, особенно мучительной для Мережковскаго. И въ этомъ отношеніи искусителемъ его оказался Розановъ—этотъ ярый

*) Послѣдній святой.

поклонникъ святой плоти, этотъ анархистъ и бунтовщикъ въ метафизикѣ пола, не примирившійся съ аскетизомъ и противопоставившій ему поэзію библейской семейной жизни... Вліяніе Розанова на міросозерцаніе Мережковскаго несомнѣнно, и кто знаетъ, можетъ быть еслибы не Розановъ—Мережковскій спокойно бы примирился съ вопіющей несправедливостью аскетизма и принялъ бы историческое христіанство цѣликомъ.

Но то, что для Розанова послужило выходомъ, для Мережковскаго было чуждо. Н. А. Бердяевъ очень вѣрно указалъ на различіе ихъ путей, говоря, что „Розановъ открываетъ святость и божественность пола и сладострастья любовнаго какъ бы до начала міра, хочетъ вернуть насъ къ райскому состоянію до грѣхопаденія; Мережковскій открываетъ то же самое послѣ конца міра, зоветъ къ сладострастному и святому пиршеству плоти въ мірѣ преображенномъ, искупленномъ и воскресшемъ“... *)

Но не сразу Мережковскій сдѣлался противникомъ историческаго христіанства. Какъ извѣстно, онъ въ началѣ своей дѣятельности былъ вѣрнымъ сыномъ церкви, признавалъ христіанскую теократію во главѣ съ Царемъ, какъ первосвященникомъ, былъ вѣрнымъ послѣдователемъ Достоевскаго и Вл. Соловьева...

Церковъ должна была отвѣтить на всѣ его мучительныя сомнѣнія, церковь должна была примирить и объяснить противорѣчія между христіанствомъ и жизнью, церковь должна была разрѣшить то, что неспособенъ понять его умъ... Отчего плоть, полъ, бракъ

*) Н. Бердяевъ: „О новомъ религіозномъ сознаніи“.

являются для церкви грѣховными и нечистыми, несмотря на таинство брака? Отчего христіанство не въ силахъ преобразить жизни, а только изсушаетъ ее, отчего церкви чужды и непонятны вся человѣческая культура, весь міръ искусства и поэзіи, вся тайна міра и тайна жизни, все роковое, необъяснимое, мучительное, которое должно быть такъ же свято, какъ свята вся жизнь, оторванная отъ церкви и отъ христіанства?...

„Или жизнь безъ Христа, или христіанство безъ жизни. Мы не можемъ принять ни того, ни другого. Мы хотимъ, чтобы жизнь была во Христѣ и Христосъ въ жизни. Какъ это сдѣлать? Гоголю на вопросъ этотъ церковь ничего не отвѣтила. Можетъ-быть, тогда еще не исполнились времена и сроки. Но теперь они исполняются. Пусть же церковь отвѣтитъ. Мы спрашиваемъ*)".

Мережковскій обратился къ Церкви не для того, чтобы выразить свое послушаніе, свою преданность, а для того, чтобы разрѣшить свои сомнѣнія, для того, чтобы убѣдиться, способна ли видимая, современная, православная Церковь вмѣстить въ себя все то, что вокругъ, что не даетъ покоя, что вопіетъ къ небу, что должно быть разрѣшено, должно быть искуплено, должно быть понято и пріобщено къ Церкви, ибо Церковь должна быть всей жизнью, всей многогранной, сложной и таинственной жизнью и жизнь должна воплотиться въ Церковь!...

Когда въ 1902 году возникло въ Петербургѣ религіозно-философское общество, когда всѣ эти „новые люди", чающіе воды живой, взыскующіе новаго

*) Гоголь и чортъ.

града, столкнулись съ представителями оффиціальной Церкви для разрѣшенія тѣхъ вопросовъ, которые мучили Мережковскаго,—тогда для послѣдняго явно обнаружилась неоспоримая истина, что Церковь вовсе не въ жизни, что она отдѣлена отъ жизни китайской стѣной, что она омертвѣла, застыла въ своихъ ортодоксальныхъ догматахъ и совершенно лишена жизни, и что то, что для Мережковскаго и ему подобныхъ представлялось насущной потребностью—для нея—лишь привычное, оффиціальное, мертвое, казенное...

Люди новаго религіознаго сознанія и представители Церкви говорили на разныхъ языкахъ, они не могли сойтись, они были чужіе другъ другу, а жизнь—живая, грозная, страшная, неустроенная жизнь—требовала разрѣшенія ея загадокъ, требовала пониманія, требовала преображенія.

„По старой привычкѣ—говоритъ Мережковскій—„церковь видѣла въ насъ, свѣтскихъ людяхъ, только не вѣрующихъ, которыхъ должно обратить къ вѣрѣ. Но мы, или, по крайней мѣрѣ, нѣкоторые изъ насъ, именно тѣ, кто вопрошалъ Церковь, вѣрили не меньше, чѣмъ всѣ эти монахи и священники. Для насъ вѣра была удивленіемъ, для нихъ—почти скукою; для насъ—глубиною мистики, для нихъ—позитивною плоскостью; для насъ—праздникомъ, для нихъ—буднями; для насъ—бѣлою ризою, въ которую мы не смѣли облечься, для нихъ—старымъ домашнимъ халатомъ. Слова священнаго писанія, въ которыхъ слышались намъ „голоса семи громовъ“, звучали для нихъ, въ лучшемъ случаѣ, какъ затверженные тексты катихизиса, а въ худшемъ—какъ мертвыя костяшки лавочныхъ счетовъ или деревянные молоточки безстрашныхъ клавишей. Намъ хотѣлось, чтобы Ликъ Христа

былъ какъ „солнце сіяющее въ силѣ своей“, а они довольствовались чернымъ пятномъ подъ вѣнчикомъ старой иконы, въ которой уже нельзя ничего разобрать.

...„Они не могли понять, что намъ нужно, чтобы Церковь согласилась не простить грѣшную, а благословить святую плоть. Они были мягки, какъ вата, но этою безкостною мягкостью окутывался камень, и остріе всѣхъ нашихъ мыслей или лопалось объ этотъ камень, или уходило въ эту мякоть, какъ остріе ножа въ подушку.

„*Соединеніе Церкви съ міромъ не удалось* *).

Такимъ образомъ самъ опытъ показалъ, что церковь была не въ жизни, а по ту сторону ея, что наболѣвшіе вопросы, надъ которыми тщетно ломалъ себѣ голову Мережковскій—были чужды Церкви, были ненужны ей, какъ не нужно ей все, что не касается охраны православія и государственности...

А для Мережковскаго эти вопросы были содержаніемъ творчества. Онъ принадлежитъ къ небольшому числу тѣхъ религіозныхъ мыслителей, которые не могутъ закрѣпостить себя догмѣ, не могутъ стать сытыми, не могутъ уйти отъ жизни, но для которыхъ сама жизнь есть бездонная тайна, а творчество—проникновеніе въ нее...

Все, все, что мучило и мучитъ Россію, что составляетъ содержаніе ея жизни—являлось мукой и для Мережковскаго, ему было мало одного религіознаго сознанія, онъ нуждался еще въ религіозномъ дѣйствіи, какъ въ дополненіи его міровозрѣнія, для этой цѣли онъ вышелъ изъ области чистаго мышленія, ударился въ публицистику, въ общественность,

*) Не миръ, но мечъ.

въ интересы минуты и политики—и всюду его встрѣчали все тѣ же сомнѣнія, все та же неудовлетворенность собой и своей вѣрой, все тотъ же губительный самоанализъ и неумолимая трагическая двойственность...

Ничего положительнаго онъ не нашелъ на этомъ пути, ничего не могъ принять, ни съ чѣмъ не могъ согласиться, ни во что не могъ цѣликомъ повѣрить.

Общественность для него являлась не цѣлью, а только средствомъ для религіознаго дѣйствія, общественности онъ былъ такъ же чуждъ, какъ и христіанству, онъ не могъ сдѣлаться партійнымъ работникомъ, потому что общественная жизнь не только не заключала въ себѣ ничего религіознаго, но была по существу своему антирелигіозна, въ ней господствовалъ тотъ же духъ хамства и буржуазной сытости, противъ котораго такъ ополчался Мережковскій, она жила только земнымъ и человѣческимъ и не признавала ничего духовнаго, ничего сверхжизненнаго, а самъ Мережковскій, утверждавшій, что русская революція имѣетъ религіозный смыслъ, что возможна христіанская общественность—казался всѣмъ этимъ марксистамъ и революціонерамъ только жалкимъ Донъ-Кихотомъ, пустымъ мечтателемъ и они подтрунивали надъ нимъ, какъ вообще подтруниваютъ надъ людьми, сующими носъ не въ свое дѣло, и Мережковскій въ такой же степени казался имъ чужимъ и ненужнымъ, какъ они—ему...

То, что для Мережковскаго въ общественности имѣло внутренній религіозный смылъ, то для самихъ общественниковъ было дѣломъ привычнымъ, ремесломъ, не допускающимъ никакихъ противорѣчій, никакого анализа, никакихъ сомнѣній... И въ этомъ от-

ношеніи они были счастливы, они были сыты и довольны, а онъ несчастенъ, неудовлетворенъ и измученъ сомнѣніями... А между тѣмъ никто иной, какъ именно Мережковскій—понялъ въ такой же степени, какъ и Достоевскій (въ „Бѣсахъ“ и въ „Записках изъ подполья“) всю трагедію, скрывающуюся въ сущности соціалъ-демократіи, именно Мережковскому-то и стала понятна эта сытая религія пошлости, безличности и мѣщанства, въ которую погружена вся современная культура и которая грозитъ превратить все человѣчество въ одно уравненіе, сводящееся въ конечномъ счетѣ—къ нулю:

„Ежели не мы, то потомки наши увидятъ рай земной, земное небо,—утверждаетъ религія прогресса. И въ поклоненіи предкамъ, и въ поклоненіи потомкамъ одинаково приносится въ жертву единственное человѣческое лицо, личность, безличному, безчисленному роду, народу, человѣчеству—„паюсной икрѣ, сжатой изъ миріадъ мѣщанской мелкоты“, грядущему вселенскому полипняку и муравейнику. Отрекаясь отъ Бога, отъ абсолютной Божественной Личности, человѣкъ неминуемо отрекается отъ своей собственной человѣческой личности. Отказываясь, ради чечевичной похлебки умѣренной сытости, отъ своего божественнаго голода и божественнаго первородства, человѣкъ неминуемо впадаетъ въ абсолютное мѣщанство“ *).

Утверждая, что революція (и даже революція французская) имѣетъ религіозный смыслъ, Мережковскій, самъ того не замѣчая, впадалъ въ противорѣчіе со своимъ взглядомъ на мѣщанство, ибо ему должно

*) „Грядущій Хамъ“.

быть хорошо вѣдомо, что всѣ революціи имѣютъ конечной цѣлью превратить человѣчество именно въ тѣ же самые муравейники пошлости, сытости и хамства, которые ему такъ ненавистны, что какой бы религіозный смыслъ ни имѣла революція въ теоріи, на практикѣ она не освобождаетъ человѣка, а переводитъ его изъ одного рабства въ другое, что достигаемая революціей человѣческая свобода есть свобода внѣшняя и сомнительная, что этой свободой люди называютъ рабство, рабское и безсмысленное подчиненіе безусловной человѣческой личности коллективу, муравейнику, пошлости, выражаясь откровенно!..

Самъ Мережковскій хорошо сознаетъ это, самъ Мережковскій спрашиваетъ себя въ одномъ мѣстѣ („Грядущій Хамъ): „Почему, въ самомъ дѣлѣ общинное владѣніе муравейникомъ должно избавить муравьевъ отъ муравьиной участи? И чѣмъ дикое рабство лучше культурнаго хамства?“...

Всѣ революціи одинаковы, и французская революція, которой Мережковскій придаетъ религіозный смыслъ—привела европейское общество къ тому же тупому, сытому, скотски—мѣщанскому состоянію, въ которомъ теперь задыхается человѣческая личность, которое есть не жизнь, а мерзость запустѣнія...

Это состояніе, этотъ характеръ современной европейской жизни, Мережковскій понялъ глубоко, проникновенно, это состояніе, *являющееся результатомъ революціоннаго освобожденія*—онъ же самъ выразилъ глубоко справедливыми словами:

„Когда вглядываешься въ лица тѣхъ, отъ кого зависятъ нынѣ судьбы Европы,—вспоминаются предсказанія Милля и Герцена о неминуемой побѣдѣ ду-

ховнаго Китая. Прежде бывали въ исторіи изверги, Тамерланы, Атиллы, Борджіа. Теперь уже не изверги, а люди, какъ люди. Вмѣсто скиптра—аршинъ, вмѣсто Библіи—счетная книга, вмѣсто алтаря — прилавокъ. Какая самодовольная пошлость и плоскость въ выраженіи лицъ! Смотришь и дивишься „удивленіемъ великимъ“ какъ сказано въ апокалипсисѣ: „откуда взялись эти коронованные лакеи Смердяковы, эти торжествующіе хамы?“ *).

Въ то время, какъ Западно-Европейская интеллигенція всецѣло проникнута буржуазно-мѣщанскимъ духомъ сытости, интеллигенція русская и русская общественность кажутся Мережковскому религіозными по существу, религіозными вслѣдствіе своего жертвеннаго элемента.

И въ этомъ Мережковскій, пожалуй, и правъ, хотя правъ только отчасти, ибо то, что въ русской интеллигенціи кажется ему религіознымъ, то для нея самое является дѣломъ простымъ, обыкновеннымъ ремесломъ, не заключающимъ въ себѣ ни капли идеализма...

Судьба русской интеллигенціи не столько религіозна, сколько несчастна, ибо то, что для нея является содержаніемъ, то, что прежде было для нея идоломъ и замѣняло того Бога, котораго она отрицала—теперь уже не можетъ заполнить всю душу, не можетъ успокоить и разрѣшить трагедіи ея безбожія, и тѣ же самые юноши и дѣвушки, которые еще такъ недавно ходили съ флагами и вмѣсто молитвъ распѣвали революціонныя пѣсни—теперь кончаютъ жизнь самоубійствомъ, и вовсе не вслѣдствіе торжества реакціи,

*) ibid.

какъ любятъ объяснять общественники и газетчики, а потому, что *прогрессъ личнаго самосознанія привелъ къ самоуглубленію* и то, что прежде казалось дѣломъ элементарнымъ, не стоющимъ вниманія, теперь мучаетъ и не даетъ покоя...

Мучаютъ и угнетаютъ роковые вопросы о цѣли и смыслѣ жизни, мучаетъ одиночество и трагическое сознаніе, что общественность не можетъ, не въ силахъ заполнить глубину душевную, что личность выросла, созрѣла, что нѣтъ ей уже мѣста въ узкихъ рамкахъ мѣщанства и пошлости, что тоска—безумная, неутолимая, неизлечимая тоска, происходящая отъ неудовлетворенія жизнью—перерастаетъ силы, что хочется взлетѣть, хочется простора, безмѣрной шири, воздуха, свободы, но всюду стѣны, всюду міровая обыденщина, всюду сумракъ мертвенный, сырой, гнилой и ядовитый, всюду ложь и обманъ,—и опускаются руки, и слабѣютъ молодыя силы, и не хочется жить!...

Воскресаетъ нигилизмъ, отрицаніе, больная анархія, воскресаетъ подпольное проклятье и бѣгство отъ жизни, атеизмъ становится религіей, ибо что бы ни говорили, а въ корнѣ русская душа нигилистична, но эта религія такая слабая, такая чахоточная, такая безплодная, что лучше задушить себя собственными руками, чѣмъ понадѣяться на нее!...

Виситъ душа русской интеллигенціи надъ бездной и ждетъ, не придетъ ли кто-то святой, кто-то могучій, кто-то божественный, еще невѣдомый, еще никогда не приходившій—и духомъ своимъ снова оживитъ застывшую кровь, и спасетъ!... Вся надежда ея на грядущее, на новый, весенній, лучезарный день!

Мережковскому и эта сторона русской интеллигенціи близка и понятна, ибо чувствуетъ онъ русскую душу и ея мука—мука его... Мережковскій, несмотря на свое христіанство (которое тоже иногда кажется сомнительнымъ и шаткимъ) понялъ, что и русское отрицаніе и русское бѣгство отъ жизни, и русскій анархизмъ *также до нѣкоторой степени являются религіей*... Онъ говоритъ въ одномъ мѣстѣ что „кажущееся безбожіе современнаго міра есть дѣйствительное богоборчество". *„Иногда кажется, что самый атеизмъ русской интеллигенціи — какой то особенный, мистическій атеизмъ"* („Грядущій хамъ")...

Случается, что это нигилистическое настроеніе передается и самому Мережковскому, входитъ въ его душу, и онъ до того проникается имъ, что передаетъ его уже своими словами (а это значитъ, что все это ему глубоко понятно).

„Міръ—безсмыслица, жизнь неисцѣлимое зло—вотъ послѣднее, можетъ быть, не сказанное, но неминуемое слово современнаго религіознаго или антирелигіознаго сознанія. Если Богъ есть, то людямъ остается только проклясть Бога". (Не миръ, но мечъ).

Между современнымъ анархическимъ индивидуализмомъ и міровоззрѣніемъ Мережковскаго больше общаго, чѣмъ это кажется на самомъ дѣлѣ:—онъ такъ же, какъ и нигилисты не принимаетъ міра, не принимаетъ общественнаго его устройства, не принимаетъ существующей церкви и даже само историческое христіанство кажется ему уже выполнившимъ свою роль!... Онъ, какъ никто до него, проникнулся сознаніемъ, что человѣчество близится къ концу, что путь исторіи конченъ, что за границами обыден-

ной жизни лежитъ мертвенная пустота, что нужно предоставить разрушенію существующій міръ для того, чтобы наступила новая жизнь, полная красоты и гармоніи, новая жизнь, представляющая собой не трагическія антитезы, а одинъ синтезъ всѣхъ противорѣчій современной жизни, синтезъ, въ которомъ сочетаются плоть съ духомъ, общественность съ индивидуализмомъ, одиночество съ любовнымъ пониманіемъ,—царство третьей Божественной ипостаси, царство Духа!...

Конечно, отрицаніе Мережковскаго, его непріятіе, чисто религіозно, оно не ставитъ своей цѣлью разрушеніе и хаосъ, а глубокую увѣренность въ пришествіи грядущаго царства, воплощеннаго въ будущей обновленной апокалпсической церкви, которая не будетъ отдѣлена отъ жизни, которая будетъ сама *жизнь, преображенная въ чудѣ!...*

Современный анархическій индивидуализмъ отрицаетъ міръ во имя царства человѣческаго, во имя торжества индивидуальной свободы—и въ этомъ его внутреннее величайшее рабство!...

Вся исторія индивидуализма есть одинъ сплошной діаволовъ водевиль. Діаволъ, взявшій въ руки современную душу и предающій ее жестокой пыткѣ—потѣшается надъ нею, нашептываетъ искушенія, толкаетъ на безуміе, на разрушеніе, на проклятье, но свободы, той абсолютной сверхчеловѣческой свободы, которая должна утвердить личность и предоставить ей всѣ царства вселенной—не даетъ и не можетъ дать!...

Русскій Діаволъ, какъ это хорошо замѣтилъ Достоевскій, есть просто „золотушный бѣсенокъ съ насморкомъ, изъ неудавшихся". Мережковскій въ „Го-

голѣ и Чортѣ" пытается доказать, что этотъ діаволъ есть вѣчная середина, вѣчная пошлость, ничтожество, но это не совсѣмъ вѣрно: Діаволъ тоже возноситъ душу надъ пошлостью, тоже направляется противъ разума и кружитъ голову соблазнами безумія, Діаволъ тоже внушаетъ вѣрующимъ въ него скорбную молитву, полную ужаса и печали, полную тоски и проклятья, полную горькихъ слезъ, но у русскаго Діавола не хватаетъ ума Мефистофеля, онъ не увѣренъ въ себѣ, онъ не можетъ дать никакого царства, кромѣ смерти и небытія, онъ не можетъ дать другого утѣшенія, кромѣ самоубійства, онъ призраченъ, онъ больной и усталый до изнеможенія такъ же, какъ больна и устала наша душа!....

Въ черную ночь великой скорби онъ не погаситъ костра сердца, онъ не сниметъ тяжести безпощадной съ души, не успокоитъ...

Въ черную ночь проклятья, когда издыхаетъ душа отъ ужаса и нѣмой боли и нѣмой обиды, онъ не прильнетъ къ ней поцѣлуемъ бездоннымъ, не убаюкаетъ, не унесетъ эту душу въ бездонную синюю высь, не спасетъ!...

Какой же онъ богъ?... И гдѣ его царство?... Нужно понять наконецъ, что его свобода есть рабство, что его обѣщаніе—призракъ, что его искушеніе—обманъ...

Нужно понять, что истинная свобода, свобода безграничная, открывается только во Христѣ, что современную душу можетъ спасти только новый индивидуализмъ, открывающій небо и утверждающій личность въ вѣчности, *индивидуализмъ во Христѣ*.

„Современное христіанство—гробница Христа", „Христіанство—религія скопческая", христіанская цер-

ковь уединилась отъ міра и она не Христосъ и не царство Христа—вотъ, къ чему пришелъ Мережковскій въ своемъ мышленіи.

Шелъ къ церкви, но церковь оказалась ему ненужной и чужой, т. е. не церковь невидимая, тѣло Христово, а церковь современная, церковь конца.

Хотѣлъ христіанство соединить съ жизнью, съ утонченностью современной культурной мысли, но въ самомъ христіанствѣ оказались элементы прямо таки враждебные жизни и чуждые ей...

Отчего же это произошло? И правъ ли Мережковскій въ своемъ отрицаніи настоящей церкви и историческаго христіанства?...

„Христіанство—по словамъ Мережковскаго—должно включить весь міръ:—плоть, полъ, общественность"... Христіанство должно входить въ дѣла общественныя, участвовать въ разныхъ революціяхъ и бунтахъ, должно не подымать до себя человѣчество, а войти въ него и раствориться въ немъ...

Понятно, что подобныя требованія, предъявляемыя Мережковскимъ церкви, крайне субъективны и не выдерживаютъ критики: нужно разъ навсегда понять всѣмъ религіознымъ искателямъ, что христіанская церковь не можетъ и не должна участвовать въ дѣлахъ человѣческихъ, что церковь стоитъ среди жизни какъ пристань, какъ таинственный корабль, несущій душу міра изъ жизни въ вѣчность, что церковь есть царство не отъ міра сего, что она должна быть отдѣлена и отъ государства и отъ общественности, что она должна сохранить свою непорочную чистоту и святость Невѣсты Христовой и *что христіанство есть религія не общественности, не человѣческихъ дѣлъ, не человѣческой культуры,*

а представляетъ собой только лишь таинство индивидуальнаго спасенія, уединенія, утвержденія и освобожденія отдѣльной личности въ Богѣ...

Мережковскій возмущается тѣмъ, что для Серафима Саровскаго декабрьскій бунтъ не имѣлъ никакого значенія, что православное духовенство не пошло навстрѣчу освободительному движенію, что мистика пола и святая плоть чужды церкви, но что же это была бы за святость, если бы даже святые нисходили съ высотъ своей подвижнической жизни въ пошлость и грязь житейскую, еслибы духовенство, которое должно только заботиться о спасеніи души человѣческой отъ грязи и отъ суеты мірской—вдругъ вышло на улицу и бросало бомбы, если бы мученики и аскеты, культивирующіе въ себѣ сверхчеловѣческую волю, чтобы подняться надъ жизнью и ея законами—повѣрили бы въ какую-то „святую плоть“, которая возможна только въ теоріи и на словахъ, а въ жизни оказывается нулемъ?

Церковь стоитъ *надъ* жизнью, ея святые, ея мученики и ея отцы чудесны именно потому, что побѣдили житейское, что побѣдили міръ, и Христосъ не могъ быть среди жизни, не могъ участвовать въ дѣлахъ человѣческихъ, ибо царство Его не отъ міра сего, ибо міръ возненавидѣлъ Его за то именно, что чужды были Ему его дѣла, ибо Христосъ не есть царь земной и человѣческій, но Царь небесный, царь вѣчный, царь жизни не настоящей, а будущей...

Для Христа плоть не была священна, ибо она являлась для Него лишь временнымъ, грѣховнымъ пребываніемъ, лишь переходомъ, лишь униженіемъ, требующимъ искупленія въ неслыханной, жестокой жертвѣ, и если самъ Христосъ показалъ, что отъ

тѣла нужно избавиться мукой и жертвой во имя жизни вѣчной и безплотной, то не такъ же ли должна поступать и церковь?

Мережковскому какъ будто вовсе чуждо мистическое понятіе церкви, какъ живого организма, какъ живого воплощенія Христа въ этомъ организмѣ...

Онъ неудовлетворенъ церковью внѣшнею, видимою, историческою, но гдѣ же его пониманіе церкви невидимой и вѣчной, находящейся *всегда* въ видимой, гдѣ же его проникновеніе въ истину, что разъ въ видимой церкви совершается таинство евхаристіи и происходитъ воплощеніе Христа въ плоть и кровь, значитъ, какова бы ни была *внѣшность* этой церкви, а Христосъ *долженъ* присутствовать въ ней, а разъ есть Христосъ—значитъ церковь—истинное Его тѣло и истинный Его духъ...

Какія бы сомнѣнія ни терзали душу Мережковскаго, сколько бы противорѣчій ни являла для него и церковь и христіанство, все же обаяніе этой церкви, ея чудесная тайна должны предстать предъ нимъ какъ христіанину—во всей своей силѣ, если же этого нѣтъ, значитъ можно допустить подозрѣніе въ подлинности самой вѣры Мережковскаго...

Вся душа его не вмѣщается въ рамки христіанства, вся душа его полна неудовлетворенности, разочарованія во всемъ, вся душа его полна трагическаго безсилія передъ тѣмъ, что есть и чего онъ не можетъ принять и отвергаетъ, являясь религіознымъ реформаторомъ церкви во имя другой, грядущей церкви, которая—не въ его понятіи, не въ формахъ, не въ опредѣленіи, а—только въ одной мечтѣ. Онъ говоритъ по этому поводу...

„Христіанство всегда дѣлало одно изъ двухъ: или, отказываясь отъ всякой реализаціи, превращало Церковь, Тѣло Христово, въ безтѣлесную отвлеченность, въ отрицаніе всякаго бытія, такъ что Церковь становилась не только невидимой, но и несуществующей, или пытаясь ее реализовать, превращало тѣло Христово въ тѣло звѣря, государственнаго Левіаѳана, подмѣняло внутреннее соединеніе въ любви и свободѣ внѣшнею скрѣпою принужденія и насилья, которыя, въ послѣднемъ счетѣ, всегда суть человѣкоубійство, служеніе діаволу, исконному человѣкоубійцѣ“... *).

Только въ грядущей, апокалипсической церкви возможно, по мнѣнію Мережковскаго—истинное воплощеніе тѣла Христова, само явленіе церкви совершится за предѣлами христіанства, въ царствѣ соединенія Отца и Слова въ Духѣ, въ грядущемъ обновленномъ великомъ градѣ, „въ новомъ Іерусалимѣ, Градѣ возлюбленномъ. Этотъ Градъ—не безплотное видѣніе, а опять таки исторически-реальное событіе въ исторически-реальныхъ судьбахъ міра; это безвластная, въ смыслѣ внѣшнемъ, государственномъ, а въ смыслѣ внутреннемъ, церковномъ—боговластная общественность. Извнѣ будетъ она казаться предѣломъ Анархизма, изнутри—предѣломъ Соціализма въ совершенномъ синтезѣ безгранично свободной личности и безгранично любовной общественности... Тайна личности, пола и общественности, тайна одного, двухъ и трехъ разрѣшится только въ этомъ послѣднемъ царствѣ, послѣднемъ откровеніи трехъ въ Единомъ и единаго въ трехъ!“ **).

*) Не миръ, но мечъ.
**) Ibid.

Еслибы чаянія Мережковскаго относительно апокалипсической церкви основывались на какихъ нибудь опредѣленныхъ данныхъ, еслибы вырисовывалась предъ нимъ въ отчетливыхъ и опредѣленныхъ формахъ физіогномія грядущей церкви, можно было бы этому чаянію придавать цѣну, но вѣдь ясно, что оно не выходитъ изъ предѣловъ абстрактнаго мышленія, оно такъ же неопредѣленно, смутно и неустойчиво, какъ и все его христіанство, какъ и вся его вѣра...

Противопоставить трагическимъ антитезамъ современнаго христіанства и церкви смутный и расплывчатый синтезъ, это еще не значитъ указать опредѣленно, какова должна быть эта церковь.

Очевидно что фантастики въ этомъ больше, чѣмъ чего нибудь реальнаго и возможнаго, очевидно что апокалипсическая церковь Мережковскаго есть не что иное, какъ только его больная и смутная мечта, мечта человѣка, который задыхается въ предѣлахъ дѣйствительности, который жаждетъ дѣйствительности другой, обновленной, преображенной, мистической, и лелѣетъ ее въ своихъ грезахъ!...

Иногда мечта можетъ послужить утѣшеніемъ, для трагическаго сознанія Мережковскаго, непріемлющаго міра и міръ отвергающаго, сомнѣвающагося и въ вѣрѣ своей и въ своемъ христіанствѣ, холоднаго и неспособнаго увидѣть чудо воплощеннымъ—мечта является единственнымъ спасеніемъ, ибо если бы ея не было—путь Мережковскаго, можетъ быть, свернулъ бы въ совсѣмъ противоположную сторону, къ тому „апоѳеозу безпочвенности“, который ему такъ ненавистенъ и съ которымъ все таки у него много общаго!...

„Если бы мы даже отреклись отъ христіанства, мы не отречемся отъ Христа!“—заявляетъ Мережковскій. Но я думаю, что вѣра его въ самого Христа до того не устойчива, до того слаба, до того замучена всевозможными искушеніями и соблазнами, что, еслибы онъ не боялся гибели и смерти, то навѣрное отрекся бы и отъ Христа, какъ отрекся отъ христіанства.

Кто понялъ, что такое смерть—тому нѣтъ спасенія отъ этого трагическаго сознанія, для него спасеніемъ можетъ быть только вѣра и при томъ вѣра не разсудочная, не философская, не умственная, а именно вѣра *слѣпая*, вѣра́ народная, та вѣра, великое значеніе которой такъ глубоко уразумѣлъ Достоевскій и которая для Мережковскаго можетъ послужить только средствомъ для удивленій и размышленій.

Кто знаетъ, быть можетъ именно забота объ избавленіи отъ смерти и привела Мережковскаго ко Христу, ибо для него христіанство кажется основаннымъ только на идеѣ смерти, а не жизни, ибо для него *воскресенье* Христа имѣетъ гораздо важнѣйшее значеніе, чѣмъ самъ Христосъ, ибо не въ разсужденіяхъ его объ апокалипсическомъ христіанствѣ чувствуется искренность, а именно—тамъ, гдѣ онъ говоритъ о смерти, гдѣ онъ говоритъ о воскресеніи Христа, какъ объ основѣ всей христіанской религіи—и говоритъ онъ объ этомъ голосомъ Ѳомы, неувѣренно, страшно волнуясь, здѣсь слышится крикъ, котораго не найдете у него нигдѣ въ другомъ мѣстѣ, крикъ человѣка, потерявшаго послѣднія надежды и желающаго во что бы то ни стало спастись, хотя бы цѣною самообмана.

„Если бы люди знали, что одинъ изъ нихъ умеръ и воскресъ, такъ же точно и неотразимо, какъ они знаютъ, что всѣ жившіе умерли, то это значеніе преобразило бы весь человѣческій міръ—внѣшній, созерцательный и дѣятельный—науку, искуство, нравственность—все до послѣдней клѣточки нашего организма, до послѣдней отвлеченности нашего мышленія.

„Я не предрѣшаю вопроса о томъ, былъ ли дѣйствительно такой Человѣкъ на землѣ, я только напоминаю реальное явленіе всемірной исторіи, поразительно забытое современнымъ человѣчествомъ: когда-то, у людей, правда, у весьма немногихъ и весьма ненадолго, было знаніе о томъ, что Одинъ изъ умершихъ людей воскресъ, знаніе, которое казалось имъ не менѣе, а болѣе точнымъ и неотразимымъ, чѣмъ теперь кажутся намъ положительныя научныя знанія. И все, что сдѣлано христіанствомъ для человѣчества—а кое-что сдѣлано имъ, дурное или хорошее, это я опять таки не предрѣшаю—только потому и сдѣлано, что въ основу христіанства заложено было это знаніе.

„...„*Если Христосъ не воскресъ, то тщетна вѣра наша. И не только вѣра, но и надежда и любовь. Если Христосъ не воскресъ, то Онъ достойно распятъ, ибо Онъ обманулъ человѣчество величайшимъ изъ всѣхъ обмановъ, утверждая, что Богъ есть Отецъ Небесный: Богъ, допустившій уничтоженіе въ смерти такой личности, которой весь міръ не стоитъ,—не Отецъ, а палачъ, не Богъ, а дьяволъ, и весь міръ насмѣшка этого дьявола надъ человѣкомъ, вся природа—безуміе, проклятіе и хаосъ!*“ *).

*) „Не миръ, но мечъ“. (Курсивъ мой. А. З.).

Такихъ словъ вы не встрѣтите ни у одного изъ современныхъ мыслителей, даже у наиболѣе сомнѣвающихся, даже у Розанова не найдете, чувствуется, что здѣсь затронута рана души, въ этомъ внезапно вырвавшемся крикѣ—такое отчаянье, такая мука отъ вѣчныхъ сомнѣній—теперь прорвавшихся наружу, что странно даже слышать ихъ отъ Мережковскаго, кажется, что ихъ написалъ самый отчаянный атеистъ, а не вѣрующій, ибо для истинно вѣрующаго никакихъ сомнѣній не можетъ быть, что Христосъ воскресъ, для него это—неоспоримая истина...

И вотъ въ этомъ то заглушаемомъ долго, но наконецъ вырвавшемся изъ груди крикѣ отчаянья—и заключается ключъ къ пониманію души Мережковскаго, ибо безъ этого онъ бы казался просто оледенѣвшимъ въ мысленныхъ экспериментахъ писателемъ: разъ прорвалась такая боль въ сомнѣвающейся душѣ, разъ эта душа обнажилась и затрепетала вся тамъ, гдѣ другой бы ограничился лишь ссылкой на догму или слѣпой вѣрой фанатика, значитъ эта душа живая, а не мертвая, значитъ она способна къ безумію, къ потерѣ логической способности разсуждать, значитъ она не можетъ отдаться пустому и холодному вибрированію мысли тамъ, гдѣ нельзя и не надо разсуждать, гдѣ можно только надорваться въ страхѣ и ужасѣ, или убить себя, или обезумѣть, или повѣрить въ чудо!...

Здѣсь трагическое міросозерцаніе Мережковскаго вполнѣ обнаружилось, и именно вслѣдствіе того, что онъ пересталъ разсуждать и закричалъ отъ невыносимой боли передъ неразрѣшимой загадкой бытія—онъ сталъ мнѣ больше понятенъ, болѣе близокъ и дорогъ, чѣмъ многіе догматики, сытые своей вѣрой

и равнодушные ко всему, что не касается ихъ внутренняго спокойствія!

Ибо кто вѣчно сомнѣвается и постоянно мучается своимъ сомнѣніемъ, кто не можетъ ничего противопоставить окружившимъ его соблазнамъ, кромѣ отчаянья и боли, кто истерзанъ, кто можетъ болѣть душой, кто можетъ рыдать и молиться—тотъ еще живой человѣкъ, для того еще не все погибло и духъ Божій въ немъ и онъ на пути, на вѣрномъ пути ко Христу, ибо всюду, гдѣ мука, гдѣ боль, гдѣ отняты силы, всюду, гдѣ ужасъ и смерть—тамъ Христосъ!

Въ такія минуты Мережковскій забываетъ, что человѣческая мысль способна дать какое угодно разрѣшеніе душѣ, лишь бы только довѣриться логикѣ, а логика ужъ спасетъ...

Въ такія минуты душа преображается мукой въ молитву, нельзя заглушить ничѣмъ душевнаго вопля, хочется слезъ, хочется надрыва, только бы вышелъ изъ души ядъ сомнѣній, невѣрія, тоски, только бы простой, живой, сердечный Христосъ, а не умственно-философическій — вдругъ вышелъ изъ тьмы и залилъ всю душу свѣтомъ и лаской нѣжной, лаской божественной, только бы стала душа дѣтской и радостной и безмѣрно счастливой, ибо только дѣтямъ открыто подлинное лицо Христа!...

Въ такія минуты снова просится на уста молитва и въ ней зрѣетъ надежда, и въ ней погасаетъ жгучая мука:

Изъ преисподней вопію
Я, жаломъ смерти уязвленный:
Росу небесную Твою
Пошли въ мой духъ ожесточенный.

Люблю я смрадъ земныхъ утѣхъ,
Когда въ устахъ къ тебѣ моленья—
Люблю я зло, люблю я грѣхъ,
Люблю я дерзость преступленья.
Мой Врагъ глумится надо мной:
„Нѣтъ Бога: жаръ молитвъ безплоденъ".
Паду ли ницъ передъ Тобой,
Онъ молвитъ: „встань и будь свободенъ".
Бѣгу ли вновь къ Твоей любви,—
Онъ искушаетъ, гордъ и злобенъ:
„Дерзай, познанья плодъ сорви,
„Ты будешь силой мнѣ подобенъ".
Спаси, спаси меня! Я жду,
Я вѣрю, видишь, вѣрю чуду,
Не замолчу, не отойду
И въ дверь Твою стучаться буду.
Во мнѣ горитъ желаньемъ кровь,
Во мнѣ таится сѣмя тлѣнья.
О, дай мнѣ чистую любовь,
О, дай мнѣ слезы умиленья.
И окаяннаго прости,
Очисти душу мнѣ страданьемъ—
И разумъ темный просвѣти
Ты немерцающимъ сіяньемъ! *).

Но если даже Мережковскій отвернулся отъ историческаго христіанства и отъ церкви—все же у него, по его же собственнымъ словамъ, есть оружіе, въ рукахъ съ которымъ ему легче бороться и не страшно жить—это оружіе—„острый алмазный мечъ—догматъ" **).

Догматъ для Мережковскаго послѣдняя защита, послѣднее спасенье, послѣдняя и единственная твердыня—и это вполнѣ понятно: находясь въ трагичес-

*) De profundis.
**) „Борьба за догматъ". (Больная Россія).

комъ безсильи передъ неразрѣшимостью тѣхъ вопросовъ, которые онъ встрѣчалъ на каждомъ шагу, передъ сомнѣніями и безпочвенностью—онъ долженъ былъ прибѣгнуть къ догмѣ, къ откровенію въ догмѣ, къ безумію въ догмѣ, ибо другого выхода не было...

Какіе именно догматы онъ подразумѣвалъ въ этомъ случаѣ—рѣшить трудно. Отрицая христіанство историческое, христіанство конца—онъ слабо вѣрилъ или совсѣмъ не вѣрилъ въ его догматы.

Повидимому такимъ основнымъ догмáтомъ для него является своеобразно понятый догматъ церкви о троичности Божества.

Этотъ догматъ красною нитью проходитъ сквозь все творчество Мережковскаго, на немъ построено все его апокалипсическое христіанство, въ его построеніяхъ заключается сущность именно того великаго синтеза, который долженъ принести въ міръ высшую гармонію и соединить небо съ землей.

Ученіе о Троицѣ для Мережковскаго „есть необходимое мистическое раскрытіе метафизическаго монизма, необходимое мистическое преодолѣніе метафизическаго дуализма. Три—Едино есть окончательная побѣда надъ соблазномъ Двухъ во Единомъ, окончательная побѣда религіознаго монизма надъ религіознымъ дуализмомъ...*).

Для Мережковскаго Отцу, Сыну и Духу Святому соотвѣтствуютъ три царства:—царство Отца (Ветхій завѣтъ), Царство Сына (Завѣтъ новый) и грядущее царство св. Духа, соединяющее три царства въ одно, которое откроется въ грядущемъ. „Кажущіяся нераз-

*) О новомъ религіозномъ дѣйствіи.

рѣшимыми противорѣчія христіанства—вѣчныя антиноміи плоти и духа, земли и неба, міра и Бога—суть въ дѣйствительности не противорѣчія неразрѣшимыя, а только противоположности неразрѣшенныя, но разрѣшаемыя въ послѣднемъ соединеніи Двухъ въ Единомъ, въ послѣднемъ откровеніи Троицы.

„Надо было раскрыть до конца противоположности: христіанство это и сдѣлало, или вѣрнѣе, сама Премудрость Божія сдѣлала это чрезъ христіанство".

Постоянныя и неразрѣшимыя антитезы современности—полъ и аскетизмъ, индивидуализмъ и общественность, рабство и свобода—разрѣшатся въ грядущемъ Царствѣ Духа, въ этомъ синтезѣ, въ этомъ чудесномъ соединеніи неба и земли въ одно царство, царство апокалипсическаго христіанства.

„Въ первомъ Царствѣ Отца, Ветхомъ завѣтѣ, открылась власть Божія, какъ истина, во второмъ Царствѣ Сына, Новомъ Завѣтѣ, открывается истина, какъ любовь; въ третьемъ и послѣднемъ царствѣ—Духа, въ грядущемъ завѣтѣ, откроется любовь какъ свобода. И въ этомъ послѣднемъ царствѣ произнесено и услышано будетъ послѣднее, никѣмъ еще не произнесенное и не услышанное имя Господа Грядущаго: Освободитель" *).

Благодаря этой идеѣ святой Троицы, воспринятой какъ спасительный, твердый и незыблемый догматъ, Мережковскому легче лавировать между противорѣчіями жизни; легче примириться съ трагическимъ характеромъ своего міровоззрѣнія, ибо, сознавая весь свой трагизмъ, всю неразрѣшимость вопро-

*) Грядущій хамъ.

совъ, всю противоположность двухъ безднъ—верхней и нижней—онъ вѣритъ и надѣется, опираясь на свой „алмазный мечъ,—свой догматъ", что будетъ время, когда все это разрѣшится въ грядущемъ царствѣ, когда грядущій Освободитель—Духъ—облегчитъ тяжесть двойственности и укажетъ градъ новый, спасительный и чудесный...

Не знаю, дѣйствительно ли власть догмата и въ частности догмата св. Троицы облегчаетъ трагедію Мережковскаго, трагедію непріятія міра, не знаю и сомнѣваюсь, потому что вообще не допускаю возможности, чтобы глубокая трагедія могла быть искуплена утѣшеніемъ логической мысли (а догматъ Мережковскаго есть не только умственное построеніе, но хуже того — словесное), но несомнѣнно, что философская теорія его о трехъ ипостасяхъ Божества составляетъ характерную особенность его міровоззрѣнія, хотя нужно замѣтить, что она вовсе не нова, что она уже сыграла значительную роль въ міровоззрѣніяхъ нѣкоторыхъ философовъ и при томъ была выражена въ такомъ же видѣ, какъ и у Мережковскаго. Достаточно упомянуть о Шеллингѣ, въ міровоззрѣніи котораго догматъ о Троицѣ сыгралъ подобную же роль, о польскомъ поэтѣ Красинскомъ, написавшемъ даже цѣлый трактатъ на эту тему, а также объ Августѣ Цѣшковскомъ, польскомъ философѣ начала 19 вѣка, въ сочиненіи котораго о молитвѣ Господней находимъ точно такое же толкованіе догмата о Троицѣ, какъ у Мережковскаго.

Еще не время дѣлать какіе бы то ни было выводы относительно преодолѣнія Мережковскимъ трагической двойственности въ его міровоззрѣніи, но

ясно, что онъ на пути къ этому преодолѣнію. И что послужитъ ему въ этомъ отношеніи средствомъ—догматъ-ли, умственная ли истина или интуитивное знаніе—это покажетъ будущее, теперь же нужно признать, что эта двойственность, это колебаніе между двумя безднами, это странное соединеніе вѣры и невѣрія составляютъ основныя черты міровоззрѣнія Мережковскаго—одного изъ оригинальныхъ русскихъ мыслителей.

Но главное, что отличаетъ Мережковскаго отъ его единомышленниковъ, что придаетъ ему оригинальность, что дѣлаетъ его человѣкомъ живымъ и близкимъ современности—это трагическій элементъ въ его міровоззрѣніи.

Вслѣдствіе этого въ его творчествѣ совершается постоянное броженіе, діаволъ борется со свѣтомъ, личность, доведенная до своего высочайшаго развитія—срывается въ бездну, но отъ бездны спасаетъ вѣра, общественность принимаетъ религіозный смыслъ, проблема пола требуетъ разрѣшенія и освященія, но выхода нѣтъ, разрѣшенія нѣтъ, выходъ и разрѣшеніе возможны только въ грядущемъ царствѣ третьей Ипостаси—св. Духа.

Пока же свершится это великое и спасительное пришествіе Освободителя, пока построится этотъ чудесный новый Градъ, въ которомъ преобразится міръ,—душа стоитъ на распутьи, душа расколота сомнѣніемъ, и отъ черной бездны гибели защита можетъ быть только въ холодной и острой стали индивидуалистической религіозной мысли:

Будь мудръ—иного нѣтъ исхода.
Кто цѣпь послѣднюю расторгъ,

Тотъ знаетъ, что въ цѣпяхъ—свобода,
И что въ мученіи—восторгъ.
Ты самъ—свой Богъ, ты самъ свой ближній,
О, будь же собственнымъ Творцомъ,
Будь бездной верхней, бездной нижней,
Своимъ началомъ и концомъ.

VI.

Съ одинокой вершины своей
Я зову въ тишинѣ:
Вы съ далекихъ путей
Приходите ко мнѣ.

Если духъ вашъ въ довольствѣ коснѣлъ,
Безнадежностью васъ уязвлю.
Если духъ вашъ въ лишеньяхъ болѣлъ,
Безпечальностью васъ исцѣлю.
На судьбу научу васъ глядѣть,

Какъ на дальній узоръ,
Разорву ея сѣть,
Искуплю вашъ позоръ.

Освящу безъ поста и вериг,
Въ храмъ введу на краю пустоты.
Тотъ умретъ, кто достигъ высоты.
Тотъ воскресъ, кто вершины достигъ.

Н. Минскій.

Н. М. Минскаго можно назвать первымъ вѣстникомъ религіознаго возрожденья въ Россіи. Въ то время, когда господствовалъ марксизмъ среди русской интеллигенціи, когда многіе изъ нынѣшнихъ „неохристіанъ“ поклонялись пролетаріату и усердно изучали Маркса,—въ началѣ девяностыхъ годовъ—Минскаго уже мучили именно тѣ вопросы, которые послужили темой для нашего времени,—вопросы о Богѣ, о смерти, о будущей жизни, о совѣсти...

Среди окружающей его жизни, которая шла по совершенно противоположнымъ путямъ — Минскій

представлялъ должно быть—странное и непонятное явленіе. Тогда говорить о Богѣ считалось чуть-ли не преступленіемъ, Богъ былъ похороненъ и спрятанъ въ ящикъ, ключъ отъ котораго хранился у Маркса, всѣмъ жить было весело и никто ни въ чемъ не сомнѣвался, да и сомнѣваться было бы странно, у всѣхъ были на устахъ готовыя теоріи, готовыя разсужденія, марксистскій катехизисъ являлся вѣрной защитой отъ всѣхъ неумѣстныхъ вопросовъ, такимъ образомъ время это было не столько временемъ благодушія, сколько тупоумія, и въ этомъ тупоуміи было счастье марксистовъ...

Минскій появился среди этого всего какъ необъяснимое и вовсе ненужное явленіе. Изданная имъ въ началѣ девяностыхъ годовъ книга „При свѣтѣ совѣсти“, должна была показаться безъ сомнѣнія чѣмъ-то подозрительнымъ и ненужнымъ марксистской интеллигенціи, что сознавалъ, какъ видно изъ предисловія—и самъ авторъ, говоря, что „всякій, кто мало мальски знакомъ съ нашими литературными нравами, знаетъ, съ какимъ глухимъ недовѣріемъ встрѣчаются у насъ книги, посвященныя идеямъ философскимъ и религіознымъ... Только то ученіе можетъ разсчитывать у насъ на успѣхъ, которое, помимо всего прочаго, даетъ фактическія указанія, какъ лучше слиться съ народомъ и служить деревнѣ. И, ревниво оберегая свою историческую святыню, наша интеллигенція съ подозрѣніемъ смотритъ на всякую отвлеченную спорную мысль, боится философіи, эстетики и даже религіи, видитъ въ нихъ опасную помѣху, какое-то умственное баловство, способное развлечь молодые умы и сдѣлать ихъ равнодушными къ неотложному и священному дѣлу“...

Эта книга была чуть ли не первой книгой, въ которой затрагивались вопросы бытія;—тогда навѣрное она прошла почти незамѣченной, теперь же, когда вновь ее перечитываешь—сознаешь и чувствуешь, какъ трудно было автору стоять одинокимъ на внезапно найденномъ имъ пути, какъ тяжело и мучительно было въ своемъ глубокомъ и глухомъ одиночествѣ самому рѣшать тѣ вопросы, отъ которыхъ зависѣла его жизнь и которые казались ненужными и даже смѣшными людямъ, его окружающимъ!...

И какая выстраданная, больная, остро мучительная книга! Видно нелегко далась она автору, чувствуется лихорадочное горѣніе въ ней, чувствуется, что написана она не только философствующимъ умомъ, но кровью, благодаря чему она должна быть дорога каждому, кто болѣетъ надъ загадкой бытія, кому смыслъ жизни дороже всего. Для такихъ людей эта книга будетъ и желанной, и родной, и понятной, ибо она куплена цѣной страданья и вслѣдствіе этого живетъ до сихъ поръ.

Весь Минскій, вся его религія—вышли изъ этой мучительной трагедіи русской души—трагедіи искапія смысла жизни... Все, чѣмъ перемучились герои Достоевскаго, и Иванъ Карамазовъ, и Кириловъ, и „многіе русскіе мальчики, рѣшающіе вопросъ быть міру или нѣтъ“, вся наша безотрадная, больная, творческая тоска, стремящаяся обнять весь міръ, осушить всѣ слезы, искупить всѣ страданья, весь нашъ роковой изломъ отрицанія, горечи, самоубійства и холоднаго презрѣнія къ міру, всѣ наши безумные полеты надъ жизнью и лихорадочный бредъ, и истомленная молитва, и свѣтлый восторгъ экстаза, вся смерть, вся боль, весь ужасъ—все слилось въ душѣ

Минскаго и стало его внутреннимъ міромъ, стало содержаніемъ его *я*, стало цѣлью его мучительныхъ исканій...

Безпощадный анализъ разума уносилъ больную душу все дальше, все глубже—въ глухую чащу исканій и тайнъ, разумъ прокладывалъ дороги, переоцѣнивалъ цѣнности, артистически доказывалъ тщету всѣхъ стремленій, ихъ безцѣльность, ихъ гибель, а душа извивалась отъ боли, умоляла, молилась; разумъ пришелъ наконецъ къ тупику, къ полнѣйшему небытію, къ холодной жуткой безднѣ, хотѣлъ свергнуть туда и душу, но душа не смогла вынести боли, душа глухимъ своимъ рыданьемъ, своей тоской бездонной, своей молитвой дала почувствовать разуму свою власть, и душа побѣдила—и соединились душа и разумъ въ одномъ утѣшеніи—чтобы не погибнуть, а спастись и воскреснуть...

Но не душа придумала спасенье, душа всегда ищетъ гибели, ей гибель не страшна, она горитъ, она рыдаетъ, она безумствуетъ—и ей все равно, во имя чего—лишь бы только горѣть; спасеніе придумалъ разумъ, онъ успокоилъ больную душу, выдумалъ для нея хитрое, сложное, тонкое утѣшенье,—успокоился ли самъ—неизвѣстно, но душа успокоилась, смирилась, затихла...

Творческій путь Минскаго выходитъ изъ тѣхъ самыхъ источниковъ, противъ которыхъ направлена была его книга. Ученіе утилитаризма, такъ распространившееся когда-то среди русской интеллигенціи—захватило и его, оно было его вѣрой, какъ и для большинства русской молодежи, которая религіозно подходитъ къ общественности,—и не общественности жаждетъ, а религіи;—оно нѣкоторое время на-

сышало его душу, пока не прорвалась сквозь нее бездна и не повлекла въ нѣдра свои манящія и страшныя.

„Припоминаю я маленькія комнаты—говоритъ Минскій—и насъ, безумцевъ, кричащихъ, подвластныхъ какому-то дивному молодому бреду. Совѣсть всегда незримо присуствовала среди насъ. Говорили мы и читали всегда объ одномъ и томъ же: о несправедливости, о лжи людской. Приводились примѣры ужасающихъ страданій, обнажались язвы человѣчества. Лица наши становились суровы, глаза загорались, что-то жестокое и разрушительное, какъ жгучій вѣтеръ, прокрадывалось въ самые тайники души, навѣки умерщвляя въ ней безпечность и миръ.

„Человѣчество томится въ сѣтяхъ вражды и предразсудковъ. Мы пойдемъ съ неопровержимыми, вопіющими цифрами, мы съ карандашемъ въ рукахъ докажемъ, что братство выгодно, для нихъ-же выгодно, что справедливость полезна, что взаимная помощь спасительна. Стоитъ только сосчитать и понять! Вѣдь вотъ мы воспылали любовью къ людямъ, мы рады умереть за чужія страданья.., Отъ нашихъ словъ милліоны сердецъ загорятся быстрѣе, чѣмъ сухія вѣтви отъ лѣсного пожара“...

Но недолго утѣшала Минскаго эта вѣра въ будущую справедливость и счастье людей, въ любовь къ ближнему, въ плодотворную работу на пользу народа, скоро стали пробиваться сквозь эту вѣру сомнѣнія, ибо не могъ Минскій, подобно своимъ товарищамъ—успокоиться на догматахъ утилитаризма и народничества, душа рвалась изъ душныхъ клѣтокъ догмы, и неизвѣстно куда влекла ее невѣдомая и терзающая тоска...

Скоро передъ нимъ открылась другая, неподозрѣваемая правда, мимо которой онъ не могъ пройти и которая подорвала его наивную вѣру. Онъ понялъ, что онъ и его сотоварищи забывали, „что толпа, которой мы шли проповѣдывать новую жизнь—не голодныя цифры, а живые люди—любящіе, скорбящіе, ищущіе примиренія съ совѣстью, презирающіе свое самолюбіе не менѣе насъ. Мы еще могли обольщать себя призракомъ героизма. Но для тѣхъ голодныхъ, которымъ мы несли свое ученіе, оно превращалось въ проповѣдь самаго голаго, грубаго самолюбія. Борясь за благо людей, мы презирали ихъ. И люди отвергли насъ"... Точно также въ любви къ ближнему и въ народничествѣ Минскій почувствовалъ ту же самую, скрываемую и несознаваемую фальшь. Дѣйствительность убѣдила его, что его любовь къ ближнему была лишь формой эгоизма, что народъ вовсе не нуждается ни въ какихъ проповѣдяхъ и утѣшеніяхъ, что народъ себѣ на умѣ и у него есть своя жизнь, до которой никому нѣтъ никакого дѣла, свой Богъ и своя вѣра въ безсмертіе, которая чужда и непонятна демократически настроенной интеллигенціи, хамство и невѣжество которой въ тысячу разъ сильнѣе хамства народнаго. Народъ отвергъ Минскаго и ему подобныхъ, потому что они ему были ненужны, и Минскій увидѣлъ, что совѣсть народа „крѣпко цѣплялась за вѣковую святыню, за вѣру въ безсмертіе и въ лучшій міръ, между тѣмъ, какъ мы, запасшись цифрами о заработной платѣ, отъ вопросовъ о безсмертіи отдѣлывались или молчаньемъ, или плоскою шуткой. Чѣмъ могли мы утѣшить простого человѣка, опускающаго въ могилу дорогой прахъ? Неужели проповѣдью артельныхъ

началъ? Или проклятіями по адресу капитала?... Мы забыли, что самый немудрящій попикъ или начетчикъ во сто разъ сильнѣе и, главное, нужнѣе для людей, чѣмъ мы со всѣми своими Родбертусами и Марксами, потому что начетчикъ увѣренъ, что знаетъ, въ чемъ цѣль жизни и гдѣ душа будетъ послѣ смерти, а мы не только не знали, но и не хотѣли знать. Цѣною гибели цѣлаго поколѣнія исторія доказала намъ, что любовь къ людямъ не есть еще святыня, и что для того, чтобъ эта любовь была плодотворной, нужно любить нѣчто выше себя и людей"...

Минскій понялъ, что всѣ „практическіе идеалы, любовь къ людямъ и любовь къ народу, не основанные на любви къ вѣчному началу жизни, неустойчивы, безсильны и безплодны",—что „любовь къ людямъ—чувство производное и шаткое. Кого мы вчера любили, сегодня можемъ разлюбить и даже недоумѣвать, какъ могли мы любить такое лживое и ничтожное существо. И любовь къ народу, переходя отъ мечтаній на школьной скамьѣ къ дѣйствительному служенію въ деревнѣ, приводитъ насъ къ столкновенію не съ идеальными существами, а съ живыми людьми, имѣющими много хорошихъ и дурныхъ сторонъ, часто недовѣрчивыми, полными предразсудковъ и жестокости, какими мы ихъ видѣли хотя бы во время холерныхъ бунтовъ"...

Такимъ образомъ—прежняя вѣра, на которой строилась вся жизнь—была окончательно нарушена, а другой вѣры не было. И начались сомнѣнія, взошло заглушенное сѣмя отрицанія и разочарованія въ душѣ, наступилъ самый тяжелый и мрачный моментъ въ духовномъ развитіи Минскаго.

Истина, которая открылась Минскому при столкновеніи его съ дѣйствительностью, заключалась въ томъ, что *„если есть цѣль въ жизни, то она достигается не въ интересахъ обыденной жизни, а въ чемъ-то глубокомъ, интимномъ, таинственномъ, что слѣдуетъ искать не внѣ себя а въ себѣ самомъ“*.

Справедливость этого вывода вполнѣ ясна: только въ глубинѣ собственной личности узнается и міръ и „я“, только въ глубинахъ человѣческой индивидуальности—ключъ къ пониманію жизни, ибо міръ есть личность и кромѣ личности нѣтъ ничего достовѣрнаго...

Путь Достоевскаго, путь человѣческой совѣсти, осознанной посредствомъ муки и переживаній въ мукѣ—сталъ путемъ и Минскаго, и я думаю, что именно благодаря Достоевскому—Минскій постигъ всю сокровенность инквизиціонной пытки совѣсти!...

Самые неизвѣданные подвалы человѣческой совѣсти освѣтилъ Достоевскій въ своемъ творчествѣ, которое все построено на ея отрицаніи и утвержденіи посредствомъ отрицанія. Достоевскій же показалъ, что на этой совѣсти созиждется весь міръ души человѣческой, она—основа трагедіи, она же и спасеніе отъ нея!... Раскольникову нужно было отвергнуть совѣсть, чтобы убѣдиться въ ея непоколебимости, въ ея господствѣ надъ человѣкомъ; его отрицаніе нравственныхъ императивовъ добра таинственнымъ образомъ, вѣдомымъ только русской душѣ—становится ихъ утвержденіемъ.

Подпольное отрицаніе и бунтъ Достоевскаго—въ концѣ концовъ,—лишь средство для отысканія незыблемой религіозной почвы, и чѣмъ больше онъ проклиналъ, чѣмъ больше страдалъ и ненавидѣлъ,

тѣмъ больше и мучительнѣе обнажалась предъ нимъ именно эта презираемая и заглушаемая совѣсть, со всѣми ея пытками и сомнѣніями, сквозь страданіе приводящими къ Богу... Самое русское отрицаніе есть уже форма религіозности, но эта религіозность ложная по существу и Достоевскій прекрасно сознавалъ, что она ложная, а все таки свой христіанскій идеалъ всегда проводилъ сквозь горнило самыхъ отчаянныхъ, демоническихъ сомнѣній и его „осанна!“ есть можетъ быть—апоѳеозъ не только религіознаго восторга, но и крикъ о спасеніи отъ ада отрицанія, изъ котораго трудно было ему выкарабкаться!...

Минскій пошелъ по пути Раскольникова и подполья, потому что углубленіе въ бездну человѣческаго я привело его къ сомнѣнію и отрицанію,—и это было самое мучительное изъ всѣхъ его переживаній, страницы, написанныя въ это время—дышатъ неподдѣльной искренностью...

Муки совѣсти низринули его въ настоящій адъ хаоса, разрушенія, соблазновъ и горькихъ разочарованій—и не Шестову, а Минскому пришлось быть первымъ представителемъ „подпольнаго апоѳеоза“ въ Россіи, хотя само собою разумѣется, что это являлось только минутнымъ настроеніемъ и не успѣло быть возведено въ догматъ... Только Раскольниковъ пришелъ къ утвержденію попраннаго имъ императива посредствомъ опыта, а путь Минскаго есть путь насквозь интеллектуалистическій, онъ пришелъ къ неизбѣжности религіи посредствомъ разума (впрочемъ и вѣра его основана на разумѣ), но разсужденія отдавались болью въ душѣ, и боль была не отъ дѣйствія, а оттого, что разумъ тащилъ душу туда, куда сама душа не могла придти, и трагедія Минска-

го состоитъ именно въ томъ, что разумъ игнорировалъ душу, вмѣсто того, чтобы отдаться всецѣло ей...

Минскій былъ дитя своего времени, времени Спенсера, Милля, Маркса. Позитивизмъ наложилъ, несмотря на бунтъ противъ него—сильный отпечатокъ даже на религію Минскаго, вслѣдствіе чего и исканія послѣдняго и вѣра, къ которой привели его эти исканія—въ сущности носятъ глубоко раціоналистическій характеръ, что является главной бѣдой его міровоззрѣнія.

Характеръ философіи Минскаго глубоко жизненный. Она вся вышла изъ жизни, она отравлена горькой правдой дѣйствительности, страданьями, безпомощностью, одиночествомъ, страхомъ смерти, она замѣняла для него напитки забвенія, самоубійство, вопль; вмѣсто того, чтобы отдаться одному изъ этихъ средствъ—онъ философствовалъ и этимъ какъ бы возвышался надъ ужасомъ жизни и смерти, какъ бы побѣждалъ ихъ, какъ бы спасался!...

Раціонализмъ спасъ его отъ отчаянья, отъ пули, отъ пьянства—этихъ постоянныхъ спутниковъ русскаго міросозерцанія, русской тоски — свирѣпой и жуткой, стихійной; благодаря разуму онъ побѣдилъ ту жизнь, которая для многихъ непосильна, которая полна проклятья и злобы, которая обезсиливаетъ, душитъ, разрушаетъ сознаніе, кровавымъ моремъ заливаетъ его!...

Понять всю тоску этой жизни, понять все небытіе, весь ужасъ, весь страхъ, всю безплодность исканій, все горнило сомнѣній, соблазновъ и паденій, понять все это и сохранить философское спокойствіе—не каждый можетъ, и это дѣлаетъ Минскому честь!...

Быть русскимъ мыслителемъ—это значитъ постоянно обливаться кровью своего сердца, постоянно томиться въ безплодной тоскѣ, жить одними нервами, жить страданьемъ и болью своею безмѣрною, быть безумнымъ и жалкимъ въ безуміи своемъ, вмѣсто словъ—обнажать душу, извиваться въ проклятьяхъ, пьянымъ быть своимъ ужасомъ глухимъ и древнимъ, и вѣчно рыдать, и вѣчно молиться... Русская душа—это таинственная музыка боли, она ворожитъ, она чаруетъ, изъ темныхъ, глухихъ лѣсовъ, изъ безбрежныхъ степей, изъ томительно-кошмарныхъ городовъ струится ея тоскливый, придушенный, страстный вопль, ей нуженъ просторъ, ей нужна стихійная свобода, ей нужны крылья,—и кровавой, стонущей стрѣлой она свирѣпо вонзается въ небо, она ранитъ его безпощадно, и падаетъ, сраженная, на грязную землю, и извивается въ слезахъ, въ корчахъ, въ проклятьяхъ, въ надрывахъ,—такая несчастная, такая усталая, такая больная!...

Пусть другіе обманываютъ и обманываются наукою, разумомъ, философіей, мы не можемъ, мы хотимъ живой и абсолютной правды, мы хотимъ, чтобы прекратились страданья, рабство, униженіе, развратъ, мы хотимъ искупить каждую слезу замученнаго ребенка, мы хотимъ надорваться въ жертвѣ нашей безумной, пойти на мученья, и нѣтъ радости большей, какъ взойти на голгофу. Мы проклинаемъ стихійно, мы разрушаемъ и сѣемъ гибель съ священною дрожью, но точно также безумно мы любимъ, мы замираемъ въ тоскѣ бездонной, пьянящей, страшной и черной, какъ океанъ въ грозу, но изъ нашей тоски воскресаютъ молитвы, зарождаются сказочные сны, возникаютъ прозрѣнія, и дикой, на-

дрывной, звѣриной любовью мы любимъ нашу землю, цѣлуемъ ее, обливаемъ ее кровью своею, слезами своими, припадаемъ къ ея цвѣтущей груди и слушаемъ неземные напѣвы, грезимъ о раѣ, грезимъ о небывалыхъ восторгахъ, о небываломъ царствѣ. Мы хотимъ, чтобы на нашей землѣ изъ кровавыхъ сѣмянъ души обезумѣвщей въ горѣ—взошло наше тихое, тайное—Чудо!... Тайна русской души родила такихъ безумцевъ, которые немыслимы ни въ одной странѣ, изъ этой тайны вышелъ М. Бакунинъ—духъ страшной тьмы, пророкъ русскаго „подполья“, свирѣпый демонъ тоски безбрежной, полей усталыхъ, замученныхъ душъ. Изъ нея родился геніальный Константинъ Леонтьевъ—тоже духъ тьмы и духъ страданья, никому неизвѣстный, изуродованный, тонкій и болѣзненно чуткій и жестокій до изступленности... Изъ нея вышелъ Розановъ—русскій Ницше, тайновидецъ жизни, жрецъ ея глухихъ невѣдомыхъ тайнъ—такой ускользающій, такой лукавый и такой многогранный... Эти имена сами говорятъ за себя, говорятъ о томъ, что русская мысль чужда разуму, чужда всму изсушающему, всему схоластическому и мертвому, что русская мысль безумная и въ безуміи своемъ находящая святость свою!

Анализируя жизнь, ту жизнь, въ которую раньше стремился идти въ роли спасителя народнаго и отъ которой поспѣшилъ уйти—Минскій понялъ всю ея неправду, весь обманъ ея, все страданье ея; такъ же глубоко и проникновенно понялъ онъ ужасающій волю и мысль—фактъ смерти, понялъ человѣческую низость, эгоизмъ подъ видомъ любви къ ближнему, человѣческое хамство, черную неблагодарность, игру низкихъ самолюбій, безсмысленность судьбы,

копоть кошмарныхъ будней и безысходность больную, изводящую, приводящую къ отрицанію всего, къ небытію, къ послѣднему отчаянью. И все это измучило его душу, заставило ее страдать, выродилось въ тотъ болѣзненный, холодноватый скептицизмъ, отъ котораго онъ не избавился до сихъ поръ, и нужно замѣтить, что ко всему этому онъ пришелъ не посредствомъ однихъ только настроеній и переживаній, а посредствомъ кропотливой работы разума, посредствомъ логическихъ доказательствъ и выводовъ. Его отрицаніе и его пессимизмъ не только происходятъ изъ пережитыхъ разочарованій и страданій, но вытекаютъ изъ логическихъ построеній мысли, это пессимизмъ строго и чисто философскій...

Минскій, понадѣявшись на разумъ, искалъ въ жизни единенія—нашелъ безысходное одиночество, одиночество пустое и холодное. „Въ дѣтствѣ казалось—говоритъ онъ—„что одинокимъ можно чувствовать себя только въ пустой комнатѣ или среди чужихъ; въ теплѣ родного дома, держась за руку матери, мы не бывали одиноки. Потомъ казалось, что близость друга, что объятья женщины спасаютъ отъ одиночества. Нѣтъ, не спасаютъ! Никогда, никогда нельзя слиться съ чужою душой, ибо крѣпче, чѣмъ узникъ къ своей тачкѣ, каждый изъ насъ прикованъ къ своему самолюбію, и чужое бытіе остается для насъ далекимъ и несчастнымъ, какъ тотъ клочекъ неба и земли, который узникъ видитъ сквозь тусклое окно каземата“...

Онъ хотѣлъ строить жизнь свою на любви къ ближнему, но знакомство съ человѣческой душой—убѣдило его въ томъ, что любовь къ ближнему только родъ эгоизма и въ сущности не что иное, какъ

любовь къ самому себѣ. Минскому стало ясно „что каждый любитъ только себя, потому, что любить можно лишь одно: бытіе, или вѣрнѣе, чувство бытія, сознаніе жизни, благодатной, мистически—отрадной жизни, равно какъ ненавидѣть можно лишь небытіе. Все, что есть въ мірѣ веселаго и чарующаго, веселитъ и чаруетъ меня лишь потому, что претворяется во мнѣ въ сознаніе моего собственнаго бытія. И все, что есть въ мірѣ грустнаго и отвратительнаго—плачъ вѣтра, холодъ осенней ночи, безсердечіе убійцы, зловоніе трупа—все это грустно и отвращаетъ лишь потому, что претворяется во мнѣ въ символъ моей собственной смерти... Пусть рядомъ со мною корчится въ предсмертной мукѣ братъ или другъ мой, но, прежде чѣмъ я не увижу и не услышу его муку, непосредственно ощущать я не могу. А когда увижу и услышу, то мысленно поставлю на его мѣсто себя, на себѣ примѣрю его страданья, и тогда себя же пожалѣю и это сожалѣніе къ себѣ самому назову состраданіемъ къ чужому горю!“...

Это сознаніе, а также весь характеръ міровоззрѣнія Минскаго привели его къ ярко выраженному эгоцентризму, и онъ въ этомъ отношеніи является у насъ выдающимся индивидуалистомъ, еще задолго до того времени, когда Россія ознакомилась съ Ницше и въ ней начался потокъ сверхъчеловѣческихъ теченій. Этотъ эгоцентризмъ является основой всего міровоззрѣнія Минскаго. Для него реальна только собственная его личность, все остальное обманчиво и иллюзорно и въ концѣ концовъ подлежитъ небытію. „Вполнѣ до экстаза, блаженство бытія постигается лишь тогда, когда передъ яркимъ свѣтомъ моей души другая душа добровольно померкнетъ, доброволь-

но полюбитъ мое бытіе больше своего собственнаго" *). И въ другомъ мѣстѣ мы находимъ ту же мысль по отношенію къ моральной области: „При созиданіи основныхъ опредѣленій морали, я по необходимости долженъ считать себя единственнымъ въ мірѣ субъектомъ, а всѣ остальныя явленія и всѣхъ людей—объектами моей воли" **).

Это сознаніе единственной въ мірѣ реальности:—собственнаго я, достигаетъ нерѣдко у Минскаго чисто поэтической формы, и тогда супра-эгоцентрическій характеръ его философіи рѣзко выступаетъ наружу: „Сонъ, приснившійся отроку Іосифу, снится каждому изъ насъ отъ рожденія до могилы. Если-бы человѣкъ спросилъ себя самого, чего онъ болѣе всего желаетъ и о чемъ мечтаетъ, то совѣсть заставила бы его отвѣтить такъ: „Я желаю стоять на возвышенномъ средоточіи земли, чтобы всѣ люди, склоненные, толпились кругомъ и славили меня, какъ единственный источникъ бытія и радости, чтобы матери указывали на меня своимъ дѣтямъ, чтобы юноши взирали на меня съ тайной грустью, а женщины—съ тайнымъ восторгомъ. Я желаю, чтобы моему имени повсюду воздвигалось и курилось столько алтарей, сколько на землѣ холмовъ и горъ. Я желаю дышать огненной атмосферой, раскаленнымъ кислородомъ всеобщей любви, не благодарности за оказанное добро, а чистой любви за то, что я существую, вижу, слышу и люблю себя. Я желаю,—если мнѣ нельзя жить вѣчно,—чтобы въ часъ смерти всѣ люди добровольно рѣшились перестать жить, чтобы они

*) При свѣтѣ совѣсти, стр. 18.
**) Религія будущаго, стр. 127.

сожгли красивыя зданія, изорвали яркія ткани, закопали въ землю драгоцѣнности и, собравшись вокругъ моей могилы, умерли отъ горя" *).

Достигнувъ самыхъ высокихъ вершинъ индивидуализма, переоцѣнивъ всѣ цѣнности, отвергнувъ императивы добра и зла во имя новой, еще неизвѣстной морали будущаго,—Минскій призвалъ на судъ своей совѣсти весь міръ, онъ осудилъ науку, искусство, любовь, самопожертвованіе, красоту, все, что было цѣннаго для него раньше, онъ дошелъ до полнѣйшаго отрицанія, всюду и вездѣ онъ почувствовалъ лишь обезсиливающій дурманъ тоски.

Когда же въ своей переоцѣнкѣ цѣнностей и въ своемъ отрицаніи онъ подошелъ къ идеѣ смерти—мудрость его оказалась безсильной, и онъ понялъ, что ничто не сможетъ уничтожить смерти, что она сильнѣе разума, сильнѣе міра, сильнѣе жизни и что нельзя ни преодолѣть страха передъ нею, ни склониться въ покорности!... Тогда то онъ почувствовалъ самую жестокую боль, невыносимую—смерть положила начало перевороту въ его міровоззрѣніи.

Когда Минскій говоритъ о смерти—чувствуется въ его словахъ живая душа. И становится понятно, что онъ дѣйствительно пережилъ, перечувствовалъ, перестрадалъ весь ея ужасъ, всю ея неизбѣжность, всю трагедію человѣческой жизни передъ ея загадкой, а это значитъ, что ему вѣдома тайна жизни, которая открывается только при столкновеніи со смертью.

Когда прорвался сквозь разумъ въ душу палящій ужасъ смерти, зарыдала въ словахъ Минскаго

*) При свѣтѣ совѣсти, стр. 8—9.

уже не философская, а живая, человѣческая боль: „Смерть не только жестока, но и несправедлива и мстительна. Ея злоба обрушивается только на тѣхъ, кто дерзнулъ полюбить жизнь, кто чувствуетъ и сознаетъ. Къ безсознательнымъ растеніямъ она снисходительна, потому что они еще не кичатся своею жизнью, а стоятъ погруженные въ полудремоту, и не стыдятся протягивать вѣтви къ солнцу и тучамъ, умоляя о свѣтѣ и влагѣ. Когда листьямъ придетъ пора разстаться съ родимой вѣтвью, смерть украшаетъ ихъ золотомъ и янтаремъ, и они тихо слетаютъ, наполняя воздухъ крѣпительнымъ ароматомъ, болѣе сладкимъ, чѣмъ прежде, въ дни цвѣтенія. Ихъ близость не пагубна для родного ствола и корней, а хранитъ и лелѣетъ ихъ. Но существо живое, одаренное чувствами и волей, будитъ въ смерти злорадную ярость, и всего болѣе ей ненавистенъ человѣкъ, гордый своимъ бытіемъ, мечтающій о безсмертіи, Задолго передъ тѣмъ, какъ убить его, она медленно надъ нимъ надругается, уродуетъ его тѣло, подтачиваетъ память и чувства, дѣлаетъ его посмѣшищемъ въ родной семьѣ, жалкимъ, безпомощнымъ калѣкой, негоднымъ ни къ какому труду, кромѣ тяжелаго труда умиранія. И, когда, наскучивъ злорадной игрой, она наконецъ превратитъ его въ холодный трупъ, ея жестокость не унимается. Она преслѣдуетъ местью бездушный прахъ, вдыхаетъ въ него отраву, дѣлаетъ его невыносимымъ для живыхъ, которые спѣшатъ подальше и поглубже зарыть въ землю гніющую, отвратительную плоть!...

„Нѣтъ, ничто, ничто не сохранится отъ нашихъ мыслей, и дѣлъ, и чувствъ; ни добро, ни зло, ни

слава, ни безславіе, ни разумъ, ни безуміе, ни подвиги, ни преступленія. *).

Отъ этого сознанія невыносимая тяжесть ложится на душу, и не хочется ничего, наступаетъ безсильное безстрастіе, а сердце ноетъ, сердце замираетъ въ ноющей боли своей такъ жалобно, такъ тихо, такъ безпомощно!...

Вѣдь, теперь не нужна и не поможетъ никакая философія и никакая сила разума не успокоитъ разметавшееся сердце, теперь не нужны ни теоріи, ни разсужденія, все вокругъ такъ страшно и такъ пусто, и такъ одиноко!...

Хочется изорвать на клочки свою душу, хочется ребенкомъ стать—маленькимъ, безпомощнымъ, больнымъ, забыться въ лихорадочномъ бреду, въ материнскихъ ласкахъ, въ сказочныхъ грезахъ, хочется навѣки, навсегда отречься отъ своего разума, приведшаго къ тупику, хочется снять съ себя всю тяжесть, забыться, исчезнуть, не слышать, не чувствовать паническаго страха смерти!...

Все вокругъ такъ ненужно, такъ сѣро, такъ безцвѣтно, и тишина тревожная, больная, окутываетъ сердце влажной, сырой пеленой своей, и медленно погружаешься въ забытье, а баюкающій голосъ тоски—смертельной, усталой, безжизненной тоски,—напѣваетъ замирающему сердцу грустную, безнадежно печальную серенаду:

Тянутся по небу тучи тяжелыя,
Мрачно и сыро вокругъ.
Плача, деревья качаются голыя...
Не просыпайся, мой другъ!

---

*) При свѣтѣ совѣсти, стр. 225—226.

Не разгоняй сновидѣнья веселыя,
Не размыкай своихъ глазъ.

Сны беззаботные,
Сны мимолетные
Снятся лишь разъ.

Счастливъ, кто спитъ, кому въ осень холодную
Грезятся ласки весны.
Счастливъ, кто спитъ, кто про долю свободную
Въ тѣсной тюрьмѣ видитъ сны!
Горе проснувшимся! Въ ночь безысходную
Имъ не сомкнуть своихъ глазъ.

Сны беззаботные,
Сны мимолетные
Снятся лишь разъ. *).

Можно безъ преувеличенія сказать, что ни одинъ изъ русскихъ мыслителей не приходилъ къ такому безотрадному и безвыходному пессимизму, какъ Минскій. Болѣе того, помимо утвержденія всеобщей безцѣльности и иллюзорности, онъ возвелъ эту безцѣльность въ догматъ и придалъ своей философіи религіозный характеръ.

Дѣло въ томъ, что кромѣ идеи отрицанія, кромѣ сознанія безцѣльности жизни и горечи существованія—въ душѣ Минскаго, рядомъ съ этимъ—жила и поддерживала его духъ надъ бездной—другая идея, другое желаніе, другое понятіе—идея Божества, идея единства, идея „святыни не отъ міра сего“. Онъ самъ говоритъ, что „чтобы устоять въ борьбѣ случайностей и самолюбій, изъ которыхъ состоитъ вседневная жизнь, нужно внутренно быть свобод-

*) Минскій: „Серенада“.

нымъ отъ людей и обстоятельствъ и полюбить святыню не отъ міра сего"...

Но эта святыня, это божество, поддерживающее духъ и освящающее жизнь стремленіемъ къ единству, такъ же призрачна и такъ же иллюзорна, какъ и та дѣйствительность, которую отвергаетъ Минскій.

Эта святыня, вѣчное начало, изъ котораго произошелъ весь міръ, единственная цѣль бытія, начало и конецъ—есть *мэонъ*,—недостижимое и желанное, несуществующее и противоположное всякому бытію, мечта безъ исполненія, сфинксъ безъ разгадки, неизвѣстная и мучительная тайна!

Понятіе мэона (мэонъ значитъ несуществующій, терминъ Платона) стало основой не только религіи, но и всей философіи Минскаго. Мэоны играютъ въ ней такую же роль, какъ идеи у Платона и монады у Лейбница. Отсюда своеобразный характеръ его философіи—мэонизма. Мэонъ у Минскаго есть не только понятіе о единомъ, но также понятіе и о вселенной, и объ атомѣ, и о пространствѣ, и о бытіи; мэоны суть понятія насквозь отрицательныя, означающія то, что не существуетъ и что противоположно всякому бытію. Мэоны—нѣчто противоположное явленіямъ, но познаются они посредствомъ явленій... Посредствомъ мэоновъ Минскій стремится объяснить весь міръ и строитъ на нихъ свою систему.

Мэонизмъ вообще страдаетъ противорѣчіями и придавать ему серьезное значеніе, какъ строгой философской системѣ—невозможно, но какъ средство избавиться отъ губительнаго яда пессимизма,—мэонизмъ, пожалуй, и интересенъ, хотя нужно признаться, что онъ въ сущности является не столько искуснымъ противоядіемъ, сколько родомъ утонченной пытки,

посредствомъ которой душа человѣческая становится уже нечувствительной ко всякой боли и отдается безстрастному оцѣпенѣнію...

Мнѣ вся эта философія кажется издѣвательствомъ ея творца надъ самимъ собой, своего рода мудрой ворожбой надъ собой, ворожбой, исцѣляющей раны и погружающей въ небытіе и разумъ, и душу... Въ этомъ отношеніи мэонизмъ имѣетъ много общихъ чертъ съ буддизмомъ, но въ то время, какъ буддизмъ все же придаетъ нѣкоторую реальность нирванѣ, мэонизмъ противорѣчитъ и реальности божества и, кажется—самому даже его понятію, что весьма характерно для всякаго крайняго иллюзіонизма!

Понявъ, что всѣ стремленія человѣческія къ совершенству, всѣ попытки и средства понять загадку бытія, всѣ надежды и молитвы—приводятъ въ концѣ концовъ или къ разочарованію, или къ обычной формѣ обмана, убѣдившись, что весь міръ есть обманъ и небытіе, что никакой цѣли въ жизни нѣтъ и не можетъ быть—Минскій также пришелъ и къ тому, спасительному въ данномъ случаѣ, заключенію, что *такъ и должно быть* и что, если бы было иначе, то достигнутый идеалъ умертвилъ бы всю жизнь, ибо жизнь есть непрекращающееся движеніе, а достигнутый идеалъ, являясь прекращеніемъ движенія—остановилъ бы его и жизнь бы прекратилась, оцѣпенѣла, застыла...

Но жизнь есть безконечность, но движеніе непрекращаемо, но стремленія живутъ, слѣдовательно конечной цѣли нѣтъ и не можетъ быть!...

Такимъ образомъ то, что раньше мучило Минскаго, его пессимизмъ, его увѣренность въ безцѣль-

ности и въ небытіи—теперь стало для него истиной радостной и утѣшительной, и изъ своего же несчастья онъ сдѣлалъ для себя благо!...

Вмѣсто того, чтобы предаться отчаянью, онъ ухитрился отыскать въ самомъ этомъ отчаяньи извѣстный смыслъ. Вмѣсто того, чтобы уничтожить страданье, онъ принялъ его, какъ необходимость, какъ средство, какъ нѣчто, безъ чего невозможна жизнь—и страданье стало легко и блаженно. Вмѣсто того, чтобы дойти до конца въ своемъ раціонализмѣ и подобно позитивистамъ—навѣки похоронить Бога, онъ принялъ Его небытіе какъ единственную для себя форму религіозности, ибо въ сердцѣ его не угасли стремленія къ Божеству, не угасла молитва, не угасло глубокое чувство религіозныхъ переживаній—и онъ зная, что Бога нѣтъ—признаетъ Его и призываетъ Его, и молится Ему, а сознаніе, что Его нѣтъ и не можетъ быть, ибо если бы Онъ былъ, то не было бы міра,—наполняетъ душу восторгомъ, даетъ смыслъ жизни и облегченіе...

Минскій какъ бы боится реальности Бога, онъ боится увидѣть Его, почувствовать, приблизиться къ Нему, ибо его религія вся построена на пессимизмѣ, ибо онъ боится всякаго воплощенія божества, ибо все, что воплощается—уже не святыня, уже отрицаніе ея.

Словно вѣчныя разочарованія, и горечь ихъ, и сомнѣнія, и мука—научили Минскаго не довѣрять даже божеству, словно лучше ему признать небытіе, невозможность, нераскрытую тайну, нежели увидѣть на мѣстѣ святомъ—старый, привычный обманъ!...

Его боязнь воплощенія божества не столько противорѣчитъ природѣ мэоновъ, сколько врожденному

чувству во всемъ разочаровавшагося и все отвергнувшаго пессимиста, который самъ боится имъ же созданной, чувствуемой, осязаемой, сознаваемой тайны, чтобы не разочароваться и въ ней—единственной, чтобы ее—послѣднее свое сокровище—сохранить нерушимой и нетлѣнной, ибо все, что въ предѣлахъ земли, что въ предѣлахъ видимаго есть обманъ, суета и грязь...

„Святыня не отъ міра сего“ должна не только противорѣчить всей жизни и всѣмъ явленіямъ, она должна сама себя отрицать, ибо разъ она есть—она реальна, а реальность есть обманъ и ложь, главное же преимущество святыни, то, что рождаетъ молитву, то, что душу объемлетъ экстазомъ творческимъ, блаженствомъ нездѣшнимъ—есть то, что ея нѣтъ, что она недостижима никогда, никогда и никакой цѣной!

Ея нѣтъ—и въ этомъ ея обаяніе, ея красота, ея вѣчность.

Ея нѣтъ и не можетъ быть—въ этомъ залогъ неоскудѣнія творческихъ силъ, непрестанныхъ стремленій, невысказанныхъ чувствъ, неумирающихъ восторговъ...

И грусть безысходная, безконечная. И въ грусти—красота. И въ грусти — священный, творческій экстазъ!...

Богъ Минскаго лежитъ внѣ жизни и уничтожаетъ самую жизнь, Богъ Минскаго есть безнадежность, освященная экстазомъ души, стремящейся къ невозможному, тайна, которую не надо разгадывать, страшная тайна—мучительная, безстрастье, вѣчное чудо,—мэонъ!...

Для того, чтобы обрѣсти свою святыню, Минскому нужно было убѣдиться „что всякая наша дѣ-

ятельность—и добрая, и злая, и творческая, и разрушительная—равно ничтожны, безсильны, самолюбивы.

„Если мы оставимъ нетронутой хоть одну иллюзію, если, напримѣръ, допустимъ, что всѣ поступаютъ самолюбиво, кромѣ героя, умирающаго за счастье людей, то мы осудимъ себя на дальнѣйшее скитаніе во мракѣ прежнихъ противорѣчій: точно такъ, для того, чтобы выбраться изъ подземелья, изъ котораго нѣтъ возврата, необходимо пройти весь подземный ходъ, не исключая и самой темной его части...

„Я стремлюсь къ тому, чего нѣтъ въ моей душѣ, значитъ меня притягиваетъ сила, живущая внѣ моей души“,—святыня не отъ міра сего, безликій, невѣдомый, внѣсущій и жизнь уничтожающій своимъ воплощеніемъ—Богъ!...

И оттого, что не исполнятся никогда надежды міра, не прекратятся страданья ненужной, призрачной реальности, не откроется смыслъ и загадка жизни, не наступитъ конецъ—Минскій чувствуетъ радость, его объемлетъ блаженство...

И оттого, что небытіе есть Богъ, что бытіе—не Богъ, что Богъ есть жертва извѣчная, жертва Бога, отрекшагося отъ своего бытія во имя бытія міра, оттого, что Богъ не можетъ явиться, оттого, что нѣтъ Его и не можетъ быть, оттого что небытіе Его мистично и имѣетъ глубокій смыслъ—душа погружается въ тихій экстазъ, экстазъ созерцанія, экстазъ упоенія тайной, которая вѣдома лишь ей, душа чувствуетъ невыразимое счастье, счастье сліянія съ этимъ отвергнутымъ и несуществующимъ Богомъ, и испытывая радостную грусть, сливаясь съ

небытіемъ, уничтожаясь въ печали прозрачной, въ волнахъ забвенья—душа молится среди страшнаго молчанья, одиночества и омертвѣнія — благодарная Творцу за освобожденіе отъ унизительной и рабской реальности:

„Зданія, построенныя на камнѣ, превращаются въ прахъ, но незыблемы звѣзды, висящія надъ бездной. И вотъ храмъ, который люди построили на камнѣ вѣры, лежитъ въ развалинахъ, и я хочу строить незыблемый храмъ надъ бездной и надъ пустотой. Я не жду, о Боже, твоихъ чудесъ, ибо тобою все стало чудомъ въ мірѣ. Я не страшусь, о Боже, наказанія и не жду награды, ибо поставленъ тобою выше страха и корысти. Я не молю тебя ни о чемъ, ибо раньше мольбы моей ты далъ мнѣ все. Но я люблю тебя, потому что ты—моя тайна, и красота, и надежда, въ жизни и въ смерти. О, любящій, познаваемый въ любви, любимый!“ *).

Сущность мэонической легенды, приведшей Минскаго къ состоянію религіознаго экстаза—состоитъ въ слѣдующемъ. Вначалѣ не было міра, не было бытія, былъ Богъ—мэонъ, воплощавшій въ себѣ все бытіе и все знаніе и наслаждавшійся радостью своего вѣчнаго знанія и безмятежнаго бытія. „Во всемъ равный себѣ, единый (мэонъ), онъ наполнялъ собою все, наслаждался своимъ блаженнымъ покоемъ и созерцалъ свое совершенство. Всемогущій, всевѣдущій, онъ самъ въ себѣ созерцалъ тоже и множественный міръ явленій, еще не существующій, не могшій существовать рядомъ съ единымъ. И сказалъ Всеединый въ своей мысли; вотъ я созерцаю формы и су-

*) Религія будущаго, 27.

щества, не могущія возникнуть къ радости бытія, оттого, что я, единый, существую" *).

Но, сознавая свое единство, обладая полнымъ знаніемъ, этотъ верховный мэонъ не могъ не знать и о нашемъ, еще не рожденномъ мірѣ. И вотъ, ради бытія этого міра, ради нашей жизни, ради всеобщаго блаженства, онъ рѣшилъ принести себя въ жертву, погрузившись въ небытіе и создавъ міръ видимый. Такимъ образомъ нашъ міръ возникъ изъ жертвы верховнаго мэона, погрузившаго себя въ небытіе ради явленія міра. Мэонъ рѣшилъ: „Пусть возникнетъ міръ, во всемъ противоположный мнѣ, міръ, въ которомъ не будетъ великаго и добраго самого по себѣ, а лишь большее и меньшее, лучшее и худшее,—міръ движущійся, стремящійся, полный распадающихся безчисленныхъ существъ, неравныхъ, но сравниваемыхъ между собою, различныхъ, но переходящихъ одно въ другое, борющихся, но тяготѣющихъ другъ къ другу" **).

„Великая любовь объемлетъ меня къ этимъ существамъ, которыя не могутъ возникнуть къ бытію рядомъ со мною... Хочу уступить свое бытіе многимъ, дать имъ свободу и разумъ, радость бытія и блаженство самопожертвованія, хочу жить и умирать во многихъ, стать предметомъ ихъ безкорыстной любви и вѣчнаго стремленія. И сказавъ это въ своей мысли, Всеединый, исполненный блаженства и грусти, усиліемъ всемогущей воли принесъ себя въ жертву и создалъ множественный міръ съ характеромъ безначальности и безконечности, стремящійся къ единому

*) Религія будущаго 204—205.
**) При свѣтѣ совѣсти, 204.

и вслѣдствіе своей множественности никакъ не могущій его достигнуть" *).

Такимъ образомъ возникъ міръ явленій, возникъ человѣкъ, возникла воля и мысль человѣческая, стремящаяся къ всеединому, къ высшему идеалу, къ блаженной странѣ первобытія и не могущая найти его, потому что его нѣтъ и не можетъ быть, ибо если бы явился онъ,—то міръ снова исчезъ бы и разрушился, но ради бытія міра совершилось исчезновеніе Бога—мэона...

Мы всѣ обречены на трагедію безплодныхъ исканій, мы всѣ ищемъ и желаемъ того, чего нѣтъ и не можетъ быть, наша религія не можетъ основываться на чувствѣ, ибо чувству ничего не говоритъ небытіе Бога, но она должна быть разумной, основываться только на мысли о несуществующемъ мэонѣ, и то, что онъ не существуетъ, но мы все таки стремимся къ нему и жаждемъ его, и молимся ему,—не должно смущать нашъ разумъ, наоборотъ—прояснять его высшимъ прозрѣніемъ экстаза, ибо такъ надо и иначе не можетъ быть, ибо трагедія въ своей безысходности заключаетъ спасеніе, ибо святыня наша недостижима и *поэтому* желанна и свята!...

Такова мэоническая религія Минскаго, такова основная черта его міровоззрѣнія.

Только разумъ можетъ изобрѣсти подобную религію, чувство—источникъ всякой вѣры—глубоко возмущается противъ мэонизма, для разума можетъ быть доказано и убѣдительно то, что ничего не существуетъ, для чувства это не мыслимо, ибо само чувство уже есть несомнѣнная реальность.

*) Религія будущаго, 505.

Молиться богу невозможно только разумомъ, какъ это дѣлаетъ Минскій, всякая молитва, если она искренняя—есть чувство, и молясь—мы должны ощущать того, кому молимся, иначе мы не вѣримъ, и ясно, что разъ ощущаемъ Его, разъ чувствуемъ Его присутствіе, сливаемся съ Нимъ — значитъ Онъ есть не мэонъ, а мистическая, непознаваемая, но несомнѣнная реальность.

Молиться Богу, вѣрить въ Него, основывать на Немъ свою религію, грезить о будущемъ человѣчества при свѣтѣ этой религіи и вмѣстѣ съ тѣмъ утверждать, что Бога нѣтъ и что все—обманъ и иллюзія—значитъ противорѣчить самому себѣ, значитъ творить безсмыслицу...

Очевидно, вся религія Минскаго есть внутреннее несознаваемое противорѣчіе. Утверждая, что „видимыя тѣла представляютъ призрачно-существующую оболочку, подъ которой таится священное ничто"—Минскій тѣмъ самымъ признаетъ несомнѣнную *реальность этого ничто*". Говоря, что „міръ есть уравненіе съ однимъ неизвѣстнымъ, которое и есть Богъ", Минскій какъ бы нарочно отказывается отъ рѣшенія этого уравненія, онъ, оставляя его нерѣшеннымъ, какъ бы колеблется, боится увидѣть воплощеннымъ иксъ, онъ оставляетъ его неизвѣстнымъ, ибо на то есть у него причины, но онъ не можетъ не признать той простой истины, что неизвѣстное это только потому и неизвѣстно, что онъ еще не рѣшилъ уравненія и не хочетъ его рѣшить, но оно есть и возможно, и глубоко реально, но должно оставаться въ неизвѣстности вслѣдствіе его боязни увидѣть его воплощеннымъ... Всякая вѣра основывается на бытіи Бога. Минскій отказывается признать это бытіе, онъ

говоритъ, что „положеніе—Богъ существуетъ, истинно лишь настолько, насколько оно скрываетъ въ себѣ подразумѣваемую субъективную мысль: въ моей душѣ существуетъ исканіе Бога. Но само по себѣ, въ своей объективной сторонѣ, имѣя подлежащимъ Бога, оно неопредѣленно и безцѣльно". Но, признавая стремленіе къ Богу за реальность, онъ долженъ согласиться, что это стремленіе, тяготѣя, пусть безсознательно, къ *чему-то*, уже тѣмъ самымъ обнаруживаетъ цѣль, къ которой стремится (ибо всякое стремленіе цѣлесообразно), а разъ цѣль реальна, ибо вызываетъ реальное стремленіе—то значитъ Богъ не мэонъ, а истинная реальность, иначе бы онъ не вызывалъ стремленій, не наполнялъ душу молитвой, не манилъ къ себѣ, не опьянялъ своей тайной.

Если даже согласиться съ мэоническимъ понятіемъ Бога, то все-же Минскій долженъ признать, что это отрицательное существо, это *ничто* такъ же существуетъ, какъ и всякая положительная реальность, а разъ оно существуетъ—то не все ли равно—извѣстно ли оно или нѣтъ, важно одно, что *ничто есть реальность, а не иллюзія*, а разъ реальность, значитъ нельзя признавать его иллюзорнымъ и нельзя утверждать, что оно противоположно всякому бытію и бытіе уничтожаетъ... Но уже потому, что Минскій придаетъ этому пресловутому „ничто" такое большое значеніе, что онъ вѣчно о немъ думаетъ, вѣчно стремится къ нему, вѣчно молится ему—уже по одному этому можно судить, что его ничто есть въ сущности—безсознательная реальность, противъ которой протестуетъ его чувство, но которую долженъ признать, для собственнаго успокоенія, для

абсолютнаго покоя души, для безмятежнаго счастья—его разумъ!...

Мэоническое оправданіе небытія у Минскаго основано на детерминистическомъ предопредѣленіи, онъ словно заранѣе отказывается отъ всякихъ рѣшеній, отъ всякихъ откровеній, отъ всякихъ исканій, признавая, что все равно нельзя разгадать загадку и всякое знаніе относительно, поэтому нужно смириться и признать недостижимость цѣли за единственную достовѣрность...

Но, утверждая послѣднее, возводя свой мэонизмъ въ систему, въ догматъ, Минскій въ глубинѣ душевной долженъ согласиться, что разъ никакое знаніе не можетъ постигнуть тайны бытія, значитъ и его знаніе не постигаетъ ея, значитъ и оно такъ же относительно, какъ и всѣ остальныя знанія, а разъ относительно, разъ не вѣрно, то какъ же онъ можетъ на немъ строить всю жизнь и признавать его единственнымъ и догматичнымъ?...

Очевидно, Минскій не былъ послѣдователенъ до конца, онъ долженъ былъ понять, что разъ всѣ исканія безплодны и приводятъ къ тупику, то нельзя надѣяться особенно на свой разумъ и на свою философскую систему, ибо она такъ же невѣрна, какъ невѣрно и призрачно все, ибо разъ человѣческія исканія вѣчаетъ обманъ, то онъ такъ же обманутъ, какъ и остальные, и, значитъ не въ знаніи, не въ философскомъ утвержденіи возможна истина, а въ чемъ-то такомъ, что исключаетъ всякое знаніе и всякій разумъ, что постигается или чистымъ опытомъ, или вдохновенной интуиціей, или чувствомъ слѣпой, младенческой, наивной вѣры!

Посредствомъ строго выдержанной философской системы невозможно обнять весь міръ, немыслимо постичь всю его тайну, невозможно отыскать истину, такъ какъ всякая система относительна (нужно разъ навсегда всѣмъ философамъ имѣть это въ виду), всякая система иллюзорна и призрачна, всякая система есть ограниченіе разума, а не его обогащеніе и, возводя въ систему свои мысли и свои догадки, человѣкъ только развиваетъ свою ограниченность, а истину не можетъ постичь. Сама то истина можетъ быть внѣ всякихъ системъ и всякаго разума. Можетъ еще явиться сомнѣніе въ томъ, нужна ли міру *единая* истина? А что если этихъ истинъ безконечное множество и міръ есть цѣпь этихъ истинъ, постигаемыхъ въ опытѣ и только для опыта нужныхъ, порой отвергаемыхъ въ вѣчныхъ исканіяхъ во имя неизсякаемаго творчества?... Въ томъ то и дѣло, что *ничего* неизвѣстно, ибо все относительно, а сущность всего можетъ быть постигнута только въ религіозномъ опытѣ... Но Минскій, признавъ, что ничего неизвѣстно—отвергъ всякій опытъ, отвергъ всякое творчество, всякое дѣйствіе, онъ остановился на полъ пути, возвелъ свое знаніе въ догматъ и застылъ въ его созерцаніи, отказавшись навсегда отъ всякихъ прозрѣній, какъ индійскій факиръ погрузившись въ полное мертвое небытіе... *Религіозный пессимизмъ Минскаго омертвѣлъ въ догмѣ*,— и въ этомъ главная его ошибка, въ этомъ не утвержденіе, а смерть его философской системы.

Въ своей книгѣ „Религія будущаго“ Минскій созерцаетъ міръ сквозь призрачный сонъ своей вѣры и рисуетъ себѣ метаморфозу міра... Мэоническая легенда, по его мнѣнію, должна сыграть дѣятельную

роль въ жизни человѣчества, разумная вѣра въ небытіе Божества уничтожитъ всякій пессимизмъ, всякія страданья, она примиритъ человѣчество съ идеей смерти, ибо смерть есть подобіе жертвы Всеединаго и умирая—мы въ сущности—возрождаемся къ бытію въ Богѣ, сливаемся съ Нимъ... Человѣческая культура должна быть одухотворена и освящена мэонической религіей, долженъ быть выработанъ новый аскетизмъ, примиряющій плоть съ духомъ въ одномъ неизрѣченномъ томленіи, человѣкъ долженъ найти новую мораль, стоящую внѣ добра и зла, добро и зло подчиняющую чему-то верховному, еще неизвѣстному. Будущее человѣчество должно поставить во главѣ общества людей избранныхъ, духовныхъ аристократовъ. Жизнь должна быть пропикнута насквозь прозрачнымъ очарованіемъ Божества, жизнь будетъ великой грустью, въ прозрачныхъ волнахъ которой—бездонность, жизнь станетъ одной божественной мистеріей, но для того чтобы воплотить эту мистерію—человѣкъ долженъ будетъ уединяться въ тихіе мэоническіе монастыри, „тихія убѣжища, гдѣ, не давая обѣта, не связывая волю ни послушаніемъ, ни исполненіемъ обрядовъ, усталые могли бы отдохнуть, огорченные—просвѣтлѣть, озлобленные—примириться“... Таковъ смутный абрисъ того будущаго, которое рисуетъ себѣ Минскій и въ которое вѣритъ...

Храмъ Минскаго холодный, призрачный, воздушный и прозрачный. Цѣною бездоннаго страданья, цѣною горькихъ разочарованій, цѣною погибшей жизни воздвигнутъ онъ надъ бездной.

И его божество не имѣетъ лица, оно неизвѣстно, оно скрыто отъ глазъ.

Его Всеединый есть какъ бы освященная, возведенная на пьедесталъ безнадежность, его безликій Богъ есть сама застывшая скорбь, само оледенѣлое въ холодѣ разума страданье...

Душу свою онъ заморозилъ для вѣчнаго счастья и ему ничего не нужно, и душа спитъ въ объятьяхъ больного экстаза, спитъ сномъ непробуднымъ, безъ сновидѣній, мертвымъ сномъ навѣки застывшей тоски, отдавши разуму верховную власть надъ жизнью...

Минскій прошелъ мимо Христа, ибо его Богъ—безликій и неизвѣстный и невоплотимый...

Но если бы онъ почувствовалъ хоть разъ въ своемъ сердцѣ Христа—растаялъ бы тяжелый ледъ его мэонизма и онъ бы почувствовалъ ту единственную, божественную реальность, которую навсегда отвергнулъ. Ибо Христосъ есть именно тотъ *воплотившійся мэонъ*, котораго такъ боится Минскій и воплощеніе котораго вызвало не только всемірную катастрофу, но также освободило человѣчество отъ призраковъ небытія, даровавъ личности безмѣрную свободу и утвержденіе...

Познавать Христа—значитъ творить религіозный опытъ. И въ дѣйствіи сомнѣвающагося Ѳомы, вкладывающаго персты въ раны Господа, ощупывающаго Его прободенныя ребра и потомъ обезумѣвшаго въ восторженномъ крикѣ: „Господь мой и Богъ мой!“—заключается мистическое таинство христіанскаго полножизненнаго реализма...

Не за мэоническую религію принимаю я Минскаго въ свою душу, ибо его религія неплодотворна и безжизненна, а за то великое страданье, за ту острую и мучительную боль, посредствомъ которой

онъ пришелъ къ своему Богу, за долгую и обезсиливающую трагедію безплодныхъ исканій, приведшую его къ бездонной усталости...

Усталость эта такъ живо чувствуется вотъ въ этихъ его словахъ и въ тысячу разъ больше говоритъ моему сердцу, чѣмъ его холодная и умственная религія:

Нѣтъ муки сладострастнѣй и больнѣй,
Нѣтъ ядовитѣй ласки, жгучѣй жала,
Чѣмъ боль души, которая устала
И спитъ въ гробу усталости своей.
Безсильная—она судьбы сильнѣй.
Кристальнымъ льдомъ отрава мысли стала.
Разрѣшена въ созвучія финала
Мелодія безумій и страстей.
Закрывъ глаза, она межъ сномъ и явью
Лежитъ, безстрастна къ славѣ и безславью,
И смерть сама не въ силахъ ей грозить:
Когда до срока сердце отстрадало,
Всей вѣчности могилы будетъ мало,
Чтобъ горечь краткой жизни усыпить.

VII.

Въ 1905 году на смѣну прекратившемуся „Новому Пути“, возникли „Вопросы Жизни“... На смѣну индивидуалистическому мистицизму Мережковскаго, Розанова, Гиппіусъ, Минскаго—пришло новое теченіе въ религіозно-философскихъ исканіяхъ, идущее какъ бы навстрѣчу новымъ запросамъ жизни, навстрѣчу возрождающейся общественности... Сохранивъ индивидуалистическій принципъ „Новаго Пути“—новый журналъ, однако, нашелъ нужнымъ—расширить рамки своей программы, включивъ въ нее политическіе и экономическіе элементы, стремясь соединить, примирить новое религіозное сознаніе съ общественностью.. Хотя получился вслѣдствіе этого какой-то весьма хаотическій конгломератъ, хотя это желанное соединеніе и не было достигнуто,—но „Вопросы Жизни“ являлись дѣйствительно живымъ откликомъ на современность и тѣмъ и отличались отъ предыдущаго журнала, что философской мысли стремились придать практическое значеніе...

Не входя въ подробное разсмотрѣніе неудачной попытки соединить въ этомъ журналѣ христіанство съ общественностью, т. е. примирить двѣ другъ другу чуждыя стихіи, — нельзя не признать, что

къ стыду нашему, мы до сихъ поръ не имѣемъ такого *свободнаго* въ истинномъ смыслѣ этого слова органа, какимъ являлся журналъ „Вопросы Жизни"... Въ настоящее время въ Россіи журналовъ много, но всѣ они омертвѣли въ рамкахъ своихъ программъ, въ нихъ нѣтъ творчества, нѣтъ живой жизни, нѣтъ простора и доступа всему, что внѣ программъ и внѣ догмата, что оригинально, вотъ почему интересъ къ журналамъ падаетъ и мѣсто ихъ понемногу занимаютъ альманахи и сборники.

„Вопросы Жизни" были послѣднимъ очагомъ свободнаго творчества въ Россіи, здѣсь нашло себѣ мѣсто все свободное, все бродящее, все жаждущее новаго откровенія, здѣсь сошлись крайнія противоположности, люди совсѣмъ чуждые другъ другу соединились во имя свободы совѣсти и творчества, полярно противоположныя другъ другу міровоззрѣнія встрѣтились на одномъ пути: рядомъ съ сухимъ и догматичнымъ Волжскимъ—анархистъ и декадентъ Чулковъ, наряду съ разсказами Сергѣева-Ценскаго—„Мелкій Бѣсъ" Сологуба; полныя благонамѣреннѣйшаго христіанскаго смиренія статьи В. Эрна наряду съ пессимистическимъ адогматизмомъ Л. Шестова, утонченная прозрачность эллинскихъ настроеній Вяч. Иванова и рядомъ—бурный, выходящій изъ береговъ всякихъ традицій „Прудъ"—Алексѣя Ремизова—кровавый пожаръ литургійнаго страданія, трепещущее въ огненныхъ словахъ надорвавшееся сердце, безумный вызовъ жизни, безумный, дикій вопль (замѣчательно, что тогда никто не могъ дочитать до конца „Пруда" и Ремизова называли бездарностью,—теперь же, когда онъ тяжелой цѣной своего страдальческаго творчества достигъ извѣстности—подлинныя бездарности, изъ тѣхъ са-

мыхъ, которыя раньше не признавали его,—посвящаютъ ему отдѣльныя статьи и кричатъ: „настоящій писатель"!).....

Одинъ изъ редакторовъ журнала—С. Н. Булгаковъ, являлся типичнымъ и наиболѣе интереснымъ представителемъ такъ называемой „христіанской общественности". Бывшій марксистъ, общественный дѣятель, профессоръ политической экономіи, авторъ солидныхъ трудовъ („Капитализмъ и земледѣліе" и др.)—вдругъ вслѣдствіе внутренняго переворота въ своемъ міровоззрѣніи, приходитъ къ идеализму (см. его книгу: „Отъ марксизма къ идеализму"), а затѣмъ—къ подлинному христіанскому міровоззрѣнію... Но, какъ и каждый марксистъ, несмотря на свою измѣнившуюся физіономію, онъ остается вѣренъ завѣтамъ своего учителя, соединяя предпосылки соціализма съ заповѣдями Христа, общественныя стремленія съ философіей Вл. Соловьева, котораго также признаетъ своимъ учителемъ... Повидимому по своему міровоззрѣнію Булгаковъ напоминалъ западныхъ христіанскихъ соціалистовъ, но на самомъ дѣлѣ соціализмъ былъ ему вовсе чуждъ, являясь только средствомъ, а не цѣлью, самое же его христіанство носило и носитъ въ сущности, несмотря на стремленія къ практицизму—чисто философскій характеръ.

Сразу же бросается въ глаза вся сложность той задачи, которую взялъ на себя Булгаковъ въ общественномъ отдѣлѣ „Вопросовъ Жизни": соединить евангельское ученіе, дѣтское, безпомощное передъ міромъ, безумно-мудрое, юродивое—съ интересами русской общественности, съ политикой, съ программой, соединить положенія Соловьевской философской системы съ практической дѣятельностью,

соединить небесное съ земнымъ, вѣчное съ преходящимъ—развѣ не кажется это не только невыполнимымъ, но даже недопустимымъ какъ предположеніе?.. А между тѣмъ, въ этомъ заключалась для Булгакова вся цѣль его стремленій, въ этомъ онъ видѣлъ исходъ для своего обновленнаго и преображеннаго религіознаго міровоззрѣнія...

И сначала въ „Вопросахъ Жизни“, потомъ въ кіевской газетѣ „Народъ“ онъ держится этого направленія, преслѣдуетъ эту задачу, стремится внести въ политику христіанскіе идеалы, въ общественность—христіанскій духъ, въ освободительное движеніе—религіозное воодушевленіе, христіанскую этику, солидарность, истинную культуру... То же самое онъ нерѣдко проповѣдываетъ съ кафедры, стремится также къ созданію общества, которое бы занялось приложеніемъ къ жизни его программы („Союзъ христіанской политики“)...

Когда внимательно прислушаешься къ его рѣчамъ—впечатлѣніе получается довольно смутное и неопредѣленное: съ одной стороны кажется будто говоритъ честный марксистъ, истинный и благородный „товарищъ“, ни въ чемъ не сомнѣвающійся, для котораго одинъ законъ: „да не будутъ тебѣ бози иніи, кромѣ Маркса“, съ другой стороны поражаетъ примѣсь христіанскихъ заповѣдей, которыя такъ же не гармонируютъ съ этимъ, какъ Христосъ не гармонируетъ съ Марксомъ, но одно уничтожаетъ другое, и не знаешь кому вѣрить—Булгакову—марксисту, или Булгакову—христіанину?..

Для Булгакова первые христіане являются чуть-ли не соціалистами, для него христіанство внѣ общественности мертво, для него политическая экономія перен-

летается съ Евангеліемъ и Марксъ для него—религіозный типъ... Очевидно, что всѣ эти мнѣнія—лишь налетъ (и налетъ только мѣшающій и непріятный) этого марксизма, отъ котораго Булгаковъ еще тогда не могъ окончательно отдѣлаться, очевидно, что прежнее міросозерцаніе, которое онъ не могъ преодолѣть—врывалось въ его душу, мѣшало всецѣло отдаться другимъ мірамъ, создавало цѣпь препятствій, нарушало покой, отравляло сознаніе... Ибо ясно, что христіанство и общественность—двѣ полярности, одна другую взаимно уничтожающія, что христіанство не принимаетъ міра и міръ освящаетъ чаяніемъ міра грядущаго, въ то время какъ соціализмъ не освящаетъ, а жадно пожираетъ міръ, и сытость міромъ ставитъ какъ высшую цѣль; ибо ясно, что не на работу общественную, не на борьбу съ государственностью, не во имя благъ земныхъ и свободъ и привилегій—стремились первые христіане, а—въ катакомбы, по ту сторону міра, къ желанной встрѣчѣ съ Христомъ! Съ радостью принимали муки, шли на костры и висѣлицы не потому, что хотѣли этимъ купить для человѣчества ту или другую свободу, добиться тѣхъ или иныхъ правъ, провести въ жизнь законъ или добиться повышенія платы за трудъ, а только потому, что такъ близокъ еще былъ Христосъ, близка была Его мучительная смерть, его многострадальная жизнь, только потому, что эта близость опьяняла какимъ-то болѣзненнымъ экстазомъ душу, потому что они такъ же вѣрили, какъ мы вѣримъ въ правила ариѳметики, что Христосъ воскресъ, что Христосъ живъ—и сами хотѣли соединиться со Христомъ *во имя жизни будущей, а не настоящей, во имя царства небеснаго, а не земного.*

Соціализмъ есть прикрѣпленіе человѣка къ землѣ, стремленіе завладѣть землей, всѣми ея богатствами, сокровищами и привиллегіями во имя сытости, во имя благополучія и скотскаго самодовольства. Христіанство есть путь сквозь земное къ небу, презрѣніе къ землѣ во имя неба, христіанство есть вознесеніе духа, соціализмъ—паденіе и уничтоженіе его... Христосъ не сдѣлалъ ни одного намека на земное благоустройство, напротивъ, онъ совѣтовалъ не заботиться что ѣсть и во что одѣться, быть какъ полевыя лиліи... Людямъ, которые подобно соціалистамъ—хотѣли продолженія сытой человѣческой жизни за гробомъ и понимали безсмертіе, какъ продолженіе жизни земной—Христосъ сказалъ, что тамъ не будутъ жить такъ, какъ здѣсь на землѣ живутъ люди, а будутъ жить какъ ангелы на небесахъ... И хотя Онъ стремился къ любви и справедливости на землѣ, но Онъ же въ пустынѣ съ негодованіемъ отвергъ искушенія Діавола о царствѣ земномъ, Онъ конечную цѣль видѣлъ не въ принятіи и благоустройствѣ міра, а въ страданіи и въ мученичествѣ какъ залогѣ царства небеснаго, въ непринятіи міра, въ разрушеніи міра во имя жизни неземной, духовной и вѣчной...

Для соціализма всѣ люди равны, его идеалъ—обезличеніе, для соціализма всѣ люди одинаково безцвѣтны, одинаково являются простыми единицами въ муравейникѣ коллективизма, а христіанство есть прежде всего религія абсолютной свободы, *абсолютнаго освобожденія*, и христіане суть враги міра, враги его государства, его земныхъ заботъ, его страстей, его программъ и партій, и ненавидятъ они міръ, такъ же, какъ міръ ненавидитъ ихъ...

Соціализмъ есть культъ земли, христіанство—вѣчности. Соціализмъ имѣетъ крайней цѣлью землю, христіанство отправляется отъ земли чрезъ разрушеніе и непріятіе ея—къ завладѣнію небомъ...

Эти различія, ясныя для всѣхъ—наглядно подтверждаютъ, что безумно и невозможно соединять христіанство съ общественностью, а тѣмъ болѣе—съ какой бы то ни было политикой!... Соединеніе христіанства съ государственной властью положило начало не прогрессу его, а регрессу, это соединеніе было первымъ позорнымъ шагомъ историческаго христіанства—и если бы нынѣ пришелъ Христосъ, то борьба Его была бы направлена именно противъ того, что теперь называютъ христіанствомъ...

Вводить религію въ политику—значитъ уничтожить самую возможность политики, ибо политика всецѣло зависитъ отъ трезвости разума, отъ преданности земному и только земному, христіанство же все построено на безуміи, а безуміе и политика ужъ во всякомъ случаѣ вещи несовмѣстимыя...

Оправдывать дѣствія соціализма именемъ Христа—значитъ клеветать на Христа, значитъ позорить Христа, ибо Христосъ былъ не только страдалецъ за людей, но и величайшій индивидуалистъ.

Какъ бы ни доказывали, что Христосъ пришелъ устроить міръ и насытить людей и дать имъ „политическую свободу“—это всегда будетъ ложно и всегда не умно. *Христосъ есть не только непріятіе міра, но и разрушеніе всѣхъ его законовъ и основъ, и не миръ принесъ Онъ на землю, но мечъ и раздѣленіе, и не прикрѣпить человѣка къ землѣ пришелъ Онъ, но—оторвать и вознести его отъ земли: „Онъ сказалъ*

имъ: вы отъ нижнихъ, Я отъ вышнихъ, вы отъ міра сего, я не отъ сего міра" (Іоан. гл. 8, 23).

Булгаковъ и „Вопросы Жизни" выставили своимъ девизомъ христіанскую общественность, но я думаю, не по внутреннему убѣжденію, а вслѣдствіе желанія отдать извѣстную дань охватившему всю Россію общественному движенію... Невозможно было безъ натяжекъ, безъ компромиссовъ, безъ извѣстнаго риска примирить христіанство съ революціей и соціализмомъ, оттого и получилось какъ слѣдствіе этого—что-то весьма неубѣдительное, ненужное и шаткое... Чулковъ писалъ разсказы съ „направленіемъ", съ программами и революціонными пѣснями a la Танъ или Скиталецъ, Андрей Бѣлый воспѣвалъ шествіе съ флагами, Булгаковъ примѣшивалъ къ чисто соціалистическимъ тенденціямъ своихъ статей христіанскія слова, потому что такова была мода и иначе нельзя было... Но искренности во всемъ этомъ не чувствовалось, ибо если бы была она, если бы было во всемъ этомъ настоящее горѣніе, то эта „христіанская политика" вошла бы въ жизнь и сдѣлала бы свое дѣло, но журналъ прекратился, продержавшись годъ, проэктъ „союза христіанской политики" кажется остался проэктомъ, а всевозможнымъ „эсдекамъ" и „эсерамъ" христіанская политика была такъ же не нужна, какъ телѣгѣ пятое колесо: жизнь взяла свое...

Примирить соціалистическую программу съ христіанскими идеалами—это значитъ разрушитъ весь соціализмъ, ибо, какъ мы уже сказали—христіанство не можетъ человѣка прикрѣпить къ землѣ, оно ведетъ его въ жизнь будущую, а настоящая жизнь можетъ быть какая угодно—республиканская, или монархическая, не въ этомъ дѣло, а въ мукѣ за Христа,

въ страданіяхъ жизни, которую нужно принять во имя спасенія, въ презрѣніи ко всякой власти, будь она самая совершенная, ибо жизнь и формы ея—только внѣшность, только цѣпи, только прахъ и суета, а цѣль—освобожденіе отъ нихъ!...

Для Булгакова же христіанство является въ другомъ освѣщеніи, онъ понимаетъ его какъ средство для проведенія въ жизнь соціалистическихъ идеаловъ, онъ цѣнитъ въ немъ только то, что оправдываетъ жизнь, что служитъ къ ея укрѣпленію и утвержденію, т. е. раздѣляетъ взглядъ прочихъ „товарищей“ на христіанство, которые видятъ во Христѣ такого же, какъ они „товарища“ а въ евангеліи—проповѣдь коммунизма, кооперації, прибавочной цѣнности и восьмичасового дня!... И, хотя все это очень далеко отъ дѣйствительности, Булгаковъ прямо и категорически заявляетъ, что „христіанство есть религія любви, то есть (?) общественности“, и что поэтому „религіозно-философское движеніе должно быть насквозь пропитано общественностью, быть органически связано съ общественно-историческими задачами времени, въ этомъ залогъ его жизненности“...*)

На это соединеніе религіи съ общественностью Булгаковъ употребилъ не мало доказательствъ, но всѣ они разлетаются въ прахъ передъ незыблемой истиной Евангелія... Булгаковъ доказываетъ, что цѣлью христіанской общественности должно быть утвержденіе свободнаго земного царства, что цѣлью этой общественности должно быть „политическое раскрѣпощеніе, экономическое возрожденіе, культурный ренессансъ и религіозная реформація“ **)... Но

*) „Безъ плана“—Вопр. жизни, мартъ.

**) „Безъ плана“ —Вопр. жизни, февраль.

на такое ложное толкованіе задачъ христіанства, можно возразить словами самого Христа, подтверждающими ту основную истину христіанства, которая разбиваетъ въ прахъ всяческія заботы о земномъ благоустройствѣ: „Царство мое не отъ міра сего“ (Іоан. 19, 36). То же самое Онъ сказалъ и объ ученикахъ своихъ: „они не отъ міра, какъ и я не отъ міра“ (Іоан. гл. 17, ст. 16)... Противъ же сытости, противъ главнаго закона соціализма, по которому рай состоитъ въ томъ, чтобы всѣ безъ исключенія были накормлены, Онъ сказалъ тоже вполнѣ опредѣленно: „старайтесь не о пищѣ тлѣнной, но о пищѣ, пребывающей въ *жизнь вѣчную*, которую дастъ вамъ Сынъ человѣческій; ибо на Немъ положилъ печать свою Отецъ, Богъ“ (Іоан. 6. 27).

Проэктируя „союзъ христіанской политики“, Булгаковъ тѣмъ самымъ отрекался отъ христіанства, отъ мистической его сущности, для которой міръ земной, видимый, политическій не существуетъ и не можетъ существовать, которая всецѣло содержится въ тайнѣ—и тайна—въ мукѣ, спасеніи и освобожденіи...

Христіанство пришло въ міръ, чтобы спасти его отъ плоти и отъ всякой политики, чтобы разрушить всякую власть и всякія попеченія о земномъ, чтобы растворить плоть въ духѣ и землю претворить въ небо,—Булгаковъ же замѣняетъ все это духомъ политической экономіи и соціализма, отъ котораго не можетъ избавиться, которымъ весь пропитанъ, но духа христіанскаго, духа любви и страдальческаго всепрощенія въ немъ не чувствуется, а наоборотъ—какая-то самодовольная сытость.

Для него христіанство—только ариѳметика, онъ не можетъ углубиться въ тайны христіанства, онъ

скользитъ по поверхности ихъ, онъ довольствуется внѣшностью христіанства, плѣняющею родственныхъ ей марксистовъ...

Столкнувшись съ христіанствомъ, онъ сразу же принялъ его догматы, такъ же привычно и такъ же поверхностно, какъ прежде принималъ положенія марксизма, онъ не проболѣлъ христіанствомъ, онъ не измучился своимъ кризисомъ, и нѣтъ въ немъ того радостнаго свѣта, той осанны, которая проходитъ сквозь горнило сомнѣній и мукъ, и его вѣра не есть вѣра творческая, созидающая, свѣтоносная, а спокойная кабинетная вѣра профессора политической экономіи, который въ христіанство, въ эту дѣтскую вѣру, безумную, неизрѣченную—сейчасъ же вноситъ мертвый схоластицизмъ своей науки и все стремится объяснить не посредствомъ чувства и интуиціи, а посредствомъ своей надоѣвшей и мертвой научности... Но въ томъ то и сила была первыхъ христіанъ (а первые христіане и есть подлинное христіанство), что они были совершенно чужды наукѣ, были люди простые и неученые, были дѣтьми, для которыхъ чудо было реальностью, а не мысленнымъ экспериментомъ, и они—эти простые рыбаки, простые плотники, юродивые, немудрые и мудрость отвергшіе—побѣдили науку, философію и мудрость своего времени, побѣдили земное и человѣческое силою и крѣпостью своего дѣтства!...

Булгаковъ же, руководясь завѣтами Вл. Соловьева—стремится научность соединить съ религіей, тайну христіанства, тайну непостижимую уму—объяснить при помощи философіи и на мѣстѣ чуда поставить надоѣвшую пошлость ариѳметики... Но ни Вл. Соловьева, ни Булгакова нельзя назвать вѣрую-

щими, ибо они достигли путемъ своего философствованія—совершенно отличныхъ отъ всякой вѣры результатовъ; тамъ, гдѣ дѣйствуетъ логика и философія вмѣсто распятья и муки—нѣтъ мѣста для вѣры и нѣтъ мѣста для Христа... Христосъ тѣмъ и великъ, что тайна Его разрушаетъ разумъ, и кто, столкнувшись со Христомъ,—все еще руководствуется въ своемъ мышленіи законами разума—тотъ тѣмъ самымъ доказываетъ, что онъ не вѣритъ... Да и возможно ли въ вѣрѣ какое бы то ни было мышленіе? Тамъ, гдѣ начинается вѣра—мышленіе, логика, наука, философія отодвигаются, уходятъ на второй планъ и становятся ненужными и жалкими, это истина... Вл. Соловьевъ написалъ много удивительныхъ по стройности и математичности доказательствъ книгъ, Булгаковъ написалъ „Философію хозяйства“, но какъ книги Соловьева, такъ равно и труды его учениковъ далеки отъ истинной вѣры, ибо отъ нихъ вѣетъ сѣрою скукой учености и риторики, и вѣра не съ ними и чудо не съ ними, вѣра съ простыми рыбаками, съ униженными, съ потерявшими всѣ сокровища міра ради царства небеснаго людьми, вѣра—среди раскольниковъ и сектантовъ, вѣра—въ народѣ!...

Вліяніе Достоевскаго на Булгакова несомнѣнно; многія его страницы всецѣло проникнуты Достоевскимъ, и его кризисъ возникъ не только подъ вліяніемъ Соловьева, но и Достоевскаго. Достоевскій открылъ Булгакову путь ко Христу, такъ же какъ открывалъ и открываетъ всѣмъ, кто не можетъ пройти мимо него, тѣнь Достоевскаго легла на все его міровоззрѣніе, и часто онъ ссылается въ своихъ доказательствахъ и рѣчахъ на слова Достоевскаго, какъ бы признавая его своимъ авторитетомъ. Булгакову принадле-

житъ одна изъ лучшихъ статей о трагедіи Ивана Карамазова („Ив. Карамазовъ какъ философскій типъ"), такъ какъ эта трагедія въ такой же степени близка и понятна ему, какъ и всѣмъ вообще представителямъ „новаго религіознаго сознанія". Но какая разница бросается сразу же въ глаза между вѣрой Достоевскаго и вѣрой Булгакова: Достоевскій прошелъ этотъ путь силою муки и сомнѣній, Достоевскій потерялъ на этомъ пути не только надежду на разумъ, но вообще надежду на человѣка, Достоевскій нутромъ, страдающимъ, больнымъ своимъ сердцемъ почувствовалъ мистическое чудо церкви и великую роль народа въ дѣлѣ религіознаго возрожденія Россіи, а Булгаковъ не могъ отрѣшиться отъ своей научности, онъ приподнесъ народу не истину Христа, не истину церкви, а—толстый томъ политической экономіи въ христіанскомъ переплетѣ. Булгаковъ не въ силахъ воспринять безумную, еще сохранившуюся въ народѣ—вѣру въ возможность чудесъ, Булгаковъ не можетъ сгорѣтъ на кострѣ, какъ сгораютъ раскольники и чрезъ распятье души, въ великой боли, въ надрывномъ крикѣ почувствовать Христа, онъ не можетъ понять, что тамъ, гдѣ Христосъ,—вся книжная мудрость, всякое профессорское краснорѣчіе, всѣ законы логики ненужны и смѣшны, Булгакову трудно и невозможно признать истину, что сквозь безуміе человѣческое нужно пройти, чтобы найти доступъ къ подлинной встрѣчѣ съ Христомъ...

Гоголь увидѣлъ тѣнь Христа на своихъ книгахъ и онѣ стали ему невыносимы, и онъ сжегъ ихъ, сжегъ всю мудрость міра сего, въ безуміи своемъ задохнулся, въ кровавомъ огнѣ безумія сжегъ свою

плоть. Ницше боролся со Христомъ, но, сознавъ, что дѣлаетъ—тоже обезумѣлъ и не выдержалъ и покорился своему безумію... Александръ Добролюбовъ, почувствовавъ, что Христосъ есть—пошелъ искать Его въ пустыню, юродивымъ, молчальникомъ сталъ, заглушилъ въ себѣ тайное знаніе, къ землѣ припалъ, чувствовалъ, какъ земля дышетъ, какъ трава растетъ, какъ струится Духъ въ тишинѣ—молчалъ и молился... М. Пантюховъ нашелъ Христа своего въ сумасшедшемъ домѣ, и тоже замолкъ, и тоже угасъ для міра, и міръ угасъ въ его сердцѣ, ненужнымъ сталъ... И это были люди истинно религіозные, безсильной признали они всякую внѣшность и всякую букву, сожгли себя, изуродовали, распяли—и этимъ Бога обрѣли, этимъ вознеслись...

Булгаковская же вѣра не есть вѣра, а только книжная мудрость и философія, но не книжники и риторы обрѣтутъ Христа, а тѣ, что отреклись отъ всякой мудрости навѣки...

Впрочемъ, и Булгаковъ хорошо сознаетъ, что если сохранена въ человѣчествѣ искра чудесной вѣры, то она тлѣетъ не въ погибшей, отравленной разумомъ интеллигенціи, а въ народѣ... И какъ Достоевкій, какъ епископъ Михаилъ—этотъ типичный монахъ, ставшій ради торжества христіанской истины народнымъ соціалистомъ—Булгаковъ надѣется на народъ, какъ на послѣднюю твердыню христіанства, какъ на послѣднюю надежду...

„Больна народная душа—говоритъ онъ—„Поражено самое сердце народа—его религіозная жизнь, которую преступно хотѣли использовать съ политическими, точнѣе—полицейскими цѣлями. Извращена вся духовная перспектива, и получилось то затемненіе духов-

наго сознанія, благодаря которому наша великодушная и до послѣдняго мизинца идеалистическая интеллигенція не узнавая себя, считаетъ необходимымъ держаться разныхъ оттѣнковъ матеріализма, народъ же находится въ состояніи безпомощности и растерянности, не зная кого слушать и кому отдаться"...*) Эта-то ни во что не вѣрующая, гнилая, сытая и довольная своею сытостью интеллигенція приближается къ нетронутой народной душѣ, чтобы передать и ей ядъ своего невѣрія и своей мертвой книжной скуки, чтобы и ей передать свою безумную тяжесть безцѣльной, мѣщанской, безсмысленной жизни и толкнуть и ее на тотъ же путь къ грядущему Хаму и господству безличности, который принимаетъ сама... Опасность этого отравленія народной души губительнымъ ядомъ позитивизма и хамской сытости—хорошо была понятна Достоевскому, онъ болѣлъ мыслью объ этомъ, содрогался предположеніемъ, что дѣвственную, таинственную нетронутость русской народной души можетъ загрязнить и опошлить бѣсовская сила трезвости, безличности и лакейства, идущая отъ соціализма черезъ пролетаріатъ въ народъ, онъ устами старца Зосимы призывалъ сохранить эту твердыню Россіи отъ порчи, говоря: „Россію спасетъ Господь, какъ спасалъ уже много разъ. Изъ народа спасеніе выйдетъ, изъ вѣры и спасенія его... Народъ встрѣтитъ атеиста и поборетъ его, и станетъ единая православная Русь. Берегите же народъ и оберегайте сердце его. Въ тишинѣ воспитайте его. Вотъ вашъ иноческій подвигъ, ибо сей народъ богоносецъ" („Братья Карамазовы")...

---

*) Безъ плана. В. Ж., январь.

Булгаковъ тоже сознаетъ опасность зараженія народа, вотъ почему онъ такъ добивался, чтобы „на стягѣ русскаго освободительнаго движенія былъ ясно и четко начертанъ завѣтъ: съ народомъ, черезъ народъ и для народа *). Но все дѣло-то въ томъ, что „освободительное движеніе“ именно и стремилось къ тому, чтобы первымъ дѣломъ разрушить „религіозные предразсудки“ въ массахъ, а голосъ Булгакова остался голосомъ вопіющаго въ пустынѣ... Это „движеніе“ стремилось развратить народный духъ и убить въ немъ то, въ чемъ его главное обаяніе— остатокъ его вѣры, его безсловесную жаркую молитву, его преданность чуду и тайнамъ церкви... Сама же церковь была не въ силахъ спасти народную душу, ибо въ ней отсутствовалъ духъ Христовъ и истинная сила духа, ибо церковь являлась только казеннымъ учрежденіемъ, а не обителью Христа, ибо наше духовенство закрѣпощено государствомъ, и истинныхъ служителей Христовыхъ въ немъ почти совсѣмъ нѣтъ, а если и имѣются, то казенная опека старается выбросить ихъ во время изъ ограды церковной...

Сліянность церкви съ государствомъ является причиной гибели не только народной души, но также и русской интеллигенціи, вслѣдствіе этой причины интеллигенціи церковь остается чужда и ненужна, а нѣкоторымъ даже внушаетъ отвращеніе, по этой причинѣ гибнетъ среди жизни великое множество юныхъ душъ, не выдержавшихъ искушеній и страданій одиночества своего и тоски своей, по этой причинѣ свершается безчисленное множество самоубійствъ, происходитъ разочарованіе жизнью и бѣгство отъ

*) Ibid.

нея, ибо нѣтъ среди жизни церкви, ибо церковь запечатана государственной печатью и на вѣки закрыта, а между тѣмъ какое великое дѣло могла бы сдѣлать для спасенія душъ эта церковь! Она могла бы стоять здѣсь какъ желанная пристань для всѣхъ, какъ спасительный корабль среди житейскаго океана, какъ вѣчно живая тайна, въ которой бы свершалось воскресенье каждой одинокой и страдающей души!... Она могла бы освятить жизнь и указать всѣмъ ищущимъ дверь чуда, она могла бы собрать подъ крылья свои всѣхъ труждающихся, обремененныхъ, всѣхъ потерявшихъ почву, всѣхъ отчаявшихся и обезумѣвшихъ въ мукахъ людей и зажечь въ ихъ душахъ вѣчное, неугасимое пламя истинной и животворящей вѣры!

Даже Вл. Соловьевъ, этотъ апологетъ государственной церкви и защитникъ теократіи—самъ сознавалъ эту великую трагедію закрѣпощенія церкви государству, и даже у него въ отвѣтѣ на статью Рачинскаго („Какъ пробудить наши церковныя силы“) вырвались слова, которыя свидѣтельствуютъ о томъ, что и Соловьеву была понятна эта трагедія такъ же, какъ и Булгакову и всѣмъ жаждущимъ отъ церкви спасенія людямъ: „Религіозная и церковная истина находится на сохраненіи въ крѣпкомъ казенномъ сундукѣ за казенными печатями и подъ стражею надежныхъ часовыхъ. Безопасность полная, но живого интереса никакого. Гдѣ-то далеко происходитъ религіозная борьба, но насъ это не касается... Врачи православія находятся внѣ сферы нашего дѣйствія, если же попадаютъ въ нее, то лишь со связанными руками и заткнутымъ ртомъ. Не внутренняя потребность религіознаго ума, не живой духовно практическій ин-

тересъ, а лишь установленный обычай и приличіе заставляютъ нашихъ церковниковъ время отъ времени ополчаться въ защиту православія... Отъ настоящей серьезной борьбы за православіе мы избавлены государственной опекою. Но зато и само православіе вмѣсто всеобъемлющаго вселенскаго знамени становится у насъ простымъ аттрибутомъ или придаткомъ русской государственности"...*).

Болѣе того, эту трагедію сознаетъ и само духовенство и для его истинно вѣрующихъ представителей это служитъ сердечною раной, а сама церковь—душной тюрьмой, въ которую заключенъ весь ихъ духъ и вся жажда быть истинными пастырями стада Христова... Одинъ изъ наиболѣе живыхъ и истинно религіозныхъ представителей нашего духовенства, архимандритъ Серапіонъ Машкинъ, аскетъ и подвижникъ, удивительное явленіе въ нашемъ монашествѣ—въ одномъ частномъ письмѣ, опубликованномъ впослѣдствіи—открыто обнажилъ эту вѣчно бередящуюся рану всего русскаго духовенства: „Нѣтъ, я не согласенъ быть архіереемъ, и если бы предложили, то отказался бы: совѣсть моя запрещаетъ мнѣ быть полицейскимъ на мѣстѣ пастыря Христовыхъ овецъ. Я даже не служу, пріобщаюсь, но не служу, такъ какъ не считаю нашу церковь въ истинѣ... Я даже не участвую въ церковныхъ церемоніяхъ, такъ какъ у насъ повсюду при нихъ и урядникъ—этотъ представитель наглой власти, поправшей право... Человѣкъ свѣжій, дѣятельный и честный задохнется въ монашествѣ. Меня спасло одно то, что я философъ, у меня чисто кабинетные интересы... Наше „съ позволенія

*) Сочиненія Вл. Соловьева, томъ 5.

сказать духовенство" поетъ теперь по всѣмъ храмамъ „съ нами Богъ", а Бога-то съ нами какъ разъ и нѣтъ и не будетъ, пока не исправимъ дѣлъ нашихъ"... *).

Другой представитель духовенства — нынѣшній старообрядческій епископъ Михаилъ, тоже путемъ столкновенія съ самою жизнью, пришелъ къ убѣжденію, что государственная церковь не можетъ ничего сказать народу, потому что она скована... Будучи приглашенъ на петербургскія религіозно-философскія собранія, чтобы защищать казенную церковь отъ „ереси" Мережковскаго и Розанова, еп. Михаилъ самъ чувствовалъ, даже когда его противники молчали, что истина не съ нимъ, а—съ ними... Потомъ, путемъ долгихъ сомнѣній и мукъ—онъ долженъ былъ отказаться отъ того казеннаго догматизма, котораго самъ же являлся и представителемъ и защитникомъ... Онъ долженъ былъ признать всю горькую истину, которая скрывалась въ письмахъ, получаемыхъ имъ со всѣхъ концовъ Россіи, въ письмахъ, въ которыхъ простые, полуграмотные люди бросали въ лицо ему правду, говоря: „Вы лжете. Не Христа вы защищаете, а порядокъ. Нельзя жить въ вашей церкви съ вашимъ христіанствомъ. Сколько рабской лжи: преслѣдованіе сектантовъ и вообще свободы вѣры церковью, одобреніе церковью войны, больше того—казней,—это фактъ. Мы видимъ, что церковь—орудіе на службѣ „наличнаго", тогда какъ ея дѣло—судить съ высоты вѣчности, съ высоты Евангелія. И не можемъ принять ее, васъ и вашего Христа!" **).

Еп. Михаилъ ударился въ другую крайность, онъ въ сущности остался вѣрнымъ не Христу, а—

*) Письма арх. Серап. Машкина („Вопросы религіи" томъ I).
**) Еп. Михаилъ: Какъ я сталъ народнымъ соціалистомъ.

партіи народныхъ соціалистовъ, и его нельзя назвать истинно вѣрующимъ, потому что для него соціальное положеніе массъ стало цѣлью дѣятельности, а не церковь и ея судьба, онъ вошелъ, растворился въ народныхъ массахъ во имя рая на землѣ, а не во имя царства небеснаго, во имя счастья всѣхъ, а не во имя спасенія личнаго—и въ этомъ и его заслуга, но вмѣстѣ съ тѣмъ и основная ошибка: ибо не партійной работой достигается полнота вѣры и не въ газетныхъ фельетонахъ цѣль пастыря церкви, а въ преданности Христу и поднятіи человѣческихъ душъ отъ земного къ небесному, отъ земного рабства къ абсолютной свободѣ, отъ соціалистическаго коллективизма къ христіанскому индивидуализму... Въ настоящее время еп. Михаилъ не въ церкви, а въ суетныхъ интересахъ человѣческаго, слишкомъ человѣческаго, но развѣ въ этомъ путь для истиннаго христіанина, развѣ въ этомъ спасенье, развѣ въ этомъ свобода?... Христіанство не есть устроеніе жизненныхъ удобствъ, также какъ не есть оно теорія насыщенія голодающихъ и освобожденія внѣшняго, христіанство прежде всего есть путь мистическій, есть таинство въ Богѣ, въ которомъ невидимо разрушается вся эта жизнь.

Для Булгакова отдѣленіе церкви отъ государства являлось настоящей потребностью, онъ постоянно разрабатывалъ этотъ вопросъ въ своихъ статьяхъ, но по его мнѣнію отдѣленіе церкви должно совершиться не во имя мистическаго ея торжества, а во имя политическаго братства съ опредѣленною программою и опредѣленною дѣятельностью. По его мнѣнію „этимъ дѣломъ правды Церковь не только воздастъ Божье Богу и перестанетъ предавать Христа Кеса-

рю, но и окажетъ величайшую историческую услугу русскому народу, ибо вынетъ всякую религіозную почву изъ подъ ногъ злобной и темной реакціи и тѣмъ создастъ возможность внутренняго умиротворенія страны на основѣ свободнаго государственнаго строя и истинныхъ благъ освободительнаго движенія, не цѣнить которыхъ грѣшно христіанину *).

Безспорно, великая заслуга дѣятельности Булгакова именно въ томъ и заключается, что это отдѣленіе церкви отъ государства, послужило темой для его многочисленныхъ статей, написанныхъ горячо и убѣдительно и съ знаніемъ дѣла.,. Онъ долгое время старался всѣ силы употребить на подчеркиваніе этого позорнаго факта русской жизни, который является несомнѣнно причиной оскудѣнія и омертвѣнія нашей духовной жизни...

Понятно, что отъ освобожденія церкви отъ крѣпостной ея зависимости—зависитъ обновленіе всего ея организма, пробужденіе ея творческихъ силъ, привлеченіе къ ней истинныхъ и глубоко вѣрующихъ членовъ, которые въ настоящее время хоть и стремятся къ ней, но вынуждены бродить вокругъ да около и погибать въ ненужныхъ и чуждыхъ дѣлахъ!... Въ словахъ Булгакова по этому поводу заключена вся несправедливость, вся ложь и все запустѣніе церкви и ихъ нужно поставить девизомъ борьбы за освобожденіе церкви: „Церковь оказалась въ оковахъ и плѣну у самодержавія, превращена въ его органъ и аттрибутъ—и что самое прискорбное—сами ея представители прониклись тлетворнымъ духомъ этого порабощенія и они, признавъ самодер-

*) Булгаковъ: „Церковь и государство“ (Два града).

жавіе исключительно христіанской, церковной формой правленія, выработали фальшивую идею „православнаго царя", какъ теократическаго органа, но эту идею—о горе!—стали пропагандировать и въ богослуженіи, даже надъ св. чашей" *).

Не знаю—углубленіе ли самого Булгакова въ идею христіанскаго соціализма, или сама живая и горькая дѣйствительность привели его въ сборникѣ „Вѣхи" уже къ другимъ выводамъ, прямо противоположнымъ тѣмъ, которые замѣчались въ его статьяхъ раньше, но ясно, что въ настоящее время путь Булгакова нѣсколько измѣнился. Въ 1905 году Булгаковъ въ „Вопросахъ жизни", доказывая, что христіанство есть религія общественности, говорилъ: „великое освободительное движеніе въ своихъ конечныхъ стремленіяхъ соотвѣтствуетъ требованіямъ христіанской политики" (Вопр. жизни, 3) и вообще придавалъ политикѣ и общественности въ христіанствѣ доминирующее значеніе... Въ сборникѣ „Вѣхи" въ 1909 году, въ статьѣ „Героизмъ и подвижничество" онъ какъ бы беретъ прежнія свои слова обратно и заявляетъ, что „освободительное движеніе не привело къ тѣмъ результатамъ, къ которымъ должно было и, казалось, могло привести, не внесло оно ни примиренія, ни обновленія, оно оказалось не на высотѣ своей задачи"...

Къ какимъ еще неожиданнымъ выводамъ придетъ Булгаковъ—покажетъ будущее. Но теперь ясно, что христіанскаго духа въ немъ очень мало. Если имѣлось въ немъ нѣчто отъ христіанства, то и это было заглушено его марксистской натурой и его стремленіемъ къ научности, вслѣдствіе чего изъ Булгакова не получился ни настоящій марксистъ, ни ис-

*) ibid.

тинно вѣрующій христіанинъ... Его вѣра есть по преимуществу вѣра философствующаго ученаго, но все живое, все реальное, все дѣятельное въ немъ умерщвляется непосильною тяжестью мертвыхъ и умныхъ словъ... Нельзя сказать, чтобы философія его была неискренна, но какъ всякая философія, она идетъ противъ Христа, она умерщвляетъ всякій экстазъ, всякую возможность чуда, всякое высшее мистическое знаніе, ибо профессорская кабинетная религіозность въ состояніи замучить и изсушить даже такое живое и непосредственное чувство, какъ христіанскій духъ... Отъ писаній Булгакова вѣетъ тлетворный духъ и его философія не есть дѣло Христово, а подлинная мертвечина... И онъ самъ доволенъ, что мертвъ, и у него есть свои догматы, и хотя онъ и увѣряетъ, что для него догматъ есть религіозное переживаніе, но этого не чувствуется; для Булгакова догматъ нѣчто привычное, спокойное и удобное, для него догматъ—аксіома не требующая доказательствъ, и ни разу онъ не понялъ, что даже аксіома можетъ внушать сомнѣнія, и ни разу онъ не закричалъ отъ боли надъ загадкой догмата, и ни разу онъ не былъ распятъ въ мукѣ своей, и не открылась въ этой мукѣ для него творческая и надрывная „осанна“...

Пусть Булгаковъ старается въ своихъ писаніяхъ доказать, что онъ вѣруетъ... Дѣло не въ доказательствахъ и не въ увѣреніяхъ, дѣло въ духѣ, а духъ чувствуется даже тамъ, гдѣ нѣтъ словъ... Для меня же ясно, что если и были въ творчествѣ Булгакова сѣмена вѣры, ихъ заглушила его наука и его философствованіе, ибо вѣра не можетъ быть совмѣщена съ научностью и тамъ гдѣ вѣра—тамъ наука ока-

зывается лишней, ибо христіанство есть не тайна мудрости, а тайна безумія.

„Ибо слово о крестѣ для погибающихъ юродство есть, а для насъ спасаемыхъ сила Божія... Потому что немудрое Божіе премудрѣе человѣковъ, и немощное Божіе сильнѣе человѣковъ...“ Потому что „Богъ избралъ не мудрое міра, чтобы посрамить мудрыхъ, и немощное міра избралъ Богъ, чтобы посрамить сильное; и незнатное міра и уничиженное и ничего не значущее избралъ Богъ, чтобы упразднить значущее... (I Коринѳ, 1,18—28).

VIII.

Другой редакторъ „Вопросовъ Жизни“,—Н. А. Бердяевъ,—хотя и сходился съ Булгаковымъ на почвѣ „новаго религіознаго сознанія“, но въ своемъ міровоззрѣніи представляетъ полную ему противоположность... Еще раньше, въ статьяхъ своихъ въ „Новомъ Пути“ Бердяевъ рѣзко отдѣлилъ себя отъ своихъ единомышленниковъ, отличаясь отъ нихъ чисто философскимъ характеромъ творчества, выдвигая на первый планъ свободу личности и свободу творчества. Именно благодаря такому міровоззрѣнію Бердяева, „Вопросы жизни“ порвали со всѣми традиціями, со всѣмъ шаблономъ и застоемъ, господствовавшимъ тогда и въ беллетристикѣ, и въ критикѣ, Бердяеву же обязаны своимъ появленіемъ такія незаурядныя произведенія, какъ „Мелкій Бѣсъ“ Сологуба и „Прудъ“ Ремизова, что свидѣтельствуетъ о симпатіяхъ его ко всему индивидуальному, оригинальному и внѣдогматическому.

И уже въ статьяхъ, появившихся въ „Вопросахъ жизни“ („Новое религіозное сознаніе“, статьи о Леонтьевѣ, Шестовѣ и др.) вполнѣ опредѣлилась основная особенность міровоззрѣнія Бердяева, особенность, которая потомъ развѣтвляется на нѣсколько

дополнительныхъ свойствъ, но сущность которой остается для Бердяева все той же и до сихъ поръ.

Я не буду касаться степени оригинальности философіи Бердяева, которая находится въ большой зависимости и отъ В. Соловьева, и отъ Шеллинга, и отъ Баадера, и отъ нѣмецкихъ средневѣковыхъ мистиковъ, для меня важно опредѣлить господствующій *духъ* его міровоззрѣнія, проявляющійся въ тѣхъ мотивахъ, настроеніяхъ и взглядахъ, которые наиболѣе ему близки...

Въ то время, какъ Булгаковъ является по преимуществу трезвымъ и практическимъ апологетомъ христіанской общественности, Бердяевъ идетъ по смутнымъ, неопредѣленнымъ, но все болѣе и болѣе выясняющимся путямъ мистики и чистаго, философскаго мышленія... Въ то время какъ для Булгакова нѣтъ и не можетъ быть никакихъ сомнѣній и никакихъ сворачиваній съ прямого пути, Бердяевъ весь въ безпокойныхъ исканіяхъ, все новые и новые горизонты открываются предъ нимъ, новые міры, новыя искушенія и соблазны, и онъ лихорадочно спѣшитъ проникнуть въ нихъ и все обнять, и все уразумѣть, всякое новое теченіе, всякую новую мысль пріобщить къ своему духовному багажу, и вездѣ и всюду внести свое собственное толкованіе...

Очень удачно отмѣтилъ разницу между этими двумя мыслителями Антонъ Крайній въ одной изъ своихъ статей: „Булгаковъ и Бердяевъ—это уже не вода и масло, а вода и огонь. Только совершеннымъ невниманіемъ къ литературной личности обоихъ писателей можно объяснить то, что наша критика соединила ихъ въ неразлучную парочку какихъ-то Сіамскихъ близнецовъ идеализма. Если Булгаковъ

опасно здоровъ, то Бердяевъ опасно боленъ; если у Булгакова—отсутствіе трагедіи, чрезмѣрное благополучіе, то у Бердяева такая трагедія, что за него страшно—выйдетъ ли онъ живъ изъ нея... Булгаковъ остановился на Вл. Соловьевѣ и не хочетъ или не можетъ идти дальше. Бердяевъ какъ будто вѣчно куда то идетъ, а на самомъ дѣлѣ только ходитъ, движется однообразнымъ круговымъ движеніемъ на собственной оси, колеблется, какъ маятникъ, справа налѣво, слѣва направо, отъ Ормузда къ Ариману, отъ Аримана къ Ормузду и такъ безъ конца, пока ось не перетрется, или пружина маятника не лопнетъ, тогда они остановятся на той самой точкѣ, съ которой началось это никуда не приводящее неподвижное движеніе. О Бердяевѣ можно сказать то же, что Кирилловъ говоритъ о Ставрогинѣ: „когда онъ вѣритъ, то не вѣритъ, что вѣритъ, а когда не вѣритъ, то не вѣритъ, что не вѣритъ“... *).

Послѣднее замѣчаніе я считаю особенно справедливымъ по отношенію къ Бердяеву: напрасно искать въ его произведеніяхъ вѣры, той живой, дѣтской, животворящей вѣры, которой кажется нѣтъ ни у кого изъ современныхъ „неохристіанъ“ и которая двигаетъ горами, и если даже она и есть, то не ощущается, не чувствуется, не сквозитъ между строкъ, мы здѣсь находимъ только одну чистую мысль, только усилія этой мысли вѣчно идти впередъ, безъ устали, охватить необъятное, уразумѣть необъяснимое, новое, тайное—и тотчасъ же перевести его на языкъ философіи, тотчасъ изобрѣсти для него какой-нибудь яр-

*) Антонъ Крайній (З. Гиппіусъ): „Литературный дневникъ“.

лычекъ, и снова идти, и снова искать, съ тѣмъ же результатомъ...

Бердяевъ—философъ par excellence; кромѣ философіи, кромѣ мысленныхъ исканій и мысленнаго творчества, умственнаго, книжнаго, у него ничего нѣтъ. Но за то мысль его часто блестяща, остроумна, нерѣдко оригинальна, рѣчь его всегда изящна, утонченна, благородна и красива, онъ обладаетъ рѣдкимъ качествомъ говорить въ своихъ книгахъ обо всемъ, у него словно нѣтъ никакихъ препятствій, никакихъ загадокъ—и онъ говоритъ обо всемъ, о чемъ только можно говорить—и всегда говоритъ красиво, увлекательно и интересно... Проходя мимо какого-нибудь явленія, которое вызываетъ недоумѣніе и тревогу у всѣхъ,—онъ не даетъ себѣ труда остановиться, подумать и хоть помолчать немного, онъ сразу же—самоувѣренно и властно начинаетъ говорить объ этомъ явленіи,—и рѣчь получается стройная, изящная и красивая, послѣ чего Бердяевъ идетъ дальше съ сознаніемъ своей побѣды—снова искать и снова говорить о найденномъ... И ни разу не вырвался вмѣсто словъ стонъ, или недоумѣніе, или заглушенное рыданье... И никогда глухое, обезсиливающее молчаніе не спасло отъ словъ... И ни разу не показались ненужными всякія слова, вся ложь, вся невыносимая тяжесть ихъ, ни разу не прорвалось сквозь мудрыя, благородныя и и красивыя рѣчи живое чувство... Философія замѣнила все...

Какъ религіозный мислитель Бердяевъ, конечно, интересенъ и заслуживаетъ вниманія. Только творчество его не есть творчество переживаній и чувствъ, а *творчество мысли*. Психологическій анализъ,—вотъ чѣмъ руководствуется Бердяевъ въ своихъ исканіяхъ,

ему нѣтъ дѣла до тѣхъ струнъ, которыя звучатъ между сердцемъ человѣческимъ и разсматриваемымъ имъ явленіемъ, онъ рѣзко обрѣзываетъ ихъ остріемъ своей мысли, изслѣдуетъ какъ строгій анатомъ и затѣмъ даетъ о немъ самый точный, вѣрный и красивый отчетъ... Его оружіе — логика, его цѣль—ясность и опредѣленность, и хотя онъ и даетъ мистическій тонъ своимъ мыслямъ, онѣ всегда строго опредѣленны, научны и мало чѣмъ отличаются въ своихъ формулахъ отъ мыслей другихъ философовъ, не мистиковъ...

Соловьевская школа имѣетъ такъ же мало общаго со Христомъ, какъ и тѣ книжники и фарисеи, противъ которыхъ направлена была Его проповѣдь... Да вообще Христосъ и христіанство чужды всякой научности... Религія христіанская—религія плотниковъ и рыбаковъ, религія дѣтская, наивная и простая—какъ то всѣмъ своимъ внутреннимъ горѣніемъ противится научности, уничтожаетъ ее, не гармонируетъ съ знаніемъ... Апостолы и первые христіане не могли разсуждать и смѣшно какъ-то представить ихъ разсуждающими и учеными, вся сила, вся красота ихъ и обаяніе заключались именно въ томъ, что они стояли *внѣ* всякой культуры, научности и философіи, вся сила была въ ихъ простотѣ, въ ихъ дѣтской вѣрѣ, въ наивной примитивности ихъ склада душевнаго... Для нихъ чудо Христа, чудо Его воскресенья, Его троичности, Его вознесенія—было *реальной правдой*, исключающей своей обнаженностью, своей силой, своимъ внутреннимъ пожаромъ всякое толкованіе, всякія логическія мѣрки, всякіе споры и разсужденія... Они жили этой правдой, они дышали ею, они питались, кормились ею и несли ее въ своихъ

душахъ въ міръ, несли какъ драгоцѣнный свѣточъ, и безумными, и изступленными были ихъ огненныя рѣчи, и именно благодаря *безумной правдѣ*, горѣвшей въ душахъ ихъ,—они зажгли міръ, они побѣдили всю его культуру, всю философію и науку... Единственный разъ побѣда была достигнута безъ помощи науки и разсужденій, но силою обнаженной и дѣтской души...

Для первыхъ христіанъ не было никакихъ догматовъ, ихъ замѣняли пламенная истина жизни Христовой, Его еще живыя страданья, Его еще живое и чудесное лицо, Его рѣчи, его слова, весь Его Духъ—свѣжій и теплый, недавно вознесшійся... И всѣ жили подъ живымъ впечатлѣніемъ *живого Христа!*... Стоитъ подумать только, что отъ живой, человѣческой жизни Христа ихъ отдѣлялъ какой нибудь десятокъ лѣтъ—и станетъ понятна вся святость ихъ вѣры, ихъ радость во время жестокихъ мукъ, ихъ творческій, непрекращающійся экстазъ, ихъ самозабвенная молитва!... А нѣкоторые изъ нихъ можетъ быть даже видѣли Его лицо, говорили съ Нимъ, присутствовали при Его смерти!... Стоитъ войти въ ихъ душу, войти въ то состояніе, въ которомъ они пребывали—и станетъ понятно, что имъ ненужна была человѣческая мудрость, имъ ненужна была вся эта земная, грязная жизнь, но за то для нихъ не существовало ни смерти, ни страха, ни горя, они сами стремились къ смерти, сами спѣшили удостоиться быть страдальцами за Христа и слиться съ Нимъ въ будущей жизни... Это были единственные люди, для которыхъ жизнь была утонченнымъ раемъ... И все благодаря затменію ихъ разума, благодаря ихъ безумной простотѣ!...

Но вотъ появляются новые люди, времена уносятъ живое Лицо Христа все дальше, безуміе христіанства получаетъ философское обоснованіе, вмѣсто живого Христа—догматы, вмѣсто безумной вѣры въ Его воскресенье—споры о томъ, исходитъ ли Духъ святой отъ Отца и Сына, или только отъ Отца, вмѣсто живой увѣренности апостоловъ въ своей дѣтской правдѣ—ереси и секты вслѣдствіе сомнѣній, которая сторона во Христѣ преобладала—божеская или человѣческая, живая правда, божественная, живое переживаніе, хлѣбъ и вода, которыми питались тысячи и получали вѣчную жизнь—замѣняется скучной и ненужной схоластикой, умственной эквилибристикой гностиковъ, словесными турнирами... Начинается снова царство человѣческаго разума и скучной житейской прозы, а безумно-живое лицо Христа уходитъ все дальше, все дальше, въ пустыню временъ!...

Сама первохристіанская церковь была настоящимъ, живымъ, реальнымъ организмомъ, и у всѣхъ было одно тѣло и одна душа... Первые христіане отдѣлили себя отъ міра китайской стѣной—и въ этомъ была ихъ сила. Богослуженіе было чѣмъ-то необходимымъ, нужнымъ, безъ чего нельзя было жить, оно иногда продолжалось всю ночь; таинство Евхаристіи являлось тоже насущной потребностью, ему предшествовала вечеря любви—агапа, которую вкушали въ память вечери Господней; во время богослуженія часто происходили исцѣленія и чудеса, а нынѣшняя сухая, словесная проповѣдь была настоящимъ нисхожденіемъ святого Духа, (харизмы): проповѣдникъ исполнялся безумія и творческаго экстаза, онъ говорилъ—и въ немъ говорилъ св. Духъ, и св. Духъ

передавался слушателямъ—и они сами начинали пророчествовать, кружась въ безумномъ вихрѣ экстаза, какъ бы совсѣмъ отдѣленные отъ земли—свято-безумные... Когда же христіанство было пересажено на научную почву, когда его живыя чудеса стали догматами, когда его откровенья, его экстазъ, его примитивизмъ замѣнился научнымъ схоластицизмомъ церковныхъ писателей,—оно какъ бы поблѣднѣло, и нѣжные цвѣты чуда завяли, и обезобразилась чудесная дѣтская простота!...

Въ самомъ Соловьевѣ есть нѣчто отъ средневѣковой схоластики: онъ старается все объяснить, все перевести на языкъ логики, онъ таинство трехъ ипостасей объясняетъ прямо таки математически, но отъ этого оно не становится яснымъ, а еще больше затемняется!... Философія религіи уже сама по себѣ исключаетъ всякую религію. Можно разсуждать логически о чемъ угодно: о политикѣ, объ искусствѣ, о земледѣліи—и это сойдетъ, и всѣ останутся довольны, но нельзя и преступно разсуждать о религіи, о тайнѣ міра, о чудѣ божественномъ, религію можно познать только молитвеннымъ напряженіемъ души и только въ благоговѣйномъ молчаньи откроется ея великій восторгъ. Кто разсуждаетъ о вѣрѣ—тотъ самъ *уже* не вѣритъ, ибо анализировать и разсуждать о вѣрѣ можетъ только стоящій извнѣ и вѣрѣ чуждый... Кто разсуждаетъ, тотъ далекъ отъ спасительнаго примитивизма святыхъ рыбаковъ, ремесленниковъ и крестьянъ, но за то онъ, разсуждая обо всемъ и анализируя все—рабъ своей логики и глубоко несчастенъ, а счастье тѣхъ было въ ихъ простотѣ и дѣтскости... И благодаря тому, что всѣ такъ изящно, научно и красиво могутъ у насъ те-

перь разсуждать о Христѣ—мы не имѣемъ подвижниковъ, у насъ нѣтъ чудесъ, нѣтъ пророчествъ, нѣтъ экстаза божественнаго, но за то имѣются талантливые религіозные мыслители... Но они сами сознаютъ, что ихъ философія и мудрость, которыя совсѣмъ неумѣстны въ христіанствѣ—убили въ нихъ свѣжесть вѣры, ея непосредственность, ея голубиную бѣлизну и чистоту—и оттого такъ далекъ отъ нихъ Христосъ, они вовсе не чувствуютъ Его, Онъ потерялъ для нихъ всякую реальность, Онъ—умственный... Его присутствіе не обезсиливаетъ ихъ, не наполняетъ восторгомъ и молитвой ихъ души, они не могутъ забыть для Него всю землю съ ея культурой, для нихъ эта культура и весь вавилонъ житейскій дороже и ближе Христа!...

У первыхъ христіанъ—поглощенныхъ Христомъ—не было никакихъ сомнѣній, никакихъ соблазновъ и они жили Христомъ... У современныхъ „неохристіанъ", ушедшихъ отъ Христа—тысячи сомнѣній и соблазновъ. Они хотятъ растворить Божественное Чудо въ своей культурѣ и наукѣ, приблизить Его къ своей жизни, но оно не можетъ войти въ жизнь, оно уноситъ жизнь въ небо, оно уничтожаетъ и міръ, и жизнь, и людей—и вотъ они надѣются на второе пришествіе Христа, будто оно откроетъ имъ небо—и ждутъ!...

Двадцать вѣковъ отдѣляетъ ихъ отъ Христа—и они не могутъ почувствовать послѣднихъ лучей закатившагося солнца, они иззябли, истомились—и блѣдная тоска легла на ихъ вялую мудрость... Они не могутъ воскресить въ себѣ живое тѣло Христа, они такъ безсильны... Но за то они умѣютъ великолѣпно о Немъ разсуждать—по всѣмъ правиламъ своей фи-

лософіи,—и льются потоки умныхъ рѣчей, словесныхъ рѣчей, никому ненужныхъ, а сердце усталое, извѣрившееся, холодное, и нѣтъ силъ встрепенуться, и нѣтъ силъ освободиться отъ словъ... И, слушая эти затѣйливыя рѣчи—печальное соединеніе христіанской дѣтской правды съ утонченностью современной культуры—невольно думаешь—а что, если бы вдругъ предсталъ, на этихъ рѣчистыхъ собраніяхъ, среди толпы зѣвакъ и развлекающихся дамъ—Онъ самъ—бѣлый, тихій, измученный, и заструился въ вопляхъ тишины такъ живо, такъ мучительно и ясно?... Что сдѣлали бы они? Что смогли бы Ему они дать въ отвѣтъ на Его скорбный взглядъ, на Его нежитейскую красоту, на Его чарующее безмолвіе, кромѣ своихъ изящныхъ рѣчей и толстыхъ книгъ, кромѣ своего философскаго безсилія предъ чудомъ, кромѣ своей великой и неизбывной душевной тоски?... И они бы не повѣрили, что Онъ пришелъ, они стали бы справляться въ своихъ книгахъ, правильно ли и законно ли Его пришествіе, Они забыли бы про свою религіозность и сразу же стали бы самыми обыкновенными скептиками, они бы призвали Его къ допросу, устроили бы Ему философскій экзаменъ, стали бы возмущаться Его простотой и неученостью въ тѣхъ вопросахъ, о которыхъ всевозможные Соловьевы написали претолстые кирпичи,—и въ концѣ концовъ возненавидѣли бы Его всѣмъ своимъ ученымъ умомъ, и кто—знаетъ, можетъ быть—послѣдовали бы, примѣру тѣхъ книжниковъ и фарисеевъ, противъ которыхъ было направлено Его ученіе и Его смерть?...

Одно ясно и одно несомнѣнно: если бы Онъ—явившійся—велѣлъ имъ бросить всѣ книги и всю философію и идти на муки, идти на распятіе, на

смерть за Него и этимъ купить право называться Его послѣдователями,—никто бы изъ нихъ не пошелъ, всѣ бы испугались, всѣ бы отвернулись и предали Его, впрочемъ—развѣ пошли бы только тѣ изъ нихъ, которые всегда молчали и были неученые и не преуспѣвали въ спорахъ о трехъ ѵпостасяхъ, за что пользовались всеобщимъ презрѣніемъ!...

. . . . . .

. . . . . .

Я не могу разсматривать ученія современныхъ христіанъ какъ религію, потому что она въ нихъ отсуствуетъ, но я буду разсматривать ихъ какъ обыкновенную философію вѣры, что совершенно мѣняетъ положеніе вещей и больше соотвѣтствуетъ истинѣ.

Бердяевъ—мессіанистъ. Онъ не можетъ принять всецѣло историческую церковь, какъ таковую, со всѣми ея недостатками и погрѣшностями, потому что она не охватываетъ собой всю современную жизнь съ ея трагическими загадками и вопросами, онъ ждетъ церкви грядущей, которая будетъ царствомъ вновь пришедшаго Христа, но уже не въ образѣ человѣка, а въ образѣ Царя, онъ вѣритъ, что тогда будетъ возможна та настоящая Христова теократія, которая не удалась ни Риму, ни Византіи, но которая наступитъ во второе пришествіе и будетъ святою жизнью на землѣ... Такова исходная точка философіи Бердяева...

Для нѣкоторыхъ мессіанистовъ (какъ напримѣръ для мессіанистовъ польскихъ—Мицкевича, Словацкаго и Бродзинскаго) ихъ мессіанизмъ былъ живой, пламенной и безумной вѣрой, какимъ то поэтическимъ, неземнымъ озареніемъ, въ которомъ сгорѣла вся ихъ

жизнь *), но для Бердяева эта вѣра не носитъ характера безумія, ибо тогда онъ бы вовсе пересталъ писать свои книги и всецѣло ушелъ въ созерцаніе своего царства, для Бердяева мессіанскій идеалъ какъ бы является искупленіемъ его сомнѣній относительно историческаго христіанства, которое ему кажется неудавшимся и не можетъ удовлетворить его, не можетъ всецѣло заполнить его души и насытить ее... Писанія Бердяева—въ сущности не апологія христіанства, а утонченная и талантливая его критика,—которая иногда является безсознательной для него самого, но которая удачно вскрываетъ всѣ основные недостатки христіанства...

Христіанство все зиждется на аскетизмѣ (аскетизмъ—главный лейтъ-мотивъ христіанства, безъ него христіанство потеряло бы свою высшую гармонію), для Бердяева же аскетизмъ—религія скопческая и ненужная, его христіанство по существу своему насыщено Эросомъ, для него Христосъ часто есть божественный Эросъ и слово „брачный“ особенно любимое и часто употребляемое имъ слово...

Въ основу христіанства также заложена идея распятья, безъ распятья христіанство нежизненно, распятье, мука и смерть—вотъ вдохновеніе христіанства, христіанство есть міровая скорбь... У Бердяева же нѣтъ скорби, нѣтъ муки, нѣтъ страданья, его христіанство есть одна сплошная, ничѣмъ неомраченная радость, его христіанство не темное, не многострадальное, а улыбчивое, полножизненное, восторженное, его идеалъ—Францискъ Ассизскій—этотъ

*) Послѣдніе годы Словацкаго именно были однимъ сплошнымъ горѣніемъ, однимъ сліяніемъ съ *реально ощущаемымъ* Духомъ святымъ, это была одна утонченная жертва, и только такой поэтъ какъ Словацкій—могъ такъ красиво и поэтически умирать—возрождаться...

язычникъ во Христѣ, сквозь Бердяевскую „вѣчную женственность", которую онъ такъ любитъ и такъ хорошо понимаетъ—часто пробивается знойная истома плоти и страсти, а его „Прекрасная Дама" нерѣдко мѣняетъ свой блѣдный и тонкій ликъ на здоровое и пышущее румянцемъ лицо рубенсовской Мадонны... И, хотя часто говоритъ Бердяевъ о распятьи, но въ этихъ словахъ не чувствуется подлиннаго сліянія съ мукой распятья; но за то, когда онъ переводитъ рѣчь съ распятья на гармонію, восторженную радость во Христѣ, безмятежность, ликованіе,— тогда онъ искренень, и чувствуется, что это—его родная стихія... Строгіе лики христіанскихъ святыхъ и подвижниковъ не радуютъ улыбчивой души Бердяева, какъ не радуетъ его всякій надрывъ, всякая боль, которыя вызываютъ въ немъ брезгливую улыбку, какъ нѣчто глубоко чуждое его врожденному эстетизму, и онъ проходитъ мимо этого безучастно и спрашиваетъ: „Гдѣ же Афродита небесная въ исторической церкви земной? Медленно идетъ въ міръ вѣчная женственность, побѣждающая тлѣнность старой Афродиты мірской. Нѣтъ въ историческомъ христіанствѣ „радости домовъ, и лѣсовъ, и морей". Мы ждемъ этой „радости". Побольше радостныхъ свиданій, побольше творческихъ сближеній съ Міровой Душой, въ нихъ истинная религіозная жизнь, подлинный мистическій опытъ"...

Бердяевъ стремится побѣдить ужасъ міровой трагедіи, искупить великой гармоніей душевной страданья и грѣхъ этой жизни, его религія не есть подвижничество, не есть мученичество за Христа, но— одна радость, что очень сближаетъ его міровоззрѣніе съ языческимъ культомъ земли и плоти.

Бердяеву нужна религія не только потому, что въ ней открывается загадка міра; его религіозное сознаніе прежде всего носитъ *характеръ индивидуалистическій*, его религія есть освобожденіе личности въ растворенiи ея въ міровомъ универсализмѣ, его религія есть жажда вѣчной жизни и вѣчной радости. „Смерть—самый страшный, трагическій фактъ разрыва между личностью и міромъ, и всѣ религіи пытались осмыслить смерть, сдѣлать ее менѣе ужасной, болѣе для человѣка выносимой, хотя бы путемъ подчиненія роду, обоготворенія предковъ и проч. Мнѣ нужна религія, потому что я хочу жить вѣчно, хочу утвердить свою личность во вселенской жизни, хочу соединиться съ міромъ свободно, а не въ силу роковой необходимости“ *).

Во имя торжества индивидуальной свободы Бердяевъ принимаетъ Христа въ свою душу, во Христѣ ищетъ примиренія свободной личности съ универсальностью, съ обществомъ, съ людьми и находитъ возможность этого примиренія только въ церкви, но не въ церкви исторической, видимой, которую онъ подобно Мережковскому, не принимаетъ—а въ Церкви грядущей, вселенской, будущей подлинной теократіи...

Проблема индивидуальной свободы и полноты жизни—вотъ основа философскаго міровозрѣнія Бердяева. Его апологія свободы, часто страстная и искренняя—обличаетъ въ немъ истиннаго индивидуалиста, не останавливающагося въ своемъ непріятіи міра передъ чисто анархическими сужденіями, но его анархизмъ не вмѣщается въ земныя рамки, его анархизмъ

*) „Новое религіозное сознаніе и общественность“, стр. XVIII.

мистиченъ и полагаетъ свои надежды не на земное разрушеніе, но на истинное преображеніе земли въ будущемъ теократическомъ Царствѣ Христовомъ... Подобно Шеллингу, Баадеру, Хомякову, Бердяевъ видитъ свободу личности во Христѣ, а осуществленіе свободы—въ Церкви (философскому обоснованію этого положенія посвящена его книга: „Философія свободы"), но его взглядъ на свободу не лишенъ нѣкоторой примѣси язычества, стихійнаго ликованія, полноты и гармоніи плотской, а не только духовной, его свобода во Христѣ не уничтожаетъ міра и даже не освящаетъ его, она мистическимъ образомъ служитъ къ утвержденію личности въ обществѣ, такъ что личность является и автономной и въ то же время не перестаетъ быть частью цѣлаго, свобода Бердяевской философіи есть свобода не только отдѣльной личности, но также и всего общества въ цѣломъ. „Утвержденіе свободы внутренней, свободы духа, свободы во Христѣ не можетъ не вести—говоритъ Бердяевъ—къ творчеству исторіи, какъ пути къ спасенію и избавленію отъ зла и страданій. Религіозная свобода должна быть и свободой общественной, освобожденіемъ всѣхъ и всего, разрывомъ всѣхъ узъ, творчествомъ всеобщей свободной жизни. И въ жизни общественной есть своя теургія,—творчество общенія въ свободѣ и любви, но она отличается отъ дурной магіи революціонно-матеріалистическаго соціализма и анархизма. Дѣло правды Божіей на землѣ, правды общественной должно быть дѣломъ творческимъ, а не разрушительнымъ. Творческое общественное освобожденіе освящается христіанскимъ сознаніемъ. Истинное творчество не можетъ быть торжествомъ индивидуализма, творчество всегда переходитъ грани ин-

дивидуальности, оно церковно по существу, оно есть общеніе съ душою міра"*).

Подобно Булгакову, Бердяевъ часто пишетъ на общественныя темы и общественныя задачи для него такъ же важны, какъ и индивидуальность. Но въ то время, какъ Булгаковъ обнаруживаетъ все же нужный для этого практицизмъ и не теряетъ связи между христіанствомъ и реальной жизнью съ ея потребностями,—Бердяевская общественная философія насквозь иллюзорна и мистична и для ежедневной прозаической, грубой дѣйствительности она такъ же не нужна и не выдерживаетъ критики, какъ и рыцарство Донъ-Кихота... Бердяеву, какъ будто вовсе не понятно, что у общественности другія интересы и другія задачи, далеко не мистическія и не возвышенныя, что она идетъ по своему пути и руководствуется трезвыми и желѣзными догмами своихъ Марксовъ и Энгельсовъ, а Бердяевскія тонкія и подчасъ глубоко вѣрныя разсужденія—ей вовсе не нужны, и кажутся нерѣдко книжною риторикой, разсыпающеюся въ прахъ передъ грубымъ, грязнымъ и смраднымъ ужасомъ этой жизни, всѣхъ этихъ фабрикъ, заводовъ, голодовокъ, самоубійствъ, преступленій и будней, гдѣ всякія слова только оскорбляютъ, гдѣ нужны вовсе не слова и не философія, а нѣчто очень прозаическое и весьма простое, такое же простое и грубое, какъ и вся эта жизнь!...

Главная ошибка и Бердяева и всѣхъ неохристіанъ въ томъ, что они подходятъ къ жизни совершенно безоружные и незнакомые съ ней и вмѣшиваются въ ея дѣла, забывая, что ихъ дѣятельность

*) Философія свободы—стр. 253.

вић—жизненна и для жизни ненужна, что для жизни пожалуй, гораздо нужнѣе и гораздо понятнѣе тотъ соціализмъ, противъ котораго они такъ ополчаются, нежели ихъ метафизическія теоріи, ненужные голодному звѣрью, грубому и ужасному въ своемъ скотскомъ видѣ, до котораго слова мистическихъ рѣчей еще не доходятъ и не могутъ дойти... Религіознымъ мыслителямъ нужно разъ навсегда отречься отъ всякой политики и общественности и всецѣло уйти въ свои метафизическія и мистическія размышленія, если они желаютъ избѣжать насмѣшекъ и презрѣнія человѣческаго стада... Не въ томъ дѣло, что ихъ разсужденія объ общественности часто и вѣрны и справедливы и обнаруживаютъ утонченное знаніе, а въ томъ, что для жизни ихъ реформы и мистическія преобразованія вовсе не нужны и непереваримы, ибо она идетъ своимъ путемъ, а книжная мудрость, будь она тысячу разъ справедлива и утонченна—остается неиспользованной на бумагѣ... Въ добавокъ самые реформаторы остаются ошельмованными, и ихъ, часто не безъ справедливости—называютъ реакціонерами, клерикалами и ретроградами. Такъ произошло и съ Бердяевымъ... Увлекшись своими метафизическими теоріями—онъ дошелъ до того, что послѣ анархическихъ статей (въ „Вопросахъ Жизни“) вдругъ разразился довольно неожиданной фразой въ предисловіи къ своей книгѣ „Духовный кризисъ интеллигенціи“, доказывая, что мистично не только государство, но и всякая власть, что вызвало упрекъ въ реакціонности со стороны общества... А все дѣло то въ томъ, что Бердяевъ попалъ не на надлежащій путь и очутился не тамъ, гдѣ бы ему надлежало быть, а что касается реакціонности Бердяева и революціонности Ме-

режковскаго то отъ нихъ обществу ни тепло и ни холодно, и реальная жизнь отшвырнетъ отъ себя какъ первое, такъ и второе, какъ чуждый, невоспринимаемый ею элементъ, а сами неудачные общественники получатъ названіе чудаковъ и почувствуютъ, что лишніе и что и безъ нихъ обойдется. И это понятно и въ порядкѣ вещей: религія для вѣчности, для спасенія души, а Марксы и Энгельсы—для жизни и жизнь ихъ на Мережковскихъ и Булгаковыхъ ни за что не промѣняетъ—на то она и жизнь!...

Какъ теоретикъ новой общественности, общественности будущей теократической Церкви, Бердяевъ оригиналенъ и интересенъ, но его мысли, какъ бы онѣ ни были интересны и оригинальны—не могутъ быть приложимы къ жизни и являются такими же прекрасными мечтаніями, какъ и мысли на этотъ счетъ польскихъ мессіанистовъ, какъ идея Царства Духа Мережковскаго... Но въ нихъ вполнѣ проявилось его брезгливое отношеніе къ господствующей хамской религіи мѣщанъ—соціализму, но въ нихъ обаятельна и красива мечта о тѣхъ временахъ, которыя придутъ на смѣну человѣческой стадности, и въ мечтѣ своей вѣритъ Бердяевъ, что „только религіозная народная жизнь, когда въ сердцѣ народномъ возгорится любовь къ сверхчеловѣческимъ вещамъ, когда народъ съ благоговѣніемъ пойдетъ въ храмъ красоты безмѣрной и будетъ рыцарски служить своей „Прекрасной Дамѣ“, только народная жизнь, совершающая мистеріи, сдѣлаетъ демократію благородной, предохранитъ ее отъ самодовольства и обоготворенія слишкомъ человѣческихъ благъ, уничтожитъ въ ней злобу противъ благъ сверхчеловѣческихъ. Въ идеѣ *богочеловѣчества*, возвѣщенной Богочеловѣкомъ,

заключается и правда демократіи—гуманизма, и правда благородной культуры,—сверхчеловѣческихъ цѣнностей, такъ какъ Богъ и человѣчество въ ней органически слиты"...*)

Бердяевъ всѣмъ своимъ существомъ совершенно чуждъ и враждебенъ всякой демократіи—и соціалистической, и церковной, это можетъ быть единственный истинный аристократъ среди религіозныхъ русскихъ мыслителей, и аристократизмъ его врожденный, рыцарскій, культурный, и онъ чувствуется во всѣхъ его писаніяхъ... Тонкое, изящное, благородное отношеніе ко всѣмъ вещамъ, спокойная увѣренность въ рѣчахъ, чуть-чуть высокомѣрное тщеславіе и истинная культурность—вотъ отличительныя черты этого аристократизма... И вмѣстѣ съ тѣмъ нужно отмѣтить, что всѣ его реформаторскія идеи тоже проникнуты этимъ аристократизмомъ, соединеннымъ съ извѣстною долею нескрываемаго консерватизма, это отличительная черта Бердяевскаго міровоззрѣнія, черта, которая отсутствуетъ у всѣхъ русскихъ писателей и мыслителей, глубоко демократичныхъ по духу. Въ то время, какъ во Франціи, въ Англіи, въ Польшѣ аристократизмъ писателей—дѣло обычное, Россія вся обезображена хамскимъ духомъ демократіи, и что-то татарское таится въ этой особенности, такъ непріятно поражающей чужестранцевъ. Бердяевъ въ этомъ отношеніи рѣзко выдѣляется въ наше время, его аристократизмъ носитъ много западныхъ чертъ, да и самъ онъ больше человѣкъ Запада, но въ немъ также не изсякъ и тургеневскій утонченный романтизмъ, и плохо скрываемая любовь къ разрушеннымъ дво-

*) „Sub specie aeternitatis", стр. 416.

рянскимъ усадьбамъ, и ему близко и понятно очарованье стараго барства, и меланхолическое русское томленье ему также дорого и близко, какъ и внѣшній блескъ западной культуры... Польскій поэтъ Сигизмундъ Красинскій—этотъ настоящій „баринъ", глубокій консерваторъ и аристократъ, долженъ въ этомъ отношеніи быть родственнымъ Бердяеву, но въ то время, какъ этотъ „консерватизмъ" въ Польшѣ обычное явленіе и никто имъ не возмущается, Бердяевскій консервативный духъ въ Россіи тотчасъ же вызвалъ къ нему враждебность, обвиненія въ ретроградствѣ, катковщинѣ, антисемитизмѣ, и здѣсь русскій демократизмъ сказался во всей своей дикой силѣ...

Бердяевъ въ одномъ мѣстѣ самъ сознается, что „съ дворянствомъ былъ связанъ у насъ единственно красивый бытъ, не мѣщанскій бытъ, все остальное или есть уже начало выхода изъ всякаго быта, или слагается въ бытъ уродливый и смрадный" *). Когда Бердяевъ отдавалъ дань освободительному движенію своими статьями въ „Новомъ Пути" и въ „Вопросахъ Жизни" онъ утверждалъ, что „рядомъ съ соціальной демократизаціей общества должна идти его духовная аристократизація" **), демократическая идея всеобщаго равенства даже тогда не могла не вызвать протеста со стороны Бердяева и онъ открыто высказалъ на страницахъ сборника „Проблемы идеализма" глубоко справедливую мысль, которую можно только привѣтствовать и которая особенно характерна для творчества Бердяева, что „человѣкъ есть „разност-

*) Духовный кризисъ интеллигенціи. стр. 58.
**) Sub specie aeterni. стр. 23.

ное существо“ и онъ не долженъ терпѣть нивеллировки: долженъ протестовать противъ попытки вымуштровать его по одному шаблону, сдѣлать изъ него „хориста“, обратить его въ полезный для стада экземпляръ, какими бы „общественными благополучіями“ эти посягательства ни прикрывались... Я думаю, что духовная аристократія возможна и въ демократическомъ обществѣ, хотя она въ немъ не будетъ имѣть ничего общаго съ соціально-политическимъ угнетеніемъ. Именно такой аристократіи, возвышающейся надъ всякой общественно-классовой и групповой нравственностью, должны принадлежать первые толчки къ дальнѣйшему прогрессу, безъ нея наступило бы царство застоя и стадности“...*).

Но надежды его на то, что въ предѣлахъ демократическаго царства пролетаріата будетъ возможно когда-либо нѣчто подобное—быстро испарились, и уже въ 1907 году въ „Московскомъ еженедѣльникѣ“ Бердяевъ долженъ былъ открыто признаться, что „вѣрить въ массу человѣческую, въ количество людское, въ толпу, въ стадо—нельзя, исторія не научаетъ вѣрить“...

Всякій индивидуализмъ долженъ быть въ основѣ своей аристократиченъ, и индивидуализмъ Бердяева носитъ въ себѣ этотъ элементъ, благодаря чему Бердяевъ рѣзко выдѣляется и среди литературной пошлости, и среди своихъ единомышленниковъ... Несмотря на христіанскую почву, на которой стоитъ Бердяевъ—несмотря на исповѣданіе христіанской любви къ міру и къ людямъ, несмотря на все это, въ Бердяевѣ нѣтъ-нѣтъ и прорвется аристократическій бунтъ и

*) Ibid., стр. 92.

противъ общества, и противъ міра, и даже противъ нравственныхъ императивовъ,—и тогда такъ странно звучитъ этотъ смѣлый вызовъ человѣческому стаду въ устахъ христіанскаго мыслителя, но зато именно въ этомъ—залогъ самобытности, оригинальности и несомнѣннаго субъективизма... Этотъ вызовъ иногда носитъ характеръ чистаго эгоцентризма и направленъ не только противъ вражескаго стана, но также и противъ христіанства (историческаго), и тогда онъ у Бердяева формулируется въ такихъ горячихъ и безъ сомнѣнія искреннихъ словахъ: „Нужно *личностью* быть и своего права на *образъ и подобіе Божества* нельзя уступить ни за какія блага міра, ни за счастье и довольство свое или хотя бы всего человѣчества, ни за спокойствіе и одобреніе людей, ни за власть и успѣхъ въ жизни; и нужно требовать признанія и обезпеченія за собой человѣческаго права на самоопредѣленіе и развитіе всѣхъ своихъ духовныхъ потенцій. А для этого прежде всего должно быть на незыблемыхъ основаніяхъ утверждено основное условіе уваженія къ человѣку и духу—свобода“ („Этическая проблема въ свѣтѣ философскаго идеализма“)...

Индивидуализмъ Бердяева не вмѣщается также въ строгія рамки мѣщанской обыденной морали, которая чужда и ненавистна ему такъ же, какъ и вся пошлая, низкая, узко-человѣческая жизнь, противъ которой возмущается его аристократическое чувство человѣка, стоящаго надъ толпой. Такая нравственность, по мнѣнію Бердяева—не можетъ быть дѣйствительна для людей избранныхъ, утонченныхъ, аристократовъ духа, для нихъ есть другая нравственность, сверхчеловѣческая, нравственность какъ идея,

а не какъ грубо выраженный моральный житейскій постулатъ, „нравственная проблема не есть проблема стадности, какъ это, къ сожалѣнію, склонны думать не только реакціонеры, но и многіе прогрессисты, она не рѣшается ни государствомъ, ни общественнымъ процессомъ, ни судомъ людей, это—внутренняя проблема человѣческаго „я“, стремящагося къ идеальному совершенству .*). Житейская обыденная мораль должна быть по мнѣнію Бердяева „свергнута новымъ религіознымъ Возрожденіемъ, по существу своему сверхъ-моральнымъ“ **).

Само собой разумѣется, что ни историческое христіанство, ни историческая православная церковь не могутъ принять индивидуализма Бердяева и его религіозной философіи, которая выходитъ изъ его предѣловъ и представляетъ въ сущности тайный, безсознательный, но несомнѣнный бунтъ противъ основъ христіанства... Бердяеву суждено быть вѣчнымъ странникомъ вокругъ да около церковной ограды и путь его выходитъ за предѣлы современнаго христіанства, въ область внѣ—историческую, внѣ—жизненную, въ область мечтаній и надеждъ на грядущее царство истинной свободы въ Духѣ...

Христіанство замучило плоть и этимъ побѣдило міръ, именно въ этомъ презираемомъ аскетизмѣ таится вся его сила и вся его побѣда, ибо христіанство не могло низвести свой идеалъ до земли, оно стремилось вѣчно къ вознесенію, оно проповѣдывало гибель во имя духовнаго освобожденія—и въ этомъ его несомнѣнная святость. Нельзя представить себѣ

*) Sub specie aetern., 78.
**) ibid., 357.

христіанскихъ святыхъ и подвижниковъ не аскетами, а благодушными, чувственными и ликующими людьми въ духѣ Бердяева,—святые эти именно потому и пріобрѣли право называться святыми, что чудеснымъ образомъ избавились отъ страстей, изсушили плоть свою и воскресили духъ... Безъ аскетизма въ христіанствѣ невозможно чудо, аскетизмъ есть вдохновеніе всего христіанства, его таинственная сила. Ибо только въ распятіи, только въ великомъ страданіи, только въ мукѣ возможно спасеніе. Черезъ безмѣрную пытку цѣною великой скорби рождается освобожденный духъ... Бердяеву аскетизмъ противенъ не потому, что онъ игнорируетъ его роль—а потому что самъ Бердяевъ въ душѣ носитъ что-то языческое, благодушное, здоровое и радостное, и оно возмущается въ немъ противъ всякаго страданья, противъ всякой скорби и всякаго распятья... Его возмущаетъ до глубины души сознаніе, что великая проблема пола совершенно затушевана христіанствомъ, что „полъ и связанный съ нимъ божественный Эросъ загнаны въ темницу буржуазной семьи и въ ней лишь терпятся, хотя семья не оправдывается ни однимъ словомъ Христа; влачатъ безрелигіозное существованіе въ кафешантанахъ и публичныхъ домахъ, этомъ неизбѣжномъ коррективѣ всякаго семейнаго строя. Половая любовь существуетъ внѣ религіи, не освящена, оставлена на произволъ судьбы“... *).

Въ прекрасно написанной статьѣ: „Метафизика пола и любви“, Бердяевъ, не безъ вліянія Соловьева, Розанова, нѣмецкихъ романтиковъ и Платона—бро-

*) ibid. стр. 357.

саетъ вызовъ всему христіанству за то, что оно прошло мимо такого важнаго, основного явленія, какъ полъ и любовь, мимо основного нерва всей жизни, источника творчества и поэзіи...

Міровоззрѣніе Бердяева и его мистика носятъ ярко выраженный чувственный характеръ. Его религія только съ внѣшней стороны можетъ быть названа христіанской, она по своему существу языческая, полножизненная, жизнь обнимающая и цѣлующая, съ жизнью сливающаяся... Мистика Бердяева какъ бы ощупываетъ реальность трансцедентнаго, для него нѣтъ темныхъ, пустыхъ проваловъ, нѣтъ ужаса, нѣтъ тоски, все въ немъ дышитъ языческимъ обоготвореніемъ жизни и самъ Христосъ для него—языческій, во всякомъ случаѣ—не русскій Христосъ, а скорѣе католическій, такой, какимъ Онъ представлялся въ средніе вѣка восторженнымъ монахинямъ, Христосъ не Исаака Сирина, не Іоанна Лѣствичника, а Христосъ святой Терезы и Франциска Ассизскаго...

Въ своей теоріи пола Бердяевъ, какъ и Мережковскій—идетъ по слѣдамъ Розанова, но ему чужда Розановская апологія плодородія и патріархальнаго древне-еврейскаго быта, онъ видитъ въ этомъ уничтоженіе личности, а не ея освобожденіе, любовь по мнѣнію Бердяева стоитъ внѣ рода, любовь должна быть индивидуалистична и въ ней должно происходить таинственное освобожденіе человѣческаго „я“. „Любовь родовая не есть соединяющее утвержденіе пола, она продолжаетъ лишь дробленіе. Только личная половая любовь стремится къ преодолѣнію разрыва, къ утвержденію индивидуальности, къ безсмер-

тію. Это—Афродита небесная. Только личная, внѣродовая любовь, любовь избранія душъ, мистическая влюбленность и есть любовь, есть подлинный Эросъ, божественная Афродита. Личная любовь, Афродита небесная—сверхъ природна, объявляетъ войну смерти и необходимости, она враждебна роду, дробленію индивидуальности, не рождаетъ въ своемъ совершенствѣ, жаждетъ индивидуальнаго сліянія и вѣчности, съ ней связана тайна индивидуальности и безсмертія *).

Можно согласиться съ Антономъ Крайнимъ, утверждающимъ, что все религіозное сознаніе Бердяева есть сплошная трагедія: дѣйствительно, онъ виситъ какъ бы между двухъ безднъ, стремится къ соединенію несоединимаго, не знаетъ, что дѣлать съ мечтой языческой въ христіанскомъ мірѣ и не можетъ этого міра принять цѣликомъ, безъ языческой радости...

Душа Бердяева—въ вѣчномъ раздвоеніи, у него какъ бы двѣ души—языческая и христіанская, а соединить ихъ въ одно можетъ лишь его мечта о грядущемъ царствѣ церкви Христовой.

Въ дѣйствительности же онъ долженъ глубоко страдать отъ этого раздвоенія, которое обнаруживается въ слѣдующихъ его собственныхъ признаніяхъ: „Мы зачарованы не только Голгоѳой, но и Олимпомъ, зоветъ и привлекаетъ насъ не только Богъ страдающій, умершій на крестѣ, но и Богъ Панъ, богъ стихіи земной, богъ сладострастной жизни, и древняя богиня Афродита, богиня пластической красоты и земной

*) Метафизика пола и любви.

любви". „Человѣкъ новаго религіознаго сознанія не можетъ отречься ни отъ язычества, ни отъ христіанства, и тамъ и здѣсь онъ видитъ божественное откровеніе; въ жилахъ его текутъ два потока крови и производятъ бурю, въ головѣ его мысли двоятся. Нѣтъ возврата къ язычеству, какъ къ тезису, и къ христіанству, какъ антитезису, само противоположеніе слишкомъ старо. Новое религіозное сознаніе жаждетъ синтеза, преодолѣнія дѣйствительности, высшей полноты, должно вмѣстить что-то такое, что раньше не вмѣщалось, соединить два полюса, двѣ противоположныя бездны. Въ историческомъ христіанствѣ нельзя уже найти противоядія противъ новыхъ соблазновъ возрождающагося язычества, какъ нѣтъ въ старомъ язычествѣ противоядій противъ грѣховъ историческаго христіанства" *)...

Мы видимъ такимъ образомъ, что Бердяевъ въ своихъ исканіяхъ —пришелъ къ той же трагедіи, что и Мережковскій. И разрѣшеніе этой трагедіи произошло у него такъ же, какъ и у послѣдняго—т. е. упованіемъ на грядущее пришествіе новой апокалипсической церкви. Но въ то время, какъ Мережковскому эта церковь рисуется какъ Царство Духа Святого, у Бердяева есть вполнѣ опредѣленный ея идеалъ въ видѣ свободной теократіи, во главѣ которой будетъ стоять чудесный первосвященникъ—пришедшій Мессія -Христосъ. Мережковскій по своему идеалу ближе къ Шеллингу, Бердяевъ же является вполнѣ опредѣленнымъ мессіанистомъ и мессіанизмъ есть исходный пунктъ его религіозной системы...

*) „О новомъ религіозномъ сознаніи".

Но какъ первый, такъ и второй не принимаютъ и не могутъ принять реальную историческую церковь (хотя Бердяеву она и ближе и роднѣе, чѣмъ Мережковскому), не могутъ потому, что ихъ жажда совершенно не вмѣщается вообще въ рамки дѣйствительности, потому что ихъ вѣра уже не можетъ жить тѣнью тѣни Христа, а требуетъ Христа живого, Христа Мессію, Христа снова вочеловѣчившагося, чтобы подобно невѣрному Ѳомѣ для своего собственнаго спасенія—удостовѣриться въ реальности Того, который является ихъ единственной надеждой, единственнымъ чаяніемъ и послѣдней мечтой....

Къ чему приведетъ ихъ эта мечта, пока еще живая и не ставшая догматомъ—покажетъ будущее, во всякомъ случаѣ это будетъ весьма интересно для всѣхъ... Пока же—Бердяевъ находится въ постоянномъ броженіи, въ постоянныхъ исканіяхъ и неудовлетворенности, а причину своей неудовлетворенности исторической церковью онъ объясняетъ вполнѣ опредѣленно и въ самой категорической формѣ: „Мы ищемъ церковь, въ которую вошла бы вся полнота жизни, весь міровой опытъ, все цѣнное въ міру, все, что было подлиннымъ бытіемъ въ исторіи. За стѣнами церкви ничего не должно остаться, кромѣ небытія... Въ церкви должно быть все наше дорогое, все наше цѣнное, все нами выстраданное въ мірѣ,—наша любовь, наша мысль и поэзія, все наше творчество, отлученное отъ церкви старымъ сознаніемъ, всѣ наши великіе мірскіе люди, всѣ наши приподымающіе порывы и мечты, все, что было трансцедентнаго въ нашей жизни и жизни міровой. Церковная жизнь есть полнота жизни, богатство бытія, а не семинарско-

поповско монашескій колпакъ, который держатъ въ своихъ рукахъ власть имѣющіе“ *)...

Таковъ идеалъ грядущей теократической церкви въ міровоззрѣніи Бердяева, такова мечта современнаго русскаго мессіанизма.

---

*) „Христосъ и міръ“.

IX.

Есть у Достоевскаго личности таинственныя, почти фантастическія, хотя съ другой стороны—вполнѣ реальныя. Но удивительная смѣсь фантастики съ реальностью, нѣкоторыя изрѣченія, въ которыхъ заключена цѣлая бездна глубины, и эти чисто мистическіе отсвѣты изъ какого-то нездѣшняго міра въ нихъ, и таинственный мракъ, и бредъ больной, и иронія—все это приковываетъ къ нимъ вниманіе, заставляетъ внимательно прислушиваться къ ихъ словамъ, вглядываться въ ихъ черты—и тогда замѣчаешь, что въ этихъ живыхъ іероглифахъ—цѣлые міры тѣхъ истинъ, предчувствій, исканій, которыя теперь мучаютъ нашу душу, а тогда составляли муку геніальнаго тайновидца...

Андрей Петровичъ Версиловъ принадлежитъ къ ихъ числу... Онъ тоже, какъ и Ставрогинъ—вмѣстѣ и реальный человѣкъ и символъ души Достоевскаго. И въ немъ тоже, какъ и въ Ставрогинѣ—цѣлое откровеніе для нашего времени.

И часто можно замѣчать среди насъ его изящную, аристократическую фигуру, съ полными утонченнаго благородства жестами и манерами, съ тѣмъ рѣдкимъ въ наше время очарованіемъ стараго бар-

ства, усталости и философической иронiи, которыя сейчасъ же заставляютъ настораживаться демократическую публику и вызываютъ подозрѣнiя въ „реакцiонности“, въ отсталости и прочихъ преступленiяхъ... И еще сквозитъ маска Версилова въ модныхъ повѣстяхъ „демонистовъ“ и апологетовъ „нагой души“, признающихъ за женщиной роль „фатума“. Иногда Версиловъ напишетъ пару-удивительныхъ, сумасбродныхъ статей въ „Новомъ Времени“, которымъ однако никто не можетъ отказать въ оригинальности и талантливости... А то еще прозвучитъ его рѣчь въ какихъ-нибудь новомодныхъ „Вѣхахъ“, или въ нѣкоторыхъ признанiяхъ „неославянофиловъ“, вызывая толки возмущенiя и горячiе нападки со стороны всевозможныхъ „ортодоксовъ“ и „просто товарищей“... Иногда онъ вдругъ объявится въ лицѣ какого-нибудь изъ самыхъ передовыхъ нашихъ мистиковъ, и мистикъ ѣздитъ за границу, восторгается католицизмомъ, знакомится съ iезуитами, и въ гостинныхъ, въ кругу болтливыхъ и свѣтскихъ дамъ—занимается проповѣдью „вѣхизма“ и культа стараго Тургеневскаго дворянства... И вотъ, кажется—это говоритъ Версиловъ, а мистикъ ни причемъ, мистикъ—только маска... Удивительно „современный“ человѣкъ этотъ Версиловъ!...

Ставрогинскiй аристократическiй демонизмъ присущъ въ извѣстной мѣрѣ и Версилову, только у послѣдняго больше „благоустроенности“, солидности и житейскаго навыка, и онъ уже перешагнулъ черту ставрогинскаго отрицанiя... Но отчего же такъ близокъ, такъ понятенъ онъ намъ и отчего кажется, что онъ—въ насъ?... Да потому, что какъ и мы—онъ весь изъ невѣрiя вышелъ и какъ мы—возлюбилъ вѣру ра-

ди спасенія. Потому что чрезъ бездну отрицанія прошла душа его.

Мы безпомощны съ Ницше. Онъ безъ Ницше отравленъ ницшевскими проблемами. Мы отравлены культурой, пустотой и безуміемъ. Онъ и отравленъ былъ, и противоядіе изобрѣлъ—въ томъ весь его секретъ... Мы эстеты отъ пустоты, отъ невѣрія, отъ скуки, онъ соединялъ глубокую эстетику съ вѣрой, а можетъ быть и вѣра его была больше на эстетикѣ построена. Въ этомъ его особенность.

„Порочность, порочность-то какая!"—восклицаютъ, приглядѣвшись къ Версилову и узнавъ факты его жизни... Спору нѣтъ, онъ былъ человѣкъ порочный, но отнюдь не бездарный. У Достоевскаго впрочемъ, все, что не бездарно,—то и порочно... Хотя не только у Достоевскаго... Можетъ быть—порочность именно признакъ геніальности? Приглядитесь ко всѣмъ талантливымъ, ко всѣмъ незаурядным людямъ—и васъ невольно охватитъ это предположеніе... У Достоевскаго порочность отъ надрыва происходитъ, оттого, что его герои за голосомъ тоски своей идутъ куда глаза глядятъ—и для нихъ нѣтъ ни императивовъ, ни нравственныхъ правилъ, ни преградъ, именно потому и не существуетъ послѣднихъ, что тоска переросла всѣ императивы, безумная тоска дерзаетъ, разрушаетъ все, ищетъ выхода, ищетъ утоленія душевнаго голода, въ отчаяньи не только на голгоѳу пойдетъ, но и въ „клоаки съ грязнотцами",—въ „переулки смрадные", ко всѣмъ порокамъ и преступленіямъ возможнымъ на землѣ пойдетъ!... Человѣкъ сегодня, какъ ангелъ—святъ, и то и дѣло поклоны бьетъ и передъ иконой въ озареніи стоитъ, и чистый рай въ душѣ, и кажется, что такимъ и родился,

и даже гордость по этому поводу и довольство собой: „вотъ, молъ, какой я!“, а завтра вдругъ черно-черно станетъ, и свѣтъ потухъ, и уже святость не то что не привлекательна, а просто не нужна, лукавые чортики въ углу подъ лампадкой сидятъ—подмигиваютъ, топорщатся, фыркаютъ, и вдругъ „хочется, страшно хочется Бога бранить“, ну и бранишь; весь міръ хочется разрушить, и зло—какое-нибудь невиданное, изъ рукъ вонъ выходящее зло—хочется по міру пустить безпощадной, губительной эпидеміей, и пойти и выкупаться въ помойной ямѣ разврата, и истлѣть въ проклятіяхъ, въ Содомѣ своемъ, полетѣть внизъ, закружиться такъ, чтобъ духъ захватило... А потомъ—опять лампадочка, и опять иконка, и снова Богъ и молитва... Нагрѣшилъ и радуешься: Богъ все проститъ... Если бы только передъ иконкой стоять—чинно и строго, а чортиковъ чтобъ не было, и соблазновъ и Содома не было—конечно было бы лучше, пристойнѣе какъ-то, ну и конечно—скучнѣе... А съ чортиками и съ Содомомъ—конечно хуже, страшно какъ-то, но за то—нужно признаться — гораздо занятнѣе и интереснѣе... Широты больше... „Многообразія“ больше... А человѣкъ „многообразенъ“, отчаянно многообразенъ человѣкъ въ тайнахъ души своей, и въ этомъ его привиллегія... По крайней мѣрѣ не скучно... И видно, что—живой человѣкъ, „настоящій“—а порокъ и святость служатъ только необходимыми контрастами, для того, чтобы не сойти съ ума отъ скуки, на человѣка глядя!...

Я уже не говорю о Карамазовыхъ—у нихъ это дѣло обычное. У нихъ даже Алеша всѣ „жестокіе замыслы“ полумиѳической Lise понимаетъ и имъ сочувствуетъ... Но Версиловъ—онъ не изъ Карамазо-

выхъ. У него брезгливое отвращенье къ подонкамъ... Онъ аристократъ и „баринъ“ ужасный, не меньше Ставрогина, и говорить онъ умѣетъ мастерски, и эстетику любитъ, картины Клода Лоррена любитъ, и Европу обожаетъ, хотя и о ней, какъ и Иванъ—какъ о великой покойницкой отзывается... Чувство эстетическое у него до болѣзненности развито, онъ и поэтъ въ душѣ и романтикъ немного, хотя въ мѣру, но онъ же и свѣтскій человѣкъ... Какъ и Ставрогинъ, любитъ неожиданные поступки... Когда его по лицу въ Эмсѣ ударили въ саду—онъ даже на дуэль не вызвалъ и на другой же день какъ ни въ чемъ не бывало появился на гуляньи, тогда-то отъ него и отвернулось общество... А всѣ знали, что онъ не робкаго десятка. Когда Лидочка Ахмакова, въ него влюбленная—послѣ исторіи съ княземъ Сокольскимъ—была опозорена и отравиться хотѣла, онъ на ней—слабоумной—жениться хотѣлъ и даже у Сонечки Долгорукой позволенія на это просилъ. Какъ и Ставрогину—хотѣлось ему женитьбой на уродѣ своеволіе свое заявить, ибо у русскихъ эстетика непрочная, вдругъ прорвется сквозь эту эстетику нѣчто взбалмошное, почти безумное, чадное, нездоровое—и тогда полетитъ все, закружится, запылаетъ, и тогда держись—конца краю не видно! Только духъ захватитъ!

Тотъ же самый Версиловъ, про котораго говорятъ, что онъ католицизмомъ увлекался и даже вериги носилъ,—любитъ „неоперившихся дѣвочекъ“... Про его любовныя похожденія много толковъ ходитъ. Онъ однажды дѣвицу одну хотѣлъ спасти отъ голода, урокъ ходилъ предлагать, ну, а она въ ту же ночь повѣсилась. Отчего повѣсилась—тайна для всѣхъ, не исключая и самого Версилова. Ужъ такъ прилично

себя велъ предъ нею—и такъ вѣжливо, по-отечески объ всемъ разспрашивалъ, и даже экзаменовалъ изъ ариѳметики и прочихъ предметовъ, ну, а она все-таки повѣсилась. Видно—*почувствовала.* Такъ, какъ Дунечка Раскольникова паучью страсть Свидригайлова почувствовала. Почувствовала—и повѣсилась... Но онъ же—и утонченное благородство, и даже ни одного взгляда у него не было на нее нескромнаго, и весь онъ былъ вѣжливый, просто чарующе вѣжливый, но подите-жъ—повѣсилась,—и только... Даже силъ не было прогнать его,—просто повѣсилась...

Но вотъ чудаковатому подростку изъ подполья онъ кажется просто идеаломъ, совершенствомъ, онъ даже руку у Андрея Петровича поцѣловалъ какъ-то—не выдержалъ, отъ избытка чувствъ... И самъ Андрей Петровичъ расчувствовался и про его мамашу ему разсказывалъ, какъ онъ ее любилъ и любитъ, именно за исхудалыя щеки и смиреніе, убійственное смиреніе и любитъ, и портретъ ея у него надъ письменнымъ столомъ виситъ... Любуется... Вспоминаетъ...

Однажды—онъ уѣхалъ отъ нея за границу (скучно стало), и вдругъ въ одномъ нѣмецкомъ городишкѣ, вдали отъ нея—*влюбился въ нее же...* Издали она ему особенно привлекательной показалась... Именно за исхудалыя щеки и стыдливую тихую покорность—и влюбился... А до того не любилъ... Хотя, я думаю—влюбленность его чисто эстетическая... Онъ и Макара Долгорукаго отъ нея отослалъ и самъ сталъ съ нею жить не изъ жалости и не изъ благородства, а просто ради контраста эстетическихъ переживаній: у него было двѣ семьи—одна аристократическая и дѣти благородные, другая—бѣдная и попроще, и онъ проживалъ одно время въ одной семьѣ, потомъ въ

другой; у него были двѣ женщины—одна тихая и покорная, тише воды, ниже травы, другая—порочная и жестокая („фатумъ“)—и все это ради контрастовъ, чтобы наблюдать и наслаждаться противорѣчіями и создавать себѣ развлеченіе, такъ, ради „замысловъ“ своихъ, а не по чувству... Впрочемъ „фатумъ“ изъ эстетическаго переживанія вскорѣ превратился въ самую настоящую муку безъ выхода и безъ пощады... Всю жизнь его насквозь прожгла. И онъ сталъ ея жертвой...

Ради контрастовъ онъ и на дырявомъ стулѣ у Сонечки просиживалъ, и на свѣтъ отъ лампадки морщился, ради контрастовъ и почти мистическаго наслажденья ими—въ трактирчикъ „Лючію“ слушать ходилъ, туда, гдѣ дѣйствительность въ тоскѣ и сѣрости уже не на дѣйствительность становится похожа, а на какую-то страшную сказку, на мучительный кошмарикъ, главная прелесть котораго именно въ томъ и заключается, что онъ мучителенъ и безобразенъ...

А въ трактирчикѣ—тоска смертная, окна вспотѣвшія, рожи и половые похожи на символы какого-то лихорадочнаго сна, и сосетъ тоска сердце, и все кружится, все завываетъ въ круженіи темный, невыносимый, хаотическій міръ. Душу разорвалъ бы въ клочья, напился бы простой сивухи, распластался бы на столѣ вмѣстѣ съ пьяными рожами, въ кошмарныхъ сѣтяхъ безсмысленныхъ, рыдающихъ, воющихъ рѣчей запутался бы до потери сознанія!... Но нѣтъ... Сидитъ неподвижно... Устало морщится. Говоритъ такъ нѣжно, по-женски выпрашивая у подростка секретикъ о роковомъ документѣ... Для него документъ важнѣе всего, важнѣе самыхъ

„идей“—документъ можетъ привлечь къ нему ее—мучительницу, „фатумъ“.

Вокругъ пьяное рыданье, фонари на улицѣ въ сыромъ и бѣломъ туманѣ какъ сама помертвѣлая боль тоски...

Надъ отцомъ и надъ сыномъ, повѣряющимъ тайну—жестокая мистическая сила „фатума“ сомкнула баюкающія, волшебныя крылья свои...

Его отношеніе къ Катеринѣ Николаевнѣ прямо удивительно... Тогда, въ его время объ этомъ и понятія никто не имѣлъ... Тогда любовь была такая полножизненная, по всѣмъ правиламъ здороваго приличія, никакой муки пола тогда не чувствовали, да и само слово „полъ“ было нецензурное...

Когда у насъ поднялась „метафизика пола“, когда Пшибышевскій заговорилъ о мистической власти женщины какъ фатума, о страшныхъ надрывахъ любви, о любви—роковомъ поединкѣ, о любви—страданіи,—всѣ вознегодовали, напали на „подобную безнравственность“, назвали признакомъ вырождающейся культуры, „психопатіей“ и другими словечками... И никому не пришло въ голову, что у Достоевскаго всѣ эти вопросы уже сорокъ лѣтъ тому назадъ были затронуты, да еще съ какою болью затронуты... Выражались о „пшибышевщинѣ“ какъ о наносномъ, чуждомъ Россіи явленіи, какъ о занесенной съ Запада „модѣ“, но забывали, что Достоевскій—коренной русскій—за много лѣтъ до теоріи „нагой души“, мучился именно тѣми надрывами пола и любви, которые теперь кажутся знаменіемъ времени...

Для Версилова обаяніе Катерины Николаевны такъ же мистично, какъ и для героевъ Пшибышевскаго, и такъ же, какъ у послѣднихъ, женщина играетъ въ его

жизни именно ту безпощадную роль разрушительнаго и обезсиливающаго фатума, который проходитъ черезъ все творчество Пшибышевскаго. У Пшибышевскаго этотъ фатумъ разливается въ океанъ стихійной муки отъ женщины. У Версилова эта мука мало проявляется наружу, она—внутренняя, она какъ медленно зажигающійся динамитъ, жжетъ его душу, толкаетъ на самые дикіе поступки, и наконецъ—динамитъ взрывается въ бѣшеномъ ураганѣ страсти, и Версиловъ, съ револьверомъ въ рукахъ, носитъ Катерину Николаевну по комнатѣ. Какъ разъяренный звѣрь, поймавшій наконецъ свою добычу, не знаетъ, что съ ней дѣлать отъ радости побѣды—такъ онъ носитъ ее изъ угла въ уголъ, качаетъ, сжимаетъ, и наконецъ, направляетъ ей въ лицо револьверъ, чтобы застрѣлить. Любовь Версилова—это наростающая катастрофа, кончающаяся безумiемъ. Онъ говоритъ Катеринѣ Николаевнѣ одно слово: „*Я васъ истреблю*“!, и въ этомъ словѣ столько боли, столько отчаянья, столько броженія бурныхъ волнъ въ душѣ, что оно сильнѣе потока словъ, сильнѣе вопля Пшибышевскаго, въ немъ—цѣлая поэма, цѣлая литургія любви!..

Версиловъ ненавидитъ эту женщину, онъ сознаетъ всю ея порочность, все ея ничтожество—и именно потому она и фатумъ, что онъ безумно любитъ ее, *ненавидя и ее, и любовь свою*... „Онъ не захотѣлъ любить... вся душа его была возмущена именно отъ факта, что съ нимъ это могло случиться. Все-де, что было въ немъ свободнаго, разомъ уничтожилось предъ этой встрѣчей, и человѣкъ навѣки приковывался къ женщинѣ, которой совсѣмъ до него не было дѣла“...

И чего, чего только онъ не дѣлалъ, чтобы спастись отъ нея! Онъ полагался на силу своего разума, онъ призывалъ на борьбу съ своею страстью весь свой холодъ, все свое благородство, всѣ святыя свои, религіозныя чувства, онъ искалъ помощи у Бога, надѣялся, что Онъ спасетъ его отъ этой болѣзни. Онъ хотѣлъ убить ее, но испугался и еще больше сталъ ненавидѣть. Потомъ онъ задался еще болѣе странной мыслью: мучить себя „дисциплиной", монашескимъ бичеваніемъ, „вотъ той самой дисциплиной, которую употребляютъ монахи". И бичевалъ, и мучилъ себя, и удиралъ отъ нея, куда только могъ... Но мистическая сила фатума оказалась сильнѣе и „дисциплины", и всей религіозности, сильнѣе всего... Женщина оказалась побѣдительницей... И когда Версиловъ говоритъ о Христѣ и о католичествѣ—вы меньше ему вѣрите, чѣмъ когда онъ произноситъ одно любопытное, весьма любопытное слово: „*Женщина—великая власть*".

Вѣра Шатова происходитъ изъ пониманія безысходности. Они съ Кирилловымъ въ Америкѣ, лежа на полу четыре мѣсяца—„вылежали" двѣ противоположныя идеи. Шатовъ—идею Бога, Кирилловъ—человѣкобога. Но пришли они къ этому цѣною внутренняго переворота, цѣною страданья („Меня Богъ всю жизнь мучилъ"!)...

И какова бы ни была полувѣра Шатова, въ ней—жажда спасенія, въ ней—надежда вырваться изъ сѣтей „мелкаго бѣса" позитивизма и соціализма... Это—вѣра идейная и общественная, вѣра во имя спасенія Россіи...

У Версилова же совсѣмъ не то. У него религіозность изъ духовнаго аристократизма больше происходитъ, нежели изъ идейнаго переворота. Во имя полноты аристократизма ему нуженъ Христосъ, для

того, чтобы чѣмъ нибудь отличаться отъ толпы, для того, чтобы стоять выше господствующей вѣры... Его излюбленная картина человѣческаго будущаго нуждается во Христѣ, какъ въ эстетическомъ дополненіи, какъ въ высшей красотѣ и гармоніи, пріятной и для глаза и для души... Это именно одинъ изъ первыхъ апологетовъ эстетическаго христіанства въ Россіи... Для него Христосъ не идея, а та высшая красота, которая вноситъ гармонію въ жизнь, которая завершаетъ собой и дополняетъ утонченный міръ его переживаній... Онъ въ этомъ отношеніи близокъ Константину Леонтьеву—этому геніальному пророку красоты во имя страданья и страданья во имя красоты, этому удивительному мистику-эстету, увидѣвшему красоту тамъ, гдѣ всѣ привыкли видѣть только рабство, угнетеніе и насиліе... Но у Леонтьева—надрывъ, изступленность, у Версилова—кромѣ этого—еще эстетическая философія... Онъ философствовать ужасно любилъ... Бродя съ подросткомъ по Петербургу, среди слякоти, тумановъ и угнетающей погоды, которая вовсе не располагала къ спокойнымъ размышленіямъ—Андрей Петровичъ удивительно хладнокровно и тонко философствовалъ, точно въ древности перипатетики...

Но это философствованіе ужасно не русское, ужасно не „либеральное“. Въ Россіи философствуютъ все на тему о міровой скорби, о замученныхъ душахъ, о дѣтскихъ слезинкахъ и прочихъ весьма гуманныхъ вещахъ, и конечно—любимѣйшая тема—любовь къ ближнему, самопожертвованіе, дѣла благотворительности и общественности... Версилову эти идеи не по вкусу, какъ и вообще всѣ идеи... Это чуть ли не первый у насъ адогматикъ и импрессіонистъ... Вѣдь

онъ вполнѣ опредѣленно по этому поводу выразился: *„съ идеями жить всегда скучно, а безъ идей всегда весело“*... Каково признаніе?... Самъ Ницше бы позавидовалъ!...

Власть идей даже такому утонченному и несомнѣнно религіозному человѣку, какъ Версиловъ—кажется только лишнею и ненужною вещью... Въ то время, какъ Кириловъ до того увѣровалъ въ идею, что ничуть не задумался принести жизнь свою ради нея (удивительный фанатизмъ, чисто русскій), въ то время, какъ Шатовъ ради идеи заставляетъ Ставрогина цѣловать землю, а лакей Смердяковъ оказывается самымъ „идейнымъ“ изъ нихъ всѣхъ,—Версиловъ только презрительно морщится, ради эстетическихъ эмоцій отказывается отъ всякихъ идей... Онъ въ своихъ философствованіяхъ ужасно любитъ пользоваться логикой, а между тѣмъ ненужность и тяжесть логики ему очень и очень понятны, у него по этому поводу весьма любопытное признаніе вырвалось: *„но вѣдь въ логикѣ и всегда тоска!“*... Ему также понятна вся хитрая механика логическаго мышленія. Онъ любитъ говорить, но знаетъ, что логистика часто приводитъ человѣка къ тупику, къ такому состоянію, когда ужъ не нужны ни логика, ни власть разума, ни какая бы то ни было „идея“. „Случись, что я начну развивать мысль, въ которую вѣрую, и почти всегда такъ выходитъ, что въ концѣ изложенія я самъ перестаю вѣровать въ излагаемое“...

Это для нашего времени, для многихъ нашихъ философствующихъ и „религіознствующихъ“ людей весьма и весьма характерно. Только они дѣлаютъ видъ, что глубоко правы и въ посылкахъ, и въ заключеніяхъ, хотя никто и не вѣритъ имъ, а вотъ Версиловъ

кривить душою не могъ. Что было на душѣ, то и сказалъ...

Но хоть и презираетъ онъ логику, хоть и любитъ онъ эстетическія переживанія, а все же Христосъ у него не живой, а умственный. Для него Христосъ — необходимое завершеніе всего, матерьялъ, нужный для заполненія образовавшейся пустоты, одинъ лишь звукъ, безъ котораго невозможна полнота человѣческой гармоніи.

Онъ, какъ и Ставрогинъ—заглянулъ въ глубину и до того испугался ея, что предпочелъ остаться со Христомъ, нежели принять эту глубину ради нея самой... И въ этомъ отношеніи между Версиловской религіозностью и современными мыслителями много общаго: Версиловъ не можетъ принять Христа въ свою душу и забыть для Него всю культуру, всѣ свои трактирчики и фатумы. Онъ любуется, созерцаетъ Христа, но палецъ о палецъ не ударитъ для того, чтобы подвинуться дальше эстетическаго созерцанія. Онъ очень любитъ говорить о Христѣ, но если бы ему сказали, что онъ вовсе и не вѣруетъ во Христа, онъ бы не очень спорилъ, хотя можетъ быть и поспорилъ, но въ душѣ согласился бы съ этимъ. Онъ можетъ на словахъ любоваться христіанскимъ смиреніемъ своей Сонечки и любовью къ ближнему ея мужа, но самъ ради Христа ни за что не откажется отъ „трактирчиковъ", переулочковъ и „неоперившихся дѣвочекъ", самъ никогда не броситъ міръ и не пойдетъ въ монастырь напримѣръ или на какое-нибудь дѣло, требующее самопожертвованія и отреченія... И въ этомъ отношеніи онъ совсѣмъ какъ наши „неохристіане", точь въ точь!... *У* послѣднихъ вѣра одно, а религіозность—другое, и Минскій прямо такъ и

заявляетъ, что въ настоящее время не можетъ быть настоящей вѣры, а только разумная религіозность... Версиловъ, конечно, не только въ воскресеніи Христа, но и въ самомъ Христѣ сомнѣваться готовъ, и отъ этихъ-то сомнѣній и тоска, и вериги, и „фатумъ, и „неопершіяся дѣвочки", и скитанія... Мережковскій вопитъ о воскресеніи, но главная мука его въ томъ, что воскресенье для него—всегда сомнѣніе, всегда—загадка, всегда—предметъ отчаянья... Версиловъ, пока во власти „фатума", фатумъ для него „живая жизнь", но отнимите у него фатумъ—и онъ околѣетъ въ сѣрой тоскѣ „семейнаго счастья" около смиренной Сонечки...

А Христомъ жить не можетъ... Христосъ одно, а жизнь другое... Образомъ Христа можно воспользоваться при созданіи картины будущаго, во время размышленія о цѣли прогресса и исторіи, и здѣсь Христосъ необходимъ и такъ же нуженъ, какъ пища для голоднаго, но въ жизни, въ настоящей жизни, даже въ переживаніяхъ душевныхъ—Христосъ какъ-то уходитъ на второй планъ, затушевывается, становится ненужнымъ, а на первомъ планѣ—житейскія игрушки, Лидочка Ахматова, ищущія мѣстъ учительницы, трактирчики, „фатумъ"...

Гдѣ же вѣра? Въ былыя времена христіане невольно выдвигали на первый планъ Христа, то-есть Онъ самъ заслонялъ жизнь,—и жизнь становилась ненужной, а Христосъ—нужнымъ и единственнымъ, вѣра была не философствованіемъ, а подвигомъ, жертвой, подлинной живой жизнью, и всѣ были счастливы... Теперь Христосъ, можетъ быть, нужнѣе, чѣмъ тогда, но вѣра изъ души перешла въ разумъ, но чудесъ нѣтъ, но даже вѣра въ метафизическое чудо

построена на самообманѣ и на логистикѣ. Много говорятъ о религіи, но никто не зажжется (зажигается впрочемъ какой-нибудь монахъ Иліодоръ, но къ нему всѣ относятся съ презрѣніемъ, какъ къ архаическому явленію, некультурному, дикому, а сами—рабы „культурщины"), и всѣ несчастны... И, хотя говорятъ, что на первомъ планѣ Христосъ, этому никто не вѣритъ, Христосъ—въ книжкахъ и въ разсужденіяхъ, а на первомъ мѣстѣ—какъ и у Версилова—Сонечки, трактирчики, житейское, бичеваніе, пороки, скука, одурь... Но они не могутъ даже вознести отъ этой пошлости Христа: они требуютъ, чтобы онъ нисшелъ къ нимъ, благословилъ всѣ эти трактирчики и клоаки, благословилъ и „фатумъ" и страсть, и культуру, и науку, и все, что отъ жизни... И это уже не безуміе... Это—просто—безпомощность, страшная прикрѣпленность къ землѣ, полнѣйшая обезкрыленность, полнѣйшее измельчаніе.

Есть люди, для которыхъ вѣра служитъ однимъ изъ аттрибутовъ культурнаго превосходства. Эти люди далеки отъ чего нибудь не только геніальнаго, но даже выходящаго изъ предѣловъ обыденщины... Имъ нужна вѣра не потому, что они жить иначе не могутъ, а потому что съ вѣрой и удобнѣе (въ смыслѣ пищеваренія), и оригинальнѣе... На Западѣ такихъ множество всегда было и есть. Въ прежнее время:—Монтень, Шарронъ, Франсуа де ла Мотъ ле Вайе. Въ настоящее время—типичный представитель подобной религіозности—Бурже... И даже для Гюисманса, что бы ни говорили,—вѣра была той легкой игрушкой, которой можно позабавиться до экзальтированнаго состоянія включительно—а потомъ—снова тоска и нельзя найти себѣ мѣста!...

Версиловъ—такой же... *У него религія—тонкая, умственная „игра“*, но игра не въ обычномъ смыслѣ этого слова, и въ Шиллеровскомъ—игра эстетическихъ эмоцій, нѣчто очень утонченное и не выходящее изъ предѣловъ искусства, художники знаютъ, что это за игра, они именно за эту игру жизнь свою отдать готовы. Для Версилова эта „игра“ была еще потому истиннымъ наслажденіемъ, что именно благодаря ей, онъ могъ смотрѣть на своего ближняго съ видомъ превосходства... Для него это было лишь одно изъ средствъ подняться надъ толпой, это дѣлало его личностью таинственною и оригинальною, что и требовалось для его свѣтской и сумасбродной жизни...

Вѣра изъ презрѣнія къ людямъ... Это звучитъ страшно, а между тѣмъ—это весьма характерно и весьма правдиво... И не только изъ презрѣнія къ людямъ, этого еще мало: можетъ быть—еще изъ презрѣнія къ самому себѣ!... Безсиліе версиловское такъ понятно и такъ всѣмъ знакомо: путемъ самой чистой логики, путемъ всевозможныхъ исканій и заглядываній въ глубины—человѣкъ, можетъ быть, даже безсознательно для себя самого—приходитъ къ выводу, что нуженъ Христосъ, и не только какъ вѣра, но и какъ одинъ изъ главнѣйшихъ тезисовъ міросозерцанія, безъ котораго невозможенъ синтезъ... Ну, и принимаетъ человѣкъ Христа, и имя его треплетъ какъ самый затасканный философскій терминъ, и весьма доволенъ, что нашелъ недостающій винтикъ, и сейчасъ же превосходство появляется, но въ душѣ-то, въ душѣ что дѣлается,—холодно и страшно!...

Пришелъ ко Христу умственнымъ путемъ, сознаетъ, что безъ Него жить невозможно, но это сознаніе *только мысль одна*—одна холодная мысль, никому

не нужная и ничего вокругъ не измѣняющая, этою мыслью ничего не разрушишь и ничего не создашь.

И будетъ снова обычная жизнь, какъ всегда, какъ до этой мысли, жизнь страшная, смертоносная и безобразная, жизнь безъ чуда и безъ вознесенія... А Христосъ—умственный и ненужный!.. Тысячи сомнѣній ходятъ около Христа—и нечѣмъ ихъ отогнать, единственное оружіе—разумъ... Вѣришь въ чудо, но только возможное въ предѣлахъ разума, въ жизни же даже не пытаешься создать чудо, ибо болѣнъ *врожденной* идеей невозможности чуда (эта идея—чисто „культурная“ и человѣку культурному невозможно, немыслимо отъ нея отдѣлаться, развѣ—когда махнешь рукой на всю культуру, что тоже невозможно)... Вѣришь, что Христосъ—основа жизни, а между тѣмъ, на самомъ дѣлѣ—вовсе не такъ: основой оказывается какая-нибудь мизерненькая, унизительно—житейская „идейка“, или какія-нибудь маленькія страстишки, или общественность, или политика, или искусство, или женщина... И становится понятенъ безобразный ужасъ положенія: *самъ, собственнымъ умомъ своимъ пришелъ ко Христу и самъ же Его умертвилъ въ своемъ сердцѣ*...

И для многихъ, многихъ именно существуетъ такой мертвый Христосъ... *„Мертвый Христосъ“*—это звучитъ ужасно! Прежде Онъ побѣждалъ смерть, вбиралъ въ себя все живое—и казалось, что нѣтъ другой жизни, кромѣ Него. Онъ былъ такой полножизненный, какъ стихія, какъ пожаръ, какъ безуміе,—онъ былъ истинной плотью и кровью людей, Онъ былъ дыханіемъ и силой, и страстью... Но измѣнились времена, настали времена зловѣщія, когда нѣтъ живого Христа, но есть Христосъ мертвый, даже для

тѣхъ, которые въ Него вѣруютъ!... Настало время, когда мертвая жизнь молится мертвому Богу!

Положеніе подобныхъ „вѣрующихъ“ дѣйствительно ни съ чѣмъ несравнимо. Они гораздо несчастнѣе атеистовъ... Въ тысячу разъ несчастнѣе... Они пришли къ вѣрѣ отъ индивидуализма, а кто знаетъ, что такое этотъ современный индивидуализмъ, тотъ пойметъ, что не такъ-то трудно отдѣлаться отъ его искушеній... Тутъ Ницше, тутъ „сорокъ лѣтъ подполья“, тутъ соблазны всяческихъ переворотовъ, преступленій, катастрофъ, тутъ и мелкіе чертенята, и самъ сатана (и сатана очаровательный, я думаю никогда еще не былъ сатана такъ очарователенъ, какъ въ наше время... Я думаю, онъ не хуже Версиловскаго „фатума“!...). Для того, чтобы побѣдить все это—Христу нужно быть не только умственнымъ, но и живымъ, живѣйшимъ изъ всѣхъ живыхъ. Здѣсь нужны знаменія на небѣ, чудеса, пророки...

Всѣ они поняли, что живой Христосъ нуженъ, но въ нихъ родиться Онъ не можетъ, они слишкомъ для этого мертвы, и вотъ они снова создали себѣ мечту—второе пришествіе, они вѣрятъ теперь во Христа — Судію Грядущаго... Не зловѣщіе-ли это признаки? Не значитъ ли это, что Христосъ окончательно для нихъ мертвъ?... Ибо если бы жилъ, то зачѣмъ второе пришествіе? Ибо если бы жизнь наполнялъ, то откуда тоска? И если бы Онъ во плоти и крови жилъ передъ ними—развѣ не пошли бы они на голгоѳу, развѣ не уготовали бы Ему новое царство, развѣ не зажгли-бы невиданный въ мірѣ пожаръ?...

Но жизнь многогранна—и въ этомъ ужасъ. Но въ человѣкѣ не только идея Бога, въ немъ—сотни

отравъ, въ немъ бездна сомнѣній, въ немъ бездна страстей и пороковъ... Въ немъ—культура... Культура это синонимъ тоски безмѣрной, это пустота и пресыщеніе, это утонченные цвѣты зла и „фатумъ“, это вериги и культъ искусства, это испорченность дошедшая до апоѳеза, это аэропланы, автомобили, синематографы и страхъ—собачій, трусливый страхъ ненавидящаго себя и свое сытое, холодное и страшное царство, человѣка!...

Тѣ, которые сознали, что земля дрожитъ, что конецъ близокъ, что нечѣмъ жить—тѣ знаютъ тайну и молчатъ, и мертвыми устами молятся мертвому Богу...

Если бы они были полными атеистами—эта тайна позволила бы имъ учинить всемірную катастрофу, этотъ страхъ, страхъ близкаго и неминуемаго конца—далъ бы имъ титаническую силу разрушать, и они бы пустили на міръ моръ, несчастья, эпидемію, они стали бы послѣдними фанатиками на землѣ, фанатиками безумія, хаоса и разрушенія. Но они „вѣруютъ“... Они не могутъ не вѣрить, не могутъ хотя бы для того, чтобы быть подальше отъ ненавистнаго имъ фанатизма, чтобы отличаться хоть чѣмъ нибудь, хоть мертвой вѣрой, отъ ненавистной толпы холоповъ и рабовъ, чтобы хоть въ блѣдной мечтѣ своей быть выше міра и выше людей и дать почувствовать имъ свое презрѣніе... Даже кончина міра не смогла „уравнять“, людей, даже тогда, когда неминуема всеобщая смерть—есть аристократы смерти и есть стадо смерти, но какъ тѣ, такъ и другіе—подлежатъ уничтоженію...

Зловѣщее время... Улыбки гальванизированныхъ труповъ изъ тьмы... Мессіанизмъ... Странныя кни-

жечки о пришествіи Христа въ 1932 году... Мертвый Богъ... Среди вопросовъ пола, кирпичей „о смыслѣ жизни“, литературной хулиганщины, дирижаблей, автомобилей, преступленій, убійствъ,—холодное дыханіе конца, и вотъ:—„конь блѣдный, и на немъ всадникъ, которому имя смерть“!...

А все таки, какъ и Версиловъ—даже вѣрующіе во Христа не могутъ побѣдить органическаго отвращенія къ человѣку, и какъ онъ—больше и вѣруютъ, чтобы только лишній разъ унизить человѣка, нежели полюбить... Полюбить человѣка, ближняго—эта христіанская заповѣдь кажется особенно архаической, особенно непереваримой... Версиловъ это зналъ, ибо это одинъ изъ завѣтнѣйшихъ секретовъ Достоевскаго... *Даже страданье (и какое страданье!) не могло научить этого послѣдняго любить своего ближняго.* Онъ не то что ненавидѣлъ, онъ боялся этихъ ближнихъ всю свою жизнь, онъ и дѣтямъ своимъ внушилъ эту злобную, молчаливую, тупую человѣкобоязнь... Внушилъ ее также и своимъ героямъ... И не только Версилову... Версиловъ не изъ подполья... Версиловъ—„игрокъ“... А многимъ, многимъ...

Ибо кто глубоко страдалъ, кто страданіемъ своимъ купилъ себѣ право жизни и Бога своего купилъ, тотъ не можетъ не ненавидѣть людей!... О, его Богъ очиститъ душу отъ людскихъ слѣдовъ, его Богъ дастъ ему холодную пустыню такого одиночества, гдѣ будетъ только онъ и Богъ, только „я“ и Богъ, слитые въ одно нечеловѣческое пониманіе, въ одну нечеловѣческую любовь, гдѣ имя „человѣкъ“ будетъ вычеркнуто и проклято навѣки, гдѣ будетъ высокая башня надъ жизнью и въ ней—смерть отъ людей, во имя спасенія!...

Все человѣческое должно быть преодолѣно—таковъ долженъ быть его лозунгъ... И любовь къ человѣчеству должна быть направлена на самого себя... И только, когда человѣкъ возлюбитъ себя какъ Бога, возлюбитъ до опьяненія, до безумія, до самодурства, тогда только въ видѣ подачки онъ можетъ одарить ближняго своего, любовью-ли, состраданьемъ-ли, не все ли равно?... Лишь бы только ближній чувствовалъ, что это не столько любовь, сколько подачка, лишній, ненужный лучъ великой, безмѣрной любви къ самому себѣ!...

Версиловъ—этотъ „бабій пророкъ“, какъ его называютъ, этотъ религіозный аристократъ, увѣровавшій во Христа ради презрѣнія къ людямъ—такъ понятенъ нашему сердцу! Его вѣра, его утонченная „игра“ и надоѣла намъ въ достаточной мѣрѣ, и все-же обаятельна, такая вѣра вполнѣ намъ по силамъ... Другой и не знаемъ.

Это о немъ Васинъ очень вѣрно сказалъ (и не только о немъ, но о многихъ изъ насъ): „Это—очень гордый человѣкъ, а многіе изъ очень гордыхъ людей любятъ вѣрить въ Бога, особенно нѣсколько презирающіе людей... Тутъ причина ясная: они выбираютъ Бога, чтобъ не преклоняться предъ людьми; разумѣется, сами не вѣдая, какъ это въ нихъ дѣлается; преклоняться предъ Богомъ не такъ обидно. Изъ нихъ выходятъ чрезвычайно горячо вѣрующіе—вѣрнѣе сказать, горячо желающіе вѣрить, но желанія они принимаютъ за самую вѣру...“*).

Но самая любопытная черта и версиловской вѣры, и нѣкоторыхъ нашихъ неохристіанъ—это полнѣй-

*) Подростокъ.

шее отсутствіе любви къ ближнему... Главная заповѣдь Христова ими отвергнута... Они пожалуй—кое-что другое изъ заповѣдей согласны принять, но эту обходятъ молчаніемъ, эта имъ не по нутру. И въ этомъ тоже есть нѣкая тайна... И тайна Достоевскаго, и тайна современнаго религіознаго сознанія... Послѣднее хоть сквозь Ницше прошло, а кто сквозь Ницше прошелъ—тому ужъ слишкомъ мудрено полюбить ближняго... Ну, а Достоевскій, безъ Ницше—пришелъ къ христіанству безъ ближняго... И это потому, что какъ тамъ, такъ и здѣсь вѣра не на ближнемъ строилась, а на своемъ „я", на своемъ страданіи собственномъ, на своей подпольной гибели... Страданіе бездонное научаетъ не любить ближняго, или же любить въ ближнихъ свое только страданье, что одно и тоже...

Удивительная особенность, любопытнѣйшая!... Они отъ злобныхъ замысловъ сатаны какъ будто уже спаслись, а вся ихъ вѣра молитъ въ душѣ, чтобы не было видно лица человѣческаго! Ибо покажется лицо человѣческое—и вся любовь къ ближнему пропала... И, несмотря на всѣ свои христіанскія качества—чувствуешь безмѣрную, непреодолимую ненависть къ человѣку!... Это одна изъ самыхъ любимѣйшихъ мыслей Достоевскаго. Она проходитъ сквозь все, имъ написанное. И въ ней ключъ къ пониманію этой самой больной, самой изуродованной, самой несчастной души изъ всѣхъ подобныхъ душъ!

„Я никогда не могъ понять, какъ можно любить своихъ ближнихъ"—признается однажды Достоевскій устами Ивана Карамазова—„именно ближнихъ-то по-моему, и невозможно любить, а развѣ лишь дальнихъ. Чтобы полюбить человѣка надо, чтобы онъ

спрятался, а чуть лишь покажетъ лицо свое—пропала любовь"*).,. Въ другомъ мѣстѣ находимъ подобное же признаніе, еще больше замѣчательное: „Въ отвлеченной любви къ человѣку любишь всегда почти одного себя"**)...

Версиловъ въ этомъ отношеніи очень откровенъ, когда говоритъ подростку объ этой же любопытной чертѣ своего міросозерцанія, и вмѣстѣ съ тѣмъ—подоплека его религіозной „игры" какъ нельзя лучше обнаруживается въ этомъ же признаніи: „Любить своего ближняго и не презирать его—невозможно. По моему, человѣкъ созданъ съ физическою невозможностью любить своего ближняго. Тутъ какая то ошибка въ словахъ съ самаго начала, и „любовь къ человѣчеству" надо понимать лишь къ тому человѣчеству, которое ты же самъ создалъ въ душѣ своей (другими словами, себя самого создалъ и къ себѣ самому любовь) и котораго, поэтому, никогда и не будетъ на самомъ дѣлѣ"...***).

Сколько знакомаго въ этихъ словахъ!... Кажется, что ихъ произнесъ кто-то еще недавно, кажется, что ихъ вычиталъ всего только на дняхъ, у какого-нибудь изъ нашихъ „неохристіанъ". Здѣсь и холодный мэонизмъ Минскаго съ его черствой проповѣдью эгоизма, здѣсь и вопль Мережковскаго „не могу я, о Боже, своихъ ближнихъ любить", и Бердяевское отдѣленіе религіи отъ этики, и многое, многое другое —такое близкое, такое понятное, такое знакомое... И въ этомъ признаніи весь Версиловъ—этотъ одинъ изъ неудавшихся нашихъ христіанъ, этотъ „бабій про-

*) Братья Карамазовы.
**) Идіотъ.
***) Подростокъ.

рокъ“ со своими веригами и безумною страстью къ „фатуму“, со своей скептической философіей и „дворянской тоской“...

Эта „дворянская тоска“ все же напоминаетъ еще, что Версиловъ русскій, иначе мы бы приняли его за какого-нибудь француза... Дворянская тоска, бросающая его изъ одного мѣста въ другое, заставляющая думать о концѣ міра, приводящая къ необходимости увѣнчать свою эсхатологическую идею явленіемъ всепрощающаго Христа, эта полу-мистическая любовь къ трактирщикамъ съ „Лючіей“, къ русскому народу, эта его безумная страсть, выходящая за предѣлы жизни— все это говоритъ, что предъ нами снова излюбленный Достоевскимъ символъ русской души, русской интеллигенціи, русской культуры!

И въ немъ же—два человѣка, двѣ стихіи, два начала. На этой двойственности современное религіозное сознаніе основало свою вѣру, оно стремится къ синтезу этихъ двухъ началъ—божескаго и демоническаго, чувственнаго и небеснаго, свѣтлаго и мрачнаго, оно стремится къ невозможной гармоніи, къ сочетанію, къ слитію того, что по своей природѣ— несливаемо и несоединимо, что именно для того и существуетъ въ непримиримыхъ контрастахъ, чтобы вѣчно представлять неразгаданную загадку разъединенныхъ частей, чтобы вѣчно мучить трагедіей земли и неба...

Эта трагедія не только плоть и кровь Достоевскаго, она—содержаніе современной души. Но въ то время, какъ у него была геніальная сила пребывать въ трагедіи и творить изъ нея, у современныхъ Версиловыхъ только одно умственное пониманіе выхода изъ трагедіи, и оттого, что оно умственное, оттого,

что мертва душа и мертва вѣра—нѣтъ никакого творчества, нѣтъ никакого „дерзанія“, никакого фанатизма, никакой увѣренности!

Среди мертвой пустыни религіознаго одиночества все грезится страшный всадникъ на бѣломъ конѣ, и духъ потерялъ свои крылья, и скоро поймутъ, что полетъ и безуміе недоступны и въ корнѣ убиты „культурой“...

И въ глубинѣ своей, въ одиночествѣ,—душа можетъ уже не стыдиться своего признанія:

Мы—тихіе,—въ себѣ стыдимся Бога,
Надменные—мы тлѣемъ, не горя...
О, страшная и рабская дорога!
О, мутная, послѣдняя заря!

X.

...Одному лучше—потому что, когда одинъ—я съ Богомъ.

...Что такое Богъ для меня? Боюсь ли я Его? Нисколько. Что Онъ накажетъ? Нѣтъ. Что Онъ дастъ будущую жизнь? Нѣтъ. Что Онъ меня питаетъ? Нѣтъ. Что черезъ Него существую, созданъ? Нѣтъ.

Такъ что же Онъ такое для меня?

Моя вѣчная грусть и радость Особенная, ни къ чему не относящаяся. Такъ не есть ли Богъ „мое настроеніе"?

Мой Богъ—особенный. Это только *мой* Богъ, и еще ничей. Если еще „чей нибудь"—то этого я не знаю и не интересуюсь.

Мой Богъ—безконечная моя интимность, безконечная моя индивидуальность. Интимность похожа на воронку, или даже двѣ воронки. Отъ моего „общественнаго я" идетъ воронка, съуживающаяся до точки. Черезъ эту точку—просвѣтъ, идетъ только одинъ лучъ: отъ Бога. За этой точкой другая воронка, уже не съуживающаяся, а расширяющаяся въ безконечность: это Богъ, „Тамъ—Богъ". Такъ что Богъ: и моя интимность, и безконечность, въ коей самый міръ—часть...

В. Розановъ.

Въ то время, какъ Версиловъ все же человѣкъ и человѣческое въ немъ выступаетъ наружу,—Кирилловъ почти нереаленъ. Кирилловъ—одна мысль, одна идея, одинъ символъ. И какая идея и какой сим-

волъ! Изъ подземелій міра Достоевскаго, взорвавшись какъ динамитъ, вырвалась эта мысль и зажгла все зданіе, и уже казалось—вспыхнетъ все, въ багровомъ заревѣ исчезнетъ вся жизнь, и только безуміе и хаосъ воцарятся на пепелищѣ... До такого своеволія, до такого безумнаго бунта никто тогда еще не додумывался, да и теперь весь Ницше, Штирнеръ и имъ подобные пасуютъ передъ Кирилловымъ... Ибо и Ницше, и Штирнеръ—все же *только* философы и все ихъ отрицаніе построено на отлично стилизованной логистикѣ, а Кирилловъ—это огонь, вспыхнувшій изъ раны страданья Достоевскаго, это само подлинное безуміе, поднявшееся изъ подпольнаго рабскаго униженія и изуродованности, это бунтъ самоуниженнаго духа, бунтъ человѣка, взявшаго на себя непосильное бремя и такъ подъ нимъ надорвавшагося что невмоготу стало,—и человѣкъ вдругъ сбросилъ ярмо, отшвырнулъ взятый на плечи крестъ страданья, изъ душной тюрьмы своей поднялся и полетѣлъ, и полетъ былъ отчаянный: поднялся надъ высочайшими зданіями міра, на орлиныхъ крыльяхъ своихъ взлетѣлъ въ высоту безмѣрную,—и маленькимъ показался міръ, и бросилъ оттуда міру свой вызовъ безумный, и „новую страшную свободу свою“ позналъ!..

Только рабская униженность, только подпольныя подземелья, только безысходная, звѣриная боль могутъ родить подобную идею—геніальнѣйшую до сумасбродства, отчаяннѣйшую изъ всѣхъ отчаянныхъ идей въ мірѣ, самую ядовитую и губительную, какія только выдумывалъ человѣкъ!

И каково было это страданіе, если человѣкъ во имя освобожденія отъ него додумался до подобной

идеи, и какова была боль отъ жизни, если ради избавленія отъ нея онъ пришелъ къ самоистребленію самой своей сущности!..

Въ этой идеѣ чуствуется, что страданье дошло до предѣльной черты—дальше идти нельзя, дальше долженъ наступить конецъ страданію и освобожденіе, дальше вынести муку сможетъ одинъ лишъ Богъ... И эта идея, какъ и всѣ его идеи—изуродованная идея. И въ этомъ весь ея ужасъ, и вся ея сила...

Весь міръ жилъ идеями простыми. Достоевскому нужно было сначала изуродовать самого себя, свою душу, чтобы родить идею,—и сама идея—больная и палящая жаломъ безумія, и подойдешь къ ней—обожжешься весь и сгоришь... Губительный смерчъ огненно-жуткихъ идей идетъ отъ этого человѣка. И недаромъ онъ страдалъ, не напрасно надрывался:—всеистребляющее, страшное пламя горитъ въ его творчествѣ, отражаясь зловѣщими тѣнями въ вѣчности! Кровавой цѣной купилъ онъ безсмертіе свое!

Каторжныя тяжести нужно было вынести, чтобы родить Кириллова. Кирилловъ—это отчаянный вопль выбившагося изъ силъ человѣка, котораго придавила тяжесть креста. Только раздавленному страданіемъ человѣку, у котораго вышибли духъ—можетъ придти въ голову подобная идея, только умирающіе въ бреду хватаются за тѣнь обманчивую, чтобы спасти свою жизнь. Но тѣнь не спасаетъ. Но смерть неминуема...

Кирилловъ хотѣлъ разрушить жизнь не потому только, чтобы заявить своеволіе и потому, что Бога нѣтъ (Бога онъ чувствовалъ), а *больше потому, что жизнь есть боль и страхъ и Богъ есть боль страха смерти!..* Кирилловъ ужаснулся, что нѣтъ выхода

изъ лабиринта страданья, его Достоевскій привелъ къ выводу, что только болью и страхомъ можетъ жить человѣкъ, что свободы нѣтъ и не можетъ быть на землѣ, ибо свобода уничтожаетъ страданье, а жизнь только въ страданьи... Человѣкъ осужденъ на вѣчное рабство, и если даже дать ему свободу, онъ тотчасъ же попросится обратно въ ярмо, ибо нечѣмъ ему будетъ жить, ибо задохнется онъ въ свободѣ своей... И чѣмъ больше страха и боли, тѣмъ больше возможности жить. И ради того, чтобы не оскудѣвалъ источникъ жизни,—человѣкъ идею распятья долженъ поставить во главу угла...

Страданіе и боль, страданье и смерть—вотъ основа жизни. Кирилловъ пошелъ противъ этой основы. Онъ понялъ, что не можетъ человѣкъ больше выносить этого, что нужно пойти противъ этой основы во имя свободы, радости и безпечальной жизни, что нужно заявить своеволіе, разрушить всѣ законы, разрушить Бога, разрушить землю во имя торжества человѣческой свободы, во имя гибели страха, страданья и смерти.

„—Жизнь есть боль, жизнь есть страхъ, и человѣкъ несчастенъ. Теперь все боль и страхъ. Теперь человѣкъ жизнь любитъ, потому что боль и страхъ любитъ. И такъ сдѣлали. Жизнь дается теперь за боль и страхъ, и тутъ весь обманъ. Теперь человѣкъ еще не тотъ человѣкъ. Будетъ новый человѣкъ, счастливый и гордый. Кому будетъ все равно жить или не жить, тотъ будетъ новый человѣкъ. Кто побѣдитъ боль и страхъ, тотъ самъ богъ будетъ... А тотъ Богъ не будетъ*).

*) Бѣсы.

Но для того, чтобы осуществить свое своеволіе, Кириллову пришлось убить самого себя. Въ актѣ самоубійства, имѣющемъ цѣлью нарушеніе закона жизни — по его мнѣнію можетъ только заключаться торжество свободы человѣкобога... Убить себя—это для Кириллова значило убить Бога и законъ страха и смерти. Убить себя только ради того, чтобы убить, убить себя безъ чувства страха, но съ чувствомъ торжества своего и издѣвательства надъ Богомъ—это для него значило купить „новую и страшную свободу свою".

Мысль конечно сумасбродная, но если вдуматься въ нее—она бездонно глубока, и не столько сама мысль и исполненіе ея, а сколько та причина, которая привела къ ней—бездонна... Кирилловъ хоть и убилъ себя, но въ сущности онъ убилъ себя во имя торжества жизни, во имя освобожденія человѣка отъ страха и боли смерти, во имя новой свободы, во имя радости и безсмертія...

Человѣкобожество Кириллова направлено на уничтоженіе страданія и смерти, а не самой жизни, которую онъ безмѣрно любитъ, такъ любитъ, какъ никто изъ смертныхъ, въ которой онъ видитъ единственную цѣль и спасеніе, и смыслъ. Подвигъ Кириллова есть подвигъ во имя вѣчности жизни, во имя безсмертія человѣка, во имя радости и торжества реализма, въ немъ „кошачья жажда жизни" Достоевскаго получила яркое выраженіе.

Идея Кириллова потому и геніальна, что она возстаетъ противъ закона смерти и страданья. И потому и сумасбродна, что для торжества ея понадобился тотъ самый ужасный и безсмысленный фактъ смерти, противъ котораго она возникла. Хотя это

сумасбродство не такъ ужъ просто, какъ это кажется на самомъ дѣлѣ.

Идея Кириллова—самая жизненная и живоносная идея во всемъ творчествѣ Достоевскаго. Идея эта направлена къ обожествленію человѣческой природы. Она самая языческая и самая богохульная. Но именно благодаря этому—она геніальна. Кирилловъ любитъ жизнь жадной и звѣрской любовью, потому что кромѣ жизни—нѣтъ для него ничего. Жизнь есть самоцѣль. Жизнь есть единственная реальность. Богъ есть отрицаніе жизни. Богъ—невыносимая мука и боль. Человѣкъ — единственный царь жизни и природы, потому что въ немъ—полнота жизни, въ немъ идея безсмертія, въ немъ—радость. Отсюда такая жадная любовь къ человѣку, отсюда такая жажда упиться каждой минутой, ибо въ минутѣ—вѣчность; упиться созерцаніемъ, чувственнымъ, молитвеннымъ созерцаніемъ животнаго, ибо въ животномъ—вся жизнь, весь богъ, весь міръ...

— „Ужъ не вы ли лампадку зажигаете?

— Да, это я зажегъ.

— Увѣровали?

— Старуха любитъ, чтобы лампадку... а ей сегодня некогда—пробормоталъ Кирилловъ.

— А сами еще не молитесь?

— Я всему молюсь. Видите, паукъ ползетъ по стѣнѣ, я смотрю и благодаренъ ему за то, что ползетъ“...

Для Кириллова смерти нѣтъ, для него все—жизнь. Идея смерти для него ужасъ, который онъ убилъ въ себѣ ради торжества вѣчной жизни. Для него вѣчности внѣ видимаго міра, внѣ реальной жизни—не существуетъ. Онъ вѣритъ не въ будущую

вѣчную, а въ здѣшнюю вѣчную жизнь, ибо бываютъ минуты, когда время вдругъ останавливается и минута—вѣчность!... До чего въ немъ развита эта любовь къ жизни! Благодаря ей—этой животной, сладострастно животной любви ко всему живому—онъ дошелъ до умѣнія каждую минуту жизни воплощать въ вѣчность. Въ жизни для него нѣтъ никакихъ ужасовъ, жизнь *вся хороша* до основанія. Все хорошо и все радостно, ибо оно жизнь. Есть только одинъ ужасъ—смерть. А въ жизни *все* хорошо, и не потому хорошо, что хорошо само по себѣ, а потому что въ немъ—жизнь! По истинѣ это „кошачья“ жажда жизни, такой жажды еще не испытывалъ никто...

Это безуміе жизни, это одна ликующая ей осанна! И все оттого, что есть смерть. Если бы смерти не было—было бы равнодушіе къ жизни. Объ этомъ Кирилловъ и не думаетъ.

— „...Видали вы листъ, съ дерева листъ?

— Видалъ.

— Я видѣлъ недавно желтый, немного зеленаго, съ краевъ подгнилъ. Вѣтромъ носило. Когда мнѣ было десять лѣтъ, я зимой закрывалъ глаза нарочно и представлялъ листъ зеленый, яркій съ жилками и солнце блеститъ. Я открывалъ глаза и не вѣрилъ, потому что очень хорошо, и опять закрывалъ.

— Это что же—аллегорія.

— Н-нѣтъ, зачѣмъ?... Я не аллегорію, я просто листъ, одинъ листъ. Листъ хорошъ. Все хорошо.

— Все?

— Все. Человѣкъ несчастливъ потому, что не знаетъ, что онъ счастливъ; только потому. Это все, все! Кто узнаетъ, тотъ сейчасъ станетъ счастливъ,

сію минуту. Эта свекровь умретъ, а дѣвочка останется—все хорошо. Я вдругъ открылъ.

— А кто съ голоду умретъ, а кто обидитъ и обезчститъ дѣвочку—это хорошо?

— Хорошо. И кто размозжитъ голову за ребенка, и то хорошо: и кто не размозжитъ—и то хорошо. Все хорошо, все. Всѣмъ тѣмъ хорошо, кто знаетъ, что все хорошо. Если бъ они знали, что имъ хорошо, то имъ было бы хорошо, но пока они не знаютъ, что имъ хорошо, то имъ будетъ не хорошо. Вотъ вся мысль, больше нѣтъ никакой *...).

Это уже не оптимизмъ. Это молитвенное жизнеобожествленіе. Это языческое поклоненіе жизни, въ которой все божественно, именно потому и божественно, что живо, а не мертво. Это самая безумная защита жизненнаго и человѣческаго. Это—сверхчеловѣческая жажда жизни, почти граничащая со смертью...

Кириловъ именно изъ тѣхъ, которые надрываются въ любви къ жизни. Его самоубійство—это надрывъ жизненной энергіи. Его смерть—это торжество вѣчной реальной, земной, животной жизни. Его человѣкобожеская идея—есть ни что иное, какъ возстаніе противъ смерти и страданія во имя сохраненія жизни, радости и животнаго начала. Его индивидуализмъ тѣмъ и узокъ, что дальше человѣческаго не идетъ и тѣмъ и безуменъ, что во имя жизни человѣкъ становится богомъ, и не потому, что Бога нѣтъ и что Онъ ненуженъ, а потому что Онъ есть смерть и страхъ. А заявить своеволіе и низвергнуть Бога—значитъ убить смерть и страхъ и самому стать

*) Бѣсы.

богомъ, центромъ вселенной, вѣчно ликующимъ, безсмертнымъ и гордымъ.

Бунтъ Кириллова есть защита человѣка не отъ Бога, а отъ страха и смерти, разрушающихъ жизнь. Онъ отвергаетъ Бога не потому, что Онъ не нуженъ, а потому что Онъ есть страхъ смерти, которой нѣтъ и быть не должно, ибо все—жизнь. Во имя жизни, которая должна быть прекрасна и вѣчна, возстаетъ противъ Бога Кирилловъ. И его индивидуализмъ есть не богохульство и антирелигіозность, а обожествленіе человѣка и человѣческаго, возведеніе человѣка на пьедесталъ, *гомотеизмъ*.

Когда я думаю объ интереснѣйшемъ русскомъ религіозномъ мыслителѣ—В. В. Розановѣ—мнѣ часто приходитъ на умъ сравненіе его міросозерцанія съ Кирилловской идеей человѣкобожества. Въ самомъ дѣлѣ—вѣдь они оба сходятся въ одномъ пунктѣ—въ безумномъ дерзаніи противъ смерти во имя торжества и святости человѣка. Только дерзаніе Кириллова разрѣшилось сумасброднымъ актомъ самоубійства, а Розановъ дерзнулъ еще дальше: онъ заявилъ своеволіе свое священнымъ гимномъ, обоготворяющимъ и человѣка, и природу, онъ тоже понялъ, что „все хорошо“ и все—свято, онъ тоже завопилъ противъ страданья и смерти, онъ тоже возвелъ человѣка на тронъ и заявилъ, что въ немъ все—божественно, вплоть до слюны и пищеваренія!...

И это все—въ самое пессимистическое время умирающаго христіанства, и въ самомъ сердцѣ христіанства, изъ котораго онъ родился и въ которомъ пребываетъ, ибо что бы ни говорили, а Розановъ отъ христіанства неотдѣлимъ, даже въ самомъ своемъ бунтѣ противъ Христа и церкви—неотдѣлимъ!

Розановъ самый яркій, самый крайній индивидуалистъ въ настоящее время въ Россіи. И индивидуалистъ не повисшій надъ бездной, но удержавшійся надъ ней. Розановъ тѣмъ и силенъ въ своемъ дерзаніи, что это дерзаніе, какъ равно и весь его бунтъ—всецѣло религіозны. Это, можетъ быть, единственный бунтовщикъ не-атеистъ и не „отрицатель“ (въ пошломъ смыслѣ этого слова), а настоящій религіозный человѣкъ, и именно благодаря этому—особенно опасный для христіанства и особенно даровитый...

Его любятъ сравнивать съ Ницше, но это сравненіе крайне поверхностно: Ницше не могъ вынести своего бунта, потому что послѣдній былъ насквозь раціоналистиченъ и потому что сверхчеловѣкъ оказался фикціей, разсыпавшейся въ прахъ. Розановъ же въ собственномъ бунтѣ находитъ источникъ жизни. Онъ тѣмъ и безстрашенъ, что его идея чисто религіозна. Ницше же весь вышелъ изъ Вольтера. Ницше изсушила его философія, онъ былъ безсиленъ передъ жизнью, и Христосъ побѣдилъ „сверхчеловѣка“ именно потому, что послѣдній былъ беззащитенъ и весь составленъ изъ однихъ философскихъ терминовъ... Ницше даже не понималъ Христа... Розановъ дерзнулъ именно тѣмъ, что въ самомъ обыденномъ, въ самомъ животномъ, въ самомъ человѣческомъ нашелъ свою святыню и открылъ въ ней глубочайшую тайну. Розановъ пошелъ противъ Христа именно потому, что открылъ въ христіанствѣ такія тайны, которыя еще не открывались ни одному мыслителю въ мірѣ (ибо Ницшевская критика христіанства есть только арифметика), и именно благодаря этимъ тайнамъ онъ понялъ, что Христосъ—боль и страхъ, что Христосъ—очарованіе

смерти,—и бунтъ учинилъ, и освятилъ человѣка за его животность, которая должна быть вѣчна и которая одна только и спасаетъ отъ смерти...

Кирилловъ пошелъ противъ боли и страха во имя человѣка, во имя освященія человѣка. Розановъ хотѣлъ бы истребить самую идею смерти во имя вѣчной жизни, не будущей, а настоящей. Для Розанова такъ же, какъ и для Кириллова—смерти нѣтъ, а есть одна жизнь. Розановъ—это самое „живое мѣсто“ въ русскомъ организмѣ, это какой-то вулканъ, изъ котораго вѣчно извергается огнедышащая лава жизни, среди нашего пессимистическаго времени онъ кажется ничѣмъ необъяснимымъ архаизмомъ... Но вмѣстѣ съ тѣмъ—онъ зловѣщій признакъ: только передъ концомъ міра можетъ явиться такой безумный апологетъ жизни во имя самой жизни. Въ самомъ его превозношеніи животности и полового инстинкта кроется что-то ужъ слишкомъ болѣзненное, какая-то выходящая изъ рамокъ человѣческаго—жажда, какая-то надорванная животная сила, почти граничащая со смертью, какъ и у Кириллова...

Кирилловъ во имя жизни разрушилъ идею Бога, пошелъ противъ Бога и былъ самъ уничтоженъ. Розановъ, хотя и идетъ противъ Христа, но онъ питается Богомъ, Богъ разлитъ у него во всей природѣ. Богъ у него въ полѣ, въ растеніяхъ, въ животныхъ, онъ чувствуетъ эту почти чувственную Божью реальность и питается ею. Идетъ противъ Христа, въ бунтѣ своемъ достигаетъ утонченнѣйшихъ безднъ, но безъ Христа жить не можетъ,—и въ этомъ его сила. Вооружается противъ христіанства, называетъ его скопческой религіей, религіей смерти, и вмѣстѣ съ тѣмъ—по натурѣ своей истинный хри-

стіанинъ, почти единственный *искренній* христіанинъ въ наше время,—и въ этомъ его особенность, въ этомъ его сложность...

Все, что человѣческое, все, что является источникомъ жизни—священно. Вотъ любимая мысль Розанова. Эту мысль носило *безсознательно* въ себѣ язычество. Язычество внѣ жизни не могло найти даже кумира себѣ. Язычество обожествляло кошекъ, крокодиловъ, быковъ, потому что кромѣ жизни для него не могло быть ничего святого. Язычество—это колыбель человѣчества и его радостная, безмятежная, младенческая заря. Въ немъ полъ былъ такъ же священенъ какъ и идолы (культъ фаллуса), въ немъ не было стыда, ибо все было радостно именно дѣтской радостью, радостью невинности. И даже извращенность въ язычествѣ была почти священна. И мало была вѣдома скорбь... Христосъ—это одна скорбь, это прорывъ сквозь смерть въ вѣчность, это распятье и страданье. Христосъ нарушилъ животную радость, онъ влилъ въ душу сладкую отраву смерти... „Во Христѣ прогорькъ міръ".

Таковы главные тезисы Розановскаго бунта противъ христіанства. Онъ развиваетъ ихъ геніально, онъ еще заставитъ глубоко призадуматься мудрецовъ міра сего надъ христіанской идеей. И въ этомъ отношеніи Розановъ—язычникъ въ полномъ смыслѣ слова, не меньшій, чѣмъ Юліанъ Отступникъ... Но Розановъ *язычникъ въ христіанствѣ*—и въ этомъ его особенность, въ этомъ же и его трагедія. Онъ не можетъ выйти за предѣлы христіанства, отрицая его и вооружаясь противъ него, и эта невозможность почти что физическая... Онъ не можетъ отвергнуть Христа, окончательно отречься отъ Него во имя пола и семьи,

для него Христосъ не только высшая красота, но также и высшее чудо. Язычество и христіанство въ Розановѣ слиты неотдѣлимо, это два міра, два полюса его души.

Розановъ уловилъ „брачный ритмъ“ жизни, у него все зарождается изъ брака. У него даже религія есть бракъ человѣка съ Богомъ. И отъ самой церкви онъ отшатнулся именно потому, что въ ней таинство брака неразвито и не получило такого расцвѣта, какъ другія таинства. Розановъ хотѣлъ бы проникнуть черезъ полъ къ самой главной святынѣ міра, которая еще не открыта. Для него не существуетъ чуда внѣ пола. Для него полъ—единственное чудо... Поистинѣ—весь Розановъ это реакція противъ двухтысячелѣтней безполости міра въ христіанствѣ, противъ скопчества и аскетизма въ христіанствѣ, онъ—бѣшеный взрывъ замученной природы въ цѣпяхъ христіанства, онъ, можетъ быть—единственный вѣстникъ жизни въ наше мертвое время... Въ то время, какъ всѣ устали и всѣ мертвы, онъ живетъ, клокочетъ, горитъ, волнуется, раздувая пламя свое, и что то не русское, языческое, іудейское есть въ этомъ его суетливомъ желаніи насытиться до краевъ жизнью...

Въ наше время въ Россіи не умѣютъ, не хотятъ, не могутъ жить, драгоцѣнная влага жизни расплескивается раньше времени и никто ею не дорожитъ. И только Розановъ суетится около чаши жизни, дрожитъ, когда проливается капля, ему бы хотѣлось, чтобы чаша эта была бездонна, ему хотѣлось бы собрать въ нее всѣ живительные соки, всѣ силы, всѣ сѣмена міра и захлебнуться, припавъ къ ней, и пить жадно, пить не такъ, какъ всѣ, а какъ нибудь осо-

бенно, причмокивая, закрывая глаза въ блаженствѣ, вѣчно замирая въ неоскудѣвающей жаждѣ, вѣчно радуясь и по дѣтски ликуя, чтобы это носило характеръ чего-то священнаго, праздничнаго, литургическаго, чтобы въ гимнахъ своихъ, въ экстазѣ жажды, въ самомъ процессѣ этомъ—забыть, что есть, что будетъ дно, забыть, что существуетъ смерть!

Я сказалъ, что Розановъ проникъ въ сокровеннѣйшія тайны христіанства. Именно въ этомъ-то и заключается его заслуга и особенность его таланта. И въ этомъ отношеніи его нужно признать *единственнымъ*: есть талантливые историки христіанства, изслѣдователи, критики, но нѣтъ ни одного тонкаго и проникновеннаго его психолога, который бы, отрѣшившись отъ мѣшающей въ данномъ случаѣ научности—вскрылъ бы передъ нами основные, невидимые нервы христіанства, о которыхъ никто не имѣетъ понятія, но которые открываютъ такія истины и даютъ возможность проникнуть въ такія бездны, куда еще не заглядывалъ ни одинъ человѣкъ. Розановъ именно такой психологъ. Онъ годами вынашивалъ свое знаніе о христіанствѣ, онъ постигъ это знаніе не при помощи науки, длиннѣйшихъ и скучнѣйшихъ размышленій и диссертацій, а исключительно посредствомъ своей врожденной интуиціи, интуиціи художника, интуиціи геніальной. Интуиція—вотъ главное оружіе Розановской критики, вотъ главная особенность его творчества. Это именно та интуиція, которую имѣетъ въ виду Бергсонъ, интуиція ощупью схватывающая то ускользающее, скрытое за семью печатями, сокровенное въ вещахъ, ту почти мистическую ихъ реальность, которую невозможно схватить посредствомъ разума, которая находится по ту сторону всякой науки

и которую постичь научнымъ образомъ нельзя. Бергсонъ далъ замѣчательно исчерпывающее опредѣленіе подобной интуиціи въ слѣдующихъ словахъ: „интуиція есть родъ интеллектуальнаго вчувствованія или симпатіи, посредствомъ которой мы проникаемъ во внутрь предмета, чтобы слиться съ тѣмъ, что въ немъ есть единственнаго и слѣдовательно, невыразимаго“ *).... Но, понимая весь секретъ подобнаго дара интуиціи, сознавая, что послѣдняя должна быть внѣ-научна или вѣрнѣе сверхнаучна и что она должна даже идти противъ знанія,—Бергсонъ однако не могъ пойти по пути чистаго интуитивнаго знанія, ему дорогу преградила научность и его интуиція въ сущности не геніальная и не художественная, а чисто научная и даже узко-научная, и хотя она у него претендуетъ на знаніе безъ символовъ, но въ сущности онъ безъ нихъ обойтись не можетъ, и въ этомъ цѣпь противорѣчій его философской системы, которая не столько интуитивна, сколько чисто научна... И въ этомъ отношеніи Розанова нужно признать куда геніальнѣе Бергсона: Розановъ владѣетъ въ совершенствѣ именно тѣмъ даромъ чисто художественной, геніальной интуиціи, вскрывающей корни вещей посредствомъ „вчувствованія и симпатіи“, который совершенно отсутствуетъ у Бергсона по причинѣ перевѣса научности въ его философіи надъ интуиціей... Философія Розанова—это художественное творчество, руководствующееся тайной интуиціи, интуиціи именно внѣ-символической, какъ бы обходящей слова, какъ бы въ словахъ ненуждающейся, ибо слова Розанова—особенныя слова, сокровенныя, это какъ бы нѣжная поверхность плодовъ, внутри

*) Анри Бергсонъ. Введеніе въ метафизику.

которыхъ заключается драгоцѣнная влага жизни, и языкъ Розанова—не словесный и слова уничтожающій, это не мысленный языкъ, а языкъ чувствъ и переживаній...

Розанову понадобились многіе годы для того, чтобы придти послѣ ариѳметики христіанства, которая понятна всѣмъ и которую знаютъ всѣ—къ логариѳмамъ христіанства и къ его высшей математикѣ—знанія сокровеннаго, мало кому доступнаго, о которомъ не каждый имѣетъ понятіе...

Розановъ—примѣрный христіанинъ, любящій церковныя богослуженія, лампадки, иконы и акафисты какой-то чувственной любовью, Розановъ, торопливо крестящійся на молебнахъ, „мелкими, частыми крестиками“ *), Розановъ—консерваторъ и сотрудникъ „Новаго Времени“—именно благодаря своей геніальной интуиціи, является опаснѣйшимъ и мудрѣйшимъ критикомъ христіанства...

Онъ сумѣлъ подкопаться подъ основы христіанства, сумѣлъ увидѣть, на чемъ оно стоитъ—и ужаснулся, и принялся вопить объ этомъ во всеуслышаніе, сталъ надрываться надъ своими открытіями, потому что христіанство направлено именно противъ того, что для него составляетъ святыню, потому что Христосъ и полъ несовмѣстимы и потому, что несовмѣстимы—онъ вѣчно мучается и вѣчно страдаетъ, ибо не можетъ жить и безъ Христа, и безъ пола.

---

*) „Точно такъ же онъ крестится, когда во время домашняго молебна, старенькій, сѣденькій батюшка Всѣхъ Скорбящихъ подымаетъ Владычицу на руки, а Василій Васильевичъ, по древнему народному обычаю, для полученія наибольшей благодати, согнувшись почти до полу, какъ будто на четверенькахъ, пролѣзаетъ подъ иконою“. (Д. Мережковскій. „Революція и религія)“.

Именно этотъ невозможный синтезъ духа и плоти, который мучаетъ Мережковскаго и Бердяева,—является камнемъ преткновенія и для самого Розанова, только у послѣдняго это не философія, а жизнь, самая обыкновенная реальная жизнь—и вотъ почему такой вопль, и такая энергія, и такое живоносное творчество!... Розановъ—философъ, котораго философія неотдѣлима отъ жизни и внѣ жизни немыслима, это философъ древній, это языческій философъ, живущій природой, событіями жизни, мелкими дрязгами, семейною обстановкой и въ нихъ черпающій темы для своихъ размышленій....

Вѣчности для него какъ бы не существуетъ, какъ не существуетъ и будущей жизни, онъ и отъ Христа требуетъ, чтобы Онъ вошелъ въ эти его муравейники и домашніе очаги и слился съ ними, и пребывалъ въ нихъ, и освящалъ плодородіе, и сквозилъ въ любви и въ полѣ, какъ древній Іегова—и это несомнѣнно языческое свойство, и тѣмъ болѣе оно странно, что никто со временъ первыхъ христіанъ не предъявлялъ такихъ требованій ко Христу!.... Розановъ первый задумалъ соединить языческое начало въ человѣкѣ съ христіанскимъ, но мысль эта оказалась сумасбродной, и оттого, что это оказалось несоединимымъ,—онъ особенно нападаетъ и на христіанство и даже на Христа... Оттого, что Христосъ не можетъ освятить пола—Розановъ не можетъ примириться со Христомъ. И не потому, что полъ невозможенъ въ христіанствѣ, а потому что для самого Розанова кромѣ пола и семьи нѣтъ ничего, что бы было важнѣе ихъ, потому что Розановъ—безумный отъ жизни, обожествляющій жизнь и въ ней только видящій свой храмъ, потому что божество Розанова

не Христосъ, а именно та человѣческая плоть, которую преодолѣлъ Христосъ и которая для Розанова замѣняетъ и небо, и ангеловъ, и будущую жизнь!...

Розановъ—злѣйшій врагъ всякаго страданья. Кириловъ разрушилъ міръ въ своемъ сердцѣ именно за то, что въ немъ—боль и страхъ; Розановъ дѣлаетъ разрушительныя нападки на христіанство за то, что оно культивируетъ боль и смерть, за то, что оно идетъ будто бы противъ жизни!... Во имя этой жизни, во имя самого принципа жизни,—Розановъ готовъ отречься отъ Христа... Такой безумной, религіозной любви къ жизни въ Россіи не испытывалъ ни одинъ писатель, такую любовь къ плодородію и къ семьѣ испытываютъ только евреи, и въ Розановѣ много еврейскаго (въ смыслѣ духовномъ). Иногда кажется, что Розановъ смогъ бы жить безъ Христа однимъ своимъ половымъ пантеизмомъ, однимъ очарованіемъ семьи и брака, но къ счастью—это одна только видимость, Розановъ оттого такъ и мучается своимъ бунтомъ противъ Христа. что жить безъ Него не можетъ...

Что же заставило вооружиться его противъ христіанства и навести на свѣтлый и единственный Ликъ Христовъ темную тѣнь несвойственнаго христіанству мрака?... Что побудило этого единственнаго по искренности чувства религіознаго мыслителя, служащаго акаѳисты и молебны—заявить, что Христосъ не жизнь, а смерть міру?... Не кроется ли въ этомъ какое-нибудь недоразумѣніе? Не есть-ли походъ Розанова противъ Христа лишь соблазнъ діавола и сумерки духа, отданнаго въ рабство плоти?... И не сыграла ли эта послѣдняя съ нимъ злую шутку, именно за безумную, крайнюю къ ней любовь и привязанность?...

Вѣдь кто ослѣпленъ, тотъ не видитъ того, что видятъ всѣ...

Христіанство не только побѣдило жизнь, *оно побѣдило смерть,* именно своимъ проникновеніемъ чрезъ нее въ вѣчность оно освятило ее, для христіанства нѣтъ смерти, а есть вѣчная жизнь (конечно не во плоти, а въ духѣ), это знаютъ всѣ, это знаетъ всякій вѣрующій христіанинъ, это должно быть извѣстно и Розанову. Но онъ какъ будто не сознаетъ этой побѣды христіанства надъ смертью, онъ вѣчно доказываетъ, что христіанство есть пессимизмъ и уничтоженіе жизни. И это происходитъ оттого, что для него жизнь существуетъ только во плоти, что смерть для него есть прекращеніе жизни. Но это взглядъ неправильный. Розанова въ этомъ отношеніи нужно признать матеріалистомъ... Но онъ матеріалистъ особенный, мистическій, и плоть для него почти духовна, и полъ для него есть духъ...

Какъ и Кирилловъ, онъ вѣритъ не въ будущую вѣчную жизнь, а въ *здѣшнюю* вѣчную, ему бы хотѣлось, чтобы человѣкъ жилъ на землѣ вѣчно, чтобы онъ рождалъ вѣчно, чтобы наслаждался всѣми радостями вѣчно, смерть для него—гибель, страхъ, прекращеніе пола, именно потому онъ и вооружается противъ смерти... Но это—наивный матеріализмъ, это не-христіанское пониманіе смерти, а языческое... Для Розанова какъ бы не существуетъ въ человѣкѣ духа, духъ весь для него воплотился въ полъ, и будь безсмертенъ полъ, будетъ безсмертенъ и человѣкъ, ибо внѣ пола ничего нѣтъ. Полъ есть духъ, талантъ есть страсть, какъ и вдохновеніе есть страсть, кромѣ семейной жизни не можетъ быть другого идеала. И нѣтъ жизни внѣ плодородія. Плодородіе есть вѣч-

ность и только въ немъ—залогъ безсмертія. Конечно, въ данномъ случаѣ христіанство можетъ казаться религіей скопческой и смертоносной, а Христосъ—мракомъ. Но виноватъ въ этомъ отнюдь не Христосъ и не христіанство, а самъ Розановъ и его наивный матеріализмъ!

Христіанство не есть мракъ и не есть смерть, это ясно. Оно тѣмъ и сильно, что побѣдило смерть, что даровало душѣ безсмертіе, что освятило весь міръ страданьемъ, и въ страданьи этомъ его главная радость и немеркнущій свѣтъ... Но Розанову христіанство потому кажется мрачнымъ и пессимистическимъ, что онъ видитъ жизнь только въ полѣ, потому что онъ боится страданья и не принимаетъ его, потому что страданье ему чуждо и въ немъ онъ видитъ одинъ только мракъ... Во имя радостной, животной, безпечальной, сытой, безболѣзненной жизни онъ отвернулся отъ Христа. Ему, какъ и Кириллову, Христосъ кажется какою-то сплошною болью, какою-то невыносимою серьезностью, исключающею всякую улыбчивость, и смерть для него страшна и невыносима... Что-то безстыдно жизненное, фанатически жизненное кроется въ этомъ отношеніи Розанова къ христіанству. Это именно „человѣческое—слишкомъ человѣческое“... Это именно узко—еврейская заботливость, исключающая своимъ душнымъ житейскимъ теплomъ, своимъ на вѣки вѣчныя прикрѣпленнымъ къ землѣ практицизмомъ—всякіе другіе міры, всякую мечту, всякое дыханіе вѣчности... Еврейство—это закрѣпощеніе человѣка землѣ, это страшное земное царство, царство сытаго и довольнаго человѣчества, это микробъ торжествующей животности и раціонализма, это—точка, въ которой духъ уничтожается и

замѣняется плотью... Розановъ именно приближается этой своей стороной къ библейской религіи плодородія и семьи—и именно этотъ библейскій духъ, эта іудейская зараза—сильно подѣйствовали на міровоззрѣніе Розанова и помѣшали ему оцѣнить христіанство съ другой точки зрѣнія, не плотской, а духовной, не матеріалистической, а метафизической...

Получается одно сплошное недоразумѣніе: Розановъ все время напираетъ на то, что самое опасное мѣсто христіанства заключается въ культивированіи послѣднимъ смерти и страданья, что въ этомъ—гибель жизни и что въ этомъ—смерть. Отсюда выходитъ вся его геніальная метафизика глубинъ христіанства и его фанатическое превозношеніе плоти... Но съ другой стороны—наглядно выступаетъ другая несомнѣнная истина, мимо которой проходитъ Розановъ, истина, что *для христіанства самой смерти то не существуетъ, что христіанство есть вѣчная жизнь, что страданье для христіанства есть могущественная и единственная радость!...* Такимъ образомъ, то, что открылъ Розановъ въ христіанствѣ, имѣетъ разрушительную силу и опасность только для самого Розанова, съ точки же зрѣнія христіанства оно не только не опасно и не губительно, но составляетъ его незыблемую и нерушимую твердыню, въ которой залогъ его вѣчной побѣды и торжества!

Самая же боязнь смерти и страданья у Розанова чисто языческая, ибо христіанинъ не боится ни смерти, которой для него нѣтъ, ни страданья, которое—радость!...

Языческая идея пола всецѣло заслонила передъ Розановымъ другую истину—чисто христіанскую, ко-

торая ему, какъ апологету жизни и рожденія—совершенно чужда: истину, что *Христосъ смертью побѣдилъ смерть*, что чрезъ распятье Христа міръ получилъ новую радость—радость страданья, которую не промѣняетъ никогда ни на какое сытое благодушіе, ни на какія животныя радости человѣка, прикрѣпленнаго къ землѣ!

Кириллова самая идея распятія Христа ужаснула, ему непонятна была та священная тайна, которая скрывается въ этой идеѣ, ибо онъ ужаснулся фактамъ великой боли. Не могъ примириться съ тѣмъ, что все—боль и что самъ Богъ есть боль, что Христосъ есть освященіе боли... Такого Христа онъ не могъ принять. Ему, какъ Розанову, нуженъ былъ Богъ радостный, Богъ принимающій жизнь безъ боли, и боль уничтожающій... Ему не тайна мучительная была нужна, а вмѣсто тайны простая ариѳметика. Но въ томъ-то и сила и красота Христа, что Онъ *долженъ былъ быть распятъ*, иначе міръ истлѣлъ бы въ полножизненной скукѣ своей. Только изъ страданія рождается истинная жизнь, а тамъ, гдѣ нѣтъ страданія—тамъ Розановскіе идеалы торжествуютъ—тамъ и здоровая жена, и вкусный столъ, и много дѣтей, и благодушіе, и сытость, но тамъ же и простая мѣщанская скука, цѣлый кошмарный міръ скуки, котораго не въ силахъ перенести человѣкъ. Христіанство тѣмъ и велико, что подняло человѣка надъ землей, открыло ему тайну страданія,—и въ тайнѣ этой преобразился человѣкъ—и нѣтъ больше скуки, нѣтъ больше пресыщенія и мѣщанства, а есть нечеловѣческій восторгъ и радость вознесенья, и сладостная боль!.. Христіанство преодолѣло человѣческое—и въ этомъ *все*. Христіанство есть творчество не отъ міра сего, творчество духа... Хри-

стіанство и плоть освятило вознесеніемъ духа. Но для него эта жизнь не цѣль, а лишь средство, сквозь земную тоску виденъ ему чертогъ небеснаго царства...

Розановъ смотритъ на Христа какъ на обыкновеннаго человѣка. Ему досадно, отчего Христосъ не женился и отчего не было у Него дѣтей (!), онъ не можетъ примириться со смертью Христа, съ его добровольнымъ распятіемъ, *это ему чуждо*. Въ своемъ языческомъ ослѣпленіи Розановъ дошелъ до того, что требуетъ отъ Христа человѣческихъ качествъ и вовсе не можетъ понять, что именно съ фактомъ распятія Христа совершилась всемірная великая катастрофа, что не будь этого распятія, міру не было бы чѣмъ жить, что тайна распятія есть также и тайна преображенія. Розановъ восторгается, что творчество есть страсть, что талантъ есть половая сила, что всѣ великія произведенія писались силою страсти, что полъ отъ творчества не отдѣлимъ, но почему же онъ не хочетъ признать, что въ такой же мѣрѣ, если не въ большей—творчество рождается изъ страданія, творчество пропорціонально степени страданья, что все великое, все геніальное создается силою страданія?.. Ему чужда трагическая сторона христіанства, но все великое—трагично. Розановъ хочетъ обезцвѣтить, опошлить міръ, исключивъ изъ него трагическій элементъ, страданье и боль. Розановъ забываетъ, что безъ страданья все свелось бы къ нулю, человѣчество задохнулось бы въ кошмарномъ чаду вкусныхъ обѣдовъ, полнотѣлыхъ женъ и кучъ дѣтей и начало бы само истреблять все это, чтобы получить возможность жизни. Ибо жизнь только въ страданіи и посредствомъ страданія постигается и высшая свобода, и высшая тайна! Розановскій идеалъ святости и безболѣз-

ненности плоти,—въ предѣлахъ жизни, на практикѣ превращается въ самую мѣщанскую комедію пошлости и середины. Онъ можетъ жить іудейскими идеалами сытости и жизненной энергіи, но эта способность дается не каждому и не каждый можетъ ее принять. Въ своемъ отрицаніи страданья Розановъ дошелъ до черты, за которой начинается обыденщина и житейское.

Кириллову кажется, что распявъ Христа—міръ побѣдилъ Его, и значитъ все—обманъ и діаволовъ водевиль. Но это—грубое пониманіе и не вѣрное. Именно потому, что міръ распялъ Христа, онъ былъ побѣжденъ Христомъ, именно только изъ-за одного распятія человѣчество и получило ту новую жизнь, которую ради спасенія своего не промѣняетъ ни на что. Ибо въ страданьи только возможна единственная жизнь.

Но Розанову страшно. Онъ, правда, далекъ отъ Кирилловскаго признанія, что все—діаволовъ водевиль и ложь, но ему страшно и непонятно. Ему страшно, что Богъ распятъ, что Богъ умеръ, онъ, какъ іудеи—требуетъ отъ Бога грознаго величія и непобѣдимости, ему страшно и непонятно то, что само по себѣ трагично и таинственно. Ему непонятно, почему Богъ есть рыданіе и боль, почему боль положена во главу міра, почему безъ боли невозможна жизнь...

„Сущность (христіанства) вездѣ одна—говоритъ Розановъ,—„что мы умираемъ, и боимся, что умираемъ, и не понимаемъ, что такое это, что мы умираемъ, и восторгъ, что „съ нами и за насъ умеръ наконецъ, и Господь". Кончина Бога, Голгоѳа—вотъ невѣроятное случившееся, что и образуетъ зерно,

изъ котораго выросло все христіанство *)... „Господь въ гробу! Какая ужасная тайна! Господь смотритъ на человѣка изъ гроба! Какая тайна, какъ безчувственъ читатель, если онъ не содрагается. Какъ постижимы тогда св. мощи, которыя вѣдь всѣ во слѣдъ Господу благоухаютъ изъ гроба и манятъ насъ къ гробу же. Вотъ, гдѣ родникъ аскетизма, вотъ, гдѣ истинный его родникъ, а не въ словахъ „лучше не жениться“ **)... „И тогда оба явленія, и сонъ и отреченіе, суть только лучи, только частицы одного потрясающаго событія, уже шедшаго въ міръ: *смерти Бога среди людей* и *отъ людей!* Какъ это ужасно! Еще каинство человѣка, еще убитый въ нашемъ дому, на нашемъ полѣ Авель! и какой Авель!“ ***).

Почему ужасно? Почему страшно? Неужели Розанову непонятна та великая *животворящая* сила, которая скрывается именно въ этомъ событіи? Неужели не знаетъ онъ, что не его „полъ“ можетъ спасти міръ и не его ветхій завѣтъ, а именно это распятіе, эта скорбь, эта великая сила страданія? Онъ подходитъ ко Христу съ одной только стороны—человѣческой, и вотъ именно эта ренановская точка зрѣнія мѣшаетъ ему понять, что Христосъ не только человѣкъ, что Христосъ преодолѣлъ человѣческое, что человѣкъ не цѣль въ христіанствѣ, а лишь оболочка духа, лишь переходъ къ другой, высшей жизни, переходъ отъ тѣла къ духу? Конечно, если подходить, ко Христу, какъ къ человѣку—то вполнѣ умѣстенъ и этотъ ужасъ, и этотъ страхъ. Но, можетъ быть, именно въ фактѣ распятія Христосъ пересталъ быть человѣ-

*) Около стѣнъ церковныхъ. т. II, стр. 481.
**) Темный Ликъ, 95.
***) Ibid стр. 4.

комъ и сталъ Богомъ? Можетъ быть, само-то распятье, сама боль не есть ужасъ, а нѣчто священное, и страданье именно потому такъ и желательно, что составляетъ божественный актъ?.. Но Розановъ этого знать не хочетъ, ему невыносимо сознавать въ Богѣ боль, и оттого, что онъ почувствовалъ эту боль во Христѣ, самый Ликъ Христа кажется ему темнымъ и мрачнымъ, онъ хотѣлъ бы, чтобы этотъ Ликъ улыбался той безсмысленной, вѣчной улыбкой, которая у индусскихъ и китайскихъ божковъ... Ему непонятно, что скорбь Христа вовсе не исключаетъ улыбки, но эта улыбка для Христа не главное и не можетъ быть главнымъ! Ему больно, что главное—скорбь!

Ликъ Христа всегда затемненъ Розановымъ. Онъ какъ бы нарочно хочетъ сгустить пессимистическія краски христіанства, подчеркнуть смертоносную силу этого Лика. И это оттого, что Розановъ весь житейскій, весь погруженъ въ суету, въ обыденщину, въ вопросы пола, а послѣ этого конечно ему непонятно и странно, какъ люди могутъ до того возлюбить скорбь, до того проникнуться очарованіемъ Лика Христова, что уже не радуютъ ихъ ни здоровая жена, ни множество рожденныхъ, рождающихся и еще нерожденныхъ дѣтей, и всевозможные гастрономическіе соблазны!.. Для Розанова жизнь только въ этомъ, для христіанства—не только въ этомъ. Для Розанова полъ важнѣе Христа, важнѣе исторіи, важнѣе смерти, для христіанства полъ или вовсе не важенъ, или мало важенъ. Ибо если безсмысленна и кошмарна жизнь, если давитъ тоска, если человѣкъ иззябъ отъ тоскливой стужи, то лучше вовсе уничтожить самое зерно жизни, нежели любить безсмы-

сленную и животную жизнь только за то, что она—жизнь!

Розанову монастырскій экстазъ кажется „тяжелымъ“, въ монашествѣ и аскетизмѣ онъ не видитъ ничего, кромѣ самозакапыванія и положенія въ гробъ. Ему непонятно, что есть люди, которые ради Христа отвернулись отъ міра, прокляли міръ, ушли отъ него, онъ возмущается, когда Ликъ этотъ своей „испепеляющей красотой“ убиваетъ человѣка, дѣлаетъ его неспособнымъ къ жизни... Здѣсь языческое начало сильно сказалось въ Розановѣ. Ему вовсе не понятно, какъ можно отвернуться отъ жизни, если она такъ прекрасна. Онъ съ ужасомъ погружается въ бездны христіанства и вездѣ его мучаетъ, не даетъ покоя одинъ и тотъ же вопросъ: почему Христосъ убиваетъ полъ? почему Христосъ несоединимъ съ плотью?. Но онъ забываетъ, что именно въ этомъ аскетизмѣ, въ этомъ погруженіи плоти въ тайну Христа, въ этой неизрѣченно-прекрасной скорби и заключается истинная жизнь для христіанина и что кромѣ этой жизни другой ему не нужно, ибо царство его не отъ міра сего!

„Все померкло въ лучахъ новаго сіянія—заявляетъ Розановъ—„еще раскрылось небо, послѣ Ветхаго, послѣ обрѣзанія—и новый совсѣмъ голосъ послышался оттуда. И вдругъ не стали мнѣ нужны царства, боги, игры. Состроганъ гробъ. „Куда ты смотришь, старче?“—„Въ гробъ“.—„И?“... Но нѣтъ „и“ соединительнаго, другого: конецъ, пришло окончательное и оконченное... Въ суетѣ земной позабылъ „темный ликъ въ углу“, и вдругъ—друзья, жена, дѣти. „Тебѣ тяжела ноша, давай понесемъ вмѣстѣ“. И вѣдь смѣются, весело.—„Тебѣ легко, а намъ легко

оттого, что тебѣ легко"...—„Погодите"—говорю я, не то"... И вспомнилъ Ликъ въ углу, и стали мертвѣть друзья, дѣти, жена, и какъ будто паръ и туманъ вмѣсто людей, и вотъ разсѣялся вовсе. Теперь я одинъ и ужасно кряхчу, ноша совсѣмъ меня придавила" *).

Но вѣдь именно здѣсь-то и начинается христіанство и кончается язычество, именно здѣсь то и начинается чудо... Но Розанову нужно вовсе другое, ему нужна Библія, и Новый Завѣтъ ему не подъ силу. И не потому, чтобы онъ былъ ему чуждъ (можетъ быть никто такъ глубоко и любовно не понималъ Евангеліе, какъ Розановъ), а просто не по силамъ онъ ему. Его душа не здѣсь. Его душѣ гораздо понятнѣе и роднѣе слова Іеговы: „плодитесь и множитесь", чѣмъ таинственныя и полныя еще неизвѣданнаго смысла слова Христовы: „возьмите иго мое отъ меня и научитеся отъ меня, ибо иго мое благо и бремя мое легко"...

Въ этомъ постоянномъ колебаніи между Ветхимъ и Новымъ Завѣтомъ, въ этомъ перебѣганіи отъ Моисея ко Христу и отъ Христа къ Моисею заключается главная и характерная особенность Розановской религіи... Ему непріятны мрачные лики православныхъ иконъ, ему жутко отъ русскихъ монастырей, жутко отъ смерти, которою якобы проникнуто христіанство, онъ иногда (какъ напр. въ статьѣ „Христосъ—Судія міра"), съ чисто искаріотскою злобой издѣвается надъ Христомъ, упрекаетъ Его въ жестокости, какъ бы желая отмстить этимъ за то, что Онъ сыгралъ такую громадную и мучительную

*) Въ мірѣ неяснаго и нерѣшеннаго, стр. 222.

роль въ его жизни, онъ всячески старается очернить христіанство и въ „Темномъ Ликѣ“ и въ „Людяхъ Лунаго свѣта“ кажется какимъ-то не то „отрицателемъ“, не то „изъ антихристовъ“... Но какъ бы онъ ни преуспѣвалъ въ своей безпощадной и часто весьма ядовитой критикѣ христіанства, до какого бы отрицанія и бунта не доходилъ въ своихъ писаніяхъ —все же онъ не „отрицатель“ и не „антихристіанинъ“, а самый искренній, самый православный христіанинъ въ наше время... Помню, я былъ очень удивленъ, когда послѣ одной изъ своихъ публичныхъ лекцій, въ которой я назвалъ Розанова язычникомъ — я получилъ отъ него письмо съ слѣдующими словами, глубоко врѣзавшимися въ мою память: „а знаете, что я больше христіанинъ, чѣмъ язычникъ и экстазъ (особенно половой) мнѣ вовсе чуждъ. И я люблю вечерній звонъ, и всенощную, и „свѣте тихій“... Я вообще не похожъ на свои сочиненія“... Тогда это признаніе меня удивило. Теперь, ближе познакомившись съ Розановскимъ творчествомъ, съ особенностями его душевнаго склада—я вовсе не удивляюсь. Я знаю, что есть два Розанова: одинъ—язычникъ, обожествляющій полъ, поклоняющійся „святому животному“, а другой—искренно вѣрующій христіанинъ, съ своей трогательной и дѣтской любовью къ лампадкамъ, акаѳистамъ, вечернему звону и всему церковному, ко всей церковной обстановкѣ, богослуженіямъ, священникамъ и дьяконамъ.

Этотъ послѣдній Розановъ гораздо ближе и роднѣе мнѣ. Онъ знаетъ всѣ ядовитыя истины, знаетъ водоворотъ безднъ въ христіанствѣ, знаетъ минуты сомнѣній, паденій и соблазновъ Іуды, ибо онъ живой человѣкъ и ничто человѣческое ему не чуждо, но

также знаетъ онъ ту тайну, которая вѣдома и мнѣ: что никакой человѣческій разумъ, никакой анализъ, какъ бы онъ ни былъ геніаленъ, никакія искушенія, никакой демонъ не въ состояніи поколебать любви къ чуду, любви именно къ тѣмъ темнымъ образамъ, которыя кажутся символами смерти, и которыя исцѣляютъ, творятъ чудеса, творятъ другую, недоступную для разума человѣческаго жизнь, любви къ церкви, безъ которой невозможно жить, которая уничтожаетъ сытую скуку мѣщанства, которая сіяетъ огнями и полна пречистаго и животворнаго свѣта, любви къ тайнѣ Христовой, которая вѣчна и внѣ которой—суета и мракъ.

Именно у *этого* Розанова вырвались однажды знаменательныя слова въ минуту самаго безпощаднаго анализа священныхъ тайнъ, дѣтская, чистая вѣра вспыхнула въ отравленномъ разумомъ сердцѣ, и Розановъ-язычникъ хоть на минуту, да былъ побѣжденъ и обезоруженъ:

„Боже, да вѣдь эти толпы, здѣсь, вездѣ, ихъ тысячи, милліоны... они непремѣнно *помѣшались* бы отъ страха, безнадежности, отъ несчастія, *отъ дѣйствительнаго горя и дѣйствительной боли*, если-бы имъ не добрести вотъ сюда... и если бы они не знали, *что есть мѣсто, куда—добредутъ, и Богъ услышитъ*. Если бы вдругъ передъ ними... закрылось все...

„Какой ужасъ!

„Тьма, ночь и отчаянье.

. . . . . .

„И да сіяютъ Образа эти вѣчно. Ибо уже лучше пусть померкнетъ *умъ*, нежели чтобъ погасла жизнь.

„И если даже мы *все* „поймемъ", то самое это „пониманіе" бросимъ въ огонь" *)

Всѣ усилія Розанова были направлены на разрушеніе церкви, но въ сущности—онъ ею жилъ, она была его жизнью даже тогда, когда онъ ее разрушалъ, и въ этомъ его особенность. Еще недавно Розановъ открыто въ этомъ признался. И сколько глубокаго смысла въ этихъ его словахъ, только русская душа можетъ ихъ понять, только ей можетъ быть такъ мучительно дорога идея церкви: „Церковь— признается Розановъ— „есть единственно поэтическое, единственно глубокое на землѣ. Боже, какое безуміе было, что лѣтъ 11 я дѣлалъ всѣ усилія, чтобы ее разрушить.

„И какъ хорошо, что не удалось.

„Да чѣмъ была бы *земля* безъ церкви?

„Вдругъ обезмыслилась-бы и похолодѣла.

„Циркъ Чинизелли, Малый театръ, Художественный театръ, „Рѣчь", митингъ и его ораторъ, „можно приволокнуться за актрисой", тотъ умеръ, этотъ родился, и мы всѣ „пьемъ чай": и могъ я думать, что этого „довольно". Прямо этого я не думалъ, но косвенно думалъ" **).

Розановъ и къ церкви относился все время отрицательно, такъ какъ не находилъ въ ней живой души, живого организма, а только казенное учрежденіе. Для Мережковскаго, Философова и Булгакова это обстоятельство послужило причиной ихъ невольнаго отпаденія отъ казенной церкви, что же говорить о Розановѣ, съ его ненавистью ко всему вѣчному, внѣжизненному, съ его безумной любовью къ свобод-

*) Люди лунного свѣта, стр. IX.

**) Уединенное, стр. 25.

ной жизни, къ жизни безъ рамокъ и безъ условностей? Ему становится душно въ церкви, его языческій экстазъ, его страсть къ полнымъ полножизненнаго символизма богослуженіямъ и жертвамъ, его привязанность къ природѣ, къ освященію природы въ молитвѣ, его дремлющія въ глубинѣ симпатіи къ языческимъ славянскимъ празднествамъ, когда храмъ былъ природой, пляски, жертвоприношенія и обряды—молитвой, а цвѣты, поля, небеса и животныя—образами, его врожденный пантеизмъ, его идея человѣкобожества—все это, конечно, не могло найти себѣ мѣста въ православной церкви, все это чуждо ей и непріемлемо ею, ибо церковь есть защита отъ жизни и спасеніе отъ нея, ибо церковь есть столпъ и утвержденіе истины, корабль, уносящій все здѣшнее въ вѣчность, чудесная пристань, гдѣ бурныя воды житейскія замираютъ въ блаженномъ предчувствіи покоя, вознесенія, молитвы... Церковь не могла принять въ себя интеллигенцію и слиться съ нею, ибо это значило—измѣнить своимъ вѣчнымъ традиціямъ, это значило отдать дань князю міра сего, войти въ суету мірскую, въ грязь и пошлость житейскую. Но церковь должна быть выше жизни, это башня надъ пропастью смятенія и тьмы, башня, въ которой—одно и то же чудо отъ вѣка. Въ ней все должно быть неизмѣнно и свято отъ вѣка. Тамъ, около нея, въ водоворотѣ житейской тьмы кружится жизнь, раздаются вопли и стоны, проклятья, крики погибающихъ и ликованіе побѣдителей, и море крови, и море слезъ, и море вражды, ненависти, животнаго безсилія и смерти—все сливается въ грязно-кровавый океанъ жизни, но волны его разбиваются о каменныя скалы церкви и отхлыниваютъ назадъ, и ничто не въ со-

стояніи поколебать ихъ, и ничто не въ силахъ повредить ея желѣзную твердыню. И церковь возвышается надъ жизнью, какъ чудо изъ стали и мрамора, и въ церкви—тишина и глубь, и восторгъ безмятежности, здѣсь мертвые оживаютъ и живые становятся мертвыми для міра, здѣсь душа отдѣляется отъ тѣла, здѣсь спасеніе и вѣчная жизнь во Христѣ и побѣда надъ міромъ, здѣсь страшная и нераскрытая тайна—и взглянешь на нее—и не надо жизни, не надо человѣческаго царства, ничего не надо, и какъ ненужная чешуя—отпадаетъ отъ человѣка все житейское—и вотъ именно этой вѣчной побѣдой надъ міромъ, этимъ уничтоженіемъ жизни и всей суеты ея во Христѣ, этимъ сліяніемъ души человѣческой въ таинствахъ съ міромъ горнимъ, съ міромъ вѣчнымъ и чуднымъ, этимъ презрѣніемъ своимъ къ землѣ,—жива, свята и вѣчна церковь, и въ этомъ ея сила, и врата адовы не одолѣютъ ея никогда!...

Но Розанову именно эта вѣчная неприступность церкви и ненавистна, ему хочется, чтобы она снизошла до человѣка, освятила его пороки и нужды, освятила ту плоть, отъ которой отреклась навѣки, освятила всю землю, какъ языческіе боги освящали природу пребываніемъ въ ней.

Розанова поражаютъ *мертвенныя* черты православной церкви, ему хочется кричать отъ изумленія, отъ вѣчнаго непониманія, отчего такъ измучены и скорбны лики ея святыхъ, отчего самый символизмъ церковныхъ богослуженій такъ вялъ, серьезенъ и весь какъ бы выточенъ изъ трупнаго очарованія, отчего пѣснопѣнія ея, молитвы, весь духъ ея—рыдающій, скорбный, какъ бы возносящійся на крыльяхъ отъ земли, воздыхающій, отчего все православіе—это

восторгъ боли и смерти, любовь къ Богу въ слезахъ, безутѣшная грусть, неизрѣченность жертвеннаго экстаза, отчего сама жертва въ таинствѣ какъ бы внѣ-жизненна, отчего все христіанство—одна вода горькихъ слезъ, а крови, жизни и плоти въ ней нѣтъ?

И вотъ, онъ входитъ въ церковь, служитъ молебны, истово крестится, бьетъ поклоны—и ему понятна и близка эта красота, онъ любуется ею, онъ восторгается ею, и ему понятна чудная ночь пасхальной заутрени, единственная по своей чудесности ночь въ цѣломъ мірѣ, и душа его замираетъ въ восторгѣ при видѣ этихъ пасхальныхъ огней, бѣлыхъ ризъ, бѣлыхъ платьевъ, цвѣтовъ, и онъ думаетъ „какъ это хорошо, что въ церкви всѣ мы братья. И пойдемъ вмѣстѣ, за хоругвями, придерживая ладонью огонь свѣчи отъ духовеній вѣтра. И будемъ слушать пѣніе. Да, какъ хороша религія, въ звукахъ, въ краскахъ, въ движеніяхъ, съ иконами, съ большими непремѣнно иконами, въ золотыхъ ризахъ, а еще лучше—въ жемчужныхъ, какъ въ Успенскомъ соборѣ въ Москвѣ, и съ огнями. И пусть огни будутъ въ рукахъ, передъ образами, на улицѣ, особенно на колокольняхъ“ *).

И онъ сливается всею душою съ чудеснымъ настроеніемъ пасхальной ночи, какъ нерѣдко сливается и со всей душой православной церкви, но здѣсь-то и выступаетъ наружу его характерная особенность; онъ не можетъ скорбѣть, не можетъ пребывать въ безплотности, въ отрѣшенности, въ безстрастномъ православномъ смиреніи, его языческая натура кипитъ

*) Около стѣнъ церковныхъ, II томъ, стр. 4.

въ немъ, бушуетъ, рвется наружу—и въ самое церковное его настроеніе врывается опьяняющая струя невозвратной весны человѣчества, и вотъ онъ—самъ весенній, онъ забываетъ, что онъ въ православной церкви, на развалинахъ древняго міра, онъ живетъ въ своихъ вдругъ ожившихъ мечтахъ, и сквозь церковную обрядность просвѣчиваетъ языческая красота, любовь къ священнымъ жертвеннымъ огнямъ, все очарованіе древнихъ жертвоприношеній, вся жизнь природы, и земли, и неба, и звѣздъ. Какъ въ зачарованномъ снѣ Розановъ подходитъ къ образамъ, зажигаетъ свѣчи, любуется, какъ горятъ огни, чувствуетъ въ огняхъ и трепетъ души, и броженіе крови, и теплое дыханіе плоти, и душа его гдѣ-то далеко, не въ церкви, ему грезится древній языческій храмъ, и пѣсни, и царица земля, и хороводы, и оргіи... Въ странномъ сочетаніи языческаго и церковнаго красота невысказанная, красота опьяняющая, и хочется молиться и украшать свѣчами иконы, и все больше и больше огней, и въ огняхъ—трепетъ души—молодой весенней, и чары священной страсти, и вздохи любви, и вмѣстѣ съ тѣмъ—хочется забросать церковь свѣжими полевыми цвѣтами, запѣть что-то свое, такое радостное, такое страстное, такое волнующее, чтобы и эти нахмуренные старцы въ ризахъ, и эти истощенные святые, и всѣ молящіеся—вдругъ почувствовали чудесный ритмъ жизни, жгучій, страстный, истомляющій, „брачный ритмъ“, и началась бы пляска, и ликованіе, и поцѣлуи, и влюбленная нѣжность, и круженіе въ морѣ цвѣтовъ, молодыхъ, стройныхъ тѣлъ, и улыбки, и тайна, и слились бы въ одной неизрѣченно сладостной гармоніи Христосъ и Діонисъ, плоть и душа, любовь и молитва!..

Въ этихъ ярко пылающихъ огняхъ церковныхъ, огняхъ—символахъ души возносящейся передъ иконами—Розанову чудится пробудившійся вздохъ древности, и сама душа его пропадаетъ вдругъ въ безднахъ вѣковъ, въ лазурной безмятежности, въ тѣхъ временахъ, когда люди не знали религіи смерти, когда тѣло было храмомъ, а жертва—кровью и распятьемъ въ любви... И онъ славитъ огонь, священный огонь, огонь древности, вдругъ снова ожившій въ церковныхъ свѣчахъ—и какъ жарка молитва къ огню! Огонь—символъ плоти, символъ любви, пламенное жало тоски и блаженства въ тоскѣ!..

Но душа тоскуетъ по жертвенной, кровной, плотской сліянности человѣка съ Богомъ, душа видитъ въ церкви угасшую плоть, душа надрывается оттого, что церковь безплотна, безкровна и водяниста, и снова въ этой душѣ восторженный вопль язычника, такой необычный въ наше усталое время безжизненности и умиранія: „мы потеряли кровный, родной путь къ Богу въ таинственныхъ древнихъ жертвахъ. Настали безъ кровныя жертвы, водянистыя, риторическія, мы будто бы сокрушены въ сердцахъ, а на самомъ дѣлѣ обдѣлываемъ свои дѣлишки.... Кровь есть *жизнь*, кровь есть *растущій* фактъ, кровь есть *источникъ силъ* и *сильнаго*. Религія, взявшая кровь въ нить соединенія своего съ Богомъ—и была *жизненна*, *растуща* и *реальна*. А вода—она и есть вода".

Розановъ какъ бы реально сочетается съ Богомъ, какъ бы *плотски* ощущаетъ Его, чувствуетъ Его, и это пантеизмъ языческій, это именно та мистическая реальность Бога, о которой говорятъ въ наше время. Этотъ реализмъ, отсутствующій въ христіанствѣ—онъ у Розанова и плотскій, и вмѣстѣ съ тѣмъ—живо-

мистическій, почти *животно—мистическій.* И какая разница между этимъ теплымъ, кровнымъ реализмомъ его вѣры и разсудочнымъ „мистическимъ реализмомъ“ Бердяева! „Если Богъ—говоритъ Розановъ—„не есть Существо, физически *зрящее* и физически *обоняющее*, то для кого въ церквахъ мы жжемъ *свѣчи* и *ладонъ? Для себя?* Себѣ угождаемъ? Ибо очевидно „Богу Духу“ ни свѣта, ни запаховъ (ладона) не нужно. Между тѣмъ погасите въ церкви свѣчи и лампады и зажгите курильницы, какъ глубоко померкнетъ храмъ! А и свѣчи, и *ладонъ*—явный *остатокъ*, уже безсмысленный у насъ, древняго, реально-кровнаго теизма“! *).

Какъ относится Розановъ къ нашимъ праздникамъ! Вѣдь и въ этомъ сказалась его связь съ язычествомъ: для насъ эти праздники одинъ сплошной кошмаръ сытости, пошлости, пьянства, пустоты душевной, въ эти праздники зѣваетъ и разлагается душа, мы не чувствуемъ символичности праздниковъ, не чувствуемъ, не переживаемъ тѣхъ событій, въ память которыхъ они совершаются. Только у язычниковъ (и между прочимъ, и у древнихъ славянъ) праздники были особенной *жизнью*, мистическимъ переживаніемъ, чѣмъ-то необычайно радостнымъ, необычайно—торжественнымъ, и душа вся была радостно настроена:—эти танцы, хороводы, пѣснопѣнья, это обожествленіе природы, остатокъ котораго доселѣ удержался на Руси—все это свидѣтельствуетъ о кровной связи человѣка съ природой и съ Богомъ, все это говоритъ о какихъ-то торжественныхъ мистеріяхъ, непостижимыхъ современному изсушенному и измочаленному „культурному“ человѣку!.. Любовь Роза-

*) Около стѣнъ церковныхъ, т. II, стр. 450.

нова къ христіанскимъ праздникамъ, ихъ любовное и глубокое пониманіе отзывается тоже язычествомъ, ему хочется воскресить хоть въ этомъ радостную зарю человѣчества, этотъ опьяненный природой, ликующій духъ, который омертвѣлъ въ цѣпяхъ христіанской догмы. „Хочу для пильщика рощъ, луговъ, цвѣтовъ, музыки!—восклицаетъ Розановъ, упрекая духовенство въ сонномъ унынiи и угрюмости—„буду яростенъ и скажу прямо, что пильщику нужны „языческія священныя рощи“ и смычокъ, положенный на скрипку, и наконецъ—дѣвушки, хороводомъ взявшіяся за руки,—и не меланхоличныя, а съ сочными губами, высокими бюстами, широкими бедрами! Нѣтъ, я тоже хочу быть жестокъ и закричу: „шехеразаду! шехеразаду“! „Дайте намъ сады и дѣвъ, и рощи, и лѣса, и благоуханія цвѣтовъ, и манящую къ восторгамъ музыку!“ **).

Отсюда его безмѣрная любовь къ природѣ, этотъ восторженный пантеизмъ, который совершенно изсякъ въ христіанствѣ и который то и дѣло прорывается у него въ видѣ жаркихъ гимновъ нашимъ русскимъ дремучимъ лѣсамъ, землѣ, солнцу и звѣздамъ, особенно звѣздамъ—символамъ жертвенныхъ огней, этимъ лучезарнымъ очамъ небесъ... И Розановъ рвется снова изъ кельи монастыря, изъ душной церкви, изъ городовъ, пропитанныхъ заразой культуры и литературы—синонимовъ одной и той же пошлости—рвется къ далекому прошлому, невозвратному, погибшему, гдѣ его душа, гдѣ его мечты, гдѣ его любовь: „Уйди на всю жизнь въ лѣса, къ звѣздамъ, къ утреннему солнцу, къ живительной росѣ, проводи рукою по этой

**) Ibid, стр. 304—305.

холодной росѣ на зарѣ, или, поднявшись на пригорокъ, слѣди какъ солнце садится въ купы деревьевъ—и такъ сегодня, завтра, всегда,—и душа очистится, станетъ прозрачна, какъ слеза росы на зелени, безъ мути въ себѣ, безъ пыли въ себѣ. Она сольется съ природой, сдѣлается отъ нея неразличимой. И природа какъ бы уже прижизненно вберетъ въ себя такого человѣка, какъ она вбираетъ всякаго послѣ его смерти. И тогда придутъ къ такому человѣку животныя, не боясь его, даже любя его, даже понимая какъ-то его,—и онъ ихъ постигнетъ новымъ постиженіемъ *).

Язычеству чуждъ догматизмъ, его религія внѣдогматична и сами символы ея какъ бы плотскіе, какъ бы живутъ, какъ бы составляютъ плоть и кровь, ибо эта религія больше чувственная, больше кровная и жизненная, нежели разумная. Догматъ—первый признакъ раціонализма и весь христіанскій догматизмъ раціоналистиченъ. Розановъ единственный мыслитель, въ современномъ „неохристіанствѣ“, который пошелъ противъ догматики—и въ этомъ также особенность его міровоззрѣнія. Въ то время, какъ для Мережковскаго догматъ является чѣмъ-то незыблемымъ, какой-то единственной броней, алмазнымъ мечомъ защиты, въ то время, какъ для Бердяева догматъ — истинное высшее переживаніе, нѣчто, граничащее съ безуміемъ—для Розанова догматъ—звукъ пустой, богословское изобрѣтеніе, мертвая буква, уничтожающая чувство въ религіи, которая должна быть свободна, радостна, таинственна и для которой не можетъ быть никакихъ формулъ.

***) Темный Ликъ, 32—33.

„Позвольте—возражаетъ Розановъ и богословамъ, и Мережковскому, и Бердяеву—„зачѣмъ же великолѣпное слово Евангелія передѣлывать въ сравнительно гнилое слово догматики?... Вѣдь догматъ—нѣчто каменное. Христіанство въ отцахъ церкви и въ построеніяхъ догмата потеряло *наивность* и *прелесть*, трогательность и силу *привлеченія*... Христіанство перестало быть *умилительно* съ догматомъ, и на него *перестали умиляться*. Просто—его *перестали любить*.... Самими догматистами введенъ былъ въ христіанство главный и первоначальный ядъ... Догматъ закрылъ всѣ три лица Пресвятой Троицы, самого Христа обративъ въ начетчика, который принесъ на землю только кучу текстовъ.... Иногда поднимается вопросъ или слышатся намеки на какую-то реформу Церкви: нѣтъ для этого болѣе надежнаго и краткаго средства, какъ закрыть въ академіяхъ и семинаріяхъ двѣ каѳедры—догматическаго богословія и каноническаго права, а книги по наукамъ этимъ помѣстить въ списокъ „неразрѣшенныхъ къ чтенію“. Это значитъ сразу закрыть для публики сотни Скабичевскихъ и открыть ей Пушкина, въ отношеніи къ христіанству—это значитъ начать вдыхать „душу живу“ въ красную глину, изъ которой слѣпленъ, ожилъ было и снова умеръ—„во грѣхахъ“—Адамъ Христіанства“ *)....

Это презрѣніе къ догмѣ есть отвращеніе человѣка ко всякой мертвечинѣ. Розановъ хотѣлъ бы все христіанство, все богословіе продать за живую, радостную, кипучую, плотскую жизнь. Его богомъ былъ полъ—и во имя освобожденія пола отъ смерти, во имя безсмертія не въ вѣчности, а на землѣ, во имя

*) Объ а-догматизмѣ христіанства.

возврата древней угасшей библейской жизни онъ готовъ былъ отдать всю свою душу... Онъ нарочно молчалъ о смерти, онъ проклиналъ ее всѣми силами языческой своей души, онъ радъ бы вычеркнуть изъ человѣческаго лексикона это ужасное, непонятное, грозное слово, которое такъ возлюбило христіанство, изъ котораго извлекло свою жизнь и свою вѣчную, ненавистную ему, скорбь... Онъ гналъ отъ себя слезы и грусть и трагедію, жилъ только радостью и презиралъ страданье *) и думалъ, что этимъ побѣдилъ жизнь и побѣдилъ христіанство!..

Но вотъ, въ своей книгѣ: „Уединенное", искренно-обнаженной книгѣ, книгѣ души, по ошибкѣ изданной и уже втоптанной въ грязь толпой и газетчиками—Розановъ какъ бы кается въ своемъ безумномъ дерзаніи. И какая скорбь, какая зловѣщая искалѣченность въ этомъ его покаяніи, какое безсиліе передъ смертью, какая растерянность передъ вѣчностью, какая боль отъ внезапно присосавшейся тоски!.. Только теперь онъ понялъ, что, игнорируя смерть и превознося плоть—онъ тѣмъ самымъ обрекалъ себя на близкую и безпощадную смерть, что его писанія, его половой пантеизмъ, его критика христіанства—въ сущности ничто передъ смертью, которая одна страшна, одна непобѣдима, одна ужасна. „*Я говорилъ о бракѣ, бракѣ, бракѣ*—признается Розановъ—„ *ако мнѣ все шла смерть, смерть, смерть*" **)...

Въ этомъ признаніи—все его пораженіе и вся суть его: именно потому, что онъ игнорировалъ ее,

*) Въ одномъ письмѣ ко мнѣ онъ пишетъ: „вотъ вы пишете о страданьи, о смерти, а я прожилъ 56 лѣтъ и написалъ 11 книгъ, и только теперь завизжалъ отъ этихъ вопросовъ"...

**) Уединенное, стр. 261.

смерть пришла къ нему и заглянула въ глаза, именно потому, что онъ отвернулся отъ христіанства—религіи смерти—послѣдняя и ужаснула его...

Въ „Уединенномъ“ у Розанова еще хватаетъ духу заигрывать со смертью, дразнить ее всяческими шутками и прибаутками, но это уже не то, что было прежде, по временамъ пронзительная горечь прорывается въ его словахъ—и куда-то уходитъ все его „дерзаніе“, вся его торжествующая плотскость, весь его языческій духъ—и тогда передъ нами живой, страдающій человѣкъ, со всей своей обнаженностью, со всей безпомощностью и тоской, человѣкъ прошедшій мимо христіанства, забывшій, что есть смерть, а теперь вдругъ понявшій, почувствовавшій, что смерть одна-то и есть, что никакая радость не въ состояніи ее уничтожить, что смерть—альфа и омега жизни, таинственный призракъ, тайна тайнъ, что смерть есть единственная реальность, которую, когда почувствуешь—теряешь всякій умъ, всякую способность философствованія, всякую силу, всякую увѣренность въ себѣ...

И вотъ, Розановъ—прежде такъ проникновенно и геніально говорившій о бракѣ—вдругъ рѣзко перемѣняетъ тему своихъ размышленій и говоритъ уже о другомъ, совсѣмъ о другомъ, мимо чего проходилъ прежде съ гордостью и съ презрѣньемъ... И странно слышать объ этомъ именно отъ Розанова, слишкомъ ужъ это не въ Розановскомъ духѣ:

„Могила... знаете ли вы, что смыслъ ея побѣдитъ цѣлую цивилизацію...

„Т.-е. вотъ равнина... поле... ничего нѣтъ, никого нѣтъ... И этотъ горбикъ земли, подъ которымъ зарытъ человѣкъ. И эти два слова: „зарытъ чело-

вѣкъ", „человѣкъ умеръ", своимъ потрясающимъ смысломъ, своимъ великимъ смысломъ, стонающимъ... преодолѣваютъ всю планету, и важнѣе „Иловайскаго съ Атиллами".

„Тѣ всѣ топтались... Но „человѣкъ умеръ" и мы даже не знаемъ, *кто*:—это до того ужасно, слезно, отчаянно, ...что вся цивилизація въ умѣ точно перевертывается, и мы не хотимъ „Атиллы и Иловайскаго", а только сѣсть на горбикѣ (†) и выть на немъ униженно, собакою... .

„О, вотъ, гдѣ *гордость* проходитъ.

„Проклятое свойство.

„Не даромъ я всегда такъ ненавидѣлъ тебя"...

Такимъ зловѣщимъ дыханіемъ смерти проникнута почти вся эта странная и *единственная* по искренности книга... И въ ней именно начало трагедіи Розанова. Всѣ русскіе мыслители, какъ мы видѣли—полны этого трагическаго духа, этого вѣчнаго недоумѣнія передъ смертью, изъ которой рождается и ихъ философія, и ихъ религія... Только одинъ Розановъ былъ радостенъ и „бодръ", только для него одного смерти какъ бы не существовало... Но смерть и русская душа неразлучны и нераздѣльны, но кто понимаетъ эту чудесную легенду русской міровой скорби, кто чувствуетъ и слышитъ дыханіе русской земли и тоску ея—тоску вдохновительницу—тотъ не можетъ пройти мимо смерти, тотъ не можетъ не понять, что именно за то мы возлюбили и Христа, и религію, что вѣчно преслѣдуетъ насъ призракъ смерти, что некуда отъ нея скрыться, что вѣчно мучаетъ жажда безсмертія, мучительная жажда понять, что такое смерть, къ чему она и зачѣмъ тогда жизнь?

Понялъ это и Розановъ. И язычникъ вдругъ сталъ подлиннымъ христіаниномъ. И новая мысль—никогда не приходившая въ голову—вдругъ сверкнула въ мозгу зловѣщимъ холоднымъ огнемъ новаго трагическаго сознанія:

„20 лѣтъ, какъ журчащій свѣжій ручеекъ я бѣжалъ около гроба.

„И еще раздражался: отчего вокругъ меня не весело, не цвѣтутъ цвѣты. И такъ поздно узнать все"...

Но эта мысль вовсе не поздняя. Я глубоко вѣрю, что это—признакъ выхода Розанова на новый путь, путь возврата къ христіанству, путь къ новымъ глубинамъ, которыя онъ намъ откроетъ.

XI.

Шумитъ, шумитъ знакомымъ перезвономъ
Далекій зовъ, изъ Вѣчности возникшій:
Безмірноблѣдная, увитая хитономъ
Воздушночернымъ, съ головой поникшей
И съ урной на плечахъ, глухимъ порывомъ
Она скользитъ безстрастно надъ обрывомъ.

Потокъ вспѣненный мчится
Серебряной каймой.
И ей все то же снится
Надъ бездной роковой.
Провалы, кручи, гроты,
Недвижимы, какъ сонъ,
Суровые пролеты
Тоскующихъ временъ.

Все ближе голосъ Вѣчности сердитой...
Оцѣпенѣвъ, съ улыбкою безбурной,
Съ душой больной надъ жизнію разбитой—
Надъ старой, опрокинутою урной—
Она стоитъ у пропасти туманной
Видѣньемъ чернымъ, сказкою обманной.

Андрей Бѣлый.

Земля заслонила для Розанова все. Кромѣ земли ничего и нѣтъ. Онъ словно забылъ, что существуетъ вѣчность... Но Достоевскій этого не забывалъ. Если онъ даже и не думалъ постоянно о вѣчности, то уже во всякомъ случаѣ—онъ ее чувствовалъ... Она пробивалась сквозь его замыслы. Она являлась Мышкину въ его безумныхъ снахъ. Она мучила Кириллова,

и хотѣлось ему заключить ее въ одинъ мигъ. Она представлялась Ивану Карамазову въ его бесѣдахъ съ чортомъ. Чувствовалъ онъ ее, чувствовалъ. Чувствовалъ ужасъ хаоса, надъ которымъ царитъ она, постигалъ круженіе міровъ въ ея морѣ бездонномъ, и угасаніе ихъ, и пожары, и пепелъ ихъ, и смерть, и вновь воскресенье, и вновь круженіе, и возвратъ къ прежнему состоянію, и тоску людей, и тоску вселенной, охваченной со всѣхъ сторонъ неизвѣстностью... Онъ понималъ, что „теперешняя земля, можетъ, сама то билліонъ разъ повторялась; ну, отживала, мутнѣла, трескалась, разсыпалась, разлагалась на составныя начала, опять вода яже бѣ надъ твердью, потомъ опять комета, опять солнце, опять изъ солнца земля— вѣдь это развитіе, можетъ, уже безконечное число разъ повторяется, и все въ одномъ и томъ же видѣ, до черточки... Скучища неприличнѣйшая!...*).

Кто постигнетъ это—тому уже земля ни по чемъ. Будетъ въ каждомъ изгибѣ жизни видѣть странныя отраженія. Будетъ чувствовать вѣчное круженіе. Вся жизнь покажется маленькой шуткой, оскорбляющей вѣчность, и эта послѣдняя зачаруетъ, обезсилитъ, пройдетъ сквозь душу—и оторветъ отъ міра...

Кто знаетъ вѣчность—тотъ знаетъ тайну. И вотъ—вся жизнь лишь призракъ ненужный, ибо не здѣсь лежитъ душа, здѣсь она лишь мучается категоріями и разумомъ, здѣсь—смерть ея, а высшая и единственная реальность скрыта отъ глазъ—и оттого, что скрыта—голоса поютъ въ тишинѣ, все зовутъ, манятъ, и небеса, и облака, и звѣзды—все—*часть* души, все—міръ ея единственный, и къ нему она

*) Братья Карамазовы.

рвется, и его она жаждетъ, а здѣсь лишь тоска и смерть...

Вѣчность—пристань, красота и ужасъ... Вѣчность—музыка несказаннаго. Вѣчность—покой и забвенье... И кажется—она не обманетъ. Она—прекрасна и чиста... И кажется, въ голубомъ ея царствѣ—отрада и освобожденіе... И вѣрится, что стонетъ она отъ тоски и отъ смерти, и отъ жизни, ибо въ ней—граница и начало, ибо въ ней—ключъ къ пониманію того, что не понятно теперь.

Какъ любилъ ее Ницше!... Она была его единственной любовью. Въ ея тайнѣ постигъ онъ ненайденный въ предѣлахъ земного смыслъ... Въ одинъ изъ его многострадальныхъ дней она прорвалась вихремъ жгучимъ сквозь пространство и время... Она явила ему тайну вѣчнаго возвращенія... Это былъ знаменательный день, никогда не могъ онъ забыть его. Вся душа содрогнулась, было близко безуміе. Этотъ твердый и мужественный человѣкъ отъ надрыва въ пониманіи вѣчности—разрыдался. Сталъ безпомощенъ и слабъ, какъ ребенокъ. Въ его орлиныхъ, хищныхъ глазахъ отразилась лазурная улыбка вѣчности. Это было какъ въ припадкѣ безумія.

Сидя у подножія скалы, среди торжественнаго шума лѣса, Ницше не могъ удержаться отъ бурнаго рыданья. Мысль, поразившая его—была слишкомъ мучительно, слишкомъ болѣзненно, слишкомъ глубоко понята и *пережита* имъ. Эта мысль была какъ озареніе свыше. Задыхаясь отъ кровно пережитой волнующей истины, Ницше сидѣлъ неподвижно, какъ пришибленный, сливаясь съ бездоннымъ молчаніемъ лѣса, и по лицу его текли слезы, и весь видъ его напоминалъ раненаго орла, который уже не можетъ

летать... Пронзенная душа трепетала въ мукѣ и водопадъ огненныхъ мыслей разсыпался въ мозгу каскадомъ палящихъ искръ.

Онъ думалъ „время въ своемъ безконечномъ теченіи, въ опредѣленные періоды, должно неизбѣжно повторять одинаковое положеніе вещей. Это необходимо, значитъ, необходимо и то, что всякое явленіе повторяется. Слѣдовательно, черезъ безконечное, неограниченное, непредвидѣнное количество лѣтъ человѣкъ, во всемъ похожій на меня, полное воплощеніе меня, сидя въ тѣни этой скалы, найдетъ въ своемъ умѣ ту же мысль, которую нашелъ сейчасъ я, и эта мысль будетъ являться въ головѣ этого человѣка не одинъ, а безчисленное количество разъ, потому что движеніе, управляющее всѣми явленіями—безостановочно“...

„Мы—только тѣни слѣпой однообразной природы, мы плѣнники минуты... Мгновенье непреходяще, если оно вѣчно возвращается, малѣйшій мигъ является вѣчнымъ памятникомъ безконечной цѣнности и каждый изъ нихъ божествененъ“...

„Пусть все безпрерывно возвращается, это есть высшая степень сближенія между будущимъ и существующимъ міромъ: въ этомъ вѣчномъ возвратѣ заключается высшая точка мышленія“ *).

Эта мысль стала излюбленной темой всѣхъ настроеній Ницше, только идея вѣчнаго возврата помогла ему постичь все значеніе вѣчности, она пріобщила къ ней его душу, она сквозь хаосъ вселенной вывела его на голубыя поля восторга. Ибо высшій восторгъ—это познаніе вѣчности. И именно оттого, что

*) Галевп. Жизнь Ф. Ницше.

она неизвѣстна, что она прекрасна своей безумной неизвѣстностью, что закрыта она для чувствъ и для пониманія, что въ ней слиты все и ничто въ одну непостижимую гармонію—именно отъ этого восторгъ и трепетаніе, и радостная дрожь надежды... Ницше—атеистъ и богоборецъ,—молился вѣчности, она заставляла его рыдать и томиться, она вызывала въ немъ божественное желаніе, она манила его къ себѣ, она его вдохновляла.

...Онъ не въ силахъ былъ облечь ее въ образъ... Онъ не въ силахъ былъ постигнуть имя ея—странное и роковое... Но онъ писалъ для нея... У него не было женщины—вдохновительницы, ее замѣняла для него вѣчность... Но и онъ постигалъ, что душа ея—женственна... Но все очарованіе этой женственности, этой роковой Софіи, такъ ясно открывшейся Соловьеву—было и ему вѣдомо, только сознавалось смутно...

И вотъ—дѣтскій восторгъ Ницше передъ вѣчностью—восторгъ, соединяющій его съ нею въ одномъ внѣміровомъ, страшномъ поцѣлуѣ... И вотъ—пѣснь Ницше, пѣснь волшебнаго упоенія, страдальческая пѣснь открывшейся истины, замѣнившей для него религію... Въ этой пѣснѣ понятна вся его трагедія.

„О, какъ же не стремиться мнѣ къ вѣчности и къ брачному кольцу колецъ—къ кольцу возвращенія?“

„Никогда еще не встрѣчалъ я женщины, отъ которой хотѣлъ бы имѣть дѣтей, кромѣ той женщины, что люблю я: ибо я люблю тебя, о вѣчность!“...

Для Ницше идея вѣчности была утѣшеніемъ. Не каждый можетъ жить этимъ утѣшеніемъ, ибо слишкомъ оно не реально (въ обычномъ смыслѣ слова). Мы всѣ любимъ утѣшенія реальныя, но когда наше

реальное разсыпается прахомъ, когда оно гніетъ, когда оно зловоніемъ своимъ начинаетъ возбуждать тошноту—мы сожалѣемъ, зачѣмъ полюбили его!.. И не лучше ли въ такомъ случаѣ избѣгать реальнаго, или же, дойдя до черты, гдѣ оно начинается—возвращаться назадъ?... Не лучше-ли, не выгоднѣе ли для насъ любить только полеты и призраки, и изъ призраковъ, пусть даже изъ обмановъ—творить свое вѣчное?... Не лучше ли обмануть себя такъ, чтобы никакая сила не смогла распутать сѣтей обмана?... И въ обманѣ—молиться, и таять, и грезить, и сладостно вѣрить въ забвенье... Ибо самый послѣдній обманъ, въ которомъ заключено нѣчто отъ вѣчности—въ тысячу разъ радостнѣе грубой и прѣсной житейской правды... А можетъ въ призракахъ-то и снахъ—наше счастье, наша земля?...

Изъ современныхъ нашихъ писателей—конечно безумнѣе всѣхъ влюбленъ въ вѣчность Андрей Бѣлый.... Ему она улыбается въ лазури... Его зоветъ она... Ему напѣваетъ она пѣсню свою—восторгъ бѣлолилейный, пѣсню—вознесенье, пѣсню—влюбленность... И это она кружитъ его въ метеляхъ хаоса, въ тяжелыхъ снахъ, въ усталости дней, чаруя, замыкаясь въ таинственное кольцо, чертя тайные, сверкающіе то рубинами, то алмазами, то заревымъ пурпуромъ—знаки свои въ черныхъ даляхъ тоски и унынія... И ему тоже она открыла загадку возврата... И, сгорая въ золотыхъ лучахъ солнца, надрываясь въ безумныхъ пророчествахъ, сжигая душу и разсыпаясь пепломъ усталости,—онъ неизмѣнно вѣренъ ей, онъ не потерялъ вѣщаго умѣнья—слышать всегда, неизмѣнно—всплескъ ея колдующихъ волнъ, видѣть лазурное отраженіе ея на тусклой поверхности глубинъ

своихъ бездонныхъ, видѣть облеченный въ золото ликъ ея строгій и нѣжный, всюду, всегда и вездѣ все тотъ же, все тотъ же до муки!...

А. Бѣлый—поэтъ особенный. Онъ весь въ мерцаньяхъ: вспыхнетъ, зажжется, разсыпется, угаснетъ, исчезнетъ—и кажется—вотъ не вернется... Но вотъ,—уже на другомъ полюсѣ,—снова зажигается пламя его блѣдное (блѣдное отъ муки), и снова горитъ тревожно, трепетно, лихорадочно, и снова, промерцавъ мгновенье—исчезаетъ, чтобы возникнуть на новомъ мѣстѣ...

Сколько разъ измѣнялъ онъ свою почву, пересаживался... Но почвы—разныя, а онъ то все одинъ. И куда бы онъ ни пересадилъ себя—всегда узнаю ликъ его:—пламенная боль струящаяся, которая таетъ отъ силы своей,—всегда неизмѣнный:—и тогда, когда онъ пророкъ, и когда захочется ему вдругъ по щучьему велѣнію переодѣться въ марксиста, и даже тогда, когда онъ поклоняется научной поэзіи, —всегда для меня онъ одинъ и особенный...

Въ чемъ его особенность? Это труднѣе сказать, и несравненно легче почувствовать. Когда прочтете его страницу—сначала голова закружится, и мнѣ случалось видѣть, какъ многіе отъ него отворачивались и ворчали: „ну, зачѣмъ не говоритъ по человѣчески“, и для этихъ онъ становился врагомъ... Но были и такіе (немногіе), которые, раскрывъ страницу его книги — поражались, потомъ перечитывали еще, и еще—и вотъ строгая, недовѣрчивая сосредоточенность смѣнялась восхищеніемъ: странно поражала музыкальность рѣчи, и что-то вѣщее въ ритмѣ словъ, и эти неожиданные провалы среди легко бѣгущихъ строкъ, и внезапная озаренность, почти дѣт-

ская, и волнующее сочетаніе юмора съ философской серьезностью, и наконецъ—эта лазурная, гибкая, нѣжно изящная напѣвность стиля, говорящая о родственности съ Ницше—напѣвность, ведущая мысль къ заповѣднымъ далямъ. Поражала также одна странная въ немъ черта: методъ разсужденія: онъ съ одной стороны чисто-логическій, но само-то построеніе силлогизмовъ основано на музыкѣ, у него логика носитъ характеръ ритмичности, у него разсужденія проникнуты напѣвностью. И вотъ эти немногіе говорили, закрывя книгу: „да, Андрей Бѣлый—совсѣмъ особенный“...

. . . . . .

Какая чистая, ничѣмъ неомраченная прозрачность! Міръ—это золото въ лазури вѣчности, и во всемъ—очарованность, и во всемъ—мечта и восторгъ... Кажется—въ майскій чудный день юная душа распахнулась навстрѣчу солнцу... Безмятежность... Безбурность... Улыбка... Жизнь—роскошная радуга символовъ, жизнь—цвѣтеніе, жизнь заколдованный сонъ... И кто-то томится во снѣ, кто-то рыдаетъ въ восторгѣ, что пробужденіе близко, кто-то тихій и еще нерожденный въ сладостномъ волненіи напрягаетъ душу свою и молится, „чтобы миновалъ сонъ этой жизни и чтобы мы очнулись отъ сна!“ *)... Но еще не все понятно, еще все живо юною радостью, чудеснымъ блескомъ лазури, искрометнымъ весельемъ рубиновыхъ и алмазныхъ огней, еще все дышетъ счастьемъ...

Счастье... Оно, какъ, птица бѣлая кружитъ душу надъ пропастями, ворожитъ, уноситъ, ласкаетъ... Ле-

*) 1 я симфонія.

бедиными крыльями забвенья баюкаетъ душу птица чудесная, и не слышно волненія, и не видно тучъ, и не страшно: въ безконечной лазури—просторъ, и свобода, и высь, и въ лазурномъ молчаньи снятся золотые сны...

Обняла душу, прильнула, уноситъ Вѣчность... И это не жизнь, это—сказка, это отблески рая въ душѣ, это восторгъ... Сладостно пить вино огневое—вѣчность... Носясь надъ пропастями—жмурить глаза и смѣяться... Солнечныя брызги опаляютъ лицо... И вверху—и внизу—и вокругъ:—безконечность, восторгъ, опьяненіе... Пышнымъ букетомъ цвѣтетъ душа, ей снится полетъ столѣтій, ей грезится Ликъ огневой, золотой, чудесный. Леопардова шкура зари опьяняетъ блаженствомъ... На кораблѣ облаковъ по волнамъ лазури мчится душа къ чуду весеннему, смѣется, рыдаетъ, горитъ, она вся въ пѣснѣ, она вся въ молитвенныхъ звукахъ, вся въ ожиданіи; разсѣкая алмазными веслами безбрежность—мчится и мчится, лелѣя въ мечтахъ и надеждахъ образъ свой чудный, искру священную, свое Золотое Руно!...

От воздушнаго пьянства
Опѣмѣла земля.
Золотыя пространства,
Золотыя поля...

Все тонетъ въ изумрудныхъ волнахъ... Бѣлые гребни волнъ отливаютъ багрянымъ... Острова... Острова свѣтозарнаго счастья... Искры веселья... Пурпуръ зари... Огненное золото символовъ—словно драгоцѣнная оправа алмазовъ... И въ алмазахъ—бездонность... Улыбки... Громовые раскаты... Великаны на склонахъ горъ—какъ свинцовыя громады тучъ—громоздятся,

вступаютъ въ борьбу, оглашаютъ воздухъ ревомъ своимъ, обрушиваются въ море... Въ темныхъ гротахъ—карлики, уроды, попыхиваютъ зловонныя трубки, смѣются, замышляютъ недоброе... Сказка-ли, сонъ-ли усталый?... Никто не дастъ отвѣта!... И какъ будто не существуетъ ночей—безконечный, атласисто-нѣжный, золотой, пламенный день протянулся сквозь жизнь беззакатнымъ сіяніемъ. Ослѣпительные лучи жалятъ душу. Широта, золотая прозрачность, веселье. Тихій бархатъ знойнаго полдня распахнулъ пурпурныя крылья свои...

Солнца контуръ старинный,
Золотой, огневой...

Опьяняетъ сознаніе солнечный восторгъ... Вотъ полетъ кораблей въ морѣ лазурномъ достигаетъ чудесной страны, искры золотыя дрожатъ на веслахъ, въ разверзстую душу льется каскадъ золотистаго, пламенно-жгучаго солнца... Закипаетъ восторгъ... Напрягаются крылья...

Все небо въ рубинахъ.
Шаръ солнца почилъ.
Все небо въ рубинахъ
надъ нами.
На горныхъ вершинахъ
нашъ Арго,
нашъ Арго,
готовясь летѣтъ, золотыми крылами
забилъ.
Земля отлетаетъ...
Вино
міровое
пылаетъ
пожаромъ
опять:

то огненнымъ шаромъ
блистать выплываетъ
руно
золотое,
искрясь.
И блескомъ объятый,
Свѣтило дневное,
Что факеломъ вновь зажжено,
несясь
настигаетъ
нашъ Арго крылатый.
Опять настигаетъ
свое золотое
руно...

Да, это заря... Заря золотая... И пусть туманы нависаютъ надъ моремъ, пусть волны взрываются грозною тучей—все ясно въ душѣ, все ясно и чисто, какъ въ дѣтствѣ, и крылья, и сны... Не надо тревоги, не надо морщинъ на глади покоя, не надо сомнѣній!... Душа закружилась въ высотѣ и горитъ блаженствомъ, она юна, она свѣжа, она голубая, голубая до послѣднихъ глубинъ своихъ, и свѣтитъ экстазомъ весны!...

Пусть туманна огнистая даль—
Посмотри, какъ все чисто надъ нами.
Пронизалъ голубую эмаль
Огневѣющій пурпуръ снопами.

О, что значатъ печали мои!
Въ чистомъ небѣ такъ ясно, такъ ясно!...
Бѣлоснѣжный кусокъ кисеи
Загорѣлся мечтой виннокрасной.

Тамъ касатки кричатъ, унося.
Ахъ, полетъ ихъ свободенъ и воленъ...
Свѣтозарныя волны, искрясь,
Озаряютъ кресты колоколенъ...

Горитъ день... Но вотъ незамѣтно, неслышно, закатывается солнце... Протянулась золотая усталость заката... Прохладно... Разгорѣвшуюся въ весельи и радости душу окатила прохлада—и тревожно, и жутко... Темнѣетъ лазурное небо... И море рокочетъ такъ глухо, такъ глухо... И въ насторожившейся душѣ сквозитъ глубина...

Глубина трепещетъ въ груди, надрываетъ ее, слезами, слезами просится наружу. Опускаются крылья. Тоска... Неужели „наши души—отражающія золото“ въ сумеркахъ теряютъ восторгъ свой пьяный, радость свою?... Да, это уже не то... Вялый покой дышетъ отравой... Глубина, глубина прохладная, манящая—окутываетъ душу туманомъ. Тамъ, на днѣ ея отражаются звѣзды, отражается небо... Скоро тьма унесетъ въ глубину... Скоро конецъ...

Неужели нѣтъ уже золота?... Неужели не видно лазури?... Да, все тускнѣетъ, блѣднѣетъ... Это въ душу впилась ледяная змѣя тоски, змѣя глубины манящей, сосетъ, изводитъ, больно... Теперь тревога, теперь забвенье нарушено... Предчувствія... Больныя грезы... Глубина зоветъ...

Въ печали блѣдной, винно-золотистой,
Закрывшись тучей
И окаймивъ ее огнистой,
Сребристо-жгучей,
Садится солнце красно-золотое...
И вновь летитъ
Вдоль желтыхъ нивъ волненіе святое,
Овсомъ шумитъ:
„Душа смирись: средь пира золотого
„Скончался день.
„И на поляхъ туманнаго былого
„Ложится тѣнь.

„Уставшій міръ въ покоѣ засыпаетъ.
„И впереди
„Весны давно никто не ожидаетъ.
„И ты не жди...
„Нѣтъ ничего... И ничего не будетъ...
„И ты умрешь...
„Исчезнетъ міръ и Богъ его забудетъ,
„Чего-жъ ты ждешь?“.
Въ дали зеркальной, огненно-лучистой,
Закрывшись тучей,
И окаймивъ дугой ее огнистой,
Цунцово жгучей,
Огромный шаръ, склонясь горитъ надъ нивой
Багрянцемъ розъ.
Ложится тѣнь. Качается лѣниво,
Шумитъ овесъ...

Глубина отравляетъ... Тамъ, гдѣ возникаетъ глубина—не избѣжать водоворота... Ядовитыя испаренія поднимаются надъ нею, проникаютъ въ душу, и душа болитъ, и душа замираетъ въ боли... Хочется крикнуть, надорваться, разорвать пелену, понять... Но знаетъ душа, что быть можетъ все—только сонъ, и нѣтъ надежды проснуться, и никто не разбудитъ... Долгій, тяжелый сонъ длится вѣка, и во снѣ—отраженія, это міръ... И во снѣ другой сонъ—еще глубже—это самосознаніе...

Кто-то обманулъ предвѣчно... Всѣ двери заперъ и бросилъ въ море ключи... И никто не откроетъ дверей и не скажетъ -вотъ я... Всѣ вещи закрыты для чувствъ, всѣ вещи даютъ лишь отраженія, но какъ убѣдиться—вѣрны онѣ или нѣтъ, но какъ убѣдиться, что нѣтъ сна, и гдѣ критерій дѣйствительности?... Кто-то обманулъ навѣки!...

Безкровность, безтѣлесность предметовъ навѣваетъ сонливую скуку... И уже не хочется бороться

съ отраженіями,—пусть отражаются!... И снова грезитъ душа, и ей больно, и ей тяжело... Но кто-то старинный баюкаетъ усталую душу, баюкаетъ грустью, шепчетъ ей свой вѣчный, свой жуткій, свой сонный покой:

...Моя дорогая, усни...
Закатится время... Промчатся какъ листъ золотистый
Послѣдніе въ мірѣ, безвременьемъ смытые дни!...

А надъ круговоротомъ сновъ, надъ хаосомъ возникающихъ міровъ, надъ жизнью и смертью, надъ временемъ и пространствомъ—опрокинулся Ликъ жуткій и плѣнительный—Вѣчность... Слушаетъ, и какъ будто не слышитъ, знаетъ и какъ будто ничего ей невѣдомо, видитъ всѣ извилины души, и безстрастна... Но когда душа пропадаетъ въ бездонныхъ колодцахъ глубинъ—Она отражается вверху Ликомъ своимъ пречистымъ, зоветъ... И отъ нея струятся напѣвныя чары... И она спасаетъ отъ безднъ...

Она начало и конецъ, бездна рожденія и бездна смерти... Она—божественная пѣснь гармоніи... Разсѣиваетъ мракъ хаоса и смотритъ лазурными очами... Зоветъ...

И она расцвѣтаетъ въ любви, и любовь безъ нея мертва... Она сквозитъ въ каждой глубокой мысли и безъ нея немыслимъ восторгъ... Она знаетъ пути.

Она знаетъ послѣднюю тайну, которая никогда не откроется. Она мука безкровная, безтѣлесная красота, безмірная высь... Вотъ закипаетъ, струится, маячитъ, волнуетъ, пробуждаетъ молитвы, въ звѣздахъ и тучахъ она, въ снахъ и блаженствѣ экстаза—всюду льется лазурной рѣкой, журчитъ, уноситъ, зоветъ.

Склоняется надъ молитвами, тихо журчитъ, напѣваетъ, душу объемлетъ зовомъ своимъ напѣвнымъ:

Я такъ близко отъ васъ,
Мои бѣдныя дѣти земли,
Въ золотой, янтарѣющій часъ...

И вотъ—влюбленность... И тоска замираетъ, сливаясь съ блаженствомъ... И снова въ тоскѣ огневѣетъ заря и лазурь, и снова прозрачность... Такъ молятся только влюбленные... Только влюбленность эта особенная: кто проникъ въ ея тайну—тотъ для міра погибъ навсегда... Но онъ счастливъ безумно. И счастье земное—дымъ... И земля уплываетъ въ лазурь... И солнце... И искры... И розы...

Въ вѣнцѣ голубомъ Она замираетъ въ небесахъ, опьяняетъ виномъ поцѣлуйнымъ, навѣваетъ истому блаженства...

Образъ возлюбленной—Вѣчности—
Встрѣтилъ меня на горахъ.
Сердце въ безпечности.
Гулъ, прозвучавшій въ вѣкахъ.
Въ жизни загубленной
Образъ возлюбленной,
Образъ возлюбленной—Вѣчности,
Съ ясной улыбкой на милыхъ устахъ...

. . . . . .

Изъ бездонности вѣчность уноситъ человѣка въ другую бездонность, а потомъ снова хаосъ, снова круженіе, снова человѣкъ отрывается и падаетъ на землю, чтобы повториться, а тамъ глубина зоветъ, призываетъ назадъ, рыдаетъ сквозь хаосъ, къ колыбели своей призываетъ... И жизнь лишь отраженіе въ зеркалѣ вѣчности—тусклое, смутное... Цѣлый

слой отраженій... И нельзя постичь, гдѣ начало и гдѣ конецъ. И нельзя распутать узла. И нельзя проснуться отъ сна...

Идея вѣчнаго возвращенія захватила Бѣлаго. Вотъ она звучитъ въ его творчествѣ основнымъ мотивомъ. Она его измучила. Научился проникать въ безмірное, сталъ тяготиться пространствомъ и временемъ. Но, влюбленный въ Канта, зналъ, что не избѣжать ему этихъ цѣпей, зналъ, что все лишь—явленіе и что міръ возникаетъ лишь въ пространствѣ и времени... Отсюда иллюзіонизмъ въ его міропониманіи. Словно царство тѣней получилось въ сознаніи вмѣсто міра... Полюбилъ эти тѣни, нравилось, что онѣ нѣжныя, прозрачныя, легкія... Полюбилъ отраженія... Сталъ забавляться игрой тѣней, пока не пришелъ къ сознанію, что все—лишь сонъ, что нельзя пробудиться отъ сна... И стало душно.

Въ безконечномъ снѣ міровъ отражается Вѣчность. Баюкаетъ... Наростаютъ видѣнія... Слышится, какъ смыкается кольцо временъ и потомъ снова разрывается, чтобы исчезнуть въ вѣкахъ и снова безумно стремиться къ соединенію... Видится, какъ затерялся человѣкъ во мглѣ, а потомъ черезъ нѣкоторое время то же лицо его возникаетъ на другой вселенной—и снова разсыпается, и снова кружится, стремясь къ возврату... И такъ безконечно... А жизнь—лишь призракъ, длящійся мгновенье... А въ жизни все напоминаетъ царство погибшее въ вѣкахъ, царство блаженства... А въ жизни—лишь отраженія...

И хочется вернуться. И больно, что нѣтъ пробужденья... И страшно...

А жизнь мучаетъ безтолковою пляской тѣней...

Въ 3 симфоніи („Возвратъ“) идея вѣчнаго возвращенія, идея, навѣянная образомъ Вѣчности, пре-

чистой Возлюбленной—получила яркое и оригинальное выраженіе... Здѣсь А. Бѣлый окончательно понялъ всю глубину Ницшевскаго трагизма, трагизма возврата... Но Ницше это ужаснуло... Онъ понялъ, что мы—обреченные... Бѣлый же знаетъ, что возвратъ не безсмысленное повтореніе, что возвратъ—провалъ въ голубую бездонность, что глубина надъ нами обѣщаетъ блаженство, что душа міра зоветъ, и что близко свиданіе... Бѣлый знаетъ тайну влюбленности въ вѣчность. И возвратъ—купель крещенія въ лазурныхъ водахъ... И возвратъ—вознесеніе отъ земли въ безконечность... Между вознесеніемъ и новымъ повтореніемъ—бездонность, забвенье, прозрачная радость души...

Пѣснь Ницше, пѣснь вѣчнаго круговорота, пѣснь хаоса звучитъ въ ушахъ А. Бѣлаго, не переставая... Вслушивается, вникаетъ... Да, это такъ... Въ этомъ—главная тайна, въ этомъ—ключъ... Нужно только понять... И вѣка повторяютъ эхо, и эхо мчится сквозь строй вѣковъ—эхо основного напѣва:

„Все идетъ, все возвращается; вѣчно вращается колесо бытія. Все умираетъ, все вновь расцвѣтаетъ, вѣчно бѣжитъ годъ бытія".

„Все погибаетъ, все вновь устрояется; вѣчно строится тотъ же домъ бытія. Все разлучается, все снова встрѣчается, вѣчно остается вѣрнымъ себѣ кольцо бытія" *).

Да, откликается Бѣлый на зовъ Заратустры,—да, это такъ... Въ этомъ—вѣчность. Въ этомъ—надежда. Нужно полюбить возвратъ, нужно полюбить голубую тайну... Съ тайной слиться навѣкъ... Убаю-

*) Ницше. Такъ говорилъ Заратустра.

кать, убаюкать себя... Прозрѣть... Отдохнуть... Время такъ устало... Пространство такъ износилось... Въ возвратѣ—шумъ вѣчнаго моря, восторгъ, глубина, свиданіе... Да, „все повторяется. Сумма всѣхъ комбинацій атомовъ вселенной конечна въ безконечности временъ, и если повторится хотя бы одна комбинація, повторятся и всѣ комбинаціи. Но спереди и сзади—безконечность; и безконечно повторялись всѣ комбинаціи атомовъ, слагающихъ жизнь, и въ жизни насъ повторялись и мы. Повторялись и повторимся. Милліарды вѣковъ, отдѣляющихъ наше повтореніе, равны нулю; ибо съ угасаніемъ сознанія угасаетъ для насъ и время. Время измѣряемъ мы въ сознаніи. И безконечное повтореніе конечныхъ отрѣзковъ времени, когда насъ нѣтъ, создаютъ для насъ безсмертіе этой жизни. Мы должны наполнить каждый мигъ этой жизни виномъ счастья, если не хотимъ мы безсмертнаго несчастья для себя“ *).

Тамъ, гдѣ-то, въ одномъ кольцѣ времени слушаетъ идею возврата Заратустра и постигаетъ ее доглубины, и не хочетъ вѣрить, боится губительной истины:

„И этотъ медлительный паукъ, ползущій при лунномъ свѣтѣ, и этотъ самый лунный свѣтъ, и я, и ты, что шепчемся въ воротахъ, шепчемся о вѣчныхъ вещахъ,—развѣ всѣ мы уже не существовали?...

„И не должны ли мы вернуться и пройти этотъ другой путь впереди насъ, этотъ длинный плачевный путь,—не должны ли мы вѣчно возвращаться?“.

„Теперь я умираю, и исчезаю, сказалъ бы ты, и черезъ мгновенье я буду ничѣмъ. Души такъ же смертны, какъ и тѣло.

*) А. Бѣлый. Арабески (Ф. Ницше) стр. 89.

„Но связь причинности, въ которую вплетенъ я, опять возвратится—она опять создастъ меня. Я самъ принадлежу къ причинамъ вѣчнаго возвращенія".

„Я снова возвращусь вмѣстѣ съ этимъ солнцемъ, съ этой землею, съ этимъ орломъ, съ этой змѣею—ни къ новой жизни, ни къ жизни похожей на прежнюю; я буду вѣчно возвращаться къ той же самой жизни, въ большомъ и малюмъ!" *).

Здѣсь, въ другомъ кольцѣ этой жизни—слушаетъ ту же поющую въ душѣ мысль маленькій, чахоточный магистрантъ—Хандриковъ**), пробуждаясь отъ сна въ вѣкахъ къ несчастненькой, сѣренькой, придушенной жизни... Пробуждался, видѣлъ потоки сѣраго утра въ комнатѣ, ребенка, обжигающагося кипяткомъ и ревущаго благимъ матомъ, видѣлъ заостренное личико жены своей—Софьи Чижиковны—и ничего не понималъ... Дѣйствительность казалась страшнымъ сномъ... А снившійся сонъ вѣчности—дѣйствительностью... И еще рокотало море въ ушахъ—море вѣчности...

Хандриковъ повторился... Гдѣ-то онъ былъ маленькимъ ребенкомъ, играющимъ на берегу моря. Гдѣ это было, когда—развѣ можно сказать?... Но онъ знаетъ, что это было, и то, что было тогда—повторяется теперь, въ этой жизни, но въ измѣненномъ видѣ, повторяется въ тѣхъ же краскахъ и звукахъ, повторяется и манитъ къ себѣ, въ глубину бездонную, въ глубину голубую...

Какъ живо помнится: тогда было все такъ ясно, такъ радостно... И лазурь улыбалась. И солнце ла-

*) Ф. Ницше. Такъ говорилъ Заратустра.
**) А. Бѣлый. 3 симфонія.

скало... „И въ морѣ раздавалось сладкое рыданье: это восторгъ переросъ вселенную“...

И его тянуло въ бездонность, куда манилъ змій, и къ нему выплывалъ играться неуклюжій краббъ, и Старикъ громыхалъ шагами по кручамъ, спасалъ отъ змія, лукаво щурился, старикъ—исчислитель временъ... И на груди его колыхалось ожерелье, и къ ожерелью былъ привѣшенъ знакъ неизмѣнной вѣчности... Старикъ былъ озабоченъ вычисленіями, замышлялъ повторенія, ухмылялся въ бороду... Шепталъ: „Созвѣздіе Волопаса прожило сто милліоновъ лѣтъ. Проживетъ и еще столько же... А къ созвѣздію Пса приблизилась яростная комета“...

Старикъ былъ совсѣмъ особенный. Уходилъ въ туманъ, направлялся къ созвѣздію Геркулеса... Старикъ мучилъ ребенка своею властью. Старикъ направлялъ его къ гроту, гдѣ все знаютъ, откуда направляются, гдѣ подъ струевой смѣхъ—безнадежный, печальный—злой колпачникъ разсказывалъ ему сказку о будущемъ...

А вокругъ была лазурь и ширь, и волны...

Тогда все было особенное... Но уже и тогда ребенку казалось, что все это уже гдѣ то было, но кончалось печалью... И такъ же мучилъ Старикъ... Старикъ—исчислитель временъ, повторитель... Старикъ кружился около ребенка, думалъ „нѣтъ, его не спасешь... Онъ долженъ повториться. Случится одно изъ ненужныхъ повтореній его“... Старикъ летѣлъ и кричалъ: „ребенокъ повторится, на каждомъ застывшемъ брилліантѣ возникнетъ онъ для вѣчныхъ повтореній!“...

И была тревожная тишина, и знакома темная глубина заката... И несся вдали херувимъ багровымъ метеоромъ, оставляя на морѣ летучую полосу огня...

И море шептало „не надо, не надо“... И херувимъ разсыпался потокомъ искръ“...

Тогда старикъ объявилъ ребенку: „Ты уйдешь. Мы не увидимъ тебя. Пустыня страданій развернется вверхъ, внизъ и по сторонамъ. Тщетно ты будешь перебѣгать пространства, необъятная пустыня сохранитъ тебя въ своихъ холодныхъ объятьяхъ. И тщетенъ будетъ твой голосъ. Но пробьетъ часъ. Наступитъ развязка. И вотъ пошлю къ тебѣ орла“...

И ребенокъ исчезъ въ водоворотѣ времени, несясь на землю, чтобы воплотиться въ Хандрикова... А тамъ на его мѣстѣ уже сидѣлъ другой ребенокъ и тоже ждалъ своей участи... А тамъ была ослѣпительная лазурь и безмятежно рокотало море. И была тишина. И въ „міровыхъ объятьяхъ, чернобредовыхъ, несся херувимъ багровымъ метеоромъ, оставляя на морѣ летучую полосу огня... И море шептало: „не надо, не надо“... И херувимъ разсыпался потокомъ искръ“...

И казалось, что кто-то освящаетъ законы времени и пространства все однимъ и тѣмъ же напѣвомъ—печальнымъ и вѣщимъ, освящаетъ міры и хаосъ: „Все идетъ, все возвращается; вѣчно вращается колесо бытія. Все умираетъ, все вновь расцвѣтаетъ, вѣчно бѣжитъ годъ бытія“...

Ребенокъ проснулся въ магистрантѣ Хандриковѣ... Несчастенъ и худъ былъ маленькій Хандриковъ... Всего боялся, ибо все напоминало колыбель его—тамъ, за порогомъ вѣчности... Занимаясь въ лабораторіи—страшился доцента Ценха съ зловѣщими красными губами и испытующимъ, ненавидящимъ взглядомъ. Ценхъ былъ сухъ и педантиченъ, любилъ науку и считалъ Хандрикова бездарностью. Но послѣднему

казалось, что Ценхъ задумалъ противъ него что-то недоброе. Образъ искусителя колпачника изъ грота сквозилъ въ Ценхѣ, обдавая морознымъ дыханіемъ страха... Ценхъ велъ процессъ съ психіатромъ Орловымъ—и это тоже казалось особеннымъ.

Подчиняясь кому-то старинному—Хандриковъ занимался въ лабораторіи, таскалъ на плечахъ ревущаго младенца, былъ вѣренъ сѣренькой Софьѣ Чижиковнѣ, ѣздилъ въ конкѣ, отбывалъ жизненную повинность... Но все было странно. Все напоминало что-то особенное, навѣки погибшее. Все волновало скрытымъ смысломъ своимъ.

Работая въ лабораторіи, Хандриковъ велъ размышленія. Приводилъ вселенную къ нулю... Тошнило... Говорилъ: „работаю на Ивана. Иванъ на Петра. А Петръ на меня. Души свои отдаемъ другъ за друга... Остаемся бездушными, получая лишь необходимое право на существованіе. Получая нуль, становимся нулями. Сумма нулей—нуль. Это—ужасъ“... И вотъ „все ужасалось и разверзалось, сіяя. Надъ головою повисла пасть—пропасть Вѣчности... Старыя стѣны лабораторіи казались подземными пещерами. Вдали раздавался шумъ моря. Но это была электрическая печь“...

Хандриковъ мчится въ конкѣ, изнуренный холодомъ и болью въ груди, но и конка особенная... И кондукторъ, и прохожіе, и улицы—кажутся повтореніями знакомаго сна. И зловѣщая зѣвота всемірной скуки искривляетъ лицо Хандрикова. Онъ вспоминаетъ, что „все это уже совершалось и что еще до созданія міра конка тащилась по всѣмъ направленіямъ“...

А жизнь, а дѣйствительность—мертвый сонъ... И супруги Хандриковы кажутся „трупами, посажен-

ными за столъ". Няньчитъ Хандриковъ ребенка, и липнетъ къ нему паутина сна. Въ кошмарномъ снѣ спитъ земля, спятъ профессора, спитъ Ценхъ, спятъ супруги Хандриковы, и Софья Чижиковна, положивъ желтую руку на плечо Хандрикова, шепчетъ: „отчего ты не пѣженъ со'мной"? А надъ городомъ повисла блѣдная, круглая луна, повитая вѣнчальной фатой. Она говоритъ: „вотъ я, круглая какъ нуль... Я тоже нуль... Не унывайте"...

У парикмахера Хандриковъ смотритъ въ зеркало и видитъ свое отраженіе. А въ противоположномъ зеркалѣ отражается тоже Хандриковъ. „И еще дальше опять пара Хандриковыхъ съ позеленѣвшими лицами, а въ безконечной дали можно было усмотрѣть еще пару Хандриковыхъ уже совершенно зеленыхъ. И Хандриковъ думалъ: „Уже не разъ я сидѣлъ вотъ такъ, созерцая многочисленныя отраженія свои. И скоро опять ихъ увижу!"...

Но увидѣлъ старика психіатра—Орлова... Проходилъ Орловъ съ пачкой „Геркулеса" подъ мышкой, ухмыльнулся въ бороду. И въ Орловѣ узналъ Хандриковъ Старика—исчислителя временъ... *И тогда началось.*

Сталъ безуменъ Хандриковъ отъ мыслей своихъ, испорченныхъ отраженіями. Не давала дѣлать ему вычисленія Вѣчность. Объявлялась Вѣчность въ каждомъ явленіи и звала, и манила къ себѣ: „приди ко мнѣ!"—и ненужной казалась жизнь, и хотѣлось вернуться...

Отвезли Хандрикова въ санаторію для душевнобольныхъ, къ психіатру Орлову... Кружился Орловъ, какъ тотъ старикъ—исчислитель, призывалъ къ покою, говорилъ бархатнымъ басомъ... Приближался возвратъ. *Тутъ понялъ. Увидѣлъ.*

Въ безуміи увидѣлъ Вѣчность свою, колыбель безумную, царицу свою... Улыбался... Шепталъ невнятныя слова... Радовался, что Старикъ спасъ отъ Ценха...

А міръ близокъ къ закату. Міръ во власти Ея—Жены голубой въ золотомъ вѣнцѣ, неизмѣнной... Хочется крикнуть, призвать, разрыдаться, увидѣть лицомъ къ лицу... Но не даютъ кричать. Кружится старикъ Орловъ, ухмыляется въ бороду, навѣваетъ успокоительные сны. Приглашаетъ Хандрикова кататься въ лодкѣ... Плаваютъ они и говорятъ объ одномъ (но Орловъ притворяется), и Хандрикову хорошо. Надъ несчастьемъ безумія не смѣется Орловъ, Орловъ утѣшаетъ. Вѣдь это не Орловъ, это—Старикъ, исчислитель временъ, *оттуда*... Орловъ говорилъ, утѣшалъ, ласкался, хитрилъ. Орловъ заискивалъ: „Что значитъ ваше сумасшествіе и мое здоровье передъ міровымъ фантазмомъ? Вселенная всѣхъ насъ окружила своими объятьями. Она ласкаетъ, она цѣлуетъ. Замремте. Хорошо молчать“...

Молчали. Припадала къ лицамъ росистымъ покоемъ, улыбалась... И сладко ныло сердце. Замирало сердце въ мукѣ близкаго свиданія... Шептала:

Я такъ близко отъ васъ,
Мои бѣдныя дѣти земли
Въ золотой, янтарѣющій часъ...

И звала глубина: „приди ко мнѣ, побудь со мной“ Глубина голубая...

„И они замирали.

„Вдали несся багровый метеоръ, оставляя на озерѣ летучую полосу огня. И струи плескали: „не

надо, не надо"... И метеоръ разсыпался потокомъ искръ"...

Однажды, катаясь въ лодкѣ—Хандриковъ почувствовалъ *приближеніе*. Ласкала волна, отражаясь на лицѣ его брызгами алмазовъ. Глубина образовала водоворотъ. Глубина звала: „приди ко мнѣ. Твоя я, твоя. Твоя навсегда". И оттуда смотрѣлъ на Хандрикова похудѣвшій ребенокъ съ лазурными очами и тихо смѣялся надъ нимъ"... И чѣмъ больше всматривался въ глубину, тѣмъ прекраснѣе казались опрокинутыя, дальнія страны. И гдѣ-то пѣли: „приди ко мнѣ, приди ко мнѣ". И ему казалось—это возникалъ старческій зовъ, знакомый и милый"...

И онъ рѣшился, нырнулъ захлебнулся, хотѣлъ крикнуть „иду", но не успѣлъ—потонулъ, исчезъ...

Надъ нимъ стоялъ бѣлый Старикъ съ ожерельемъ на шеѣ, къ которому былъ привѣшенъ знакъ неизмѣнной вѣчности.

Словно улыбался Старикъ, словно радовался встрѣчѣ, словно говорилъ, благословляя возвратъ:

„Все идетъ, все возвращается, вѣчно вращается колесо бытія. Все умираетъ, все вновь расцвѣтаетъ, вѣчно бѣжитъ годъ бытія"...

Міръ для А. Бѣлаго вслѣдствіе влюбленности въ вѣчность сталъ сквознымъ... Онъ далекъ отъ реальности, потому что все лишь во снѣ. Онъ—далекъ отъ земли, потому что надъ землей протянулась голубая весна... Но земля приближается... Вотъ кружится жизнь въ пляскѣ своей унылой, медлительной, приходятъ дни, свершаются событія, появляются лица, міръ дѣйствительности, міръ будней входитъ въ творчество, требуетъ отображенія... Но надоѣли слова и они не выразятъ того, что въ вещахъ... А разъ ре-

альность вещей навѣки закрыта, нужно завуалировать бездны символами. И вотъ—возникаетъ символическое творчество. Символы—образы идей—пріобрѣтаютъ музыкальный ритмъ, набираютъ красочности и сочности, символы какъ бы создаютъ міръ отдѣльный, міръ замкнутый въ себѣ, который поетъ о глубинѣ жизни, который живописуетъ событія, который творитъ синтезъ.

Символъ А. Бѣлаго это какъ бы оркестровка міра въ словахъ, и образы свозятъ вѣчностью, и образы чаруютъ переливами цвѣтовъ и звуковъ, и образы создаютъ настроеніе... Онъ уже не мыслитъ понятіями, онъ мыслитъ образами, символизируетъ дѣйствительность. Онъ подымаетъ дѣйствительность до вѣчнаго, воплощая событія дня въ ритмъ, надѣвая на лица загадочныя маски, облекая движенія души кристальною формою образовъ...

Если явленія—лишь тѣни во снѣ, если нельзя разгадать сущности вещей, если изъ хаоса не вылѣпишь цѣлесообразности, то нужно закрѣпить эти узоры тѣней на экранѣ воображенія въ видѣ цвѣтныхъ образовъ, нужно покрыть бездны волнующимся атласомъ тайны, нужно проникнуть свозь хаосъ въ глубину и глубину освятить свѣтлой надеждой лазури...

Весь символизмъ Бѣлаго это узоры тѣней, это—какъ бы защита отъ всякаго реальнаго воплощенія, это затѣйливыя отраженія въ зеркалахъ души, это духъ жизни какъ бы получившій матеріальную оболочку, но не сама жизнь. Ибо сама жизнь лишь явленіе, ибо возможность жизни ограничена пространствомъ и временемъ и нельзя понять, что реально, а

что не реально,—духъ или матерія, сонъ или пробужденіе...

Бѣлый плѣненъ Кантомъ, плѣненъ до муки, его трансцедентальный идеализмъ часто принимаетъ форму настоящаго иллюзіонизма, и тогда напрасны всѣ попытки вырваться изъ подъ власти тѣней, и все кажется сномъ безъ пробужденія, а предметы и лица лишь отраженіями. Его символизація идей пожалуй имѣетъ значеніе sub specie aeternitatis, но реальнаго значенія я въ ней не вижу: вѣдь оттого, что Бѣлый будетъ творить свой символическій міръ, нисколько не разрѣшится загадка жизни и не будетъ понятно, что есть дѣйствительность и куда идти...

Онъ какъ бы запутался въ призрачномъ мірѣ своемъ, но міръ его отличенъ отъ жизни и не объясняетъ ея смысла, его символизмъ какъ бы стремится затушевать міровую безсмысленность, его міровоззрѣніе словно умерщвляетъ живую дѣйствительность, одѣвая ее прозрачною вуалью символовъ, и эта послѣдняя какъ туманъ поднимается надъ міромъ, закрываетъ міръ, испаряется,—и снова дымъ, и снова отчаяніе неизвѣстности, и снова сознаніе, что сонъ безконечно длиненъ и что напрасна молитва о томъ, „чтобы мы очнулись отъ сна“.

И все, что мчится по безднамъ эѳира,
И каждый лучъ, плотской и безплотный—
Твой только отблескъ, о солнце міра,
И только сонъ,—только сонъ мимолетный! *)

Въ симфоніяхъ А. Бѣлаго символизмъ нашелъ себѣ прекрасное выраженіе. Это первая попытка въ Россіи замѣнить словесное выраженіе звуками, ввести

*) Фетъ.

въ литературу музыку... Здѣсь не мѣсто распространяться о томъ, насколько удалась эта попытка, но нужно замѣтить, что музыкальная форма символизаціи у Бѣлаго въ нѣкоторыхъ его симфоніяхъ получила оригинальное и сильное выраженіе, не уступающее иногда по богатству стиля и образовъ передъ шедеврами символизма (въ этомъ отношеніи замѣчательна его первая сѣверная симфонія)...

Нужно принять во вниманіе необычайную техническую трудность такого рода творчества, чтобы всецѣло понять заслугу А. Бѣлаго въ этомъ отношеніи: въ своихъ симфоніяхъ ему приходилось одновременно выполнять двойную работу: заботиться объ отдѣлкѣ стиля, построеніи темъ и правильности музыкальной структуры съ одной стороны и соблюдать глубину идейнаго содержанія—съ другой... Въ результатѣ вышло такъ, что тамъ, гдѣ эта заботливость достигла почти математическаго педантизма (какъ напр. въ 4 симфоніи) впечатлѣніе гораздо слабѣе и чувствуется больше искусственности, чѣмъ въ тѣхъ симфоніяхъ, гдѣ элементъ безсознательнаго творчества преобладаетъ надъ виртуозностью техники (1-я и 3-я симфоніи)...

Вообще же наиболѣе удачной въ этомъ родѣ творчества нужно признать 1-ю сѣверную героическую симфонію. Здѣсь музыкальный ритмъ символизаціи развернулся во всей своей гибкости, сложности и прозрачности. Здѣсь символы какъ бы пріобрѣли своей цвѣтовой сочностью почти осязательную и обонятельную силу. Здѣсь символы—словно яркоцвѣтныя фигуры, вышитыя на лазурномъ фонѣ вѣчности; вотъ, онѣ оживаютъ, и въ нихъ поетъ прозрачность, сквозь нихъ просвѣчиваетъ голубое, онѣ

какъ бы реализируются въ звукахъ, но вотъ—молчанье, и въ молчаньи—провалы сквозь образы въ бездонность, и цвѣтовыя фигуры снова струятся, опьяняя воздушными своими чарами, мерцая серебристымъ трепетомъ тайны...

Въ 1 симфоніи всѣ дѣйствующія лица словно нѣжныя тѣни забытыхъ сновъ, словно странно-нѣжные, очень прозрачные, тающіе, почти незримые, почти воздушные цвѣты. И въ нихъ—пугливые переливы метелей, и смолистый запахъ сосноваго лѣса, и жуткія чары средневѣковья съ рыцарскими турнирами, шабашами вѣдьмъ, козлованіями... Черный лебедь печали сквозитъ здѣсь въ кристальныхъ водахъ трепетной тишины, въ серебряныхъ ризахъ восторга замерла нѣжная, свѣтлая душа королевны—„бѣлой лиліи на красномъ атласѣ", въ синихъ дымчатыхъ чащахъ лѣсовъ чернѣютъ силуэты великановъ. Гномы, горбуны, кентавры, мрачные всадники населяютъ пространство, которое переходитъ подъ конецъ въ сказочное между планетное царство духовъ... Постепенно нарастающіе лейтмотивы словно соединяютъ разорванныя звенья длительныхъ, сладко-мучительныхъ, блаженныхъ, тревожныхъ сновъ... А надъ снами, надъ сказкою сѣвера, надъ царствомъ души, надъ видѣніями скользитъ ликъ знакомой жены, чудотворной царицы. Здѣсь она—женщина въ черномъ, въ длинныхъ покровахъ, и лицо ея затемненное, и милый профиль ея тонетъ на фонѣ звѣздно-голубой ночи...

Во второй симфоніи рельефнѣе выступаетъ отношеніе А. Бѣлаго къ дѣйствительности. Это отношеніе—сатирическое и вмѣстѣ съ тѣмъ мучительно-серьезное, ибо мысль запуталась въ отраженіяхъ. Хочется освобожденія отъ тѣней, хочется увидѣть жи-

вую реальность, но вездѣ—отраженія... Міровая скука зѣваетъ изъ жизни, дряблая, сморщенная старуха—жизнь трагикомична. Надъ городами, деревнями повисъ „сводъ сѣро-синій съ солнцемъ—глазомъ посреди", освящая хаосъ... Иронія сквозитъ въ музыкальномъ отображеніи дѣйствительности, и понятно, что она полна скуки, она ненужна, она безобразна и безсмысленна и кажется утомительнымъ сномъ безъ пробужденія. Въ лицѣ выведеннаго во второй симфоніи философа, плѣненнаго Кантомъ—находимъ отзвуки міровоззрѣнія самого автора, не лишенныя иронической окраски... Философъ съ „Критикой чистаго разума" въ рукахъ, среди хаоса жизни, въ круговоротѣ временъ, весь испепеленный книжною мудростью кажется насмѣшкой и надъ Кантомъ, и надъ дѣйствительностью... Тщетно стремится философъ преодолѣть кантовскій догматизмъ, его пространство и время, его метафизику, но остается для этого одно лишь безуміе... А. Бѣлый къ сумашествію своего героя отнесся тоже иронически, ибо для него разсудокъ и идеи выше всего... Но еще не разъ ему придется вернуться къ идеѣ безумія съ надеждой избавиться отъ Кантовской мудрости... Но еще не разъ будетъ метаться онъ во всѣ стороны, ища мѣста, гдѣ бы не было наконецъ тѣней, гдѣ была бы реальная жизнь,—и вотъ эти его поиски, эти метанія, эти исканія истины и выражаютъ то *главное* въ А. Бѣломъ, что особенно дорого мнѣ: этотъ пламенный, струящійся въ мукѣ—напряженный полетъ его, съ вѣчными надрывами на полъ-пути, эти сверкающія молніи внезапныхъ озареній, эту почти подвижническую любовь къ религіознымъ цѣнностямъ.

Я не буду долго останавливаться на религіозной сторонѣ міровоззрѣнія Бѣлаго, потому что эта сторона менѣе ясна и страдаетъ нѣкоторою недоговоренностью... Но ясно, что религіозность А. Бѣлаго направлена къ обожествленію вѣчности... Вѣчность имѣетъ религіозный смыслъ. Вѣчность преображаетъ жизнь. Она—единственная таинственная реальность, съ которой нужно считаться. И всѣ наши помыслы должны быть направлены къ ней. Ликъ ея является то въ видѣ Жены, облеченной въ солнце, то въ видѣ лазурнаго сіянія, но не въ ликѣ главное. Она божественна. Она землю срываетъ и кружитъ, уноситъ съ собой, качая. И мы въ колыбели. Склонившись надъ нами, она улыбается, и мы чувствуемъ восторгъ несказанный, восторгъ переросшій вселенную, и мы чувствуемъ радость дѣтей, радость свѣтлопечальную... „И уже среди бѣла дня мы научимся узнавать нашу радость, взирая на ясно-лазурное грустящее радостью небо. Только пристальный взоръ обнаруживаетъ бездну, открывающуюся въ прозрачномъ океанѣ бѣлаго воздуха... Соединеніе бездны міра, находящейся тамъ, гдѣ нѣтъ ни временъ, ни условій, съ воздушно-бѣлой прозрачностью, какъ съ символомъ идеальнаго человѣчества—это соединеніе открывается намъ въ соединяющемъ цвѣтѣ неба—этомъ символѣ богочеловѣчества—двуединства“ *)... И каждый мигъ этой жизни должны мы дѣлать вѣчнымъ—это наше священнодѣйствіе. И любовь наша есть лишь отданіе себя вѣчности, погруженіе въ нее, красота ея... „Ибо любовь переноситъ въ вѣчность точку ея приложенія, Любовь теургична по существу“... Вѣчность—наше

*) Священные цвѣта.

безсмертіе. И кто любитъ ее, тотъ не знаетъ смерти. „Вотъ панихида. Вы стоите надъ гробомъ сына съ розовыми камеліями. Друзья ваши плачутъ. Жена ваша въ слезахъ. Въ синихъ волнахъ ладаннаго дыма мерцаютъ слезные жемчуга. „Жемчугъ, жемчугъ—это заря"—шепчете вы: и знаете, что это—счастье. А если и это—счастье, то что же несчастье? Вся жизнь—только счастье, когда она приведена къ зарѣ, теперь никогда вы не умрете. Надъ всей вашей жизнью будетъ всегда развернутая лазурь. Въ глазахъ у людей вы будете искать этой лазури: глаза людей это голубой небесный пролетъ, который закрываютъ бѣлоснѣжныя облачка маленькихъ радостей и темныя тучки несчастій. Онѣ приходятъ и уходятъ, заслоняютъ зазурь, значитъ ли это, что нѣтъ лазури? Всегда, всегда она—съ нами: наше счастье, наше тихое, какъ жемчугъ, счастье—оно всегда съ нами. Небо омываетъ землю сверху и снизу. На землѣ наша жизнь. Наша жизнь летитъ все скорѣй, все скорѣе. Она летитъ. Наша жизнь, какъ дитя, почиваетъ въ голубой колыбели. Она всегда въ колыбели. Наша жизнь—взвизгнувшая ласточка, утопающая въ лазури. Кто это понялъ—понялъ, что нѣтъ ни боли, ни радости: и въ боли, и въ радости таинственная тишина небеснаго озера, по которому пробѣгаетъ рябь тучекъ. Кто понялъ, понялъ все. Онъ не измѣнится. быть можетъ, работа его удесятерится. Но въ суматохѣ жизни, стоя у телефонной трубки, вспомнитъ онъ, что надъ нами лазурь, и ахъ, улыбнется себѣ самому*)... Ликъ Христа, возвышающагося надъ міромъ, мистическая тайна Христа, Его неизбѣжность, необхо-

*) Арабески, 379.

димость, понятны Бѣлому именно такъ, какъ понятны и мнѣ. Его Христосъ есть воплощенная вѣчность... И ему вѣдома спасительная идея *безумія во Христѣ*, идея, которая только въ Россіи-то и возможна...

И ему вѣдомъ путь ко Христу, путь мучительный, путь переоцѣнки всѣхъ цѣнностей, путь на головокружительную вершину, путь туда, гдѣ ненуженъ міръ, гдѣ міра нѣтъ и не можетъ быть, гдѣ человѣкъ сливается съ Богомъ своимъ навѣки! Онъ говоритъ такъ ясно: „*Пройти сквозь формы міра сего, уйти туда, гдѣ всѣ безумны во Христѣ—вотъ нашъ путь...*“ **) Въ міровоззрѣніи А. Бѣлаго вырисовывается также образъ мистической вселенской церкви въ такомъ видѣ, какъ представляется она и Соловьеву, и Мережковскому, и Вячеславу Иванову,—но понятіе церкви у него чисто символично, до абстрактности, оно лишено у него даже тѣни какой бы то ни было реальности, иногда оно соединяется съ эсхатологической идеей... „Тогда будетъ новая земля и новое небо. Это и будетъ концомъ міра сего. Безконечная линія причинности, развернутая во времени, обращается въ точку. Стоящее въ началѣ и концѣ—одно. Въ концѣ міра полнота утвержденія, окончательность образовъ. Проснулась душа... Окончательность христіанства, новозавѣтность мысли о концѣ, неожиданное облегченье и радость, которая неизмѣнно содержится въ этой мысли—вотъ свѣтъ, запавшій намъ въ душу... Образъ мистической церкви на границахъ временъ и пространствъ. Таютъ пространства. Начало временъ сливается съ концомъ. Образуется кругъ времени—„кольцо колецъ, кольцо возврата“... Оттуда

**) Священные цвѣта.

брызжетъ солнечность. Вотъ она явитъ образъ свой, но подымется голосъ изъ безвременья: „Ей гряду скоро"... Церковь А. Бѣлаго такимъ образомъ, носитъ чисто апокалипсическій характеръ. Но эта идея—идея вселенской мистической церкви, долженствующей появиться послѣ конца міра сего—не доведена у него до конца. Нельзя понять—есть-ли она (Церковь) возвратъ къ вѣчности только духа, или это мечта Мережковскаго о синтезѣ плоти и духа получила здѣсь свое нѣсколько видоизмѣненное выраженіе. Во всякомъ случаѣ и Христосъ, и идея церкви не занимаютъ въ міровоззрѣніи А. Бѣлаго центральнаго мѣста, а являются лишь концомъ одного изъ этаповъ пути его, такъ сказать—завершительной, идеальной точкой, метафизическимъ утѣшеніемъ. Но она такъ же не реальна и призрачна, какъ и весь символизмъ Бѣлаго... И не въ этомъ ключъ къ пониманію его души. Религіозная точка зрѣнія является лишь частью его разностороняго и богатаго разнородными ферментами міровоззрѣнія... Но *значеніе религіи* понято имъ вполнѣ совершенно, хотя опять таки—чисто символическимъ образомъ.

Творческій инстинктъ все время заставлялъ А. Бѣлаго выйти изъ рамокъ Кантовской гносеологіи. Если міръ есть лишь только наше представленіе, возникающее по законамъ пространства и времени, если навѣкъ закрыта для нашего познанія реальность вещей, если вся жизнь лишь отраженіе въ насъ неизвѣстнаго *я*, то не находимся ли мы во снѣ и не грозитъ ли намъ неизбѣжность вмѣстѣ съ двѣнадцатью категоріями и синтетическими сужденіями a priori очутиться въ дуракахъ? И какъ пробудиться отъ сна?

„И самъ магистрантъ Евгеній Хандриковъ, дивился себѣ, ползающему въ пространствѣ и времени, потому что въ душѣ онъ таилъ надежду, что *кругомъ все сонъ, что нѣтъ ничего*, что безконечная пустыня протянулась вверхъ, внизъ и по сторонамъ, что онъ окутанъ туманной безпредметностью и звѣздные міры тихо вращаются въ его комнатѣ“ *). И тотъ же Хандриковъ развиваетъ излюбленную мысль А Бѣлаго о безсмысленномъ снѣ нашей жизни такимъ образомъ: „мы можемъ оказаться не людьми, а ихъ отраженіями. И не мы подходимъ къ зеркалу, а отраженіе кого-то, неизвѣстнаго, подходящаго *съ той стороны* увеличивается размѣромъ на зеркальной поверхности. Такъ что мы никуда не уходимъ, ни откуда не приходимъ, а растягиваемся и стягиваемся, оставаясь на той же плоскости. Можетъ быть, стоимъ прямо, а можетъ быть вверхъ ногами, или бѣгаемъ подъ угломъ въ 45°... Быть можетъ все возвращается. Или все возвращается видоизмѣненнымъ, или же только подобнымъ... Все неопредѣленно. Самая точная наука—наука самая относительная. Но отношеніе безъ относящихся—нуль... Все течетъ, несется. Мчится на туманныхъ кругахъ. Огромный смерчъ міра несетъ въ буревыхъ объятьяхъ всякую жизнь. Впереди него пустота и сзади то же. Куда онъ примчится“? **)...

Наше познаніе есть лишь отраженіе и никто не сможетъ доказать, что оно соотвѣтствуетъ дѣйствительности, категоріи и апріорныя синтетическія сужденія суть лишь функціи нашего разума, мы бродимъ ощупью около вещей въ себѣ, какъ слѣпые и увѣ-

*) Возвратъ, стр. 46.
**) Ibid., 83—84.

рены, что все видимъ и все знаемъ, но мы знаемъ лишь реальность нашихъ же собственныхъ воспріятій и представленій, имѣемъ дѣло только лишь съ формами познавательныхъ способностей, а не съ міромъ реальнымъ, котораго познать не можемъ, ибо всякое постиженіе и всякое познаніе не только субъективно, но также и относительно... Попытка Канта утвердить объективность субъективныхъ сужденій не привела къ чему-нибудь прочному, ибо сама-то его попытка сдѣлать апріорныя сужденія объективными и общеобязательными есть также попытка въ сущности субъективная (ибо критерія объективности онъ такъ и не могъ найти), попытка, имѣющая цѣнность лишь для него самого...*) А если такъ, если все относительно, если всякое познаніе есть лишь функція единичнаго разума, то единственнымъ критеріемъ истинности познанія можетъ быть только одно наше я. Только оно одно создаетъ себѣ міры, познаетъ ихъ и изучаетъ, можетъ примириться съ ними или разрушить ихъ, ибо весь міръ—только во мнѣ, а до того, что этотъ міръ есть еще въ другихъ субъектахъ—мнѣ нѣтъ никакого дѣла, ибо исчезну я—исчезнутъ и эти субъекты, и міръ, въ нихъ отражающійся. Эту мысль, хотя и не во всемъ ея объемѣ почувствовалъ въ концѣ концовъ и А. Бѣлый, и здѣсь его иллюзіонизмъ достигъ своего апогея, здѣсь же субъективность переживаній оказалась единственнымъ критеріемъ дѣйствительности:

*) Особенно не повезло Канту съ установленіемъ его знаменитаго „категорическаго императива": его попытки въ этомъ отношеніи сводились къ тому, чтобы сдѣлать этотъ императивъ закономъ природы, но вслѣдствіе догматически-моральнаго притязанія „категорическаго императива" и эта попытка потерпѣла фіаско: оказалось, что нѣкоторые, отнюдь, далеко „не моральные" законы природы, обладаютъ такимъ же правомъ на званіе категорическ. императива, такъ и „моральные".

Ты знаешь: міръ, судебъ развязка,
Теченье быстрое годинъ—
Лишь сновъ твоихъ пустая пляска;
Но въ мірѣ—ты, и *ты—одинъ*,
Все озарившій, не согрѣтый,
Возникнувшій въ своемъ же снѣ...
Текутъ года, летятъ планеты
Въ твоей несчастной глубинѣ*).

Передъ содержаніемъ вещей въ себѣ А. Бѣлый такъ же безсиленъ, какъ и его учитель—Кантъ... Но, если наше представленіе есть лишь отраженіе, если познаніе вещи есть не сама вещь, а такъ сказать лишь ея фотографія, то мы обречены на незнаніе. И въ этомъ отношеніи эмпиристы куда счастливѣе насъ, и какой нибудь Локкъ, признающій за вещами способность производить на насъ силу дѣйствія, во всякомъ случаѣ находится ближе къ реальности ихъ, чѣмъ какъ бы совсѣмъ потерявшій ихъ изъ виду Кантъ... Монадологія Лейбница также оперируетъ съ живыми силами вещей, признавая одушевленность монадъ. И въ этомъ отношеніи интуиція Лейбница и Бэкона обладаетъ несравненно большею достовѣрностью и силою, чѣмъ смутная и книжная интуиція Канта въ формѣ пространства и времени. Это способенъ признать и самъ А. Бѣлый, что видно изъ его ироническаго замѣчанія относительно не-жизненности Канта: „Мы можемъ соглашаться съ „Критикой“ Канта, но мы не можемъ отрицать, что Кантъ въ своемъ кабинетѣ былъ восьмымъ книжнымъ шкафомъ среди семи шкафовъ своей библіотеки. И вотъ мы ставимъ вопросы. Можетъ ли книжный шкафъ обладать личнымъ творчествомъ?“ **).

*) Урна.
**) Искусство. (Арабески, стр. 215).

Но вотъ возникаетъ нѣсколько щекотливый по своей неожиданности, но умѣстный вопросъ: если наши общепризнанныя и узаконенныя разсудочныя способности оказываются безсильными познать реальность вещей въ себѣ, то не могутъ ли соотвѣтствовать этой задачѣ способности анормальныя? Не можемъ ли мы познавать откровеніе въ безуміи или въ экстазѣ? Достоевскій на опытѣ показалъ, что можемъ. Князь Мышкинъ въ минуты своихъ эпилептическихъ припадковъ опытнымъ путемъ, путемъ интуиціи постигалъ именно то сокровенное содержаніе вещей, о которомъ ни Кантъ, ни прочіе мудрецы не имѣютъ понятія, эти мгновенія были для него „необыкновеннымъ усиліемъ самосознанія и въ то же время самоощущенія въ высшей степени непосредственнаго“... За эти мгновенія Достоевскій готовъ былъ отдать всю жизнь свою. Въ эти мгновенья раздвигались горизонты міра, останавливалось время, не чувствовалось пространства, въ эти мгновенья постигалось непостижимое и открывалась тайна міра. И не могъ передать, потому что это было по ту сторону разсудка и нормальнаго ощущенія, и *именно потому* открывалась та сущность вещей, которую не можетъ охватить нормальное сознаніе...

Философъ у А. Бѣлаго дѣлалъ попытки освободиться отъ времени и пространства и попалъ въ сумасшедшій домъ. Но и самъ А. Бѣлый, которому вѣдомо *безуміе во Христѣ*—доходилъ въ творчествѣ своемъ не разъ до надрыва, до бунта противъ нормальности, до *постиженія* экстаза... И ему вѣдомо, что послѣднюю глубину можно познать только въ безуміи. Но для него и эта неуловимая форма таинственной безумной мудрости превратилась бы въ на-

учную схему, и въ этомъ отношеніи онъ безсильнѣе Канта... Онъ не можетъ побороть въ себѣ догмата научности—и когда близка тѣнь спасительнаго безумія—онъ отворачивается и боится, забывая, что въ этомъ счастье.

Рой отблесковъ. Утро: опять я свободенъ и силенъ.
Открой занавѣски: въ алмазахъ, въ огнѣ, въ янтарѣ
Кресты колоколенъ. Я боленъ? О, нѣтъ,—я не боленъ,
Воздѣтыя руки горѣ на одрѣ —въ серебрѣ.
Тамъ въ пурпурѣ зори, тамъ бури—и въ пурпурѣ бури.
Внемлите, ловите: воскресъ я—глядите: воскресъ
Мой гробъ уплыветъ—золотой въ золотыя лазури...
Поймали, свалили; на лобъ положили компрессъ*).

Но на одной точкѣ А. Бѣлый не могъ остановиться. Сжигаемый пламенемъ, онъ бросался во всѣ стороны въ отчаянныхъ поискахъ истинной реальности. Отъ Кантовскаго трансцедентализма онъ бросился въ прямо противоположную сторону, къ живой реальной дѣйствительности, и одно время воображалъ себя марксистомъ, преклонялся предъ идеалами соціализма, доказывая, что послѣдній есть единственная возможная форма не только общественной, но и индивидуальной жизни. Конечно, это было такъ же трагикомично, какъ и попытки неохристіанъ войти въ общественность. Но для самого А. Бѣлаго это было далеко отъ всякаго практицизма (да и какой онъ общественникъ?), это былъ лишь одинъ изъ этаповъ его мучительныхъ исканій, одна изъ попытокъ освободиться отъ кошмарности идеализма и хоть ощупью найти ту необходимую реальность, которую онъ не въ силахъ былъ постичь съ помощью разсудочнаго познанія.

*) Пепелъ.

Само собою разумѣется, что для такого утонченаго индивидуалиста, какъ А. Бѣлый, грубая правда соціализма—оказалась столь же ложною и ненужною формою реальности, какъ и его другая, тоже довольно эксцентрическая попытка—сдѣлаться народникомъ по рецепту Некрасова... Эта послѣдняя отразилась въ сборникѣ его стиховъ: „Пепелъ"... Но и народничество окончилось отчаяньемъ. Сжигающій пламень разсыпался пепломъ и душа не выдержала напряженія, душа надорвалась, какъ будто потухла...

Съ какой-то глухой, послѣдней надеждой бросился А. Бѣлый въ сѣрыя пространства Руси, съ чувствомъ горечи и безсилія подошелъ онъ къ деревнѣ. Но оттуда пахнуло сѣрымъ кошмаромъ безцѣльной, страдальческой жизни, но оттуда ринулась въ душу его ядовитая тоска полей, ворвалась метель грубаго испепеленнаго ужаса обыденщины, и въ вихрѣ безумной тоски замаячили станціи, поля, телеграфныя сѣти, сѣрая жуть безмѣрнаго пространства, безвременье, вьюги замученныхъ жизней, и безпросвѣтныя дали, и тупая, почти физическая боль...

А душа устала. Уже не можетъ горѣть душа яркимъ пламенемъ, что-то оборвалось въ ней, что-то потухло, душа томится, завываетъ въ воплѣ своемъ безотрадномъ, черною птицей носится надъ полями и виснетъ, и плачетъ, и ноетъ, и больно ей, больно до тусклаго отупѣнія, и острая стрѣла жизни пронзила ее насквозь...

Въ „Пеплѣ"—вся боль Россіи, міровая тоска, губительная и безмѣрная, міровое отчаянье, крикъ деревень, крикъ голыхъ, холодныхъ равнинъ, крикъ житейскаго отчаянья... Бѣлый почувствовалъ тѣнь смерти, тѣнь безвременья надъ своей страной, и пе-

пелъ ея вошелъ въ его душу, и вотъ несется вихрь отчаянья, вихрь разметавшагося душевнаго пепла по равнинамъ, по полямъ, по лѣсамъ, но все дальше, все дальше уходитъ и народъ, и его нужды, и его безотрадная доля, а все ближе, все ощутительнѣе, все яснѣе *своя* тоска, своя безпомощность, свое горькое, послѣднее отчаянье и своя безмѣрная, тупая, ноющая боль!

Роковая страна, ледяная,
Проклятая желѣзной судьбой,
Мать Россія, о родина злая,
Кто же такъ подшутилъ надъ тобой?

Душа умираетъ... Среди этихъ холодныхъ и дикихъ пространствъ, среди дикихъ людей, среди безсмысленной жизни—тоска надрываетъ душу и хочется уйти все дальше, все дальше, бѣжать безъ конца, искать отдыха, искать пристани, гдѣ не слышно воя тоски, гдѣ можно забыться... Все дальше, все дальше летѣть на сломанныхъ крыльяхъ, забывая пространство, забывая время, все дальше и дальше мчаться сквозь холодъ, сквозь ужасъ сѣрый, сквозь отчаянный бредъ этой жизни, мчаться на сломанныхъ крыльяхъ и молиться о покоѣ, о смерти, о пробужденіи отъ сна!...

...Телеграфная тянется сѣть.
Пролетаютъ поля росяныя,
Пролетаю въ поля: умереть...

...Довольно: не жди, не надѣйся—
Разсѣйся, мой бѣдный народъ!
Въ пространство пади и разбейся
За годомъ мучительный годъ.

...Вѣка нищеты и безволья.
Позволь же, о родина мать,

Въ сырое, въ пустое раздолье,
Въ раздолье твое прорыдать!

Не уйти отъ тоски. И тоска сливается со смертью. Холодною жутью въ визгѣ метели наростаетъ невстрѣчаемый прежде мотивъ смерти, и вотъ уже нѣтъ струящагося пламени, нѣтъ надеждъ, нѣтъ просвѣтовъ, нѣтъ озареній, душу обняла и баюкаетъ смерть, качаетъ, уноситъ, съ размаху бросаетъ въ гулкую бездонность забвенья, рыдаетъ, вопитъ, визжитъ похороннымъ крикомъ надъ потухшей въ распятіи душой, зарываетъ въ землю, душитъ, душитъ кошмаромъ своимъ безысходнымъ—и вотъ уже больная зловѣщая улыбка на исхудаломъ, на приговоренномъ лицѣ, и вотъ безпомощный стонъ, безотвѣтная жалоба, вопросъ погибающаго:

Я сѣлъ на могильный камень...
Куда мнѣ теперь итти?
Куда свой потухшій пламень—
Потухшій пламень—нести?

Но вотъ тоска смѣняется блаженствомъ смерти. Хорошо, что оставили силы, хорошо умереть. Хорошо и отрадно лежать въ гробу и слушать рыдающій напѣвъ панихиды, хорошо возноситься, хорошо отлетать... „Наше счастье съ нами!“. И вѣчность съ нами... И радость.

Въ черномъ лежу сюртукѣ
Съ желтымъ—
Съ желтымъ
Лицомъ;
Образокъ въ костяной рукѣ.
...Дилинь бимъ—бомъ.
Нашелъ въ гробу
Свою судьбу.

Сверкнула лампадка.
Тонуть въ неземныхъ
Даляхъ
Мнѣ сладко.
Невѣста моя зарыдала,
Крестя мнѣ блѣдный лобъ.
Въ креповыхъ, сквозныхъ
Вуаляхъ
Головка ея упала
Въ гробъ...
Ко мнѣ прильнула:
Я обжегъ ее льдомъ.
Кольцо блеснуло
На пальцѣ моемъ.
...Дилинь бимъ—бомъ.
...Поютъ.
Но не внемлю.
И жалко,
И жалко,
И жалко
Мнѣ землю...

Но за смертью наступаетъ воскресенье. Но изъ собраннаго въ урну пепла незамедлитъ вспыхнуть и вознестись новымъ чудомъ воскресшій фениксъ—вѣчно живая душа... Иногда кажется, что А. Бѣлый именно тѣмъ и преодолѣлъ смерть, что углубился въ нее. И душа его снова вынырнула изъ охладѣвшаго пепла, новой, чудесной птицей обернулась она и летитъ—и путь ея новъ, и путь ея быстръ и легокъ... А сверху манитъ все та же голубая бездна...

Душа горитъ и плачетъ невозбранно;
Земля мертва: пройдутъ и не отвѣтятъ.
Но тамъ, смотри: тамъ, гдѣ заря—туманно.
Тамъ, гдѣ заря—иныя земли свѣтятъ.

Послѣ „Пепла“ и „Урны“ А. Бѣлый на новыхъ путяхъ: онъ пишетъ своего „Серебрянаго Голубя“—

непріятно-искуственную стилизацію „подъ Гоголя". Онъ издаетъ солидный и увѣсистый кирпичъ: „Символизмъ", дѣлающій честь любому филологу... Теперь научные вопросы искусства всецѣло поглотили его, онъ какъ бы совсѣмъ ушелъ изъ жизни въ затѣйливую механику стихосложенія; читаетъ въ о—вѣ ревнителей художественнаго слова рефераты на тему: „объ изслѣдованіи пятистопнаго ямба" (!), и вообще обнаруживаетъ зловѣщіе признаки эстетическаго транса. Но мнѣ кажется, что и это—лишь этапъ, а не путь, лишь исканіе, а не пристань. Но я вѣрю, что А. Бѣлый вскорѣ стряхнетъ съ себя мертвую пыль эстетической скуки и явитъ намъ свой новый обликъ, болѣе рельефный и болѣе содержательный.

А. Бѣлый еще и теперь весь въ геніальныхъ возможностяхъ. Онъ словно пробуетъ крылья свои, словно готовится къ полету, но самый полетъ еще не близко и неизвѣстно, въ какую именно сторону онъ полетитъ и куда придетъ.

Но когда я думаю о немъ, мнѣ грезится прозрачный сонъ въ волнахъ лазури надъ бездною временъ... На кораблѣ стремительнаго сна мчится душа сквозь вихрь созвѣздій и міровъ къ покою, къ возврату, къ свиданію. И лазурь улыбается, и таютъ облака грусти, и вся душа утопаетъ въ потокѣ влюбленности.

...Въ жизни загубленной
Образъ возлюбленной—
Образъ возлюбленной—Вѣчности,
Съ ясной улыбкой на милыхъ губахъ.

Такой А. Бѣлый и ближе, и роднѣе, и понятнѣе мнѣ. Ему вѣдома голубая тоска, и образъ Христа, повисшій надъ міромъ, и безуміе во Христѣ, и улыбка

распятья. И онъ знаетъ трепетную тайну душъ въ ожиданіи чуда, и звучатъ его восторженныя, молитвенно-дѣтскія слова:

„То здѣсь, то тамъ мы въ состояніи подсмотрѣть на лицахъ окружающихъ ту или другую черту святости. То лазурно бездонныя очи удивятъ насъ, и мы остановимся передъ ними, какъ передъ пропастями, то снѣговой оттѣнокъ чела напомнитъ намъ облако, затуманившее лазурь. Блеснетъ Вѣчность на дѣтски-чистомъ лицѣ. Блеснетъ и погаснетъ, и не узнаютъ грустныя дѣти, *печать какого имени* у нихъ на челѣ. Зная отблески Вѣчнаго, мы вѣримъ, что истина не покинетъ насъ, что она—съ нами. Съ нами любовь. Любя, побѣдимъ. Лучезарность съ нами. О, если бъ, просіявъ, мы вознеслись. Съ нами покой. И счастье съ нами“ *).

*) Священные цвѣта.

XII.

Братья! тогда лоно земли лобзайте,
Плачьте надъ ней: „О мать, живи!",
—Богъ твой воскресъ!" благовѣстить дерзайте:
Богъ твой живетъ—и ты живи!".

Вячеславъ Ивановъ.

О, крестъ пространствъ! Разлуки крестъ! Вѣтровъ
На томъ крестѣ живая роза дышитъ
И, сѣя душъ посѣвъ, волну костровъ
Средь плача тризнъ во всѣ концы колышетъ.
И міръ цвѣтетъ разлукою Креста;
И Розой Крестъ объемлетъ—Красота.

Вячеславъ Ивановъ.

Два міра сокрыты въ душахъ Карамазовыхъ, два глаза:—голубой (небесное) и алый (плотское)—два бога—Христосъ и Діонисъ слились въ нихъ въ одно... Двѣ стихіи разрываютъ и русскую душу на двое, два начала, два пути... Тихій отрокъ Алеша—невинненъ и душа его—душа голубая, но въ ней всѣ возможности, но не могъ выдержать въ монастырѣ, потянула земля...

Въ тихую, чудесную ночь потянула земля, опьянила, духомъ своимъ сладострастно-пряным, дыханіемъ своимъ—истомленно теплымъ, цвѣтами, тоской мучительной, чарами жгучими поманила къ себѣ—и вотъ душа мальчика улыбнулась,—и вотъ—молитва

землѣ, молитва страстная вырвалась и затрепетала въ поцѣлуяхъ, въ слезахъ радостныхъ, въ морѣ надеждъ, въ бѣлизнѣ расцвѣтшей... И вотъ передъ нимъ подъ луннымъ покровомъ—таинственная красавица замерла въ опьяняющей дремѣ—земля!...

Земля — сладострастно-теплое нѣдро чудесъ... Земля—кормилица—мать... Земля—роскошная, чудесная богиня, царица ласкъ и восторговъ, царица рожденія... Земля—любовница...

Въ душную лѣтнюю ночь пахнетъ вздохомъ душисто-теплымъ, и затрепещетъ все тѣло, и чудодѣйственный напитокъ стихійной силы зачерпнетъ душа, и почувствуешь жажду мучительную, и польются радостныя слезы... Въ морѣ солнечно-золотыхъ колосьевъ услышишь пѣсню ея—пѣсню рожденія, пѣсню волнующагося чуда—и станетъ легко, и изъ глазъ брызнутъ искры жизни... Весной, когда дымящіяся черныя груды ея извиваются подъ сталью плуга,—когда синія тучи, и вѣтеръ, и улыбки солнца во мглѣ, и пьянящая жуть—снова въ душѣ этотъ свирѣльный напѣвъ, этотъ напѣвъ—молитва, мука въ слезахъ и орлиный взмахъ надежды...

Въ блаженствѣ шепчешь: радуйся!—и въ легкихъ шагахъ—ритмъ веселый, ритмъ упоенія, и въ глубинахъ своихъ рвешься на подвигъ безумный, на распятье, на боль мучительную, и снова хочешь въ винѣ оргійномъ потопить тоску свою и изнеможеніе, и въ страстномъ ликованіи задушевнаго, весенняго акафиста рвутся изъ души гимны воскресенія и безумія, и окрыленныхъ сновъ, и цвѣтущихъ огненнымъ цвѣтомъ багрянца надеждъ: радуйся, земля, царица моя многострадальная, радуйся!...

Радуйся земля—въ тебѣ—конецъ и начало, и море жизни, и море небытія! Изумрудныя волны травъ твоихъ и лѣса, и цвѣты, и утра, когда каскадомъ золотистыхъ брызгъ смѣется любовникъ твой жгучій—солнце, и ночи твои—влажныя бездны чудесъ и томленій, и осень твоя—симфонія тоски моей безбрежной, ароматъ мой пьяный, прозрачность моя, и стонъ твой темный, и ужасъ, и холодъ—все во мнѣ, все кипитъ и трепещетъ, все тонетъ въ винѣ моей жизни, вливая отраву оргійную, и вотъ сила твоя румяницемъ огненнымъ золотитъ поля мои скорбныя и къ источникамъ вселенной уноситъ меня, и вижу:—чудище жизни лежитъ на днѣ глубинъ моихъ и дышитъ тяжко и стонетъ, и слышу: напѣвъ упоительный (это музыка сферъ, это голосъ стихій, это счастье),—и снова молюсь, и снова трепещу, въ страхѣ и мукѣ отдаваясь волнѣ: земля, царица безумнаго счастья—радуйся.

. . . . . .

Не могъ стать аскетомъ Алеша. Земля соблазнила... У Достоевскаго аскетовъ вообще нѣтъ въ творчествѣ (а это что нибудь да значитъ)... Въ этомъ царствѣ смиренный старецъ Зосима кажется иногда почивающимъ на лаврахъ упоеній Карамазовымъ... А Митенька поетъ гимнъ и знаетъ секретъ свой, и Алешѣ нашептываетъ... Все тѣ же чары... Все та же знойная истома царицы—земли... Все то же безуміе...

Митенька кричитъ на одно ухо Алешѣ о сладострастьи насѣкомаго, о чудномъ изгибѣ Грушенькинаго тѣла, о Матери—Церерѣ, а къ другому уху прильнула скорбная мелодія монастыря... Куда идти?—онъ не рѣшается. Мечется между монастыремъ и отцовскимъ домомъ, между Зосимой и Грушенькой, между Христомъ и Діонисомъ, но все это въ *немъ*

же самомъ, все это переплетено въ сердцѣ Достоевскаго, это его двѣ стихіи, два міра, два глаза на вселенную—и ихъ не вырвешь и не истребишь, они—сама душа.

Два начала, два бога, двѣ религіи! Этимъ не только Алеша мучился, и это не только особенность Достоевскаго, это отличительная черта современной души... Мы не только одного Христа воскресили въ себѣ, намъ еще нужны и боги языческіе. У насъ два чуда: чудо души нашей, мечта наша, наша тоска, и чудо земли въ насъ, жизни въ насъ, природы нашей. У послѣдней свои чары—особенныя. И онѣ воскресаютъ въ насъ, онѣ хмелемъ своимъ опьяняютъ, колдуютъ, не даютъ покоя... Мы ихъ не можемъ принять какъ явленіе физіологическаго характера, эти времена уже для насъ миновали, нѣтъ, мы хотимъ ихъ сдѣлать частью нашего религіознаго сознанія. Для насъ полъ это тайна, и въ этой тайнѣ мы соприкасаемся съ міромъ языческимъ, для насъ плоть и природа должны быть божественны, иначе мы ихъ не захотимъ принять—и въ этомъ опять-таки чисто русская особенность.

Вотъ откуда этотъ лихорадочный трепетъ по отношенію къ вопросамъ пола и ихъ сверхъ жизненная важность для насъ, вотъ откуда у насъ такое явленіе, какъ Розановъ, вотъ откуда—наконецъ—это чисто дѣтское увлеченье пантеизмомъ (небывалый успѣхъ Кнута Гамсуна въ Россіи)...

Именно изъ нежеланія или изъ невозможности освятить полъ возникъ у насъ аскетизмъ (скопцы, Толстой), но аскетизмъ опять таки особенный, религіозный... Но пришла реакція противъ аскетизма—и вотъ уже дремлетъ въ нашемъ сознаніи наряду съ

Христомъ богъ умершій и погребенный, богъ языческій—Діонисъ.

Для Достоевскаго эта двойственность составляла природное качество, это была сама жизнь. Вотъ откуда и мука эта, и культъ Мадонны наряду съ культомъ Содома. Для новаго религіознаго сознанія эта двойственность больше метафизическаго характера, чѣмъ чисто житейскаго... Оттого и дѣло обстоитъ проще и рѣшается легче...

Воскресшій въ новомъ религіозномъ сознаніи Достоевскій раскололся на двѣ стихіи, и у нѣкоторыхъ осталось только одно начало, начало христіанское (Булгаковъ, Свенцицкій), но у другихъ произошло весьма интересное явленіе: они поняли, что Христосъ заслонилъ жизнь, что Христосъ умертвилъ полъ и природу, но природа для нихъ такъ же священна и такъ же мистична, какъ и душа, и вотъ изъ броженія заглушеннаго Христомъ оргійнаго вина жизни—рождается Діонисъ.

Діонисъ для нихъ такъ же близокъ, какъ и Христосъ, онъ какъ бы воскрешенъ для того, чтобы освятить то, чего не могъ освятить послѣдній, онъ вдохновитель проснувшихся весеннихъ силъ, онъ—таинственное, неизвѣстное и манящее начало русскаго возрожденія, онъ—игра и маска, вино и безуміе, мелодія языческая въ христіанскомъ хорѣ, онъ возвратъ къ землѣ, къ потерянному счастью, къ утраченной навѣки гармоніи.

Первый, кто глубоко и ясно понялъ значеніе Діониса для современнаго религіознаго возрожденія былъ Вячеславъ Ивановъ.

Личность незаурядная, душа переполненная до краевъ полножизненностью гармоніи, поэтъ Пуш-

кинской школы, искусный чародѣй стиха, филологъ, вдохновитель русскаго парнасса, верховный жрецъ организованной имъ „академіи поэтовъ“,—В. Ивановъ является яркимъ и во всякомъ случаѣ самобытнымъ растеніемъ на скудной нивѣ русскаго современнаго искусства.

Но онъ же интересенъ и какъ религіозный типъ. Это онъ впервые зачаровалъ нашъ слухъ таинственною прелестью Эллады, это въ немъ воскресъ и запѣлъ мелодію забытую—Діонисъ—сладостная истома боли земной, богъ любви и страданья,—это въ немъ засверкало золотистыми искрами вино пылающее, вино оргійнаго безумія, и снова прозвучали чуждыя міру пѣсни—восторгъ предъ землею, окутанной въ серебряную фату прозрачности, пѣсни о тишинѣ и спокойствіи, о трепетѣ звѣздъ, о вѣчной любви, и о маскахъ зловѣщихъ бога, въ игру свою влюбленнаго и въ мукѣ игры изнемогшаго, и о жертвѣ—багряно-пышной розѣ, изъ пронзеннаго болью сердца льющей свой алый, ароматный сокъ, и объ изступленныхъ, въ вихрѣ безумія мчащихся сквозь стѣны собственныхъ душъ—менадахъ, посылающихъ кумиру своему стонъ свой призывный, вопль свой отчаянный, любовь свою страшную, утонувшую въ кровавомъ морѣ инквизиторской муки...

Это Карамазовскій восторгъ предъ землею въ немъ, это Митина стихійная влюбленность въ мать-Цереру въ немъ, и онъ такъ же, какъ Митя понялъ послѣднюю темную тайну нѣдръ земныхъ, и ему въ лицо пахнула она влажнымъ паромъ своимъ—истомленнымъ, и ему сталъ понятенъ Митинъ излюбленный стихъ о преображеніи въ землѣ и землею:

Чтобъ изъ низости душою
Могъ подняться человѣкъ,
Съ древней матерью землею
Онъ вступи въ союзъ навѣкъ...

Но то, что для Карамазовыхъ было грубою силою, пьяною, разнузданною силою русскихъ сатировъ, забывшихъ о культурѣ—то для В. Иванова стало метафизической загадкой, особеннымъ, только ему свойственнымъ настроеніемъ, цѣлой волной религіознаго экстаза, воплотившейся въ прозрачномъ кристаллѣ символа... То, что у Достоевскаго было только страстью и порокомъ, только паденіемъ съ высоты, только бездной,—для него стало откровеніемъ мистическимъ, великой проблемой, разрѣшившейся въ тайнахъ творческаго духа...

Для В. Иванова природа и полъ составляютъ религіозный элементъ творчества, такъ же, какъ и для эллиновъ, для него земля и небо существуютъ какъ бы въ своей духовной абсолютности, внѣ матеріи, оттого, что то, что для Карамазовыхъ было эмпирическою видимостью,—для него получаетъ символическій смыслъ, оттого что Карамазовы живутъ реальностью (какъ и Достоевскій), не заботясь о ея символизаціи, а В. Ивановъ символизируетъ землю и небо, и именно благодаря символическому характеру его творчества для него возможна та высшая, уже утерянная для насъ, чисто эллинская гармонія, которой не могъ обладать Достоевскій, понадѣявшись на силу своего реализма...

Но реализмъ Достоевскаго и символизмъ В. Иванова, будучи только двумя параллельными теченіями, выходятъ изъ одного источника, окрашиваются одною и тою же кровью, облекаются въ одну и ту же

плоть, и отсюда ихъ родственность, и отсюда же зависимость Иванова отъ Достоевскаго.

Всякое возрожденіе невольно тянется къ античности. Италіанскій ренессансъ воскрешаетъ древнихъ боговъ Эллады, чтобы снова упиться классической гармоніей лучезарной весны человѣчества. Германскій романтизмъ тоже направляетъ корабли свои къ тихимъ водамъ Греціи, и какой восторгъ передъ послѣдней у Винкельмана, у Гёте, у Шиллера!... Словно раскрылась какая-то забытая тайна, словно весна души должна соединиться съ весной человѣчества во имя какого то закона свыше, словно наша усталость, нашъ умственный схоластицизмъ нуждается въ исцѣляющемъ напиткѣ божественной крѣпости титановъ... Христіанство оторвало насъ отъ земли, но земля требуетъ себѣ своихъ боговъ, и когда проснется земля, когда изъ нѣдръ ея заструится воскресшая сила—ближе Олимпъ погребенный, ближе языческая мечта, и снова грезятся сады забытой Аркадіи, и на вѣтвяхъ лѣсовъ нашихъ усталыхъ, вымирающихъ—снова повисли манящіе лики дріадъ, и освобожденная плоть ликуетъ въ хороводахъ вакханокъ и фавновъ, и въ часъ сладострастной дремы литургійную мелодію наигрываетъ Великій Панъ, и снова въ истомѣ ночей трескаются подъ тяжестью охмелѣвшихъ, изнемогающихъ отъ ласкъ тѣлъ—виноградныя гроздья, и вино льется какъ жертвенная кровь любви на пышномъ пирѣ воскресающихъ оргій... И въ гимнахъ безумцевъ новый и древній міры сливаются въ одно, и вѣнокъ терновый сочетается съ вѣнкомъ пышныхъ розъ и сочныхъ плодовъ, и вотъ Афродита земная сочетается съ Афродитой небесной, и вотъ на алтарѣ жертвенномъ снова замершее въ мукѣ земной, титанической —

прекрасное лицо Діониса пламенѣетъ въ роскошной радугѣ превращеній...

Ликъ Христа въ душѣ требуетъ дополненія. И вотъ причина трагическаго влеченія къ Олимпу. Но и Христосъ и Діонисъ для насъ одно, какъ одно для насъ земля и небо, плоть и душа, матерія и духъ... Но символы языческіе и символы христіанскіе—суть хрустальные камни, образующіе сводъ единый и милый душѣ, сводъ мистической башни нашего духа, которая, возвышаясь надъ жизнью—тонетъ въ голубой прозрачности нашихъ небесъ...

Въ В. Ивановѣ наблюдаемъ удивительное по гармонической красотѣ сочетаніе христіанской мистики съ языческою религіозностью, любви ко Христу съ нѣжною и таинственною влюбленностью въ Діониса, чисто славянскихъ чертъ съ чертами эллинскими. И даже въ его поэзіи поражаетъ то же сочетаніе словъ древне-славянскихъ съ лексикономъ греческой миѳологіи, Пушкинскаго парнассизма съ стройностью Гомеровской рѣчи, утонченной символики современности съ безмятежной прозрачностью эллинскаго лиризма...

Но можно сказать не задумываясь, что В. Ивановъ является въ настоящее время поэтомъ въ собственномъ смыслѣ этого слова, поэтомъ—наслѣдникомъ Пушкина, поэтомъ, достигшимъ самаго возвышеннаго совершенства, какъ въ риѳмахъ, такъ и въ настроеніи, поэтомъ чарующимъ и знающимъ, въ чемъ секретъ его чаръ... Я не знаю, кто бы у насъ могъ рѣшиться принять на себя званіе носителя Пушкинской лиры, кромѣ Брюсова и В. Иванова—чародѣя стиха, тайновидца прозрачности, жреца Діониса и Аполлона.

Но онъ важенъ для меня не столько какъ поэтъ, сколько какъ мыслитель, какъ оригинальный религіозный типъ, какъ воскреситель Діониса, котораго онъ, можно сказать, первый то и „открылъ“ въ Россіи, съ чисто филологическимъ рвеніемъ роясь въ источникахъ, то изображая ликъ своего бога въ ученыхъ трудахъ и изслѣдованіяхъ („Эллинская религія страдающаго бога“), то воспѣвая въ честь его вдохновенные диѳирамбы.

Творчество Вячеслава Иванова—это созерцаніе міра сквозь прозрачность гармоніи. Но эта гармонія не только аполлоническаго характера, не только парнассизмъ въ искусствѣ—это особенность его міровоззрѣнія, это особенность его философіи. Ибо и ему вѣдома трагическая надрывность славянской тоски, и ему вѣдомы наши расколы и терніи и ужасъ нашего духа, оторваннаго отъ покоя и погруженнаго въ хаосъ страданій, но также вѣдома ему и тайна эллиновъ, тайна, чуждая намъ—тайна преодолѣнія трагедіи въ гармоніи, тайна миѳотворчества, тайна соборности...

Подобно тому, какъ Бетховенъ въ своей 5 симфоніи преодолѣваетъ трагическіе удары судьбы силою своего духа, страстнымъ напряженіемъ стихійности своей, разрѣшаемой въ мелодическомъ спокойствіи, въ безмятежной радости, въ озерѣ жемчужномъ античной игры; подобно тому, какъ Гёте стоитъ на вершинахъ жизни въ алмазномъ шеломѣ гармоніи и какъ орелъ паритъ надъ безднами его остро отточенная мысль,—такъ и Вяч. Ивановъ достигаетъ путемъ углубленной работы духа царственнаго величія античной гармоніи, преодолѣваетъ трагическій ха-

осъ славянской души всепримиряющей просвѣтленностью музы своей и мысли...

И творчество его носитъ синтезирующій характеръ, и творчество его есть добываніе свѣтоносныхъ искръ изъ глубинъ жизни, и творчество его есть служеніе божественному Логосу, которое совершаетъ духъ, облеченный въ серебряную ризу прозрачности...

Гармоническая округленность линій, планомѣрность и желаніе сгладить всѣ шероховатости и острые выступы жизни мистическимъ рѣзцомъ красоты, и эти плавные полеты ввысь (словно лебеди несутся въ страны свои тихія, словно готическія зданія рвутся къ небесному причастью), и звонкое золото ритмъ, и утонченная скульптура символовъ, этихъ граненыхъ хрусталей, наполненныхъ воздушною прозрачностью, и рыцарская молитвенность предъ Афродитой небесной, и полный изящества и аристократизма культъ мистической Розы—все это придаетъ В. Иванову особенную прелесть.

И міръ его окутанъ прозрачностью. Прозрачность просвѣчиваетъ сквозь жизнь какъ воплощеніе міровой души, прозрачность заглушаетъ терніи и рыданія, и кружевной воздушностью паритъ надъ зданіями, охваченными пожаромъ жизни.

Но жизнь—красота. Но пожаръ—только тѣнь небесной алой бездны. Но тѣнь міра сего—лишь одинъ звукъ великой гармоніи, той гармоніи, которая вѣдома лишь мудрецамъ—гармоніи сферъ...

Прозрачность! купелью кристальной
Ты твердь улегчила—и тонетъ
Луна въ среброзарности сизой.
Прозрачность! ты лунною ризой
Скользнула на влажныя лона;

Плѣнила дыханіе мая
И звукъ отдаленнаго лая
И призраки тихаго звона.
Что полночь въ твой сумракъ уронитъ,
Въ бездонности тонетъ зеркальной.

Это мистерія, преображающая міръ. Это та чудесная гармонія, которая такъ плѣнила Гете и Шиллера и сдѣлала ихъ пѣвцами Эллады, это та просвѣтленная и чарующая красота, въ которой тонетъ ужасъ и оттого, что тонетъ—блаженство поетъ въ архангельскомъ хорѣ, и радости нѣтъ конца, и радость—свѣтъ этой жизни.

Лазурная улыбка Алеши Карамазова снова озарила душу. Въ ту ночь, когда вышелъ онъ изъ монастыря, когда пѣли въ ушахъ евангельскія слова о бракѣ въ Канѣ, когда звѣздное чудо ночи убаюкало и закружило и вызвало стихійно-дѣтскій восторгъ—въ ту ночь Алеша впервые понялъ и тайну восторга, и тайну прозрачности, и тайну гармоніи сферъ, и пробудилась дѣвственно-чистая любовь къ землѣ, и кристальнымъ храмомъ стала предъ душою жизнь... И та же влюбленность, улыбчивая влюбленность языческаго младенчества—отразилась и въ В. Ивановѣ, сквозь великую мудрость прошла она и засверкала искрами снѣга пречистаго на его вершинахъ, и міръ христіанскій соединился съ эллинствомъ въ единомъ слитіи, и тишина просвѣтленности стала храмомъ...

Въ тишинѣ слышится неземное, чудятся очертанія мистической башни, стоящей на вершинахъ тоски, въ тишинѣ дышетъ космосъ атласистой нѣжностью розы, и снится божественный сонъ о зарѣ, о погибшей алой зарѣ разсвѣта, когда жертва была мистическимъ таинствомъ жизни, когда изступленность

оргій освящала жертву, когда всѣ были безумны и въ распятіи безумія умиралъ и рождался богъ превращеній, богъ улыбокъ и страшныхъ масокъ, богъ—цвѣтущая смерть нашей мгновенной весны... И это тишина молитвенная, это торжество души, сопричастной великой тайнѣ—міровой и вѣчной, это созерцаніе неопалимой купины безумія, въ творческой силѣ тающей и погружающейся въ прохладныя воды Леты, это тоска пѣсни, пѣсни мелодической и легкокрылой, въ которой духъ возносится на крыльяхъ бѣлыхъ все выше, выше—въ лазурные чертоги царства своего неземного...

Это тишина ночная. И звѣзды—иконы. И млечный путь—путь роковой, путь блаженства, колыбель, гдѣ качается душа между землею и небомъ, изнемогая въ снахъ своихъ упоительно-нѣжныхъ... И сходитъ въ легковѣйныхъ вѣтряныхъ одеждахъ Царица темная, незримая, но ощущаемая –Вѣчность, и вотъ поцѣлуи ея на лицѣ какъ прикосновенія крыльевъ жаръ-птицы, они обжигаютъ колдовствомъ молчаливымъ и зыбкимъ... И вотъ стройность постигнутаго мыслью міра растетъ, расширяется, образуетъ алмазное зданіе, стрѣляющее порывомъ ритма въ небо... И вотъ—нѣтъ уже ужаса и сомнѣнія, нѣтъ тяжести, нѣтъ боли, это красота дыханіемъ своимъ преисполнила душу счастьемъ, это красота построила хаотическіе обрывки мыслей въ гармоническіе ряды напѣвной игры, завершающіеся конусомъ звѣздъ... И пламя звѣздъ обѣщаетъ безмѣрность... И пламя звѣздъ полыхаетъ сладостной тревогой истомы... И міръ среди ночи какъ пѣснь, какъ чарующая пѣснь облегченной боли... И свѣтъ.

Но придетъ день—и то же прозрачное счастье въ душѣ... И ужасъ свѣтящаго солнца кажется символомъ все той же пылающей багряной Розы... И дневная жизнь разрѣшается снова въ гармонію, ибо жизнь есть духъ, ибо жизнь есть символъ... И нѣтъ людей... Словно умерли люди въ маскахъ символовъ, словно нѣтъ ихъ, не будетъ... Въ мірѣ есть лишь одна душа, построившая міръ свой воздушно-огнистый... И съ нею—прозрачность.

Прозрачность! Улыбчивой сказкой
Содѣлай видѣнія жизни,
Сквознымъ—покрывало Майи!
Яви намъ блѣдные рай
За листвою кущъ осенних;
За радугой легкой—обѣты,
Вечерніе скорбные свѣты
За цвѣтомъ садовъ весенних!
Прозрачность! божественной маской
Утишь изволенія жизни.

Душа поражена безконечностью. Но безмѣрность безконечности завершается въ лазурномъ куполѣ прозрачнаго храма жизни. Но душа міра трепещетъ, ощущается вездѣ и всюду, и улыбки ея, и ея поцѣлуи, и чары ея съ нами всегда... Но въ каждомъ явленіи міра—таинственный смыслъ символа, и есть знаніе о началѣ временъ, ибо есть знаніе о Богѣ...

Религія В. Иванова лишена чего либо положительнаго, реальнаго, плотскаго, она метафизична по существу и тѣсно связана съ его эстетическими теоріями... Въ своемъ религіозномъ творчествѣ онъ то пантеистъ, то христіанинъ, то язычникъ, но не потому, что душа страдаетъ дисгармоническимъ дуализмомъ, а потому что онъ стремится къ синтезу Хри-

ста и Діониса, къ слитію культуры современной съ культурой античной, къ преображенію нашей жизни творческимъ безуміемъ оргійной стихійности...

Душа его отравлена сладостными чарами язычества, при свѣтѣ европейской культуры, среди хаоса и стука машинъ—ему хочется бѣжать въ лѣса, къ нимфамъ и сатирамъ и пѣть гимны Деметрѣ, и воскресить погибшій ритмъ веселья, ритмъ священнаго упоенія жизнью... И въ этомъ сказалась душа славянина, рвущаяся вонъ изъ рамокъ и муравейниковъ современности къ невозможности, и въ этомъ слышится мнѣ тоска наша безмѣрная, въ безумной силѣ своей стремящаяся къ преображенію міра...

Но В. Ивановъ пришелъ къ сознанію, что индивидуализмъ не въ силахъ преобразить міра, что отдѣльное *я* безсильно и ограничено, что для этой цѣли необходимо *творчество соборное*, мнѳотворчество, вселенскость, гдѣ воскреснетъ чудотворное дѣйство античнаго демоса, гдѣ расцвѣтетъ богатымъ цвѣтомъ новая жизнь, которая создастся не силою индивидуума, а силою всего народа, и народъ создастъ еще невиданную въ мірѣ гармонію, и народъ создастъ мистическую церковь, гдѣ будутъ свершаться воскресшія мистеріи древности, и снова воцарится миѳъ и священныя оргіи, и пляски, и хороводы, и празднества въ честь воскресшихъ боговъ, и снова религіозное дѣйство греческихъ трагедій придастъ искусству теургическую силу...

Вѣра В. Иванова въ религіозное назначеніе русскаго народа, въ способность послѣдняго къ соборному мнѳотворчеству—несомнѣнно отъ Достоевскаго. Въ одномъ мѣстѣ*) В. Ивановъ развиваетъ излюб-

*) По звѣздамъ (О русской идеѣ).

ленную мысль Достоевскаго о русскомъ народѣ—богоносцѣ, и утверждаетъ при этомъ, что русскій народъ рожденъ христіанскимъ, что русскій народъ (не въ смыслѣ сословія, а въ смыслѣ мистическомъ) способенъ преобразовать культуру въ теургическую соборность...

Народничество В. Иванова носитъ чисто мистическій характеръ и конечно ничего общаго съ партійнымъ народничествомъ не имѣетъ, но особенность его еще въ томъ, что оно носитъ не столько философско-религіозный характеръ, сколько чисто-эстетическій, поэтому утвержденія В. Иванова, что кризисъ индивидуализма долженъ привести къ миѳотворчеству, къ соборности, къ религіозному дѣйству въ трагедіи не лишены нѣкоторой, правда потенціальной цѣнности, но все это не выходитъ изъ предѣловъ возвышенныхъ мечтаній и не въ этомъ главное...

Но мысль В. Иванова о томъ, что культура должна быть религіей, но его стремленія къ освященію природы и жизни, его діонисовы диѳирамбы—вотъ главная его цѣнность, вотъ главная его красота.

Христосъ близокъ душѣ В. Иванова, но культура для него заслонила Христа, но религіозное дѣйство культуры важнѣе для него Христа. Вотъ откуда эта неудовлетворенность его христіанствомъ, вотъ откуда стремленіе къ погибшимъ богамъ этой жизни, ибо Мать-Церера все дышитъ въ душѣ, все опьяняетъ ее чарами своими и требуетъ служенія...

И какъ Димитрій Карамазовъ—В. Ивановъ поетъ гимны Матери-Землѣ, но ему чужда дикая карамазовская стихійность, ему хочется воскресить не только боговъ Эллады, но *душу ея*, тотъ огонь священный, безъ котораго теперь у насъ смерть, холодъ и раз-

ложеніе, ту искру божественную, искру горѣнія, искру живоносной силы, которой нѣтъ въ нашемъ скопческомъ мірѣ механической жизни, ту оргійную радость, радость младенчества, радость истиннаго творчества, которая для насъ погибла...

Мертвенность современной культуры, ея позитивистическое и раціоналистическое вырожденіе, ея конечность, ея безжизненное мѣщанство глубоко понятны В. Иванову—и онъ знаетъ, что именно благодаря оторванности нашей отъ священныхъ стихій, отъ всего творческаго, отъ гармонической бодрости, отъ обожествленія природы—мы пришли къ стѣнѣ, и, изсушенные наукой, мертвечиной безсмысленной жизни, схоластикой и моралью—не видимъ просвѣта, не видимъ зари, не знаемъ восторга... А восторгъ этотъ такъ нуженъ, а радость эта такъ необходима, а безъ этой „игры", безъ этого бушующаго въ крови оргійнаго безумія, мы обречены на смерть, мы не можемъ творить новыя цѣнности, мы не въ состояніи жить!

Мы потеряли смыслъ красоты, красота стала прикладной и утилитарной силой, мы потеряли религіозное значеніе красоты, ея молитвенное созерцаніе, ея творческую цѣнность—и какая пропасть въ этомъ отношеніи между нами и эллинами, культура которыхъ была религіей красоты, и оттого мы безсильны и раздавлены. Мы остались вѣрны только мертвенной буквѣ жизни, а не самой жизни. Природа, любовь, полъ,—все, что для эллиновъ служило предметомъ культа—для насъ только буква...

И вотъ въ В. Ивановѣ снова (который ужъ разъ по Р. Х.!) загорѣлась мечта внести свѣжую струю въ испорченную кровь нашей культуры, возвратить намъ обаяніе боговъ погребенныхъ, боговъ жизни, а не

смерти, раскрыть всю мощную силу творчества древней трагедіи, когда жизнь была мистеріей; ему нужно было снова, подобно Винкельману и Гете,—припасть къ языческой чарѣ и упиться виномъ древнимъ и крѣпкимъ, виномъ безумія, чтобы предъ нами предстала снова красота языческаго храма, красота языческой міровой души.

Эта душа все грезится В. Иванову среди современности, онъ ощущаетъ ея чары, онъ пьетъ ее тайну, онъ молится въ ея храмахъ и отдается древнему чуду сліянія съ природой, обоготворенія ея, преображенія ея.

Прислушайся, одинъ, въ смарагдной тишинѣ
Къ пустыннымъ шелестамъ Дріады!
Открой уста души—и пей, какъ въ смутномъ снѣ
Напитье сумрачной отрады!
Ты, вѣщій,—не одинъ въ безлюдной тишинѣ!
Съ тобой внѣ времени, предѣловъ и пространствъ,
Плыветъ и жизнью нѣжной дышитъ
Душа подъ космами таинственныхъ убранствъ
И, упоенная, колышетъ
Всей чуткой ощупью свой сонъ въ струяхъ пространствъ.
Ни граней, ни годинъ, ни ликовъ „Ты“ и „Я“
Она божественно не знаетъ,
И цѣльнымъ нектаръ пьетъ изъ чаши бытія,
И никого не вспоминаетъ.
И въ нераздѣльности не знаетъ „Ты“, ни „Я“.
...Такъ Древо тайное растетъ душой одной
Изъ влажной Вѣчности глубокой,
Одѣтое міровъ всечувственной весной,
Вселенской листвой звѣздноокой:
Се, древо жизни такъ цвѣтетъ душой одной.
...Глядятся Жизнь и Смерть очами всѣхъ огней
Въ озера Вѣчности двуликой;
И корни—свѣтъ вѣтвей, и вѣтви—сонъ корней,
И все одержитъ стволъ великій,—
Одна душа горитъ душами всѣхъ огней.

Но язычество для насъ возможно лишь какъ форма переживанія. Но какъ бы мы ни старались мечту свою облечь въ дѣйствительность, она все-же останется только мечтой, только тѣнью навѣки погибшаго міра... И въ этомъ нашъ ужасъ. Тѣни—вотъ содержаніе нашихъ жизней. Можемъ жить тѣнью Христа, тѣнью Олимпа, и много еще тѣней въ мірѣ нашей души, не оттого ли жизнь наша такая призрачная и все—сочиненное, а не живое? Не оттого-ли безсиліе наше и тоска гнетущая, что закатились наши солнца и остываетъ во мракѣ несчастная, безкровная и безкрасочная земля?... И много у насъ символовъ, много умственныхъ возможностей, много грезъ фантастическихъ, заколдованныхъ сновъ и ни одного пожара, ни одного подвига, ни единой жертвы!... И не можемъ уже цѣловать нашу землю и кружиться въ вихрѣ безумной пляски по цвѣтущимъ полямъ ея и забыть о дряхлости нашей культурной!... И не можемъ въ священномъ трепетѣ молиться у алтарей боговъ... И не смѣемъ дерзать...

Мы сами убили чудеса и сказки, сами похоронили божества наши въ книжной пыли, въ ненужной учености, въ стоячемъ болотѣ дней утомительно сѣрыхъ и скучныхъ, мы сами вытравили наше стихійное счастье, счастье дѣтей, счастье лазурной волной смѣющееся въ глазахъ, сами отреклись отъ земли и не знаемъ, забыли о чудѣ ея бездонномъ, о чарахъ ея волнующихъ, о миѳахъ ея чудодѣйственныхъ... Но еще дремлетъ въ сладостныхъ грезахъ нашихъ больной и усталый Великій Панъ, но еще ночью въ лѣсу, въ тревожный, сказочно жуткій часъ мелькнетъ иногда, мелькнетъ и погаснетъ, качаясь—тиховѣйное лицо дріады, но еще весной, въ бѣломъ цвѣтѣ деревьевъ

робко раздастся флейта сатира и нѣжное тѣло вакханки сверкнетъ межъ вѣтвей, дохнувъ въ лицо ароматомъ сочныхъ плодовъ... Но все это лишь сны и мы знаемъ объ этомъ. И зная, скорбимъ о погибшемъ чудѣ, о мертвой нашей жизни, о выдохшихся грезахъ, о томъ, что погибло навѣкъ, не воскреснетъ для насъ никогда!

Тихо спятъ кумировъ нашихъ храмы
Древнихъ грезъ въ пурпуровыхъ моряхъ;
Мы вотще сжигаемъ фиміамы
На забытыхъ алтаряхъ.
Отчего же въ дымныхъ нимбахъ тѣни
Зыблются, подобныя богамъ,
Будятъ лиръ зефирострунныхъ пени—
И зовутъ къ роднымъ брегамъ?
И зовутъ къ родному новоселью
Неотступныхъ ликовъ голоса,
И полны таинственной свирѣлью
Молчаливые лѣса.
Вдаль влекомы волей сокровенной,
Пришлецы невѣдомой страны,
Мы тоскуемъ по дали забвенной,
По несбывшейся дали.
Душу память смутная тревожитъ,
Въ смутномъ снѣ надѣется она;
И забыть боговъ своихъ не можетъ,—
И воззвать ихъ не сильна!

Возвратъ В. Иванова къ Діонису напоминаетъ аналогичное явленіе въ жизни Ницше. Но между діонисизмомъ послѣдняго и діонисизмомъ В. Иванова замѣчается существенная разница: Ницше былъ плѣненъ Діонисомъ вслѣдствіе своего отвращенія къ христіанству, безсиліе и рахитичность современности стремился искупить онъ стихійною *силою* Діониса,

котораго понималъ какъ воплощеніе гармоніи и радости, какъ брызжущую искристымъ весельемъ жизни красоту. Діонисъ для Ницше былъ богомъ сверхчеловѣчества, который долженъ былъ освободить человѣчество отъ страданія, жалости и безсилья— этихъ аттрибутовъ христіанства, который долженъ быть счастьемъ безмѣрной силы, мужества, геройскаго величія и гармоніи. Совсѣмъ другое мы находимъ у В. Иванова по отношенію къ Діонису: для него Діонисъ вовсе не только богъ гармоніи и радости, не только ликованіе и героическая оргійность, но *также и символъ страданья, символъ жертвеннаго страданья, смерти и воскресенья.* На основаніи источниковъ и мнѣній ученыхъ, В. Иванову удалось разсѣять иллюзію относительно безоблачной гармоничности Діониса, которой былъ подверженъ и Ницше; онъ утверждаетъ, что Діонисъ есть богъ страдающій, богъ постоянныхъ мукъ и постояннаго жертвеннаго растерзанія, богъ оргійнаго безумія и истомляющихъ, мучительныхъ метаморфозъ. Страданіе и жертва въ религіи Діониса играютъ такую же роль, какъ и въ христіанствѣ, здѣсь Діонисъ, умирающій въ жертвѣ и вновь воскресающій для новыхъ мукъ, является символомъ преображенія и экстазъ служителей этой религіи достигаетъ у одержимыхъ женщинъ нерѣдко степени страшной изступленности, подлинной одержимости, подлиннаго безумія, выражаясь въ кровавыхъ жертвахъ, въ упоительныхъ оргіяхъ, въ кровавомъ смерчѣ растерзываемыхъ на части тѣлъ... Языческія оргіи являлись таинствомъ священнодѣйствія Діонису, въ этихъ оргіяхъ совершалось мистическое дѣйство богослуженія. Изъ оргій возникъ экстазъ—эта принадлежность діонисизма, нѣчто жертвенное, для насъ на-

всегда погибшее, нѣчто напоминающее экстазъ неоплатониковъ, но болѣе красочное, болѣе живое, болѣе интенсивное.

И только они—эти служители страдающаго бога, эти участники жертвенныхъ радѣній, знали всю силу настоящаго, стихійнаго безумія, того творческаго, надрывнаго, изступленнаго безумія, котораго нѣтъ ни въ одной религіи и которое такъ родственно нашей душѣ и увы!—недоступно...

Безуміе—это отличительная черта религіи Діониса, это ея красота.

Это безуміе иногда принимало коллективный характеръ—и тогда носились по степямъ и весямъ изступленныя мэнады, въ священномъ страхѣ терзая свое тѣло и бѣснуясь, совершались превращенія, дикія болѣзни, сумасшедшій бредъ овладѣвалъ толпою служителей, они буквально выходили изъ себя, отдавались изступленности и на подобіе бѣшеныхъ звѣрей оглашали окрестность ревомъ и крикомъ и страстными пѣснями. И это была стихія. Казалось—душа отдѣлялась отъ тѣла и въ безумной музыкѣ одержимости утрачивалось сознаніе. И въ страстномъ хмелѣ упоенія и экстаза весь міръ былъ какъ багровое зарево близкихъ чудесъ. Радѣнія свершались подъ музыку экстатическихъ флейтъ (музыка служила средствомъ оздоровленія безумія, она направляла безуміе на „правильный путь“). Но страшенъ былъ бѣгъ обезумѣвшихъ женщинъ, внутри которыхъ горѣлъ и терзалъ Діонисъ. Онѣ носились, чертя пламенные круги, по горамъ и кручамъ, и разбушевавшіяся волны волосъ ихъ казались живыми факелами на фонѣ темныхъ ночей. Онѣ издавали бѣшеные крики и вихремъ мчались сквозь селенія, поля и лѣса къ сво-

ей неизвѣстной блаженной странѣ и никто ихъ не смѣлъ удерживать, потому что онѣ были *священны* (безуміе бога освятило ихъ „Утрачивая сознаніе личности, онѣ дѣлались безымянными Мэнадами, или казались самимъ себѣ превращенными въ другія существа—птицъ, летучихъ мышей, коровъ, растенія, въ собакъ"...*) Онѣ надѣвали маски—символъ Діонисовыхъ метаморфозъ—и въ маскахъ свершались мистеріи, и сладострастная ложь надѣтыхъ личинъ черными пятнами изрѣзывала багряное зарево волшебной ночи... А среди изступленія сатировъ и мэнадъ среди пьянаго похмелья оргій, среди дрожи экста́за, сквозь гулкій вихрь и вой безумія рождается богъ страдающій, богъ многоликій, богъ измучившій себя зловѣщей игрой превращеній, богъ смерти и рожденія, богъ—Діонисъ. Онъ „угадывается подъ вѣчно смѣняющимися личинами—вѣчно единый, благодѣтельный и страшный, божественно всемогущій и побѣдный и вмѣстѣ какъ бы идущій навстрѣчу имъ же — разнузданнымъ губительнымъ силамъ и направляющій ихъ ударъ, то ускользающій отъ ихъ нападенія, смѣшаннаго изъ любви и воли богоборствующей, то застигнутый, растерзанный ими въ безуміи и бѣшенствѣ, убитый, пожранный или погребенный, и снова божественно-неистребимый, воскресшій и возродившійся для новаго богоявленія, новой „эпифаніи"**). Вѣчно умиралъ онъ и вѣчно рождался въ безуміи мэнадъ, изнемогая отъ игры своей пьяной и обманчивой. Это былъ богъ особенный, онъ любилъ свою боль и свою ложь выше міра—и міръ цвѣтущей вес-

*) Эллинская религія страдающаго бога („Новый путь",—1904 г.).
**) Ibidem.

ной рождался изъ его жертвы, и міръ утопалъ въ безуміи... И кровавый сокъ истерзанныхъ поцѣлуями губъ, и изорванныя въ клочья тѣла, и вытянутыя въ безстыдной мольбѣ груди и руки—все тонуло въ золотистомъ туманѣ лихорадочнаго бреда.

Оргійное безуміе въ вишѣ,
Оно весь міръ, смѣясь, колышетъ,
Но въ трезвости и въ мирной тишинѣ
Порою то жъ безуміе дышетъ.

Оно молчитъ въ повисшихъ вѣтвяхъ
И стережетъ въ пещерѣ жадной,
И, затаясь въ медлительныхъ струяхъ,
Оно зоветъ въ покой прохладный.

Порою, въ воду мирно погрузясь,
Вдругъ власть безумія признаетъ тѣло.
И чуешь ты таинственную связь
Съ твоей душой губительнаго дѣла.

Безуміе колдуетъ. Льется въ душу волшебный его чаръ. И каждый служитель несетъ сокровище безумія своего въ общую чашу жертвы, и каждое *я* выходитъ изъ себя и утрачивается въ стихійно—жуткомъ вселенскомъ *я*, и вотъ уже безуміе не болѣзнь, не бушеваніе достигшей предѣловъ и бьющейся въ собственной тюрьмѣ личности, а—творчество соборное, миѳическое, коллективное, сліяніе съ душой міра въ визіонерскомъ созерцаніи божественныхъ измѣнчивыхъ личинъ, и вотъ уже жертва не крикъ распятья въ ночи, крикъ послѣдней муки, крикъ утраченной жизни, а—спасительная радость въ вѣнцѣ кровавомъ, въ вѣнцѣ изъ розъ, въ вѣнцѣ священнаго распятья... И слышенъ смѣхъ—далекій, золотой, женственно-пьяный смѣхъ—

это рождается въ брызгахъ сладострастной пѣны одна изъ масокъ невѣдомаго бога въ жестокой, мучительной игрѣ, это рокочетъ въ аккордахъ солнца наша музыка—счастье, наша пѣсня—тоска, наша пытка—любовь... И бѣшеный стонъ ликуетъ въ тишинѣ долгимъ, протяжнымъ, истомленнымъ звукомъ... Веселье! Веселье! Весна... Искрятся брызги вина въ поднятыхъ чашахъ, плющемъ перевиты гибкія божественныя тѣла, въ звонкомъ безмолвіи вдругъ дикій, пронзительный, вѣщій крикъ обезумѣвшей мэнады—и содрогнулось все, и закружилось, и поплыло, и забарахталось, и затрепетало, и сквозь вихри круженія, надъ грудами обалдѣвшихъ, распятыхъ, конвульсивно трепещущихъ тѣлъ, какъ стая бѣлыхъ птицъ, какъ снѣжно-алмазный паръ, какъ вопль лебедей—поднялось и струится переливами счастья, ароматомъ вина, солнечными брызгами—огневое безуміе...

Пораженный творческимъ вѣдѣніемъ, поэтъ ликуетъ. Онъ зоветъ эту колдующую божественно-пьяными чарами весну, онъ зоветъ это золотое, погибшее счастье, онъ зоветъ бога—искусителя и творца безумія въ страстномъ диѳирамбѣ. Онъ говоритъ, прислушиваясь къ этимъ чарамъ божественнаго служенія, созерцая воскресшіе огненные лики мэнадъ, какъ бы призывая чудо свое: „Быть можетъ, снова возникнетъ изъ лона музыки истинная трагедія; быть можетъ, воскресшій диѳирамбъ будетъ „повергать въ прахъ милліоны“, какъ поется въ единственномъ диѳирамбѣ новаго міра—девятой симфоніи Бетховена. Быть можетъ, человѣкъ опять осмѣлится надѣть на голову цвѣточный вѣнокъ, который онъ возлагаетъ теперь только на могильныя плиты, и на свѣжихъ полянахъ, или на круглыхъ гумнахъ открытыхъ театровъ

будутъ звучать и двигаться вдохновенные хороводы. Быть можетъ, поколѣнія еще испытаютъ то священное безуміе, въ которомъ человѣкъ учится сознавать себя какъ *не я* и сознавать міръ какъ *я*, живымъ обрѣтаетъ себя впервые въ живой природѣ, божественнымъ въ единствѣ божественномъ, страдающимъ въ Богѣ страдающемъ, блаженнымъ благодатью Утѣшителя".

И вотъ, снова, въ одномъ изъ чудесныхъ возвратовъ къ прошлому—поэтъ язычникъ въ XX вѣкѣ христіанской эры—призываетъ молодого бога жизни и любви, бога безумія и жертвы въ восторженномъ кликѣ запоздалаго и кажущагося страннымъ среди всеобщаго омертвѣнія—диѳирамбѣ... И кажется: внемлетъ проснувшійся богъ, отразившись лживымъ ликомъ своимъ въ душѣ своего служителя. И кажется: пробуждается въ мірѣ пѣвучій ритмъ возрожденія...

Взрадуйся, новая жизнь!
Возыграй, взбушуй!
Идетъ, невѣдомъ,
Міру рожденный
Діонисъ!

Нѣтъ противленья незримымъ
Тирсамъ ликующей силы!
Нѣтъ міру пощады!
А вы, въ узилищѣ
Граней томимые
Полною грудію
Бога вдохнете вы—
Имъ горѣть!

Кто дышитъ тобой, богъ,
Не тяжки тому горныя
Громады, ни влаги, почившей

Въ торжественномъ полднѣ
Стекло голубое!

Кто дышитъ тобой, богъ,
Въ алтарѣ многокрыломъ творенія
Опъ—крыло!
Въ бурѣ братскихъ силъ
Окресть солнцъ,
Мчитъ онъ жертву горящую
Земли страдальной!
Легкій подъемлетъ онъ твой яремъ!—
Но кто угадаетъ
Личину бога?

Вяч. Иванову, утверждающему, что индивидуализмъ стоитъ передъ неизбѣжностью преодолѣнія, обновленія и укрѣпленія *я* въ творчествѣ соборномъ—стала понятна великая сила діонисовскаго религіознаго безумія! Для *служителей Діониса безуміе имепно являлось формой преодолѣнія я*, претворенія „я“ единичнаго въ „я“ вселенское, мистотворческимъ пресуществленіемъ индивидуальнаго сознанія въ спасительную плоть очищающей жертвы... Именно то преодолѣніе индивидуализма, которое теоретически удалось въ современномъ религіозномъ сознаніи, для древнихъ удалось въ опытѣ, въ истинномъ религіозномъ переживаніи, а не въ сферѣ мысли, не въ сферѣ метафизики, какъ у насъ,—и въ этомъ все обаяніе древности, въ этомъ ея творческая сила... У насъ мысленно обезумѣть легко, и въ эстетическихъ переживаніяхъ все возможно (и ничего), для нихъ это было чѣмъ то входящимъ въ жизнь, было таинствомъ, безсознательнымъ теургическимъ дѣйствіемъ, пламеннымъ горѣніемъ, священнодѣйствіемъ, чѣмъ угодно, только не мыслью, не теоріей и не идеей—и въ этомъ причина ихъ силы и нашей разслаблен-

ности, и въ этомъ причина ихъ истинной непосредственной религіозности и нашей—сочиненной и подражательной.

Но для В. Иванова важенъ не одинъ Діонисъ, въ немъ таинственно переплетаются и Христосъ и Діонисъ—и это его особенность. И ему вѣдомо боготворческое назначеніе русскаго народа, и онъ живетъ мыслью Достоевскаго—безумнымъ чаяніемъ прихода Христа на русской землѣ, въ сердцѣ русской соборности, въ мистеріи воскрешеннаго религіознаго дѣйства. „Русскій народъ Богоносецъ"—говорилъ Достоевскій. В. Ивановъ почувствовалъ ту же идею, только болѣе мистически, болѣе сознательно. Вся русская земля по его мнѣнію есть воплощеніе града Христова. Ибо „hic populus natus est Christianus"...

Въ сырыхъ громадныхъ глыбахъ родной, таинственной, огромной, необъятной земли, гдѣ еще свѣжо дыханіе первобытной дикости, гдѣ бродитъ еще величественный силуэтъ Ильи Муромца, гдѣ дышитъ еще жуткая сила Святорова, гдѣ еще стелется по землѣ сизый туманъ тоски, словно дыханіе боговъ—В. Ивановъ сердцемъ почуялъ земляного Христа, двигателя, озареннаго Витязя, воскресителя—и языческая любовь къ землѣ сплелась съ христіанской идеей.

И онъ также понялъ, слушая удары сердца земли своей, что безформенныя глыбы ея стонутъ въ мольбѣ по чудесномъ сѣмени великаго чуда, что русскій народъ „чуждается чаянія непосредственныхъ нисхожденій и вдохновеній Духа; „и когда говорятъ ему „здѣсь Духъ", онъ не вѣритъ. Иного дѣйствія Духа ждетъ онъ. Воспроизводя въ своемъ полуслѣпомъ сознаніи, въ своемъ, ему самому еще неясномъ

соборномъ внутреннемъ опытѣ христіанскую мистерію смерти крестной, одного ждетъ онъ и однимъ утѣшается обѣтованіемъ Утѣшителя. Онъ ждетъ и жаждетъ воскресенія. Сѣмя, умершее въ темныхъ глыбахъ, должно воскреснуть. Во Христѣ умираемъ, Духомъ Святымъ воскресаемъ. Отсюда это новозавѣтное чаяніе мгновеннаго чудеснаго возстанія въ Духѣ, когда исполнится година страстной смерти и погребенія въ землѣ. Оттого (характерный признакъ нашей религіозности) въ одной Россіи свѣтлое Воскресенье—поистинѣ, праздникъ праздниковъ и торжество торжествъ. Соборный внутренный опытъ нашего народа существенно различествуетъ въ этотъ моментъ его религіозной жизни отъ внутренняго опыта другихъ народовъ *).

Страстное пониманіе діонисовскаго безумія помогло В. Иванову лучше уразумѣть ликъ Христа, ибо и этотъ ликъ постигается сквозь безуміе—и только безумные видятъ Его. Ибо въ символѣ жертвы вѣчно передъ нами пламенѣетъ пречистое тѣло Его. Ибо мистическая сила Христа сильнѣе чувствуется именно въ запахѣ травъ, въ черныхъ глыбахъ земли, въ влажно-прохладномъ сердцѣ природы.

Язычество В. Иванова послужило только къ большей интенсивности воспріятія Христа, ибо онъ понялъ Его не умственно, а всей силою души и земли, всей силою сліянія съ кровью діонисовой жертвы, всей любовью своею къ неоскудѣвающимъ источникамъ жизни...

Такъ именно понималъ Христа блаженный Алешинъ наставникъ—старецъ Зосима, этотъ замѣча-

*) О русской идеѣ.

тельный язычникъ во христіанствѣ, этотъ православный Францискъ Ассизскій, говорящій трогательныя, умилительно—восторженныя рѣчи о землѣ цвѣтущей, о природѣ, о твари! „Каждый листикъ, каждый лучъ, каждую травку любите, животныхъ любите... Въ уединеніи же оставаясь—молись. Люби повергаться на землю и лобызать ее. Землю цѣлуй и неустанно, ненасытимо люби, всѣхъ люби, все люби, ищи восторга и иступленія сего. Омочи землю слезами радости твоея и люби сіи слезы свои". Эти слова звучатъ не только въ ушахъ Алеши, они долетаютъ и до Вяч. Иванова—и онъ любитъ землю свою, и восторгъ свой прозрачный любитъ, и сквозь цвѣтущее очарованье земли все ближе предъ нимъ Образъ Христа—Страдальца, постигаемаго въ жертвѣ безумія... И радость. И восторгъ. И благодареніе на устахъ язычника—христіанина.

Мы, что изъ солнцъ разлуки совлеченный
Твой крестъ творимъ,—
Тебя, съ собой на древѣ разлученный,
Благодаримъ.

За боль любви, за плачъ благодаренья,
За ночь потерь,
За первый крикъ, и смертный опять боренья,
И смерти дверь,—

Зане прибой мятежный умираетъ
У кроткихъ Ногъ,—
Зане изъ безднъ Страданье прозираетъ,
Что съ нами Богъ,—

Зане Тебя, по Комъ въ разлукѣ страждемъ,
Разлукой зримъ,—
Богъ жаждущихъ, чьей страстной чаши жаждемъ
Благодаримъ!

Жертвенность религіи Діониса, воспринятая сквозь призму славянской души—для В. Иванова становится однимъ изъ главнѣйшихъ и сокровеннѣйшихъ тайнъ христіанства... Вагряное вино діонисовой жертвы переносится въ потиръ у алтаря Сына, жертвенное безуміе древнихъ оргій восторженно узнается въ страдальческомъ Образѣ Распятаго. И снова звучитъ мотивъ Достоевскаго о животворящей силѣ страданья, золотистой нѣгой отражаясь въ устахъ утонченнаго пѣвца прозрачности пѣвца мистической Розы, пѣвца —чародѣя...

Познай себя. Свершается свершитель,
И дѣлается дѣлатель. Ты—будешь.
„Жрецъ“ нарекись и знаменуйся: „жертва“.
Се, дѣйство—жертва. Все горитъ. Безмолвствуй.

Познай себя, отъ Дѣйствія рожденный!
Огнемъ огонь зачать. Умретъ зачавшій,
Жрецъ отчій—ты, о жертва жертвы отчей!
Се, жертва—сѣмя. Все горитъ. Безмолвствуй.

И тайнаго познай изъ дѣйствій силу:
Мечъ жреческій—любовь; любовь—убійство.
„Отколѣ жертва?“—Ты и Я—отколѣ?
Все—жрецъ, и жертва. Все горитъ. Безмолвствуй.

. . . . . .
. . . . . .

Но страданье для поэта есть лишь эстетическая эмоція, лишь средство для вдохновенія, лишь радуга переживаній.

Но боль тихо таетъ, сладостно замирая въ ароматѣ блаженномъ, разлитомъ въ мірѣ, въ сладострастномъ ароматѣ нѣжно-пурпурной мистической Розы.

Въ тысячахъ разноцвѣтныхъ искръ, во множествѣ оттѣнковъ и уклоновъ, въ порывахъ и мечтахъ, въ

слезахъ и молитвахъ, въ трепетѣ горя и причудахъ сердца—цвѣтетъ покой душистый, глубина прохладная, пламя томительное:—Роза,—символъ красоты, символъ надежды.

И, упоенный чарами цвѣтущаго чуда,—поэтъ воспѣваетъ его въ мелодіяхъ своихъ, свѣтлый, прозрачный кристаллъ вдохновенія окрашивая заревыми лучами.

Раскроется святая Роза вскорѣ.
Ужъ нѣжной почкой зорьки полоса
Алѣется. Прозрачны небеса.
Звѣзда любви—какъ парусъ въ ясномъ морѣ

Здѣсь, на холмѣ, въ просвѣченномъ просторѣ,
Межъ тѣмъ,какъ долу зыблется роса,
Ткачей крылатыхъ слышу голоса,
Что злато ткутъ въ невидимомъ соборѣ.

Здѣсь кипарисъ, чернецъ—пустынножитель,
Со мною молится. И капли слезъ
Легки ланитамъ освѣженныхъ розъ.
Разубрана, свѣтла моя обитель...

А на востокѣ кровь багряныхъ лозъ
Кипитъ чрезъ край... Осанна, мой Спаситель!...

XIII.

Лишь въ человѣкѣ встрѣтиться могло
Священное съ порочнымъ. Всѣ его
Мученья происходятъ оттого.

Лермонтовъ.

....О, есть и во адѣ пребывшіе гордыми и свирѣпыми, несмотря уже на знаніе безспорное и на созерцаніе правды неотразимой, есть страшные, пріобщившіеся сатанѣ и гордому духу его всецѣло. Для тѣхъ адъ уже добровольный и ненасытимый, тѣ уже доброхотные мученики. Ибо сами прокляли себя, проклявъ Бога и жизнь... Бога безъ ненависти созерцать не могутъ и требуютъ, чтобы не было Бога жизни, чтобы уничтожилъ себя Богъ и все созданіе свое. И будутъ горѣть въ огнѣ гнѣва своего, жаждать смерти и небытія, но не получатъ смерти.

Достоевскій („Братья Карамазовы").

Аскетизмъ—это основное начало въ историческомъ христіанствѣ, эта главнѣйшая его особенность, этотъ основной столпъ его истины—въ Россіи получилъ своеобразную окраску. Можно сказать, что вся русская интеллигенція аскетична по существу, и тамъ, именно тамъ, гдѣ аскетизмъ этотъ принимаетъ безсознательную форму—онъ искренень, но за то и не сложенъ: въ общественной жизни сама „идея" какъ

бы замѣняетъ собой и плоть и духъ, и здѣсь живутъ не помышляя о тайнѣ, потому что о ней не знаютъ. Но не то въ такъ называемомъ нашемъ „неохристіанствѣ“. Здѣсь аскетизмъ уже явленіе не безсознательное и не жизненное, не коренное, а больше метафизическое. Здѣсь тайну пола именно благодаря сознательному отношенію къ своей личности и поняли. Здѣсь аскетизмъ—такая же тайна, какъ и полъ. И вотъ возникаютъ споры, дебаты, приводятся тексты, съ жаромъ обсуждаются вопросы, которые для заправскихъ богослововъ уже давно рѣшены и окончательно, но для этихъ „новыхъ людей“ составляютъ загадку, и чѣмъ больше въ нее они вдумываются, тѣмъ загадка сложнѣе...

Аскетизмъ—начало творческое въ христіанствѣ историческомъ, аскетизмъ, бывшій для послѣдняго идеаломъ, для „неохристіанъ“—лишь предметъ споровъ, размышленій и ученыхъ дебатовъ, но на самомъ дѣлѣ, въ жизни своей, въ религіозномъ опытѣ—онъ не есть для нихъ начало творческое, а—ненужный и жуткій остатокъ древности, остатокъ средневѣковья, достойный удивленья, но не подражанія. Аскетизмъ современный—это налетъ, а не внутреннее теченіе, это внѣшняя форма, но не переживаніе, это вопросъ метафизическій, а не вопросъ жизни (можетъ быть потому, что и само то „неохристіанство“ дальше словъ не идетъ, а можетъ быть потому, что послѣднему аскетизмъ вовсе чуждъ)...

Они могутъ съ пылкою горячностью проповѣдывать умерщвленіе плоти, но на самомъ дѣлѣ, въ душѣ своей—преклоняются передъ утонченностью порока. Они не могутъ быть аскетами добровольно, но по напряженности искусственной (внѣшней). Мо-

жетъ быть потому, что прошли сквозь Ницше и культуру. Можетъ быть потому, что аскетическая идея понимается какъ неотдѣлимая черта этики (которая колеблется, вѣчно колеблется и дѣлаетъ трещины)...

Какъ бы то ни было, но есть теченіе въ современномъ „неохристіанствѣ“, стремящееся къ *преодолѣнію* плоти и къ освященію ея, есть теченіе, дошедшее въ своемъ невольномъ аскетизмѣ до особеннаго утонченнаго сладострастія духа, свойственнаго Достоевскому, есть теченіе, представители котораго лелѣютъ мечту о преображеніи плоти, объ избавленіи отъ нея, о новыхъ формахъ любви, о новыхъ формахъ жизни въ сферѣ духа...

Передо мной двѣ книги, далекія одна отъ другой, но въ сущности—близкія, какъ это ни покажется страннымъ, отличающіяся только тѣмъ, что въ одной затронута внѣшняя сторона проблемы аскетизма, а въ другой—вскрыта ея внутренняя, кошмарная и страшная подоплека. Эти книги: романъ Ивана Новикова „Золотые кресты“*) и „Антихристъ“—Вал. Свенцицкаго...

Нужно признаться, что, какъ первому произведенію далеко до названія романа, такъ второму до обычнаго „литературнаго“ (въ вульгарномъ, впрочемъ смыслѣ) произведенія... Но для меня какъ первое, такъ и второе—лишь любопытный и несомнѣнно правдивый психологическій матерьялъ.

Въ романѣ И. Новикова проходятъ предъ нами именно такіе же типы „новыхъ людей“, какъ и въ разсматриваемыхъ мною выше разсказахъ З. Гиппіусъ, разница между этими людьми лишь въ томъ, что по-

*) Иванъ Новиковъ. Золотые кресты, романъ. Москва, 1908 г.

слѣдніе преображены талантливой писательницей въ искусствѣ, а первые—повидимому „списаны“ авторомъ съ натуры... Можетъ быть именно потому они такъ мертвы, какъ мертвъ и самъ романъ... Но черты ихъ (абрисы душъ) несомнѣнно отъ жизни, оттого я и разсматриваю ихъ...

Авторъ задался цѣлью изобразить въ своемъ романѣ теченія русскаго неохристіанства... Я не буду касаться вопроса, удалось ли это ему или нѣтъ, но люди, которые въ немъ проходятъ предо мной—интересны. Они именно интересны своей мистической устремленностью отъ жизни къ мечтѣ, отъ пола къ духу, отъ надоѣвшихъ формъ дѣйствительности—къ новымъ, смутнымъ, имъ же самимъ еще неяснымъ формамъ преображеннаго въ духѣ человѣчества... Именно такіе-же люди уже прошли передъ нами, точно бѣлые призраки, точно чьи-то хрупкія и прозрачные сны въ творчествѣ Гиппіусъ, но тамъ они были символами настроеній автора, здѣсь же они—копіи дѣйствительности...

И кажется, гдѣ-то уже видѣлъ эти странныя, блѣдныя, непорочныя лица, лица святыхъ, мучениковъ,—въ нашей же жизни, среди насъ, вокругъ насъ, но тогда не замѣтилъ ихъ, слишкомъ ужъ они терялись въ толпѣ и казались нѣжными цвѣтами, которыхъ волны жизни несутъ, несутъ куда то—въ неизвѣстную даль, куда—неизвѣстно—можетъ быть на неминуемую гибель... Когда-то, во время революціи именно эти непорочныя лица съ страннымі, нездѣшними глазами, устремленными въ невѣдомую даль—бросались съ какою-то сладострастною жертвенностью подъ выстрѣлы (и даже не во имя „освобожденія“, а просто, чтобы сдѣлать что-нибудь нео-

бычное, что бы почувствовать себя надъ жизнью)... Потомъ видѣлъ ихъ на выставкахъ въ театрахъ, въ гостиныхъ, тамъ они съ тѣмъ же жуткимъ и трепетнымъ выраженіемъ замершихъ въ экстазѣ глазъ—творили свою мистерію, словно отлетали куда-то, словно таяли, словно умирали въ мечтѣ... Иногда случалось видѣть ихъ въ гробу, колыхающимся надъ моремъ головъ—здѣсь они, казалось, нашли себѣ мѣсто: закрылись глаза и не видно этой русалочьей жути въ нихъ, за то на губахъ блаженная улыбка, какой не было въ жизни... Но еще наблюдаешь ихъ потухшими (жизнь побѣдила), заживо погребенными среди сѣраго стада, и тогда лица у нихъ—выцвѣтшія, исковерканныя, и отъ нихъ пахнетъ тлѣніемъ,—это они „примирились“.

И вотъ, въ этомъ полу-романѣ, полу-фотографіи—снова кто-то наблюдающій воскресилъ ихъ—торопливо и неумѣло, и какъ блѣдныя копіи—они снова улыбаются мнѣ изъ мглы и отъ мертвыхъ улыбокъ ихъ дрожь пробѣгаетъ по тѣлу...

Родныя... далекія!.. Въ жизни никто не понималъ васъ и смѣялись надъ царствомъ вашимъ бѣлымъ, и какъ первые подснѣжники робко цвѣли вы въ нашей холодной странѣ... Теперь вы успокоились, въ гробахъ-ли, въ жизни-ли, не все-ли равно... Только больно прикасаться къ вашимъ истерзаннымъ душамъ теперь... Вѣдь никто не пойметъ, никто не повѣритъ... И не воскресить васъ... Родныя... далекія...

Вотъ они всѣ: блѣдная маска князя Мышкина—Глѣбъ, христіанинъ, бывшій марксистъ, истерзанный, погибающій, больной, вотъ Анна—мечта-ли, призракъ-ли, влюбленная нѣжно мистической любовью въ Христа, вотъ докторъ Палицынъ (этого сразу узнать

можно, этотъ выхваченъ изъ жизни, желаетъ примирить политику съ христіанствомъ; вотъ старикъ изъ подполья, вотъ антихристъ—Кривцовъ; всѣ знакомы и кажется, чуть ли не на дняхъ гдѣ-то ихъ видѣлъ... И всѣ—христіане...

Авторъ довольно удачно вскрываетъ подоплеку „неохристіанства", но особенно ему нравится отмѣчать тѣневыя его стороны; расхожденіе слова и дѣла, соединеніе „дѣлишекъ" съ дѣлами вѣры, внутреннюю дряблость, можетъ быть оттого изображенное въ романѣ „неохристіанство" имѣетъ нѣсколько дохлый и скомпроментированный видъ... Если таково оно на самомъ дѣлѣ, то дѣло обстоитъ плохо... И есть шансы, есть много шансовъ думать, что можетъ быть, оно и дѣйствительно таково...

Вліяніе Достоевскаго на художественную концепцію автора неоспоримо... И тутъ, снова приходимъ къ сознанію, какіе мы всѣ вымученные, искуственные, „не настоящіе" передъ Достоевскимъ: у того—сила, подземный динамитъ, геніальность, подрываніе основъ, истинная трагедія, и даже князь Мышкинъ не кажется искуственнымъ, а живымъ,—въ современномъ религіозномъ сознаніи, кажется иногда, нѣтъ ничего самобытнаго, ничего творческаго, ничего движущаго, оно все—въ зависимости отъ образцовъ, оно—копія... Наши писатели любятъ питать своихъ христіанскихъ героевъ подъ Мышкина почему-то имъ кажется, что христіанинъ долженъ быть непремѣнно безпомощнымъ, больнымъ, истерзаннымъ и несчастнымъ... Эта послѣдняя мысль кажется исходитъ отъ Ницше. Но Ницше зналъ только христіанство внѣшнее... И что бы ни говорили, а отъ дѣйствительнаго пониманія христіанства, особен-

но православнаго—Ницше былъ всегда далекъ... И. Новиковъ написалъ своего Глѣба такъ же „подъ Мышкина“, но въ этомъ лицѣ есть нѣчто и отъ жизни, и иное послѣднее меня заинтриговало...

Глѣбъ и Анна являются центральными фигурами романа. Они также интересны, какъ выразители русскаго аскетизма, и вотъ именно объ этомъ вопросѣ я и стану говорить... Этотъ аскетизмъ есть не только умерщвленіе плоти и отвращеніе къ ней (что является главнѣйшей принадлежностью аскетизма), но также стремленіе къ преодолѣнію пола въ исканіяхъ какихъ-то смутныхъ, едва-едва рисующихся сознанію формъ жизни. Каковы именно могутъ быть эти формы—это неизвѣстно и сами герои Новикова едва ли могутъ дать себѣ ясный въ этомъ отчетъ, но вся ихъ душа истерзана властью пола, властью кошмарной и мучительной. И они стараются увѣрить себя, что они—безтѣлесные, что ихъ поцѣлуи—поцѣлуи душъ, что ихъ любовь—*только* мистична, что ихъ царство не отъ міра сего, но на самомъ дѣлѣ обстоитъ иначе, на самомъ дѣлѣ они всѣ именно пропитаны сладострастіемъ, какъ ядомъ, они отреклись отъ тѣлесныхъ формъ, они съ мукою предали проклятью плоть во имя своей призрачной и далекой мечты, но изъ романа видно, что это сладострастье передалось отъ тѣла духу, что оно приняло особенный утонченный видъ *сладострастья духовнаго*, и это послѣднее чувствуется всюду, оно образуетъ какъ бы пронизанную электрическими токами атмосферу, въ которой эти истомленныя своей непосильной мукой души творятъ свою никому не понятную мистерію влюбленности, въ которой Анна вдругъ снимаетъ платье и обнажается вся передъ фигурой

Христа, замирая въ оргійномъ упоеніи, въ которой Глѣбъ и Анна, обмѣниваясь своими крестами,—цѣлуютъ ихъ и изнемогаютъ отъ теплаго запаха тѣлъ на крестахъ, въ которой всѣ эти аскеты и мистики бѣгаютъ за женщинами на подобіе донъ-Жуановъ... Именно въ этомъ-то и сказалась природа аскетизма: сладострастье—это неизмѣнный его результатъ, и сладострастье демоническое, чадно кошмарное, чисто уродливое, часто извращенное, какъ бы мстящее за попранныя права плоти... И въ этомъ—трагедія аскетизма... Но герои Новикова какъ будто ея не сознаютъ. Они стремятся къ новымъ формамъ любви и на башнѣ ихъ духъ возносится къ небу на подобіе бѣлыхъ птицъ, и, какъ ненужное опереніе—падаютъ внизъ ихъ тѣлесныя оболочки...

Не къ новымъ формамъ сліянія въ любви стремится эта своеобразная черта русскаго мистическаго аскетизма, а къ новому безумію въ ихъ Бѣломъ Христѣ, въ которомъ тѣло какъ снѣгъ, въ которомъ духъ какъ новое тѣло, къ безумію еще неизвѣстной міру любви, въ которой не будетъ физическаго обладанія—этой смерти любви здѣшней—въ которомъ духъ какъ бы прорѣжется сквозь оболочку внѣшности и узнаетъ чудо свое нездѣшнее, свое сліяніе не тѣлъ, а душъ, свое яркое и лазурное „да!“ на смѣну вѣчному земному „нѣтъ“, свое бездонно-глубокое, всеохватывающее, всемірное, все поглощающее, богочеловѣческое и вселенское „я“ вмѣсто конечныхъ и мучительныхъ „я“ и „не—я“ земли, свою неутолимую и какъ бы священную въ этой неутолимости жажду, свое единственное и таинственное примиреніе, свой безтѣлесный восторгъ... О такой любви мечтаютъ Анна и Глѣбъ,

такою любовью утѣшаетъ себя русскій аскетизмъ... И вспоминаются мнѣ характерныя для этого, рода любви слова Антона Крайняго, слова вполнѣ выражающія идею такой христіанской мистической влюбленности „Во влюбленности вопросъ пола уже какъ бы таетъ, растворяется, противорѣчіе между тѣломъ и духомъ исчезаетъ, борьбѣ нѣтъ мѣста, а страданія восходятъ на ту высоту, гдѣ они должны претворяться въ счастье. Влюбленность создалась чрезъ Христа, какъ нѣчто новое, духовно тѣлесное, на нашихъ глазахъ, изъ нея родился поцѣлуй, таинственный знакъ ея тѣлесной близости, ея соединенія двухъ безъ потери я... Для того, чтобы новая тайна *новаго* брака была найдена—нужно физическое преобразованіе тѣла“ *)... Именно къ такому таинственному преобразованію человѣческаго существа стремятся и герои „Золотыхъ Крестовъ“—и въ этомъ одна любопытная черта романа...

Конечно, мечты о новыхъ формахъ любви остались мечтами и хотя авторъ утверждаетъ, что это возможно на островѣ новой грядущей жизни, которая наступитъ на развалинахъ старой, трудно этому повѣрить и „царство новыхъ людей“ разлетается въ прахъ передъ столкновеніемъ съ реальной жизнью...

Есть въ литературѣ своеобразная попытка изобразить царство „новыхъ душъ“ въ символахъ. Я подразумѣваю драмы Мэтэрлинка. Тамъ свершаются мистеріи освобожденнаго духа. И вѣришь, что возможно бѣлое царство чуда. И вѣришь, что именно такова и должна быть та новая дѣйствительность, къ которой стремятся наши души, больныя землей. Но

*) Антонъ Крайній: „Влюбленность“ (Новый путь, 1901 г., Мартъ).

не даромъ эти пьесы предназначались для театра маріонетокъ... И что то зловѣщее чуется мнѣ въ этомъ замыслѣ Мэтэрлинка: живые люди казались ему невозможными формами для символизаціи новаго царства духа...

У Новикова наоборотъ—люди какъ будто живые, но кажутся безжизненными, мертвыми... Я не хочу доискиваться до причины этого явленія, но для меня ясно, что эти люди мертвы... И даже когда вижу этихъ людей въ реальной жизни, а не въ романахъ—и тамъ они поражаютъ меня своею блѣдною мертвенностью и ненужностью для жизни... И можетъ быть потому, что нѣтъ еще мѣста для нихъ... Кто знаетъ...

Мнѣ хотѣлось отмѣтить этотъ легкій налетъ своеобразной формы аскетизма, присущей русскому христіанству, въ романѣ И. Новикова. Но не въ немъ—корень аскетизма и не въ немъ его загадка, потому что этотъ романъ часто сбивается на фантасмагорію и отъ него вѣетъ безжизненностью.

Въ другомъ романѣ, менѣе претендующемъ на искусство, но за то болѣе искреннемъ и правдивомъ—я встрѣтилъ настоящую трагедію. Я имѣю въ виду „Антихриста“ В. Свенцицкаго *). Трагедія эта—трагедія не только современнаго аскетизма, но и вообще всего нашего христіанства: Но о ней молчатъ. И вотъ, въ обнаженной, кровью написанной, книгѣ человѣкъ среди этого молчанья вдругъ закричалъ, и крикъ его исходитъ именно изъ тѣхъ глубинъ, изъ которыхъ кричалъ и Достоевскій. Вотъ почему любопытенъ этотъ романъ для меня...

*) Вал. Свенцицкій. „Антихристъ“ (записки страннаго человѣка), С. Петербургъ. 1908.

И именно потому онъ и интересенъ, что въ немъ открыто, обнаженно и пламенно говорится о томъ, о чемъ привыкли всѣ молчать, хотя и каждый носитъ въ своей душѣ этотъ адъ. Здѣсь вскрыта именно та подоплека современнаго вымученнаго, напоснаго, искуственнаго аскетизма, который въ концѣ концовъ превращается въ пожаръ сладострастья и пожаръ охватываетъ всю жизнь, и именно оттого, что созналъ, что такое грѣхъ и порокъ, оттого, что почувствовалъ, что главный императивъ христіанства въ томъ и заключается, чтобы побороть зло и грѣхъ, именно отъ этого то сознанія и грѣхъ и зло кажутся особенно, мучительно и неопредѣленно заманчивыми, влекущими, полными таинственной красоты, полными дьявольскаго обаянія—и человѣкъ, сознавая себя христіаниномъ—погружается въ самую глубину разврата и преступленія, продаетъ душу Дьяволу за минуту дикаго наслажденія, залѣзаетъ въ самое отчаянное подполье и оттуда кричитъ, воетъ, надрывается, издѣвается надъ міромъ и людьми, выматываетъ въ самоказни всю свою душу, изнемогаетъ въ паденіяхъ своихъ, доходитъ до безумія, а душу спасти не можетъ, а отъ порока и грѣха отказаться не можетъ, именно потому и не можетъ, что порокъ и зло запрещены христіанствомъ, составляютъ главное въ немъ преступленіе.

Такъ было съ Достоевскимъ. Двойственность въ немъ, одновременное служеніе и Христу и Чорту, идеалъ Мадонны и идеалъ Содома, святость и грѣхъ—творили въ немъ трагедію, служили причиною подполья, отравили все его творчество.

То же случилось и съ героемъ В. Свенцицкаго. Въ жизни онъ выдавалъ себя за примѣрнаго христі-

анина, собирался даже сдѣлаться миссіонеромъ, громилъ зло и порокъ и проповѣдывалъ самый крайній: аскетизмъ, на дѣлѣ же былъ сжигаемъ въ душѣ сладострастьемъ и всѣми пороками, вовсе не вѣрилъ во Христа, даже Его ненавидѣлъ, а душѣ его были страшно близки только смерть и Дьяволъ... Не правда-ли, занятный феноменъ?... Но не думайте, что это ложь. Это правда, сущая правда, это страшная правда нашей жизни... Вокругъ насъ и среди насъ много такихъ „героевъ нашего времени", и они молчатъ и никто не знаетъ о той ужасной, убійственной игрѣ лжи и самообмана, которую они исполняютъ не по своей волѣ, а по волѣ сидящаго въ нихъ демона двойственности, и они сжигаютъ себя на кострѣ такой муки, съ которой не сравнится ничто, и они несчастны и раздавлены своимъ несчастьемъ, и они прокляты... Всѣ отвернулись отъ нихъ, какъ отъ прокаженныхъ (хотя никто не лучше ихъ), всѣ презираютъ ихъ за нарушеніе морали, за ихъ дикую жажду, за ихъ порочность, всѣ сторонятся ихъ и не сознаютъ той трагедіи, въ которую погружены эти несчастные... Такъ что остается одно—подполье... И они уходятъ туда, они пребываютъ во тьмѣ своего одиночества денно и нощно, они истекаютъ кровью, они молятся и исцепеляются въ мольбѣ, но все напрасно: въ этой жизни они неумолимые, жестокіе тираны, тираны самихъ себя!...

Та же самая двойственность изводила и Достоевскаго, она прошла сквозь его жизнь и творчество, она истерзала Ивана Карамазова, она изукрасила трупною неподвижностью лицо Ставрогина, она исковеркала жизнь Версилову, она даже проявилась въ такихъ неоперившихся птенчикахъ, какъ Алеша и

Лиза Хохлакова... И тотъ же мучитель—черный Демонъ, Антихристъ—сидѣлъ и въ душѣ Достоевскаго, разрывалъ ее на части... И говорилъ въ безумномъ бреду Ивану о послѣднихъ чертахъ этой жизни, о послѣднемъ „все позволено", о кончинѣ міра и гибели Христа, плѣненнаго инквизиторомъ. И Митеньку посылалъ въ смрадные переулочки и клоаки, гдѣ находили себѣ прибѣжище и Версиловъ со Свидригайловымъ... И Раскольникова убилъ идеей преступленія. И въ Лизѣ Хохлаковой кричалъ, надрываясь, о желаніи каторжномъ зажечь домъ, сдѣлать великое зло, созвать на огненный пиръ всѣхъ чертей и бросить имъ на растерзаніе душу свою – такую юную и уже изнемогшую, испепеленную порокомъ... И въ невинныя уста младенца Алеши вложилъ пониманіе преступленія („Есть минуты, когда люди любятъ преступленія", это мальчикъ говоритъ, схимникъ изъ монастыря, „святой юноша!")... Ужасъ хаоса, разрушенья и тьмы рисовалъ Антихристъ человѣку изъ подполья и послѣднему хотѣлось весь міръ заковать въ цѣпи страданья и пустить по міру краснаго пѣтуха безумія... Онъ нашептывалъ Ставрогину въ минуты послѣдняго отчаянья, когда жить уже нечѣмъ, когда душа выдохлась, когда трупомъ разлагается несчастная жизнь—о совпаденіи полюсовъ подвига и скотскаго разврата, объ идеѣ Христа и объ идеѣ изнасилованія дѣвочки... Весь Достоевскій—это двѣ бездны, два начала, два искушенія, два бога, двѣ стихіи—и когда случалось, что побѣждалъ Антихристъ—все проваливалось въ бездну, но тогда же, нужно признаться, и рождались самыя геніальныя мысли...

Для героя Свенцицкаго Христосъ былъ только обманомъ. Ему нуженъ былъ Христосъ для защиты

отъ той страшной, губительной силы, на которой держится міръ и которая (странно сказать) мало была извѣстна Достоевскому, но отравила всю современную душу и жизнь и искусство, и религію—смерти...

Замѣчательный фактъ, но фактъ постоянно наблюдаемый: все христіанство, но особенно христіанство современное—построено исключительно на идеѣ смерти. И не будь смерти, не было бы и христіанства. И ту страстную защиту отъ смерти Христомъ, которую встрѣчаемъ напримѣръ у В. Эрна въ статьѣ „Соціализмъ и проблема свободы“ *)—я считаю вообще отличительной чертой современнаго христіанства... Она же и у Свенцицкаго... И его герой мучается необъяснимой загадкой смерти, и для него, какъ и для Эрна—смерть есть единственная реальность и кромѣ смерти ничего нѣтъ...

Какой надрывный крикъ слышится въ этомъ страхѣ передъ смертью! Онъ звучитъ въ каждой душѣ, онъ неминуемъ, онъ неизбѣженъ, онъ даже Льва Толстого сдѣлалъ христіанниномъ, и онъ же дѣлаетъ христіанами всѣхъ боящихся смерти людей, и онъ сладкимъ обманомъ окутываетъ душу, обезумѣвшую отъ смерти, и онъ часто спасаетъ душу этимъ обманомъ... Но если даже и Христосъ обманъ, то все таки лучше успокоиться на этомъ обманѣ, нежели идти дальше и искать лучшаго. Не всѣ ли обманы одинаковы? И если я чувствую, что обманъ спасаетъ отъ смерти, то не все ли мнѣ равно, обманъ-ли меня спасаетъ, или истина? Лишьбы спастись и поскорѣе, пока еще возможно спасеніе...

Тотъ же В. Эрнъ очень глубоко вскрываетъ ужасъ смерти и здѣсь чувствуется искренность че-

*) Владиміръ Эрнъ: „Борьба за Логосъ“ Москва, 1911.

ловѣка, который охваченъ жуткимъ безпощаднымъ страхомъ, и здѣсь чувствуется, что и онъ *долженъ* былъ придти къ защитѣ отъ смерти во Христѣ, ибо другого выхода нѣтъ и не можетъ быть: „Къ смерти—говоритъ Эрнъ—насъ тянутъ законы природы, которые созданы не нами и не находятся въ соотвѣтствіи съ нашей волей. А потому смерть наша всегда приближается къ намъ *противъ нашей воли*. Мы не хотимъ ея, а она приближается. Мы бы сдѣлали все, чтобы прогнать ее, но она, смѣясь надъ нашимъ безсиліемъ, приходитъ и совершаетъ съ нами то, что намъ противно и страшно. Такимъ образомъ смерть всегда *насильственная*. Смерть же насильственная есть *смертная казнь*.

Земля будетъ садомъ, люди будутъ жить въ изобиліи, но каждаго человѣка будетъ ждать смертная казнь, универсальная, міровая, совершаемая безъ исключенія надъ всѣми живущими и надъ всѣмъ живущимъ. Жизнь тогда уже будетъ не простымъ умираніемъ. Жизнь тогда сведется къ ожиданію каждымъ человѣкомъ своей *казни*. Тогда всѣ изъ свободныхъ людей, освободившихся отъ всякихъ видовъ внѣшняго рабства, превратятся въ безповоротно *приговоренныхъ*. Не жить они будутъ, а ожидать, когда ихъ повлекутъ къ эшафоту“ *).

И въ унисонъ Эрну кричитъ раздавленный идеей смерти герой романа Свенцицкаго: „Я понялъ смерть. Я вижу ее, она кругомъ меня, я чувствую ее... Одна только смерть вызываетъ во мнѣ дѣйствительно живое чувство. Часто гляжу я на свои руки и думаю: черезъ нѣсколько десятковъ лѣтъ, можетъ быть черезъ годъ, можетъ быть черезъ день я стану

*) ibidem., стр. 228.

трупомъ, это мясо начнетъ гнить, отвратительнымъ, удушливымъ запахомъ наполнитъ комнату. При этой мысли я начинаю дрожать, чувствую, какъ холодѣютъ руки, ноги... И во мнѣ пробуждается желаніе разрушить незаконный, безмятежный покой, заставить всѣхъ бояться смерти, задуматься, страдать"...

И онъ, такъ же какъ и Эрнъ, какъ многіе другіе—пришелъ къ выводу, что нужно искать спасенія отъ смерти, скорѣе, во что бы то ни стало, что нужно найти хотя бы цѣною сумасшествія это спасеніе, иначе невозможно жить... И онъ нашелъ его въ христіанствѣ. Онъ какъ и Иванъ Карамазовъ, очень хорошо уразумѣлъ значеніе Христа для человѣчества, но такъ же какъ и онъ—не могъ самъ повѣрить во Христа, онъ спрятался за Христа, онъ сдѣлалъ Его своими ширмами, своимъ щитомъ, своимъ вѣчнымъ, тяжелымъ обманомъ, тоской утомительной, игрой бездушной, игрой, въ которой обрывались послѣднія струны души, въ которой онъ надрывался и чувствовалъ, какъ все дальше уходитъ изъ подъ ногъ почва, какъ все тяжелѣе и тяжелѣе жить, какъ страхъ терзаетъ душу безжизненными руками трупа все безпощаднѣе, все безстыднѣе... Но онъ понималъ, что нужно выбрать или Христа, или смерть. Не могъ побороть смерти и не могъ увѣровать во Христа, вотъ, въ чемъ была вся его мука, весь ужасъ, все отчаянье, и кричалъ, надрывался, вопилъ, увѣрялъ всѣхъ, что вѣритъ во Христа и въ воскресенье Его, проповѣдывалъ отреченіе отъ жизни, аскетизмъ, покаяніе во грѣхахъ, загробную жизнь—и ему вѣрили, ему аплодировали, его называли истинно-вѣрующимъ христіаниномъ... Но никто не видѣлъ души. А въ этой душѣ былъ адъ. А въ этой душѣ въ минуты

проклятья рождалось безуміе, рождался крикъ сумасшедшаго — глухой, нечеловѣческій, страшный. А въ этой душѣ бушевали пороки, разгорались самыя низкія страсти, вожделѣнія, ненависть къ человѣчеству, тупая, надрывная тоска, ужасъ, смятеніе, боль горячечная, боль послѣдняго часа, когда кажется—отъ сильнаго напряженія лопнетъ мозгъ и тонкое стекло надрывнаго вопля брызнетъ и разлетится въ прахъ... И въ тайникахъ души было другое знаніе о Христѣ, то знаніе, о которомъ молчатъ, которое боятся даже мыслить. И это знаніе пѣло въ ушахъ тоскливою рѣчью, надоѣвшею до муки, но нестерпимою, непобѣдимою, ничѣмъ не заглушимою. И оно говорило: „Страхъ смерти создалъ Христа. Съ того самаго момента, когда охватилъ человѣчество ужасъ передъ грядущею смертью, зародилась въ немъ слабенькая, уродливая и до смѣшного наивная греза о томъ, что кто то когда-то побѣдитъ міръ. Этотъ зародышъ былъ очень живучъ. Его не могли побѣдить самыя очевидиѣйшія доказательства смерти. И всѣ умирали, и всѣ передавали другъ другу свою несбывшуюся надежду. И чѣмъ больше умирали люди, чѣмъ глубже въ сознаніе человѣчества проникалъ весь ужасъ, вся неизбѣжность рано или поздно сгнить въ землѣ и чѣмъ сильнѣе разгоралась жажда вѣчной жизни, тѣмъ мечта о грядущемъ побѣдителѣ становилась упорнѣе и непобѣдимѣе. И Христосъ пришелъ... Но Онъ не воскресъ. Его воскресеніе—это ложь. Смерть побѣдила Христа.

Человѣчество не могло бы жить дальше—и оно вымучило въ себѣ вѣру, истерическую, больную, съ надрывомъ, въ то, что Христосъ побѣдилъ смерть“...

Но не можетъ повѣрить въ это герой романа, и онъ не столько не можетъ, сколько не хочетъ, именно—*не хочетъ*, злобно, бунтовщически, проклиная и бѣснуясь въ своемъ отрицаніи, не хочетъ, можетъ быть потому и не хочетъ, что жалко ему разстаться съ подпольемъ своимъ, съ сладострастнымъ распинаніемъ самого себя въ безпощадной, томительной, безудержной, кровавой мукѣ, съ своимъ отчаяньемъ, къ которому, какъ къ болѣзни своей, привыкъ (точно такъ же, какъ упивался зубной болью герой Достоевскаго), со своей бездонной, внѣ-міровой, палящей, надорванной, агонической тоской!... Ибо во всемъ этомъ есть извѣстная сладость, извѣстное наслажденіе, которое Достоевскій называлъ единственной причиной сознанія, ибо запахъ кровью облитой жертвы сладостно щекочетъ обоняніе, ибо сладостно руки свои пригвождать ко кресту, сладостно издыхать въ послѣднемъ отчаяньи—и что сравнится съ этимъ, и зачѣмъ, къ чему тогда всѣ обманы, и можетъ ли прѣсный покой обмана сравниться съ этимъ бѣшеннымъ сладострастіемъ боли! То-то и есть, что ничто не сравнится съ этимъ... И объ этомъ зналъ Достоевскій и оттого въ подпольѣ сидѣлъ... Знаетъ и герой „Антихриста“...

Но онъ передъ толпой разыгрывалъ, паясничая, смиренную роль аскета—христіанина и нужно было продолжать игру... О, какъ изнемогаемъ мы въ игрѣ нашей. И каждый играетъ свою роль униженно, привычно; какъ забитыя клячи, тащимся подъ ударами грознаго божьяго кнута и подыгрываемъ и паясничаемъ и томимся во лжи своей безконечной... И такъ часто хочется отдохнуть, хоть немного забыться, хоть духъ перевести, заморились всѣ, устали, и измяты и

поблекли наши маски, и кровавыя пятна на нихъ, и ужасъ боли сверлитъ мозгъ, склизкой гадюкой вившаясь, внѣдряясь, шипя и скользя подъ черепомъ, и устали ноги наши на тернистомъ, на безцѣльномъ, на ненужномъ пути, и посинѣли мы отъ стужи нашей—стужи гальванизированныхъ труповъ, исполняющихъ трудный и безжалостно-жестокій танецъ лжи, танецъ жизни, но удары бича нестерпимы, но кровь хлещетъ изъ ранъ,—и изнемогая, каждый изъ насъ жалуется, искривляя засохшую въ кровавой лжи маску, трепеща, извиваясь въ боли своей безотрадной:

Я влюбленъ въ мою игру.
Я играя самъ сгораю,
И въ безумствѣ умираю,
И умру, въ игрѣ умру

Умираю отъ страданій,
Весь измученный игрой,
Чтобы новою зарей
Вывесть новый рой созданій.

Снова будутъ небеса,—
Не такія же, какъ ваши,—
Но опять изъ полной чаши
Я разсѣю чудеса *).

Искренній гнѣвъ охватываетъ героя романа по отношенію къ чужимъ грѣхамъ. Свои собственные грѣхи ему кажутся дѣломъ обычнымъ и не требующимъ наказанія или искупленія. Но за то, когда они проявляются въ другихъ—въ немъ просыпается бѣшеное возмущеніе поступкомъ другого человѣка и онъ весь горитъ, обличая его, и въ проповѣди его такая страсть и такая сила и такая святость, что всѣ

*) Ѳ. Сологубъ.

чувствуютъ угрызеніе совѣсти и чувствуютъ въ немъ чуть-ли не полусвятого, а онъ, сжигаемый ненавистью къ этому стаду, какъ сжигается онъ вообще ненавистью ко всему, что не—я,—уходитъ отъ нихъ, упиваясь эффектомъ, довольный, побѣдившій, а въ душѣ измученный тяжкой игрой своей до потери сознанія, а въ душѣ—раздавленный и уничтоженный совѣстью своею, порочностью своею, несчастный и выдохшійся, какъ настоящій трупъ... И такъ тянется жизнь... И все гнется онъ подъ непосильнымъ крестомъ игры своей печальной, и все такъ же далеко Христосъ и близокъ душѣ демонъ темный и алый отъ выпитой крови, весь испепеленный отъ жгучей боли и близкій, и понятный, и родной до муки, до слезъ, до проклятья! И пламенная боль Грѣха терзаетъ и мучитъ какъ пожаръ, какъ вихрь, какъ стихія. И Грѣхъ, какъ божество кошмарное, выпиваетъ всѣ силы и царитъ надъ днями безпощадно и властно...

Что такое грѣхъ? И не мы ли сами творимъ понятіе его изъ себя, для того и творимъ, чтобы чѣмъ нибудь жить, чтобы выдумать для себя же законъ этой жизни и пустить по рельсамъ его нашу мятущуюся, нашу слѣпую, нашу тоскующую душу, и назвать путь добромъ, пусть мчится жизнь по рельсамъ добра, такъ лучше... А грѣхъ? Онъ будетъ всегда какъ опасность на пути... А можетъ быть это—новый путь, кроющійся въ дебряхъ тайны, можетъ быть тамъ сверкаютъ изумруды непознанныхъ чудесъ, можетъ быть этотъ порочный, запрещенный и проклятый путь ведетъ въ страну далекую, гдѣ упоеніе блаженства, гдѣ волшебные цвѣты чаръ, гдѣ ждетъ насъ царица ласкъ, и восторговъ, и мукъ, и безумія?... Кто разгадалъ понятіе грѣха? И кто можетъ устано-

вить критерій между добромъ и зломъ?... И не есть ли понятіе добра и зла относительное, какъ относительны всѣ наши понятія, ибо въ каждомъ мірѣ и въ каждой странѣ своя, особенная мораль?... Мы равнодушны къ добру и равнодушны къ злу, пока кто-то извнѣ насъ, въ кого мы вѣруемъ—не создастъ въ насъ святость этого закона, ибо этика начинается тамъ, гдѣ возникаетъ религія. И кто не вѣруетъ во Христа, тотъ не знаетъ разницы между добромъ и зломъ (хотя нужно признаться, что эта разница смутно понятна также и многимъ вѣрующимъ... И люди развратные, напримѣръ, могутъ быть несравненно религіознѣе нравственныхъ)...

Для героя Свенцицкаго Грѣхъ именно былъ потому и заманчивымъ и потому гораздо плѣнительнѣе добра, что христіанство его осуждало какъ беззаконіе... Для невѣрующихъ грѣхъ можетъ стать богомъ... Для него богомъ былъ также грѣхъ... Нравственное чувство въ немъ совершенно отсутствуетъ. И оттого онъ всецѣло отдается пороку. Съ самаго дѣтства онъ истомляетъ себя сладострастными видѣніями. Унаслѣдованная отъ Достоевскаго Карамазовская развращенность не можетъ позволить ему пропустить хоть одну женщину мимо, которую онъ бы мысленно не раздѣлъ... Въ ученыхъ, философскихъ собраніяхъ онъ жадно смотритъ на женщинъ и ему хочется обладать каждой изъ нихъ, ему хочется упиться всѣми ими сразу, покорить ихъ всѣхъ, не оставить ни одной... Онъ не можетъ безъ бѣшенства видѣть пару новобрачныхъ. Онъ ненавидитъ мужчинъ. Онъ признается „Я ревную всѣхъ женщинъ, и знакомыхъ, и незнакомыхъ. Я хотѣлъ бы, чтобы мнѣ одному принадлежало право грѣшить и наслаждаться женщи-

нами. Я не могу безъ отвращенья видѣть свадьбы. Я не могу примириться съ мыслью, что она, эта невѣдомая мнѣ дѣвушка, которую я никогда не узнаю да и не хочу узнать—будетъ принадлежать какому-то мужчинѣ. Вотъ поэтому-то проповѣдь цѣломудрія, обличеніе сладострастья —мой конекъ. Здѣсь я превосхожу самого себя. Никогда мое краснорѣчіе не производитъ такого потрясающаго впечатлѣнія, какъ въ эти минуты. Съ какимъ восторгомъ и благоговѣніемъ смотрятъ тогда на меня женщины. Но если бы онѣ знали, что дѣлаетъ съ ними этотъ аскетъ, какой неистовой оргіи предается онъ въ своемъ воображеніи придя домой и сидя за своимъ письменнымъ столомъ"...

Такихъ признаній, признаній самыхъ интимнѣйшихъ, самыхъ обнаженныхъ, которыя врядъ ли бы рѣшился обнажать другой даже передъ самимъ собой—въ романѣ множество. И какою-то обезумѣвшею волной льется эта исповѣдь измученнаго, испепеленнаго пороками человѣка, мстящаго отвергнутому Христу за весь ужасъ невѣрія, за весь страхъ и боль смерти, которую хочется потопить ему въ садическихъ ласкахъ, въ продажныхъ поцѣлуяхъ, въ развратномъ обманѣ, въ кровавомъ винѣ своихъ безконечныхъ ночныхъ оргій и радѣній... Свою невѣсту—невинную, чистую, дѣвушку –онъ мучаетъ разсказами о своей порочности, убѣгаетъ отъ нея къ красавицѣ Марѳѣ, крестьянской дѣвкѣ. И все это совершается какъ бы въ бреду какомъ-то, какъ бы въ домѣ, который охватилъ со всѣхъ сторонъ пожаръ—и оттого, что нѣтъ выхода и не будетъ—человѣкъ мечется какъ шальной изъ угла въ уголъ, рветъ волосы, кричитъ, бѣснуется, вопитъ, крикомъ своимъ

безумнымъ словно желая заглушить мысль о неминуемой смерти...

Но смерть придетъ... Она неизбѣжна. Смерть придетъ и въ багровомъ ужасѣ утонетъ сознаніе и никто не знаетъ и не можетъ знать, что будетъ потомъ, и Тотъ, отъ котораго зависитъ вся тайна, въ которомъ скрыты всѣ концы и начала, который знаетъ все—Тотъ отвергнутъ, убитъ грѣхомъ, пороками и проклятьемъ, снова распятъ въ мукѣ необычайной и не можетъ воскреснуть, хотя бы даже съ ума человѣкъ сошелъ—никогда не воскреснетъ...

Что же дѣлать? Какъ быть... Нѣтъ трагедіи въ мірѣ ужаснѣе этой, сама смерть передъ ней—ничто и человѣкъ пережившій ее — хуже трупа. Ему нѣтъ мѣста въ этой жизни, ему нѣтъ отдыха, ему нѣтъ спасенія. Онъ самъ себя замучилъ, самъ себя распялъ, самъ убилъ себя, и если бы даже хотѣлъ воскреснуть, если бы даже захотѣлъ увѣровать—не смогъ бы, не хватило и не нашлось бы силы... Онъ все глубже и глубже скатывается въ пучину порока, вся жизнь его превращается въ какой-то сплошной публичный домъ. Онъ какъ угорѣлый перебѣгаетъ отъ Вѣрочки къ Марѳѣ, отъ Марѳы—въ церковь, изъ церкви къ шансонеткамъ, отъ шансонетокъ—ко Христу... Создается заколдованный пламенный кругъ бреда, а тотъ, кто мечется въ центрѣ—осатанѣлъ, истлѣлъ, потерялъ всѣ силы, утратилъ человѣческій образъ и напрасно молитъ о пощадѣ. напрасно выбивается изъ силъ, чтобы хоть придти въ себя на время:—ничто уже не спасетъ его, онъ въ кромѣшной тьмѣ, изнемогая отъ неутолимой жажды Грѣха—видитъ передъ собой Ликъ страшный, безобразно-мучительный, Ликъ по-

тускнѣвшій въ страданяхъ міра, тотъ самый Ликъ, что изводилъ и Достоевскаго, что направилъ Ивана Карамазова въ сумасшедшій домъ—Ликъ Дьявола, Ликъ Антихриста...

Грозныя, роковыя подпольныя силы встаютъ въ душѣ, встаютъ бунтомъ палящимъ и пьянымъ, темная антихристова сила побѣдно хохочетъ въ подпольной ямѣ, разрываетъ душу хохотомъ своей силы, хохотомъ—прибоемъ проклятья и упоенія проклятьемъ, визгами мелкихъ бѣсовъ, гнусавымъ подъигрываніемъ безобразныхъ лавръ, ревомъ и крикомъ взбѣшенныхъ вѣдьмъ... Идетъ противъ Христа густо сплоченная толпа дьяволовъ, идетъ замученное, выбившесся изъ силъ, рыдающее, придушенное, прибитое проклятье отверженныхъ, одинокихъ, раздавленныхъ, уродливыхъ, и тѣхъ, за боль которыхъ некому было отплатить, и тѣхъ, кто бѣснуясь ждетъ, когда же наконецъ—вспыхнетъ послѣдній пожаръ и сотретъ землю и развѣетъ въ прахъ, и тѣхъ, которые сердце свое бросили подъ ноги свиньямъ и свиньи растерзали и хрюкая дальше пошли, и тѣхъ, которые молились, но ихъ не услышали, и тѣхъ, которые кровью своею купили демонскую свободу свою, и тѣхъ, которыхъ міръ не принялъ за то, что они необычны,—всѣ идутъ страшной стѣной противъ Распятаго и гомерическій смѣхъ стонетъ въ ихъ пѣсняхъ побѣдныхъ, и глаза ихъ изнемогли отъ безсонныхъ ночей ожиданія, и они несутъ конецъ во имя конца, во имя послѣдняго конца, который долженъ всю землю взорвать на воздухъ и прахъ развѣять, и слѣдъ проклясть...

Идетъ Антихристъ, новый пророкъ, долженствующій избавить землю отъ вѣчнаго обмана, идетъ

Сатана, облеченный властью великой, невиданной міру, идетъ Судія новый, непобѣдимый, безпощадный, страшный, звѣрски жестокій, онѣмѣвшій въ скорби, очерствѣвшій въ страданіи, идетъ Черный Ангелъ тоски и унынія, идетъ Звѣрь великій, сокрушитель смерти, побѣдитель всѣхъ боговъ—и гудящій звонъ раздается отъ шаговъ его страшныхъ, и дикая святость объемлетъ душу, „святость отъ Антихриста“, святость непонятная міру. Новая сила идетъ. „Эта сила выстрадана вѣками, создана напряженіемъ милліоновъ людей, какъ нѣкогда былъ созданъ Христосъ. Придетъ Антихристъ и раздавитъ эту кучку непокорныхъ властью смерти. И ужасная драма, всемірная трагедія пустыхъ, ненужныхъ надеждъ, страданій и страха—закончится... И все кончится, и все смолкнетъ, „и солнце померкнетъ и луна не дастъ свѣта своего, и духъ смерти, не имѣя жертвъ, въ вѣчномъ молчаніи будетъ носиться надъ вселенной!“.

Герой романа почувствовалъ эту новую силу, эту новую власть антихриста въ себѣ самомъ. И ему кажется, что именно въ немъ воплотился антихристъ, что именно ему суждено спасти человѣчество отъ обмана, но вмѣстѣ съ тѣмъ онъ также сознаетъ всю свою несчастную пришибленность, всю свою слабость, мелкость и страхъ, панический, нѣмой и холодный страхъ передъ Христомъ, который именно теперь въ минуты сознанія побѣды надъ нимъ Дьвола—какъ то особенно, какъ-то мучательно близокъ душѣ, и скорбными, тихими очами смотритъ ликъ Его въ раскаленную до бѣла ужасомъ душу, и снова, какъ тогда Ивану—онъ говоритъ взглядомъ своимъ безмолвнымъ, но жгучимъ и нѣжно-глубокимъ: „Зачѣмъ ты гонишь меня“... И снова въ душѣ бѣшенство смѣняется без-

силіемъ робкимъ, слезы просятся вихремъ пламеннымъ изъ глазъ, и хочется сейчасъ взойти на голгоѳу, всему міру покаяться, весь міръ спасти жертвой безумной, слѣпой, ужасной, лишь бы только не видѣть этого распятаго Лика, не слышать безумно громовой тишины этихъ словъ укоряющихъ: „зачѣмъ ты гонишь меня?“...

Какъ безумный онъ бѣжитъ снова въ церковь и снова молится, и старается дьявольскія чары отогнать отъ себя молитвой, и снова мука изливается въ воплѣ придушенномъ потокомъ горячей лавы, и снова бездонность въ душѣ, легкая тѣнь надежды...

„—Господи, я знаю, что не вѣрю, не могу повѣрить, Ты знаешь какой я, Спаси меня, спаси меня. Ты все можешь простить. Не могу быть другимъ... Ты одинъ у меня, куда я пойду?

Но нѣтъ уже прежней чистоты. Кто-то растопталъ ее, унавозилъ въ душѣ ее, притопталъ глубоко, не добраться до нея. И снова вопль отчаянья, снова бѣшенство сладострастья, снова публичный домъ. Кажется, что этотъ человѣкъ роетъ ужасныя бездны въ порокѣ, чтобы дойти до послѣдней черты, чтобы почувствовать наконецъ дно и успокоиться, что конецъ найденъ. И снова робкая мысль обнадеживаетъ его въ его кошмарномъ дѣлѣ: можетъ быть зло можно преодолѣть лишь пройдя сквозь него, упившись имъ до послѣдняго пресыщенья? Можетъ быть ко Христу можно приблизиться лишь послѣ того, какъ пройдешь сквозь антихриста? Можетъ быть порокомъ нужно лечить порокъ и зломъ приходить къ добру? Можетъ быть-нужно запутаться въ этомъ заколдованномъ кругѣ до истеченія послѣдней капли

крови и уже—умирающимъ, уже извращеннымъ въ послѣдней агоніи своей—подползти ко кресту Господню и обрѣсти спасеніе свое?...

„И снова молитва. Такая лихорадочная, такая безумная, такая послѣдняя... И кажется, каждое слово ея истекаетъ кровью: „—Господи, разучился я молиться, но Ты научи меня, научи, Господи! Хочу я воскреснуть душой... Господи, видишь, что хочу, хочу чистымъ быть, хочу, какъ мальчикъ быть... что бы стыдно стало... женщинъ не знать... Тебѣ, Господи, служить хочу... Дай мнѣ вѣру, дай мнѣ силы, спаси меня! Призови меня къ покаянію, научи Добру... Я усталъ, Господи, я чувствую, что разлагается душа моя... Ты одинъ только можешь спасти меня, знаю, что только Одинъ Ты!“...

Но тутъ снова подкрался сзади Дьяволъ и бѣшенымъ хохотомъ окатилъ молящагося какъ холодной струей... И разомъ пропала вся молитва, весь покаянный восторгъ... Дьяволъ побѣдилъ и... герой снова поѣхалъ въ публичный домъ...

Романъ кончается побѣдой антихриста. Но не вѣрю я, что это—конецъ... Все почему то кажется—еще не все испытано, еще не все перегорѣло, еще не все искуплено страданьемъ, что бы быть концу... И много еще придется перенести нашему несчастному герою, много перемучиться, много силъ употребить на то, чтобы дойти до конца, до *настоящаго* конца пути своего, а потомъ снова вернуться къ попранной, но вѣчно зовущей силѣ—Христу...

И именно потому, что здѣсь я чувствую нѣчто большее, чѣмъ обычный романъ съ началомъ и развязкой, именно потому, что я почувствовалъ въ

немъ трагедію нашихъ дней, крикъ огненной боли, крикъ безумія въ кромѣшной тьмѣ—именно потому мнѣ и хочется вѣрить, что это не конецъ, что конецъ еще будетъ, еще наступитъ и будетъ другой, совсѣмъ другой...

XIV.

И явилось на небѣ великое знаменіе:—жена, облеченная въ Солнце; подъ ногами ея луна, и на главѣ ея вѣнецъ изъ двѣнадцати звѣздъ.

Апокалипсисъ, гл. 12, 1.

Мнѣ страшно съ Тобой встрѣчаться,
Страшнѣе Тебя не встрѣчать.
Я сталъ всему удивляться,
На всемъ уловилъ печать.

По улицѣ ходятъ тѣни,
Не пойму—живутъ, или спятъ,
Прильнувъ къ церковной ступени,
Боюсь оглянуться назадъ.

Кладутъ мнѣ на плечи руки,
Но я не помню именъ.
Въ ушахъ раздаются звуки
Недавнихъ большихъ похоронъ.

А хмурое небо низко—
Покрыло и самый храмъ.
Я знаю! Ты здѣсь. Ты близко.
Тебя здѣсь нѣтъ. Ты—тамъ.

Александръ Блокъ.

Мистика и Соловьевъ понимали женственность какъ міровую душу, какъ вѣчность, какъ откровеніе апокалипсической Жены облеченной въ Солнце... Чувствовалъ женственность и Достоевскій, но она у него облечена въ ризу страданья и символы ея—утонченная пытка, и чары ея—изводящая боль... Она пресы-

тила творчество его гашишными своими чарами—и душно ему отъ нихъ, и больно, и безумно, и вотъ лица его женщинъ пламенѣютъ лихорадочнымъ огнемъ великой боли. И женщина—призракъ. И женщина боль... Мечта истерзанная и отравленная, отъ которой страшно!...

Мышкину вѣдомы были чары этой Вѣчной Жены, неизвѣстной, томительной и страшной, черты, которыя грезились ему въ безуміи—*тамъ*, гдѣ хаосъ былъ и мракъ и затменіе, гдѣ не было человѣческихъ лицъ, гдѣ странные звуки давили мозгъ, выжимая пламенные круги, гдѣ не чуствовалось ни временъ, ни пространствъ... Тогда *уэисе* понялъ, тогда *уэисе* зналъ!... И простиралъ руки въ неизвѣстную даль, гдѣ струилась царица въ плащѣ рубиновомъ страшной зари, въ красномъ вѣнцѣ изъ розъ... И рыдалъ... И молился... И невнятные звуки лепетали уста... И въ безумномъ бреду золотилась Она какъ конецъ и начало, огненнымъ ликомъ своимъ вселяя въ душу нѣжную боль...

Тамъ. въ Швейцаріи, восходы солнца казались ему праздникомъ пурпура, расцвѣтомъ пышныхъ розъ, вздохами безумнаго чуда „Передъ нимъ было блестящее небо, внизу озеро, кругомъ горизонтъ свѣтлый и безконечный, которому конца края нѣтъ. Онъ долго смотрѣлъ и терзался... простиралъ руки свои въ эту свѣтлую, безконечную синеву и плакалъ“... Хотѣлось взлетѣть. И была близко Она... И не было муки, потому что Она была въ немъ...

Въ „нормальномъ“ мірѣ все измѣнилось. Здѣсь безуміе—порокъ и болѣзнь. И лица женщинъ мучительно похожи на Нее, но кажутся масками. И нельзя молиться...

Но вотъ сверкнетъ Она въ этой блѣдной, измученной, истерзанной маскѣ, сверкнетъ и погаснетъ, больно отразившись въ улыбкѣ кривой и жестокой, въ изгибѣ шеи, въ красотѣ мутной и страшной,— и снова онъ молится, весь дрожитъ, весь исходитъ судорогами, смѣхомъ больнымъ, истерическимъ, пляской безумной своей, шепотомъ дѣтскимъ, безсиліемъ... И кричитъ, простирая къ ней руки, словно къ той погибшей на вѣкъ синевѣ, кричитъ, надрываясь, влюбленный свой гимнъ, и, неловко путаясь въ одеждахъ, протискиваясь сквозь бредъ толпы—черной и сгущенной—мчится на тройкѣ, чтобы гнаться за нею, гнаться во весь духъ, ловить свирѣпыя вспышки мучительныхъ глазъ, слѣдить змѣиные прыжки улыбокъ, замирая, задыхаясь въ вихрѣ ѣзды—видѣть, какъ зловѣще сверкаютъ перья на шляпѣ, слышать, какъ шуршатъ чары ея упругихъ шелковъ!...

Вся разряженная, пышная, горделивая, какъ замученная пантера—кружится въ общемъ бреду, сама кружится и другихъ кружитъ, рапами своими чаруетъ; словно сама воплощенная Боль опьяняетъ надрывомъ своимъ и хохочетъ, терзая!.,. А онъ замеръ, молитвенно руки сложилъ и смотритъ... И кажется ему, что нѣтъ людей, нѣтъ ужаса, нѣтъ голосовъ, что Синяя изъ дней безумія—сквозитъ въ этой женщинѣ, какъ сквозила *тамъ*, когда солнце рождалось, въ лучахъ его нѣжныхъ....

— И въ ту самую минуту какъ я вамъ дверь отворилъ, я о васъ тоже думалъ, а тутъ вдругъ и вы.

— А какъ же вы меня узнали, что это я?

— По портрету и...

— И еще?

— И еще потому, что такою васъ именно и воображалъ... Я васъ тоже будто видѣлъ гдѣ-то...

— Гдѣ? Гдѣ?

— Я ваши глаза точно гдѣ-то видѣлъ... да этого быть не можетъ! Это я такъ... Я здѣсь никогда и не былъ... Можетъ быть, во снѣ...

Мучительная была встрѣча... Но не властенъ онъ передъ нею... Иныя дали видятся ему въ лицѣ ея и иныя велѣнія... И какая-то стихійная власть повергаетъ къ ногамъ Царицы безумную душу... И вотъ—золотыя нити между нимъ и ею... И сладостное рабство... И молитва... И крикъ ужаса, и страха передъ блѣдной маской, блѣдной *„убитой“* маской, съ кривою улыбкой и бѣшенымъ взмахомъ свирѣпо-нѣжныхъ глазъ...

И какъ устала она! Словно весь міръ усталъ... И какъ прекрасна она! словно красота стала безуміемъ... И лицо ея иногда неживое—и тогда холодная пустота дышитъ снѣгами, снѣгами безбрежныхъ ночей въ лицо!...

Вотъ она какъ икона, какъ распятая душа, въ крови, какъ измученный богъ, умирающій и пьяный усталостью... Тогда она влюблена въ Аглаю и пишетъ ей странныя записки о любви своей, о Христѣ съ дѣтьми, о смерти, о томъ, какъ она устала въ въ страданьи...

Но вотъ—перевернулась душа—и новая маска свиститъ въ тишинѣ, безумно змѣясь... Тамъ, гдѣ бредъ городской, гдѣ развратъ, гдѣ золото, гдѣ бриллianты рѣжутъ зеркала скрипомъ зловѣщей муки, гдѣ синія кольца у глазъ, гдѣ тоска пресыщенья сверкнетъ бѣлизна ея маски, и полыхнетъ пышными перьями шляпа, и просвистятъ нѣжно-истерзаннымъ сто-

номъ шелка,—пощечины, звонъ разбиваемыхъ стеколъ, стакановъ, хохотъ, выстрѣлы, хмель, поцѣлуи...

И всюду за нею Мышкинъ, какъ помѣшанный, какъ безсильный рабъ, какъ вѣчно влюбленный въ Невѣсту незримую—измученный рыцарь-женихъ... А она то ускользаетъ то приблизится мучительно близко, то на колѣняхъ предъ нимъ, то какъ шальная несется къ Рогожину, кричитъ ему, уже въ подвѣнечномъ платьѣ, съ церковной паперти: „увези, возьми меня отсюда, поскорѣе!“—и снова пустота обмана, и холодъ, и тоска...

Но не можетъ уйти, не въ силахъ вырвать ее — мечту свою больную, призракъ безумный—изъ души, но знаетъ, что въ ней—вся святость жизни, все страданье, весь ужасъ, вся вѣчность, но знаетъ, что страшная сила идетъ отъ нея какъ пьяный чадъ и колышетъ, и уноситъ, и кружитъ, и губитъ... Онъ самъ боится ея, она страшна. Она выше жизни и страшна. И нельзя бороться. И нельзя побѣдить. „Ему всегда казалось, что эта женщина явится именно въ самый послѣдній часъ и разорветъ всю судьбу его какъ гнилую нитку. Что ему всегда казалось это, онъ готовъ былъ поклясться въ этомъ, хотя былъ почти въ полу бреду. Если онъ старался забыть *о ней* въ послѣднее время, то единственно потому „что боялся ея“...

Но не она для Мышкина—главная, она—лишь отраженіе Той—Вѣчной—Единственной, что горѣла въ безумныхъ снахъ, что терзали душу молитвой внѣ жизненной... Та ближе... Ее видятъ и о ней молятся всѣ поэты, всѣ больные и безумные, всѣ влюбленные въ Чудо!... Она сквозитъ въ лазури и смѣется въ золотѣ вешнихъ лучей, она рыдаетъ въ пе-

чали и тантся на днѣ глубинъ, она Золотой Женою манитъ—міръ къ обновленію, къ преображенію, къ мечтѣ, она струится въ напѣвахъ молитвъ, дышитъ въ поцѣлуяхъ, и любовь—познаніе ея... И любовь... И смерть.

Мышкинъ одинъ только разъ видѣлъ ее во снѣ. Ожидая на скамьѣ Аглаю, послѣ ужасной ночи, весь истомленный—увидѣлъ онъ Ее... И словно страдальческая Жена всего творчества Достоевекаго—прошла она мимо него... Прошла... Поманила... Скрылась...

„Наконецъ, пришла къ нему женщина... Онъ зналъ ее, зналъ до страданья, онъ всегда могъ назвать ее и указать, —но странно,—у ней было теперь какъ будто совсѣмъ не такое лицо, какое онъ всегда зналъ, и ему мучительно не хотѣлось признать ее за ту женщину. *Въ этомъ лицѣ было столько раскаянія и ужаса, что казалось—это была страшная преступница и только что сдѣлала ужасное преступленье*".

Но онъ проснулся и увидѣлъ предъ собою смѣющуюся и розовую маску—Аглаю. Той уже не было... Вмѣсто нея была пустота...

Она является всего на всего можетъ быть, одинъ только разъ... Но чары ея безумны... Но слѣдъ Ея въ душѣ горитъ сладостной раной... И ищешь ее всюду, пока, выбившись изъ силъ—обрѣтешь пустоту. И она *надъ* жизнью, и вся боль происходить отъ того, что кажется, что она—здѣсь... Призракомъ струится въ молитвахъ, въ снахъ и въ бреду Она съ нами, но на яву вмѣсто нея—пустота... И мы освящаемъ пустоту любовью... И мы молимся... Мы ждемъ... Но все напрасно... Съ нами—лишь сонъ о

ней—сонъ печальный и блѣдный, обманчиво-лживый, свирѣльно-напѣвный... Съ нами—мечта...

Рыцарямъ бѣднымъ является Она какъ видѣніе непостижное уму, и вотъ вся жизнь свивается пламеннымъ свиткомъ горѣнія, и пепелъ—у Ея ногъ... Она обманчива и ликъ ея страшенъ... И невыносимъ Ея взглядъ... Она—красота нашей жизни, наша ложь и наше безуміе, Ликъ неизрѣченно-чудный, мечта, Прекрасная Дама...

Въ Россіи поетъ о ней Александръ Блокъ—печальный рыцарь ея свирѣлей вьюжныхъ, ея тихихъ обмановъ, ея безумныхъ чаръ... Улыбается, распятый, въ терніяхъ ея сладостныхъ мукъ... Видитъ Ликъ ея, отраженный на голубыхъ поляхъ тоски своей напѣвной... Грезитъ о ней въ пьяномъ бреду городовъ, въ чаду ресторановъ, среди разрумяненныхъ масокъ продажныхъ людей... И ему вѣдома ея тайна больная, тайна міровой игры, тайна всей этой жизни,—и вотъ лазурный вопль скрипокъ среди широкаго раздолья степей. Это сама тоска, это сама влюбленность, это напѣвность—старая какъ міръ и вѣчно молодая...

И Блокъ, какъ Мышкинъ въ Швейцарскихъ горахъ—среди тишины своего безумія—почувствовалъ дыханіе. Ея—истомленный вздохъ чайныхъ розъ—и его озарила мечта о Ней, и пламенемъ блѣднымъ, служеніемъ алтарнымъ, мольбою влюбленности стала душа...

Безумцы Ей служили и служатъ, печальные рыцари чтутъ Ея тонкое имя, и тайна о Ней—ихъ святыня.. Въ голубой часъ весны зацвѣтаетъ Она въ бѣломъ цвѣтѣ деревьевъ, и міръ кажется раемъ, и душа пьетъ вино небесное и рыдаетъ въ восторгѣ: это Она—съ нами... Въ очертаніяхъ тонкаго стана

любимой дѣвушки, въ серебристыхъ напѣвахъ ея бѣлаго платья, въ улыбкѣ—вы почувствуете вдругъ Ея ароматную тѣнь, и станетъ жутко,—и вы поймете необъяснимое, вы увидите въ любимомъ лицѣ *что-то особенное* (словно божество заструилось въ немъ)... Среди таинствъ любви, на днѣ поцѣлуевъ, въ истомѣ ласкъ, Она снова съ нами—и кажется, что времени больше не будетъ, что міра нѣтъ, что вѣчность любовь... И кажется: не женщину цѣлуемъ мы а *Ее*—единственную, незримую, святую, и трепетъ объемлетъ душу, и хочется молиться, хочется въ смерти уничтожить себя, только бы длилось *это* мгновенье, хочется сердце свое исторгнуть въ божественной жертвѣ, только бы не уходила *Она* отъ насъ, только бы видѣть лицо Ея чудесное сквозь бредъ любви, лицо страшное и святое, какъ ликъ архангела, въ золотой оправѣ купины волосъ, въ багряницѣ одеждъ чудесныхъ, лицо Царицы!... Но когда женщина земная овладѣваетъ нашей жизнью всецѣло, и близится пресыщенье. и гніетъ душа въ тоскѣ привычныхъ ласкъ,—*Она* уходитъ, Ея уже нѣтъ съ нами. И пусто... И смерть... Но вотъ—снова загорается душа (отъ случайнаго взгляда, отъ миражей ночныхъ, отъ безсилья) и чувствуешь—снова дыханіе Ея (истома чайныхъ розъ) на щекѣ, и хочешь взлетѣть... И когда уйдетъ земная и обладаемая, та, что говоритъ слова и подвластна жизни, та, отъ которой мы тщетно требуемъ, чтобы она не была собой, та, которую создаемъ мы въ трагическихъ усиліяхъ мечты,—тогда снова ближе *Ея* присутствіе, и знаемъ—съ нами *Она*!... Съ нами Она въ часъ ожиданія чуда, на кострахъ инквизиторскихъ мукъ, на зарѣ нашей несчастной и блѣдной любви... И когда ищемъ безумія, послѣдня-

го безумія всей жизни подъ игомъ привычныхъ страстей, и когда лицо любимой кажется иконой, и когда незримые хоры поютъ литургію блаженства въ вопляхъ тишины нашей усталой, тишины экстаза—съ нами Она... Съ нами Она въ разрывахъ жизни, когда изъ ранъ любви струится жертвенная кровь, съ нами Она на кострахъ пытокъ, у ногъ кумира, и въ пьяномъ чаду, и въ молитвахъ кошмарной тоски, и въ тѣ рѣдкія минуты, когда ясно чувствуешь, что вотъ—погаснетъ міръ и среди тьмы откроются тайныя двери, и хлынетъ безумный пожаръ!.. Всѣ мы—послѣдніе рыцари съ опаленными крыльями, въ чьихъ взорахъ тоска, въ чьихъ лицахъ смерть—служимъ Ей молебны... И кажется—наступитъ часъ—и грянетъ трубный зовъ, и мертвецы возстанутъ, и заря взойдетъ: и вотъ въ багряницѣ дымящейся зари—Ликъ Ея—Жены облеченной въ солнце—какъ нѣжный образъ розы на серебристомъ снѣжномъ фонѣ,—и поетъ, поетъ восторгъ чудо свое, пѣснію свою (лазурный вопль скрипокъ среди раздолья полей тоски), и исполнятся всѣ времена и сроки, и новая жизнь алма́зной пречистой любовью воцарится средь насъ!..

Забытый культъ воскрешаетъ влюбленный въ чудо свое—поэтъ,—рыцарь грустный съ опаленными крыльями... Онъ перенесъ служеніе Ей изъ средневѣковыхъ городовъ Запада (гдѣ Ея уже нѣтъ) въ холодное царство метелей снѣжныхъ, полей безбрежныхъ, тоски священной,—и сюда пришла Она слушать его пѣсни, и жутко Ей здѣсь, и въ снѣжной маскѣ застыло лазурное лицо, и какъ прежде слушала молитвы Данте, Петрарки, менестрелей, трубадуровъ, рыцарей—такъ внемлетъ нынѣ голубымъ напѣвамъ сѣвернаго поэта,—и пламенѣетъ ликъ, и

искрятся рубинами и алмазами одежды Ея сквозныя, и царственный холодъ величія цвѣтетъ въ тишинѣ лилейною нѣжностью...

Вхожу я въ темные храмы,
Совершаю бѣдный обрядъ.
Тамъ жду я прекрасной Дамы
Въ мерцаньи красныхъ лампадъ.
Въ тѣни у высокой колонны
Дрожу отъ скрипа дверей,
А въ лицо мнѣ глядитъ, озаренный,
Только образъ, лишь сонъ о Ней...
О, я привыкъ къ этимъ ризамъ
Величавой, Вѣчной жены!
Высоко бѣгутъ по карнизамъ
Улыбки, сказки и сны.
О, святая, какъ ласковы свѣчи,
Какъ страстны Твои черты!
Мнѣ не слышны ни вздохи, ни рѣчи,
Но я вѣрю: Милая—ты.

И когда поймешь, почувствуешь Ее—узнаешь чудо свое, единственное, лазурное, чудо всей жизни... И еще когда не видно лица и весь—въ трепетѣ, предчувствіи,—уже Она съ тобой, уже льется въ душу напитокъ дивный, золотой, искристый... Еще туманны поля твои печальныя и душны весеннія ночи, но снится сонъ бѣлоснѣжный, но грезится образъ чудный—Царевна—лебедь, мечта... И она въ широко раскрытыхъ изумленныхъ глазахъ твоихъ поетъ свою пѣсню, пѣсню—восторгъ, пѣсню—молитву, пѣсню—лазурный вопль скрипокъ среди раздолья полей,—и дышитъ въ тебѣ пожаромъ цвѣтущихъ розъ, и баюкаетъ душу твою на крыльяхъ своихъ лебединно-атласистыхъ... Баюкаетъ, уноситъ... И мало звѣздной ночи, мало простора степей, мало красоты

всего міра, мало любви, хочется перерости эту землю томленіемъ своимъ призывнымъ, молитвой своей, восторгомъ своимъ, хочется богомъ стать только ради того, чтобы почуствовать нѣжность одеждъ Ея въ поцѣлуяхъ молитвенныхъ, только затѣмъ чтобы замереть у трона Ея въ экстазѣ жертвенномъ, чтобы увидѣть сладко-блаженный ужасъ Лица Ея!... У дверей тайны восторгъ твой нѣжный, красота твоя неземная!...

Предчувствую Тебя. Года проходятъ мимо—
Все въ обликѣ одномъ предчувствую Тебя.
Весь горизонтъ въ огнѣ—и ясенъ нестерпимо,
И молча жду, тоскуя и любя.

Но страшно увидѣть Ее... Она многообразна и измѣнчива какъ священная ложь... Она—вездѣ и—нигдѣ... Она—все—и—ничто... Она загорается вотъ здѣсь и ловишь пламень ея и чувствуешь, обжигая руки, что нѣтъ уже Ея здѣсь, что она—тамъ... Мечешься въ заколдованномъ кругу всю свою жизнь, пока не устанешь въ конецъ и не погаснутъ очи... И даже въ смерти не найдешь Ея...

Гдѣ же Она? Отчего не приходитъ...? Она—бездонность, въ которой нѣтъ конца. Она—безконечность, которая не станетъ конечной, если бы даже въ жертву былъ принесенъ весь міръ, Она безбрежность, въ которой гибнутъ всѣ корабли... Она – святыня, которую чтутъ за то, что никто не видѣлъ Ея очей (а тѣ, что видѣли—говорятъ, что они—пусты, и міръ ихъ зоветъ безумцами)... Она—адская мука, рождающая жизнь и безъ которой невозможна жизнь... Вотъ засмѣется здѣсь, погаснетъ и расцвѣтетъ—тамъ... Въ вихрѣ смѣнъ своихъ неуловима Она и жестока... Именно за это мы ее и любимъ...

Весь горизонтъ въ огнѣ, и близко появленье,
Но страшно мнѣ: измѣнишь обликъ Ты,
И дерзкое возбудишь подозрѣнье,
Смѣнивъ въ концѣ привычныя черты.
О, какъ паду—и горестно, и низко,
Не одолѣвъ смертельныя мечты!
Какъ ясенъ горизонтъ! И лучезарность близко.
Но страшно мнѣ: измѣнишь обликъ Ты!

И жадно ловитъ тѣни Ея поэтъ. И то заключаетъ ее въ теремъ высокій, въ башню свою, то видитъ Ее сквозь камышъ рѣчной, то струится она въ золотую осень синеватою дымкой печали, или бѣлымъ пламенемъ горитъ въ снѣжной маскѣ... Въ часъ безрадостнаго пьянства, среди крика и усталости ночи, когда пѣнится вино въ бутылкахъ и хочется продать свою душу—вдругъ просвистятъ шелка ея въ ресторанѣ и зеленый змѣиный взглядъ заструится изъ подъ шляпы съ перьями... Пройдетъ, окатитъ холодомъ, заворожитъ, обезсилитъ... И замретъ душа... И станетъ страшно.

Какъ трудно, какъ тяжело, какъ мучительно воплощать Ее въ маску женщины!... И знаешь, что воплотишь не надолго, что уйдетъ, уйдетъ Она, ускользнетъ изъ подъ маски и снова ощутишь пустоту и страхъ... Но пусть будетъ чудо хоть на минуту, чтобы забыться, чтобы исчезнуть въ немъ, чтобы почуствовать *приближеніе*...

Но вотъ нежданно приходитъ она—уже *живая*—и блѣднѣешь, и страшно, бѣжалъ бы, да нѣту силы, прикованъ, къ ней...

И дрожитъ, замирая, и лепечетъ свой тихій бредъ, и проносится сонъ забытый сквозь душу волною слезъ, и открываются какія-то вѣчныя дали...

— „Я васъ уже когда-то видѣлъ"...

— Гдѣ же?

— „Незнаю, можетъ быть во снѣ"...

Гдѣ это снилось? Если-бъ знать. Кажется—если бы открылась эта тайна—стало бы легче...

Но она никогда не откроется... Только знаешь, только чувствуешь, что божество явилось, что оно—въ тебѣ, что небо съ тобой и блаженство, и молитва, и упоеніе—и смѣешься, надрываясь и ликуя, а электрическіе токи пронзаютъ все тѣло и нельзя, больше жить, знаешь, что еще минута—и лопнетъ сердце, и померкнетъ умъ... И радостно... И душа какъ пѣсня... И душа какъ священная рѣка, плывущая въ вѣчность...

Словно блѣдныя въ прошломъ мечты,
Мнѣ лица сохранились черты
И отрывки невѣдомыхъ словъ,
Словно отклики прежнихъ міровъ,
Гдѣ жила ты и, блѣдная—шла,
Подъ рѣсницами сумракъ тая,
За тобою живая ладья,
Словно бѣлая лебедь плыла,
За ладьей—огневыя струи—
Безпокойныя пѣсни мои...
Имъ внимала задумчиво ты,
И лица сохранились черты,
И запомнилась блѣдная высь,
Гдѣ послѣдніе сны пронеслись...

Но Она идетъ навстрѣчу, Она—живая... Царственныя одежды сладко струятся за ней... И вокругъ какъ въ сказкѣ... Безуміе съ нами... И въ безуміи—боль безысходная... И въ боли, какъ въ бездонномъ колодцѣ—отражается ликъ Ея—солнце, заря... И замерла душа, и не слышно звуковъ, въ пропасть

мчится душа сквозь хаосъ видѣній, образовъ, какихъ-то сумасшедшихъ тѣней, какого-то лихорадочно больного танца масокъ...

И видишь радугу—пожаръ, идущую прямо въ твою душу, и раскаленные лучи ея какъ персты серафима обжигаютъ лицо, и хочется разсыпаться въ прахъ у ногъ идущей, хочется, чтобъ растоптала она шагомъ своимъ роковымъ всю жизнь и блѣднѣетъ весъ міръ въ сіяніи ея лазурномъ, и знаешь, вотъ скоро—остановится время и душа станетъ міромъ, одна душа, и знаешь, что

Будутъ страшны, будутъ несказанны
Неземныя маски лицъ...
Буду я взывать къ Тебѣ: Осанна!
Сумасшедшій, распростертый ницъ.

И тогда, поднявшись выше тлѣна,
Ты откроешь Лучезарный Ликъ.
И свободный отъ земного плѣна,
Я пролью всю жизнь въ послѣдній крикъ.

Но это—только минута. А за минутой стоитъ жизнь... Жизнь требуетъ исполненія ея велѣній, жизнь есть гибель чуда... Завороженный безумными чертами покорно идетъ въ жизнь поэтъ, но не можетъ жить, не можетъ выполнять невыносимую обязанность, въ душѣ цвѣтетъ она... Она бродитъ въ крови ароматомъ розъ своихъ чудесныхъ и въ душѣ—сизый туманъ тоски... А до второй встрѣчи—цѣлая вѣчность... Знаетъ печальный рыцарь—никогда не повторится она, ибо всей жизни мало для того, чтобы искупить безуміе первой встрѣчи... А отъ нея—только туманится, ароматная тѣнь...

Ушла и не вернется. И усталъ вѣрить, что придетъ еще... Ушла и оставила ароматъ свой дивный,

ароматъ весны, и рыданья душатъ, что весна одинъ только разъ съ нами, что холодъ зимы и осенніе боли—съ нами всегда, до могилы!...

Развернулась и манитъ жизнь—суровая. неизвѣстная, безобразная, сѣрая, тоскливая... Тамъ, гдѣ цвѣли бѣлымъ цвѣтомъ деревья, гдѣ чаровала сирень, гдѣ была лазурность полей облеченныхъ въ радость—стоятъ каменные города и душатъ смрадомъ, пылью, ревомъ толпы, грохотомъ и стукомъ колесъ... И клубится въ адской колбѣ привычный бредъ... И нужно войти въ этотъ бредъ, все позабыть, о чемъ грезилось, что снилось, и неизмятую, цвѣтущую грудь отдать на растерзаніе Звѣрю...

И вошелъ покорно рыцарь подъ свинцовыя знамена Великаго Звѣря, покорился желѣзной судьбѣ рыцарь печальный и блѣдный... Въ сердцѣ питалъ надежду—вздохъ увядающихъ розъ: —вотъ придетъ часъ и явится Святая и сокрушитъ силой своею власть Звѣря и возсядетъ на тронѣ новой жизни... Придетъ... Побѣдитъ... Вотъ ужъ маячатъ за далью тумановъ корабли спасенія...

„Вѣрю въ солнце Завѣта, вижу очи Твои“—влюбленно шепчетъ рыцарь, исполняя мучительный долгъ... Но желѣзный драконъ терзаетъ душу такъ безпощадно, но кошмаръ безрадостныхъ дней выше силы, но кровавая пыль дымится надъ городами, погруженными въ пожаръ страданья... Съ каждою битвою все меньше силы, все сильнѣе тоска, все безпощаднѣе усталость. Съ каждымъ прожитымъ днемъ все больше муки въ лазурныхъ глазахъ, и серебрится волосъ, и дрожитъ на глазахъ усталая, горькая слеза... Но осенняя грусть надежды съ нимъ...

Со мной всю жизнь—одинъ завѣтъ:
Завѣтъ служенья Непостижной!

И съ нимъ—молитва... И ему кажется, „что ~~счастье~~ будетъ, что въ тихой заводи всѣ корабли“... И ему вѣрится, что придетъ Она—придетъ непремѣнно, придетъ и развѣетъ тяжелые сны, и снова безуміе и радость освѣжатъ зачумленную душу.

И въ экстазѣ богослуженія все звучитъ Ея тонкое имя—блѣдная тѣнь надежды, блѣдное золото печальной земли, чарующее имя: Мэри...

О жизни, догорѣвшей въ хорѣ
На темномъ клиросѣ Твоемъ.
О Дѣвѣ съ тайной въ свѣтломъ взорѣ
Надъ осіяннымъ алтаремъ,

О томныхъ дѣвушкахъ у двери,
Гдѣ вѣчный сумракъ и хвала,
О дальной Мэри, свѣтлой Мэри,
Въ чьихъ взорахъ—свѣтъ, въ чьихъ косахъ—мгла.

Ты дремлешь, Боже, на иконѣ,
Въ дыму кадильницъ голубыхъ,
Я предъ тобою, на амвонѣ,
Я—сумракъ улицъ городскихъ,

И мы надъ сводомъ вѣмъ, вѣмъ,
Мы стелемся надъ алтаремъ,
Мы надъ народомъ чары дѣемъ,
И Мэри свѣтлую поемъ.

И дѣвушки у темной двери,
На всѣхъ ступеняхъ алтаря—
Какъ засвѣтлѣвшая отъ Мэри
Передзакатная заря.

И чей-то душный тонкій волосъ
Скользитъ и вѣетъ вкругъ лица,

И на амвонѣ женскій голосъ
Поетъ о Мэри безъ конца.

О розахъ надъ ея иконой,
Гдѣ вѣчный сумракъ и хвала,
О Дѣвѣ дальней, благосклонной,
Въ чьихъ взорахъ—свѣтъ, въ чьихъ косахъ—мгла...

Наполнится ароматомъ Мэри вся жизнь. И чаша терпкаго вина, чаша жизни—не станетъ страшна... Во имя Ея поэтъ творитъ чудеса въ своемъ сердцѣ, и заглушая боль въ душѣ „молитвой—напѣвомъ—вѣренъ Великой и Свѣтлой"... Еще не умерли въ душѣ Царицыны лазурныя очи и слышенъ въ тишину больную жуткій аккордъ шаговъ... Еще въ ослѣпительно пышныхъ ризахъ ея врачуется сердце и цвѣтетъ ночная фіалка—восторгъ...

Но жизнь сильнѣе мечты... Вотъ она скосила самыхъ отважныхъ и самые лучшіе рыцари измѣнили Ей, перейдя на служеніе другой царицѣ—безобразной, постарѣвшей, но вѣрной—Смерти... И липнетъ къ лицу жуткій бредъ. И хочется виномъ залить душу. И вмѣсто Мэри—часто продажное разрумяненное лицо покоится на ложѣ, и близокъ сердцу обманъ, и въ ресторанномъ кошмарѣ заливается тоска огненнымъ потокомъ разгула... И не хочется вѣрить, что придутъ корабли... И часто ихъ вовсе не надо...

Сѣрые люди что-то строятъ, суетятся, кричатъ, на что-то надѣются, чему то служатъ. Но все непужно. Все отойдетъ и сгніетъ... И всего дороже и всего больнѣе и всего страшнѣе—пьяная, безбрежная, ужасная тоска... Она давитъ горло, она извивается въ риѳмахъ, она отравляетъ блаженство покоя.... И всегда передъ нимъ ея лицо хищное, синее и больное все закутанное безобразными тѣлами змѣй—

лицо медузы... Вотъ залѣзаетъ, впивается въ душу, свиститъ въ крови протяжнымъ рыданьемъ, замираетъ гнетущею болью въ сердце—искрами нездороваго веселья сыплется изъ глазъ, бросаетъ на измятыя груди продажныхъ женщинъ...

Что дѣлать! Вѣдь каждый старался.
Свой собственный домъ отравить,
Всѣ стѣны пропитаны ядомъ,
И негдѣ главы приклонить;

Что дѣлать! Извѣрившись въ счастьѣ,
Отъ смѣху мы сходимъ съ ума,
И, пьяные, съ улицы смотримъ,
Какъ рушатся наши дома!

И напрасна молитва... И даже въ бѣломъ маѣ, когда близокъ возвратъ—все тяжелѣе жизнь, все ближе смерть, все безобразнѣе душа. И снова несутъ бѣлыя крылья, и снова мольба о спасеніи.

Май жестокій съ бѣлыми ночами!
Вѣчный стукъ въ ворота: выходи!
Голубая дымка за плечами,
Неизвѣстность, гибель впереди!
Женщины съ безумными очами,
Съ вѣчно смятой розой на груди!—
Пробудись! Пронзи меня мечами,
Отъ страстей моихъ освободи!

Но хоть и велика усталость, хоть и жалокъ и бѣденъ шутовской нарядъ Арлекина на бредовомъ, лживомъ и пьяномъ пиру, хоть и слышно восковое тлѣніе Царицына тѣла, разлагающагося въ мірѣ страшномъ, гниломъ и туманномъ, хоть и часто незнакомка принимаетъ глупое лицо Коломбины или дѣвушки—кокетливой и лживой,—все же мечта жи-

ветъ, дышетъ ароматомъ увядающихъ розъ въ душѣ и вѣрится, что придетъ нечаянная радость, что будутъ корабли, что болотный міръ зацвѣтетъ тихострунной, прозрачной весной...

И тѣ же явственные звуки
Меня зовутъ изъ камыша.
И тѣ же матовыя руки.
Приводитъ вѣщая душа.

Придетъ ли въ величіи—не знаетъ. Но знаетъ, но чуетъ, но слышитъ дыханіе Ея вокругъ, отраженія Ея на лицахъ, шепоты и зовы Ея въ тишинѣ ночной... Но видитъ матовый абрисъ Невѣдомой въ вопляхъ снѣжной пурги, въ холодѣ сѣверной ночи, въ морозномъ винѣ безутѣшной, великой и пьяной тоски... Какъ снѣговой лебедь—развернула предъ нимъ манящія ледяныя крылья свои родная, жестокая, страшная страна, и снова безумная надежда холодитъ усталую душу, и снова больна отъ мысли привычной, отъ шепотовъ сердца, отъ бури горькихъ слезъ...

И какія-то печали
Издали
И туманныя скрижали
Отъ земли.
И покинутые въ дали
Корабли.
И какіе-то за мысомъ.
Паруса.
И какіе-то надъ моремъ
Голоса.
И вверху смежаетъ очи
Лишь одна.
И расплеснутъ межъ мірами

Надъ забытыми пирами—
Кубокъ долгой страстной ночи,
Кубокъ темнаго вина.

И вотъ снова Она надъ сердцемъ влюбленнымъ, надъ сердцемъ больнымъ, отъ жизни усталымъ, горькой печалью пронзеннымъ. Въ снѣжную ночь таинственно и мучительно хрустятъ упругіе шелка, серебрится млечный поясъ, и лицо подернуто ложью маски темной, и шлейфъ ея среди розсыпей звѣздъ какъ зловѣщій хвостъ кометы.

То не ели, не тонкія ели
На закатѣ подъемлютъ кресты,
То въ дали снѣговой заалѣли
Мои нѣжные, милый, персты.
Унесенная бѣлой метелью
Въ глубину, въ бездыханность мою,—
Вотъ я вновь надъ твоею постелью
Наклонилась, дышу, узнаю...
Я сквозь ночи, сквозь долгія ночи,
Я сквозь темныя ночи—въ вѣнцѣ.
Вотъ они—еще синія очи
На моемъ постарѣвшемъ лицѣ!
Въ твоемъ голосѣ—возгласы моря,
На лицѣ твоемъ—жала огня.
Но читаю въ испуганномъ взорѣ,
Что ты помнишь и любишь меня!

Притаилась въ снѣгахъ ледяною, пушистой змѣею. И манитъ, и губитъ, и мучитъ, и кружитъ. И надъ безднами водъ летятъ и серебрится зеркальность паркетовъ зимы, и въ легкомъ танцѣ изящной игры заводятъ мучительный флиртъ, и бѣдный рыцарь усталъ отъ игры, усталъ отъ ночей безразсвѣтныхъ... И слышенъ напѣвъ метельный, заунывный, тягучій, словно поютъ зловѣщіе колокола пурги:

Рукавомъ моихъ метелей
Задушу.
Серебромъ моихъ веселій
Оглушу.
На воздушной каруселн
Закружу.
Пряжей спутанной кудели
Обовью.
Лѣгкой брагой снѣжныхъ хмѣлей
Напою.

Безсильный—рыцарь склоняетъ колѣни предъ милою Ложью... Обрекаетъ себя на вѣрную гибель, лишь бы сгорѣть, лишь бы снова еще почувствовать на лицѣ своемъ легковѣйную дрожь одеждъ Ея серебристыхъ, лишь бы хоть разъ еще упиться ароматомъ Ея, отъ котораго кружится голова и въ молитвенномъ опьяненіи замираетъ жизнь...

И опять твой сладкій сумракъ, влюбленность.
И опять:—„Навѣки. Опусти глаза твои".
И дней туманность, и ночная безсонность.
И вдали, въ волнахъ, вдали—пролетѣвшія ладьи.

Уноситъ въ метельныя дали, уноситъ тихо, сладко... И радостно лицо свое обжигать ледяными молніями Ея одеждъ, и радостно изнемогать у ногъ Ея снѣжныхъ, и больно сознавать Ея роковое имя въ эту прозрачную ночь, въ эту синюю, морозную ночь!...

И я опять затихъ у ногъ,
У ногъ давно и тайно милой.
Заноситъ вьюга на порогъ
Пожаръ метели бѣлокрылой.
Но имя тонкое твое

Твердить мнѣ дивно, больно, сладко...
И цѣловать твой шлейфъ украдкой,
Когда метель поетъ, поетъ.

Вздымается снѣжный смерчъ высоко—и дали стянуты шелками узкаго шлейфа, и міръ закрытъ... Мчится за ней среди сугробовъ, задыхаясь, силясь понять, разгадать тайну свою убійственную, тайну роковую, но она замаскированный ликъ свой кажетъ сквозь снѣжную пыль и, просвистѣвъ у самаго лица—уже не здѣсь, а тамъ,—и рыдаетъ замученное сердце, и проситъ гибели.

Не разгадать живого мрака,
Которымъ станъ твой окруженъ.
И не понять земного знака,
Чтобъ не нарушить снѣжный сонъ.

Завела въ заколдованный кругъ и сама уходитъ—все дальше, все дальше... И бѣлыя перья снѣга творятъ костеръ... И вьюга заметаетъ слѣды Ея... И никогда не понять, никогда не разгадать этой тайны... И скорбь...

Нѣжную смерть даровала въ снѣгахъ. И распятый на ледяномъ кострѣ—сгораетъ рыцарь въ снѣжной мукѣ... И никто не скажетъ — зачѣмъ. Ключъ снѣжной тайны затерянъ въ метеляхъ. Только слышенъ смѣхъ Ея холодный и жуткій. Только слышно, какъ трещатъ замерзшіе корабли во льдахъ.

Въ снѣжной маскѣ, рыцарь милый,
Въ снѣжной маскѣ ты гори!
Я-ль не пѣла, не любила,
Поцѣлуевъ не дарила
Отъ зари и до зари?

Будь и ты моей любовью,
Милый рыцарь, я стройна,

Милый рыцарь, снѣжной кровью
Я была тебѣ вѣрна.

Я была вѣрна три ночи,
Завивалась и звала,
Я дала глядѣть мнѣ въ очи,
Крылья легкія дала.

Такъ гори, и яръ, и свѣтелъ.
Я же легкою рукой
Размету̀ твой легкій пепелъ
По равнинѣ снѣговой.

Принявъ жизнь за страданья, за боль, за тоску, принявъ огромный и непосильный крестъ жизни во имя *Ея*,—рыцарь знаетъ, что сила Ея сильнѣе жизни, что мука отъ Нея страшнѣе всѣхъ сказокъ земли, что пытки влюбленности близятъ душу къ безумію и грезятся подъ вихремъ винно-снѣжной боли безобразныя дали адской страны... Но можетъ быть тайна женственности есть тайна боли? Можетъ-быть, нужно пройти сквозь крещенье безумнаго огня, когда душа становится подобной смерти, чтобы постигнуть скрытое въ сердцѣ мистической, пышной и кровавой розы—послѣднее, чудесное слово?... Эту тайну постигъ даже Мышкинъ—этотъ Серафимъ, этотъ больной ребенокъ, и ему открылся ея вѣщій смыслъ, и ему глянулъ въ душу багряный демонъ свирѣпой болѝ, съ этими страшными, угрожающими крыльями, съ этой лебединою нѣжностью во взорѣ, съ этимъ коварнымъ свистомъ змѣи на тонкихъ и лживыхъ устахъ... И онъ повѣряетъ Рогожину свою тайну: „Знаешь-ли, что женщина способна замучить человѣка жестокостями и насмѣшками и ни разу угрызенія совѣсти не почувствуетъ, потому что про себя каждый разъ будетъ думать, смотря на тебя: вотъ

теперь я его измучаю до смерти, да зато потомъ ему любовью моею наверстаю"...

Сѣверный блѣдный рыцарь тоже знаетъ эту тайну, ибо онъ прошелъ сквозь крещенье огня, огня и смерти... И хоть и устала душа до безсилія послѣдняго—безуміе близко... И, глядя молитвенно-безумными глазами на матовый очеркъ холоднаго и прекраснаго Лика, — онъ изнемогаетъ въ блаженствѣ муки, и хочется еще и еще извиваться подъ свистомъ снѣжнаго и разящаго бича...

Она „ласковымъ и тонкимъ жаломъ его пытаетъ глубины", и глубины разверзаются подъ мечомъ Царицы—и въ глубинахъ—боль и смятеніе, молитва и ужасъ, трепетъ и пламя, напѣвы и вопль... И въ глубинахъ—откровеніе... И чѣмъ сильнѣе боль отъ Нея—тѣмъ ближе неизвѣстная, роковая и святая страна, тѣмъ яснѣе берегъ послѣдней тайны, тѣмъ ближе и явственнѣе голубые чертоги Безконечности!.. И молится сердце, носясь на снѣжныхъ крыльяхъ надъ полями, скованными льдомъ, надъ безднами снѣжнаго вина, надъ башнями городовъ усталыхъ:

Войди, своей не зная воли,
И, добрая, въ глаза взгляни,
И темнымъ взоромъ острой боли
Живое сердце полосни.
Вползи ко мнѣ змѣей ползучей,
Въ глухую полночь оглуши,
Устами томными замучай,
Косою черной задуши.

На костры возводитъ Она его, и онъ предается... Въ бархатной истомѣ мукъ такъ отрадно покоиться... И чѣмъ сильнѣе пытки, тѣмъ ближе Она... Слышитъ роковые шаги, видитъ знакомые, тающіе въ напѣ-

вахъ, тонкіе узоры одеждъ, и въ послѣдней безднѣ кромѣшнаго ада, когда задыхаешься, когда просишь смерти, когда издыхаешь въ бреду,—вдругъ на спаленномъ молніей муки лицѣ—атласный трепетъ лебединаго Ея крыла...

...И розы, осеннія розы
Мнѣ снятся на каждомъ шагу
Сквозь мглу, и огни, и морозы,
На бѣломъ, на легкомъ снѣгу...

И страшная сказка снова въ душѣ. Шевелится въ хаосѣ змѣй лицо ея огневое. И синія воды въ страну неизвѣстную думы несутъ... И снятся отрадные ангелы розъ бѣлоснѣжныхъ въ бреду... И кричитъ, чуя приближенія—рыцарь, погибшій въ мечтѣ, извиваясь у ногъ Темной и мучительной маски.

Что быть безстрастнымъ? Что—крылатымъ?
Сто разъ бичуй и укори,
Чтобъ только быть на мигъ проклятымъ
Съ тобой—въ огнѣ ночной зари!

...Я вѣрю мглѣ твоихъ волосъ
И твоему великолѣпью.
Мой сирый духъ—твой вѣрный песъ,
У ногъ твоихъ грохочетъ цѣпью...

...Съ ума сойду, сойду съ ума
Безумствуя люблю,
Что вся ты—ночь, и вся ты—тьма
И вся ты—во хмѣлю.

Что душу отняла мою,
Отравой извела,
Что о тебѣ, тебѣ пою,
И пѣснямъ—нѣтъ числа!

И вся жизнь у ногъ Ея—неизвѣстныхъ, жуткихъ, затянутыхъ въ свирѣпые шелка морозной ночи, кометой звѣздной заметающіе неясный очеркъ погибшаго въ вѣкахъ Лица,.. Какъ воскресить Его—это лицо, прошедшее мукой палящей—сквозь жизнь?... Уже нѣтъ силъ для этого, уже силы выпило безуміе первой встрѣчи... И неужели ночь погаситъ лицо? И неужели матовый его огонь не вспыхнетъ никогда въ заливахъ дремлющей тоски?...

Муки созданія Лица... Это сизифовы усилія... И творчество блѣдное это, словно себѣ самому золотишь ядовитыя пилюли лжи... И вотъ Лицо—*здѣсь*... и подходишь съ жаждой безмѣрной, чтобы обнять, чтобы почувствовать разрушающій пламень купины, но вотъ оно уже—*тамъ*... А посреди—пустота бездонная, въ которой гибнетъ душа... Не значитъ ли это, что Ликъ Ея—все и ничто?... Не значитъ ли это, что Богъ нашъ—въ призывной, въ бездонной, въ чудесной тоскѣ незримымъ кораблемъ течетъ въ безконечность?... Но жажда воплощенія мучительна.

Какъ мнѣ создать черты твои,
Чтобъ ты прійти ко мнѣ могла
Изъ очарованной дали?

И затихаетъ въ свирѣли грустной вопросъ у подножія Сфинкса... Такъ затихаютъ предъ нимъ бурныя волны вопросовъ міра, такъ покоряются передъ нимъ стихійныя силы жизни... И гибнутъ корабли. И горизонтъ во тьмѣ. И гнететъ смертоносная мысль, что вѣченъ Звѣрь и что не придетъ Жена, никогда, никогда...

Но развѣ не властенъ поэтъ создать какую угодно сказку? Но развѣ не въ силахъ поэтъ въ какія угодно

формы отлить пьяный ядъ своей чудесной, животворящей Лжи?

Но въ имени твоемъ—безмѣрность;
И рыжій сумракъ глазъ твоихъ
Таитъ змѣиную невѣрность
И ночь преданій грозовыхъ.

. . . . . .

И снова погоня за сказкой... Спитъ усталый мозгъ за ночнымъ столикомъ, въ блескѣ зеркалъ ресторана... „Умереть, умереть!“—шепчутъ уста, впиваясь въ огнистую грудь вина... И цыганская пѣснь колесуетъ душу черной тоской, и незримые глаза просятся въ святое святыхъ... И разорвалъ бы себя въ тоскѣ своей послѣдней, лишь бы только затихъ этотъ ужасъ и снова погибшія улыбки и сны убаюкали, унесли въ забытые луга весны невозвратной... И вдругъ—сквозь хохотъ, стакановъ звонъ, уличную пошлость, туманы винныхъ паровъ—*приближеніе* (обманъ-ли, надежда, ложь, или правда—не все ли равно?):

Я сидѣлъ у окна въ переполненномъ залѣ,
Гдѣ-то пѣли смычки о любви.
Я послалъ тебѣ черную розу въ бокалѣ
Золотого, какъ небо, Аи.

Ты взглянула. Я встрѣтилъ смущенно и дерзко
Взоръ надменный и отдалъ поклонъ.
Обратясь къ кавалеру намѣренно рѣзко
Ты сказала:—И этотъ влюбленъ.

И сейчасъ-же въ отвѣтъ что-то грянули струны,
Изступленно запѣли смычки...
Но была ты со мной всѣмъ презрѣніемъ юнымъ,
Чуть замѣтнымъ дрожаньемъ руки.

Ты рванулась движеньемъ испуганной птицы,
И прошла словно сонъ мой легка...

И вздохнули духи, задремали рѣсницы,
Зашептали тревожно шелка.

Но изъ глуби зеркалъ ты мнѣ взоры бросала
И бросая, кричала:—Лови!
А монисто бренчало, цыганка плясала
И визжала зарѣ о любви...

. . . . . .

Въ бурную ночь огня, вина и страсти выѣзжаетъ безумный рыцарь на бѣломъ конѣ въ темныя поля страны своей угрюмой... Ель да сосна рѣютъ, маячатъ на пути, а сквозь нихъ просвѣчиваетъ лазурь степей безбрежныхъ... И грезятся былыя битвы, воскресаетъ родная быль улетѣвшихъ въ пространство временъ, и снится рыцарю подъ шумъ лѣсовъ дремучихъ, подъ пѣніе птицъ, подъ шепотъ тайныхъ дивъ—громъ Куликовской битвы и его силуэтъ-прежній, когда тоска закалялась безмѣрной силой, когда за Непрядвой являлась Она въ жаркихъ молитвахъ земли родимой, когда зналъ онъ потерянную теперь правду жизни, когда вѣдалъ, зачѣмъ ему жить и во что ему вѣрить...

И, расправляя усталыя крылья—выѣзжаетъ рыцарь изъ лѣсу въ открытое поле... Вокругъ него новыя дали—огненныя, алѣющія, дремлющія въ напѣвахъ вѣщихъ, впереди предъ нимъ бѣлый градъ—серебристый, невѣдомый, покинутый издавна, а за градомъ—въ теремѣ высокомъ цвѣтетъ царевна—Лебедь, новоявленная Жена, зовущая жениха, тоскующая о новой, великой встрѣчѣ—усталая, измученная но вѣчно прекрасная, вѣчно живая—Россія...

О, Русь, моя! Жена моя! До боли
Намъ ясенъ долгій путь!

Нашъ путь—стрѣлой татарской древней воли
Пронзилъ намъ грудь.
Нашъ путь степной, нашъ путь—въ тоскѣ безбрежной,
Въ твоей тоскѣ, о Русь!
И даже мглы—ночной и зарубежной
Я не боюсь!...

Новая близится встрѣча... И вѣрится, что будетъ она необычная, что почувствуетъ обезсиленный рыцарь въ ней могучія силы свои, что огневой напитокъ новаго вина исцѣлитъ гнилую болѣзнь тоски, и новая жена, жена великая и святая заалѣетъ на шлемѣ его какъ пурпурный лучъ зари... Уже слышится конскій топотъ въ тиши, уже близится поле великой брани, гдѣ расцвѣтетъ Русь новымъ цвѣтомъ восторга, новымъ цвѣтомъ воскресшей жизни...

И влюбленный въ Чудо свое—все мчится рыцарь къ новому граду сквозь черную степь... И словно несутъ его орлиныя крылья... И съ нимъ—пожаръ его жгучій, безуміе его молодое... И въ вихрѣ бѣга слышно какъ шумятъ опаляя лицо—багряныя крылья безумной надежды.

Пусть ночь. Домчимся. Озаримъ кострами
Степную даль.

Въ степномъ дыму блеснетъ святое знамя
И ханской сабли сталь.

И вѣчный бой! Покой намъ только снится
Сквозь кровь и пыль.

Летитъ, летитъ степная кобылица
И мнетъ ковыль.

И нѣтъ конца! Мелькаютъ версты, кручи...
Остановi!

Идутъ, идутъ испуганныя тучи,
Закатъ въ крови!

Закатъ въ крови! Изъ сердца кровь струится!
Плачь сердце, плачь!

Покоя нѣтъ! Степная кобылица
Несется вскачь!

XV.

Оставляю навсегда всѣ видимыя книги, чтобъ принять часть только въ книгѣ Твоей.

На видимой бумагѣ никогда не выскажешь Главной Истины и Тайны. Вступайте въ книгу Жизни!

Александръ Добролюбовъ.

Вотъ небесный законъ неизмѣнный:
Небо будетъ безлюдной пустыней,
Неба нѣтъ и не будетъ вовѣки,
Пока міръ весь въ него не войдетъ.

Александръ Добролюбовъ.

Всѣ, о комъ говорилъ я здѣсь—все же не отдѣлимы отъ литературы и дальше нея не идутъ. Но не въ нихъ нужно искать сокровенное Руси, ея таинственную жизнь, ея святыню, это только слово... Но есть въ ней еще и другое, почти невидимое, скрытое, нездѣшнее, то, чего никто не видитъ, что течетъ не по внѣшнимъ ея жиламъ, а по внутреннимъ, то, что противорѣчитъ слову и представляетъ собой рыдающее молчанье, молитвенное дѣйство, святую плоть... Это—личности почти святыя, отъ міра ушедшія, странныя—юродивые, вѣчные странники, неутолимые поборники правды, ждущіе Царства... Это—бродячая Русь, Русь подземная, мистическая сила, рѣдко воплощаемая, это тѣ, что творятъ невидимую жизнь

ея... Къ нимъ относится и ихъ символизируетъ Александръ Добролюбовъ...

Личность его выходитъ изъ рамъ, представляетъ собой что-то сверхжизненное, какую-то стихійную силу русскаго народа, его богатырство, его святое, его надежду... Именно въ немъ нужно искать тайну Россіи. Именно въ немъ—характерная ея особенность, ея загадка, ея святая, ждущая воплощенья—плоть...

И онъ былъ въ предѣлахъ слова, и онъ ждалъ отъ искусства дѣйства, храма, божества, и онъ былъ рабомъ міра сего и всего человѣческаго... Принадлежалъ къ первымъ русскимъ „декадентамъ", писалъ стихи, вмѣстѣ съ Брюсовымъ, Коневскимъ, Мирополь-скимъ—представлялъ ядро новой школы и какъ они—поклонялся буквѣ и дальше буквы не шелъ... Но потомъ раздѣлились пути ихъ; они пошли по прямой и скучной дорожкѣ искусства, Добролюбовъ свернулъ на таинственныя и жуткія тропы, ведущія туда, гдѣ—свобода отъ всякаго искусства, гдѣ нѣтъ пошлости міра, нѣтъ человѣческаго, нѣтъ тяжести словъ, гдѣ пустыня, гдѣ тайная сила Руси... Онъ какъ Ницше и Толстой, возненавидѣлъ книжную мудрость и проклялъ ее, и осудилъ навѣки, но онъ пошелъ дальше ихъ, онъ явилъ нечеловѣческій подвигъ, надѣлъ рубище странника и прямо отъ этихъ самыхъ ненавистныхъ и проклятыхъ книгъ—пошелъ куда глаза глядятъ, пошелъ, какъ бы повинуясь какой-то невѣдомой силѣ, въ царство свое, скрытое отъ всѣхъ, въ дремучіе, темные лѣса, къ звѣрямъ, къ народу, къ полямъ, къ землѣ своей тихой, любимой... „Долго странствовалъ нищимъ, питаясь милостыней, въ Соловецкомъ монастырѣ былъ послушникомъ, хотѣлъ постричься въ монахи, но рѣшивъ, что православная Церковь—не

истинная, отрекся отъ нея, ушелъ изъ монастыря; опять скитался, исходилъ пѣшкомъ всю Россію отъ Бѣломорскихъ тундръ до степей Новороссіи; служилъ въ батракахъ у крестьянина, сходился съ духоборами, штундистами, молоканами; за совращеніе двухъ казаковъ, которыхъ уговорилъ отказаться отъ присяги и военной службы, задержали его, должны были судить и приговорить къ арестантскимъ ротамъ, но, по прошенію матери, признали душевно-больнымъ и посадили въ сумасшедшій домъ; онъ просидѣлъ здѣсь нѣсколько мѣсяцевъ; наконецъ, принуждены были выпустить его, потому что онъ былъ здоровъ. Кажется полиція убѣдилась, что съ нимъ дѣлать нечего, его постоянно задерживаютъ и выпускаютъ, и снова задерживаютъ. Такъ онъ и странствуетъ, проповѣдуя всюду Евангеліе Царства Божія" *)...

Онъ пошелъ въ эту неизвѣстную даль, потому-что тамъ грезился ему храмъ сокровенный, святыня не отъ міра сего, молчаніе и новая, невидимая жизнь, жизнь духа, освобожденнаго отъ всего внѣшняго, узко-житейскаго, пошлаго, тягостнаго... Словно за голосомъ старца Зосимы—пошелъ онъ въ глубь русской земли, въ сердце народное, въ чащи и дебри таинственныя, гдѣ скрыто незримое чудо... И припалъ къ зеленой груди земли, пилъ ея дыханіе, теплоту ея материнскую, цѣловалъ ее, обливалъ слезами тоски и восторга, молился... Позналъ жизнь звѣрей и близко стоящей къ природѣ твари и полюбилъ эту тварь умиленіемъ великимъ, всею душой... Позналъ страдальческую силу народную, каторжный трудъ, въ которомъ—радость особенная, очищающая, освящающая... Позналъ языкъ лѣсовъ и полей, неслышный невият-

*) Д. С. Мережковскій: „Не миръ, но мечъ".

ный, въ музыкѣ тишины и блаженства въ душу лью-щійся лазурной рѣкой... Научился читать книгу невидимую, книгу молчанья лѣсовъ и степей, книгу міровой души, книгу ненаписанную, въ которой нѣтъ словъ, въ которой—звуки, предчувствія, шепоты, молитвы, безмолвная грусть и ослѣпительный свѣтъ... И освобожденіе великое свершилось въ немъ. И онъ сталъ чуждъ брошенной жизни въ міру, городамъ и словамъ, искусству и рабству житейскому, онъ нашелъ свою правду въ царствѣ безмолвія, въ экстазахъ своихъ и видѣніяхъ... Ведя жизнь подвижническую, почти святую, почувствовалъ особенную истерзанную радость за тюремной рѣшеткой, и тюремщиковъ называлъ своими братьями, и любилъ ихъ, прощалъ имъ, говорилъ о непостижномъ счастьѣ... Возлюбилъ чистоту плотскую, отреченіе отъ благъ и отъ пищи, возлюбилъ красоту свою не отъ міра сего, видѣнія свои, сны свои и предчувствія, научился видѣть живого Христа... Онъ м. б. единственный здѣсь для кого Христосъ живъ, для кого Онъ не умственный, не книжный, не риторическій, а живой во плоти Богъ, котораго онъ такъ часто видитъ предъ собой въ молитвахъ своихъ—жаркихъ, изступленныхъ, въ молитвахъ, въ которыхъ уходитъ вся жизнь, вся душа, всѣ чувства!...

Недаромъ онъ отрекая отъ искусства. Онъ почувствовалъ въ немъ какую-то рабскую ложь, унизительную и преступную, онъ увидѣлъ въ немъ игру словъ и обманъ, онъ почувствовалъ, что искусство дѣлаетъ людей неискренними, равнодушными къ безумію и къ подвигу и къ религіи, онъ почувствовалъ всю трагическую жалкость бумажнаго царства, и ему, какъ и Толстому и Ницше—стало понятно, что искус-

ство налагаетъ цѣпи на истину и представляетъ для этихъ людей не жизнь, не религію, не храмъ, а унизительно безсмысленный спортъ... Въ своемъ знаменитомъ письмѣ въ редакцію „Вѣсовъ“, которое онъ написалъ, уже отрекшись отъ искусства во имя религіи,—Добролюбовъ таинственнымъ образомъ выразилъ сокровенную особенность русской души, какъ бы летящей надъ міромъ въ полетѣ стихійномъ, души въ тоскѣ пребывающей и тоску возлюбившей, души распятой въ боли и боль превознесшей выше жизни и счастья, выше искусства и словъ... Въ этомъ письмѣ—именно загадка наша, наша никому непонятная красота, молитва и внѣжизненная мечта... „Самыя прекрасныя ваши книги тяжелы“,—пишетъ Добролюбовъ въ этомъ замѣчательномъ письмѣ, представляющемъ особенно цѣнный документъ для пониманія русской души—„сухія, многотомныя ваши книги—тѣнь безъ духа, и всѣ когда-нибудь погибнутъ и даже дѣти не коснутся ихъ. И такъ много суеты, зачѣмъ еще изображать ее? Нужно создавать новый міръ и новую землю. Чѣмъ болѣе вы будете забывать объ одеждѣ стиховъ, о нарушенномъ размѣрѣ удареній, о непремѣнномъ созвучіи буквъ въ концѣ каждой строки, тѣмъ скорѣе совершится пѣсня свободная и неудержимая и мѣсто ея будетъ Церковь или Жизнь. И тогда Богъ дастъ ей безсмертную одежду и истинно прекрасную...“ Отрицая театръ, Добролюбовъ такъ объясняетъ свое къ нему отвращенье: „Это ваше искусство представленья я всегда глубоко презиралъ даже тогда, когда принадлежалъ къ вамъ. Мнѣ всегда было радостнѣй самому прочесть вещь, чѣмъ увидѣть ее представленной. И такъ трудно понять что бы ни было, а представленіе—это

полная измѣна или перелицовка написаннаго. Потомъ театръ—училище лжи. Первый лжецъ есть актеръ, представляющій. Онъ смѣется тогда, когда не хочетъ смѣяться, плачетъ тамъ, гдѣ нѣтъ плача. И всѣ зрители привыкаютъ ко лжи и учатся лгать. Вотъ отчего такъ много лжи въ современномъ образованномъ обществѣ—тоже отъ этихъ театровъ. Зрители смотрятъ на зрѣлище, какъ на жизнь и плачутъ при изображенныхъ страданьяхъ и выплакиваютъ тутъ всѣ слезы и радость свою, всю силу духа. Потомъ они возвращаются въ жизнь сухіе и смотрятъ на нее какъ на представленье и проходятъ спокойно мимо самыхъ ужасныхъ зрѣлищъ"...

...„Какъ смерть—такъ тяжела мнѣ ваша жизнь. Только тѣломъ и разумомъ занимаетесь всѣ вы, а духа не знаете. Даже своего духа не знаете вы, а Духъ Божій сокровенъ отъ васъ"...

„Всѣ ваши книги, всѣ ваши искусства, вся ваша наука, все ваше образованье, всѣ ваши города и обычаи—одна великая пустыня." *).

И только одно въ этомъ мірѣ не отвергъ Добролюбовъ—музыку. Онъ призналъ ее единственной силой въ жизни, но ушелъ слушать ее въ поля и лѣса, гдѣ звуки ея не опошлены присутствіемъ людей, гдѣ стихіи, молчанье и птицы поютъ безконечную пѣсню и хвалу передъ жертвенникомъ Бога...

Похоронивъ міръ навсегда, онъ идетъ сквозь лѣса и пустыни къ граду своему невидимому, идетъ безъ конца, нигдѣ не оставаясь долго, ни къ чему не привязываясь, позабывъ о словахъ и приличіяхъ—и кажется, что кто-то тайный и знающій указываетъ ему путь въ царство свое... Ночи и дни проходятъ.

*) А. Добролюбовъ. Изъ книги невидимой, стр. 85—87.

Жизнь далеко. Заснулъ кошмаръ городовъ, маски людей не ранятъ сердца, не слышно смрада и грохота улицъ. Вокругъ—тишина, безконечность, свобода, и пѣсня рыдаетъ въ душѣ, и дѣтская радость, и слезы. Въ минуты переполненія души свѣтомъ солнца, музыкой молчанья, шепотомъ деревьевъ—тихо звучитъ на устахъ его пѣсня,—отраженіе тайны великой и творческой.

Миръ вамъ, о горы!
Молчанье ночи—
Сила моя.
Молитва единая,
Имя Единое
— Скала моя.
Чаща лѣсная,
Гдѣ бродятъ отшельники,
— Радость моя.
Гдѣ прыгаютъ зайцы,
Гдѣ горныя козы.
— Земля моя!
Сны и видѣнья—
Призраки міра
И міръ невещественный
— Борьба моя.
Цѣпи, дороги,
Тюрьмы, свобода
— Судьба моя.
Рубище странника,
Въ немъ алмазъ драгоцѣнный
— Тайна моя.

Отдыхая въ прохладной чащѣ лѣса—любуется красотой неизреченной природы, пьетъ ея смолистое вино... Забвеніе... Отрада... Молитва... И только мгновенно вспыхнетъ вдругъ прошлое, пройдутъ сквозь мозгъ темные образы міра—и больно ста-

нетъ... Но миръ въ душѣ и шорохъ лѣса, и запахъ сосны, и льющаяся сквозь деревья и травы баюкающая мелодія безконечности—стираютъ слѣды, нѣжностью ласки сладко трепещутъ въ душѣ, и слезы на глазахъ, и хочется кричать на весь міръ о радости, перешедшей границы, о радости свободной жизни въ лѣсахъ и поляхъ, надъ безднами тайнъ, въ чертогахъ молчанья!...

Горы, холмы земли—братцы, сестры мои,
Даже камни дорогъ—други вѣрны мои,
Неба своды, лучи—какъ отцы мои,
Звѣри дикіе—братцы милые,
Рѣки тихія—обрученныя мнѣ, навсегда мои.
А и миръ вамъ, сестры звѣздочки,
Звѣзды ясныя—вы цвѣты небесъ,
Всѣ цвѣты полей въ вѣнцахъ царскихъ,
Лучи солнечные—гонцы радостные,
Камни мирные придорожные, молчаливые,
Я предъ вами, предъ всѣми лицомъ ницъ до земли
простираюсь.
Отъ васъ всѣхъ озаряюсь...
И былиночка—спротиночка, ты родимая!

Здѣсь нашелъ Добролюбовъ исполненіе сновъ своихъ завѣтныхъ, мечтаній, надеждъ, здѣсь, среди нивъ и луговъ цвѣтущихъ, надъ скатами дикихъ долинъ, въ ослѣпительныхъ краскахъ цвѣтовъ и травъ—зрѣетъ его безмолвное царство. И сталъ понятенъ ему сокровенный языкъ природы, тотъ проникающій въ душу языкъ, который не всѣ понимаютъ, но въ которомъ—чары чудесъ, обѣщанья, призывы, и рыдающіе напѣвы сосенъ, что счастье придетъ, что вернется ясное дѣтство, и крикъ иволги о веснѣ беззакатной, и угрозы филина—рокотъ тревоги,

предчувствіе ночей, и соловьиный восторгъ... Во всемъ этомъ—тайна его, смыслъ сокровенный, бездонный...

Я искалъ языка непзмѣннаго,
И рабамъ и царямъ откровеннаго,
И богатымъ и нищимъ понятнаго,
Словно молнія обымающаго,
Отъ востока ли и до запада.
Я искалъ у людей, у звѣрей, въ лѣсахъ,
Слушалъ говоръ волнъ, слушалъ пѣсню звѣздъ.
Отвѣчали мнѣ рѣки тихія:
О, внимающій, изучающій, исполняющій!
Мы откроемъ тебѣ слово тайное:
Свой языкъ у звѣрей, свой языкъ у камней,
Но мы братья твои неназванные,
Братцы—всѣ тебѣ—вѣковѣчные и родимые.
И въ ручьяхъ, и въ людяхъ есть другой языкъ,
Есть одинъ языкъ всеобъемлющій, проникающій,
Какъ любовь, какъ жизнь, какъ безсмертіе опьяняющій!

Сокровище этой непонятной и чуждой міру рѣчи открылось Добролюбову и въ немъ онъ нашелъ свою силу, въ немъ обрѣлъ содержаніе, плоть и кровь для пустоты одиночества... И безлюдная пустыня стала царствомъ его.

Въ пустынѣ своей понялъ Добролюбовъ то, что было закрыто для него въ міру. Въ пустынѣ осѣнилъ его свѣтъ великій и въ молчаньи цвѣтущей земли, въ трепетѣ звѣздъ, въ открывшейся безднѣ космоса понялъ онъ чудо свое... И на немъ исполнился завѣтъ великаго молчанья, завѣтъ священный и неизмѣнный: онъ почуствовалъ, что не въ жизни людской, не въ жизни городовъ, замученныхъ суетой и и культурой, не въ мірѣ книжниковъ и фарисѣевъ, не въ вавилонѣ обыденщины обрѣтается Христосъ

живой и близкій, а въ царствѣ молчанья, въ поляхъ лазурныхъ, въ лѣсахъ дремучихъ, гдѣ дышитъ земля, гдѣ невинныя твари, гдѣ въ морѣ свободы на парусахъ, на крыльяхъ, гирляндами цвѣтущихъ сновъ мчится жизнь въ царство нездѣшнее, гдѣ каждая мысль полна аромата душевнаго и не гибнетъ въ словахъ, гдѣ на брачный пиръ ждетъ Жениха Невѣста и Ликъ Ея какъ янтарное пламя зари, и одежды Ея—небеса и травы, и сердце ея—блаженство покоя!... Здѣсь онъ понялъ, что „вездѣ есть безконечность и цѣлый міръ въ каждомъ сердцѣ“... Здѣсь же открылась предъ нимъ роковая бездна... Тихо дышала земля, баюкая его усталую голову на груди своей широкой, хоры птицъ чаровали душу, снился прозрачный сонъ о блаженствѣ и росли крылья,—и вотъ, среди молчанья, среди красоты безмѣрной, среди этого роскошнаго праздника природа—онъ ясно почуствовалъ ее—роковую, окончательную бездну... И провалилась въ нее душа его, и молніи озарили потемнѣвшее сознаніе, и надъ бездной возсталъ архангелъ съ мечемъ освобожденія въ рукѣ, и стало *все* понятно до глубочайшихъ нервовъ сущаго, и грянулъ громъ, и незримая сила вознесла въ головокружительную высь ослабѣвшее въ трепетѣ сердце...

„И я заглянулъ въ бездну—безначальная—пустая, подобная змѣѣ—безконечная, слѣпая, молчаливая,—какъ будто нигдѣ не было жизни ни звука—такая была она, мать всѣхъ живущихъ. И она протянула ко мнѣ побѣждающія руки свои и бездонными, и прекрасными, и умерщвляющими глазами глядѣла въ глаза мои, и я едва не оступился на утесѣ души моей. Я удержался только въ мигъ ужаса, только въ мигъ смерти моей. Кто-то крыломъ коснулся лица моего...

„И я взглянулъ въ душу свою—и ту же бездну увидѣлъ я— тысячи мыслей, цѣлые города пожеланій, борьбы—и свѣтъ, и мракъ!"...

И вотъ на днѣ бездны, изъ страха, гибели, мрака и отчаянія возникъ его свѣтъ. И онъ всѣми фибрами души своей почувствовалъ Его живое приближеніе. И можетъ быть одинъ только онъ въ наше время увидѣлъ Его глазами своими и не ослѣпъ... Это былъ великій часъ. За такой именно часъ можно отдать всю свою жизнь, и душа уже не здѣшняя и не нужна для жизни: кто-то предвѣчный, кто-то стихійный и прекрасный, какъ вѣчность, какъ тайна, какъ ужасъ—горитъ внутри, и безуміе въ расширенныхъ экстазомъ глазахъ, и таетъ все вокругъ въ всепожирающемъ пламени свѣта, и кажется, что земля обновляется, что роскошные сады чудесъ зацвѣли на ней, что близокъ потерянный рай!... Тогда открылось. Тогда позналъ вторичное крещеніе духомъ...

„И только взглянувъ въ эти бездны, измѣривъ ихъ до самыхъ глубинъ, я увидѣлъ надъ ними Его."

„Братья, истинно это древнее слово: сомнѣнье освобождаетъ. Только тотъ, кто усомнился во всякой душѣ и во всемъ мірѣ, кто разувѣрился въ силѣ, и въ духѣ, и въ веществѣ, кто усомнился въ красотѣ и вселенной, только тотъ увидитъ Его... Только испытавшій недостаточность всѣхъ наукъ и философій, познавшій суету всѣхъ знаній, всей мудрости, всей плоти и всего духа, только сомнѣвающійся во всемъ,— только онъ можетъ вѣрить въ Того, Чье имя Тайна" *).

Сквозь бездну пришелъ Добролюбовъ ко Христу, сквозь отрицаніе міра и всѣхъ законовъ его, и

*) „Изъ книги невидимой", стр. 149—150.

всей власти его, и всей суеты его, сквозь чудо великое, чудо преображенія міра въ мистеріи экстаза, пришелъ онъ къ Нему, и это дѣлаетъ Добролюбова до боли близкимъ современной душѣ и вмѣстѣ—до боли далекимъ: ибо мы не отдѣлимы отъ внѣшняго міра, мы слабы книжностью своею, научностью и искусствомъ своимъ, мы задыхаемся въ цѣпяхъ условностей и духовнаго рабства, мы навѣки лишены чудесъ и все у насъ—въ разложеніи, ибо все—въ умѣ, а не въ сердцѣ; а онъ ушелъ по ту сторону всего этого, онъ какъ бы отдѣлился отъ нашей жизни, онъ ушелъ реально въ тѣ дали, къ тѣмъ горизонтамъ, въ то царство, гдѣ мы можемъ пребывать лишь въ грезахъ...

На Добролюбовѣ же исполнился чудесный законъ Россіи, въ немъ символизировалась ея тайная характерная особенность, которая именно въ томъ и заключается, что Россія (душа ея, душа души ея, святое святыхъ ея) вся въ броженіи, вся въ поискахъ невозможнаго, вся въ странствіяхъ и подвигахъ, вся въ уходѣ отъ дѣйствительности... Бродячая Русь, та Русь, которая никогда ни на чемъ возможномъ и реальномъ не успокоится, та святая Русь, которую тянутъ за собой ея геніи, ея подвижники, ея герои, та Русь, ковчегъ которой въ потокѣ безвременья потянулъ за собой престарѣлый Толстой своимъ уходомъ въ эти невозможныя дали, та Русь, которая какъ грозная, дикая, мятежная стихія подкапываетъ всѣ зданія, ломаетъ всѣ преграды, разрушаетъ всѣ законы, та Русь, которая тысячами невидимыхъ скрипокъ поетъ среди раздолья степей своихъ безбрежную, лазурную, убійственно больную пѣсню тоски—эта невидимая и скрытая Русь прошла передъ нами

въ странномъ, далекомъ для пониманія буржуазнаго запада—почти подвижническомъ образѣ Александра Добролюбова... Всѣ черты ея—мучительно прекрасныя неземныя, сказочныя, все ея непріятіе, весь ея врожденный религіозный анархизмъ, вся ея богатая сокровищами подземная сила—вспыхиваетъ въ этихъ странныхъ словно выхваченныхъ изъ первыхъ временъ христіанства личностяхъ, какъ Вл. Печеринъ, какъ Ѳ. Шперкъ, какъ Мих. Пантюховъ, какъ Александръ Добролюбовъ...

Его міросозерцаніе такъ же катастрофично по существу своему, какъ и творчество Достоевскаго. Какъ Достоевскій разрушилъ міръ въ своемъ творчествѣ, не найдя возможности для его преображенія въ гармоніи, такъ и Добролюбовъ понялъ, что все, что теперь принимается какъ должное, какъ реальное, какъ единственное, чѣмъ можно жить, все, что покоится на незыблемыхъ основахъ традицій, все, чѣмъ люди живутъ и въ чемъ задыхаются—должно быть разрушено и вновь переустроено силою обновленнаго и преображеннаго грядущаго духа. Возставая въ своемъ письмѣ въ „Вѣсы" противъ строительнаго искусства и архитектуры, Добролюбовъ ясно высказалъ свою основную мысль, ту мысль, которая такъ близка намъ—въ слѣдующихъ замѣчательныхъ словахъ: „Мы и такъ тяжелы, и такъ обременены этимъ тѣломъ. Зачѣмъ еще обременять себя изображеньями? *Весь этотъ міръ долженъ исчезнуть.* И пророкъ говоритъ: я опять поселю васъ въ Кущахъ, какъ въ дни праздника"...

И съ этою мыслью онъ бродитъ теперь по Россіи, призывая всѣхъ къ преображенію. Это преображеніе, преображеніе міра въ душѣ человѣческой по-

средствомъ чуда—его завѣтная мысль, его боль и радость, смыслъ его жизни, его путеводная звѣзда... И словно древній пророкъ, одѣтый въ рубище, гонимый и преслѣдуемый, но полный творческой силы—онъ ходитъ изъ города въ городъ, изъ деревни въ деревню, отъ Толстого къ киргизамъ, отъ Мережковскаго къ молоканамъ, всюду проповѣдуя близкое царство преображенія жизни, царство воскресающаго Чуда, царство безумія во Христѣ... Онъ говоритъ, озаренный мечтой своей: „Очевидно, что долженъ быть побѣжденнымъ весь видимый міръ. Потому что всѣ вещи, насъ окружающія, наполовину сотворены даже нами, онѣ символы нашего духовнаго міра. Мы ихъ создали и мы перемѣнили ихъ. Человѣкомъ грѣхопаденье, человѣкомъ воскресенье мертвыхъ. Новыя силы будутъ цвѣсти только на новой землѣ!“...

И такъ, бродя по русской землѣ, не зная ни отдыха, ни покоя, ни пристани, онъ похожъ на вѣчнаго странника, потерявшаго свою землю и ищущаго ее безъ конца, въ слѣпой, неизмѣнной надеждѣ найти ее. Чуднымъ свѣтомъ горитъ эта его земля. Она какъ миражъ. Грезится въ степяхъ пустыни его безконечной, снится въ усталыхъ снахъ, ясно чувствуется въ молитвенномъ озареніи. И полный мечтами о ней, полный восторгомъ о царствѣ своемъ, Добролюбовъ вдохновенно говоритъ о немъ встрѣчнымъ людямъ... И его слушаютъ. И ему вѣрятъ. Потому что слишкомъ ужъ необычна его личность и слишкомъ сильна священною правдой его душа... И вотъ онъ говоритъ о Царствѣ, о великомъ днѣ—и вы чувствуете, что это его жизнь, что въ этомъ его мечта и молитва, и вы видите незримую книгу новой, далекой жизни и читаете ея огненныя слова...

Неизмѣримое царство!
Неизмѣримое царство!
Лицо земли и небесъ!
Безконечная лѣстница Духа!
Тамъ волкъ будетъ вмѣстѣ съ ягненкомъ пастись,
Дитя заглянетъ въ нору змѣи
И будетъ играть со змѣятами,
Змѣя будетъ пылью питаться,
Не будутъ вредить по всей Сіонской скалѣ,
Такъ говоритъ Тотъ, Чье имя Господинъ Вседержитель.

Тѣло по Добролюбову существуетъ только для духа. Новая жизнь должна преобразить его, должна дать ему новыя формы, болѣе одухотворенныя ради того, чтобы *все стало однимъ духомъ*. Онъ вѣритъ въ чудо, потому-что самъ его пережилъ, потому-что самъ видѣлъ Христа, видѣлъ невозможное... И онъ говоритъ съ дѣтскою вѣрой въ словахъ, и вы чувствуете, что это не слова, что это—переживанія его, сила его, плоть его тайны: человѣкъ „непремѣнно преобразитъ и побѣдитъ весь міръ. И будетъ приказывать камню и камень отвѣтитъ, и скала дастъ источникъ воды живой. И запретитъ сестрѣ смерти, и она какъ невѣста, какъ зачарованная послѣдуетъ за нимъ. И бездну вызоветъ къ браку съ Возлюбленнымъ своимъ. И бурѣ скажетъ: „умолкни, сестра“— и станетъ великая тишина. И овладѣетъ не снаружи вещами, но какъ древніе пустынножители проникнетъ сожалѣньемъ въ сердце земли, и львовъ, и пустыни. И, подобно древнимъ сказкамъ о коврахъ-самолетахъ переносящихъ человѣка, куда онъ прикажетъ, исполнится невозможное“...

Богъ Добролюбова это живая сила, это живóй образъ во плоти, котораго онъ видитъ, съ которымъ

говоритъ, котораго чувствуетъ... Добролюбовъ—боговидецъ. Подобно подвижникамъ и святымъ, онъ переживаетъ великій, потерянный для современности—творческій экстазъ, граничащій съ безуміемъ, когда внутреннія очи видятъ то, чего не видитъ никто. „Я видѣлъ, какъ Онъ уподобился человѣку, чтобъ человѣкъ могъ понять его. И онъ спустился на землю мою и пролилъ на ней свою кровь, и въ самый мигъ смерти воскресъ и озарилъ все, даже плоть мою. Я видѣлъ, какъ Онъ сходилъ въ этотъ міръ!... И я воскликнулъ: о, Ты, чьимъ именамъ нѣтъ конца. Кого называютъ Іеговой, Брамой, Отцомъ, Христомъ, Буддой, Матерью и Невѣстой и Женихомъ!—я видѣлъ тайну твою“...

„Онъ пришелъ въ поля мои весной, когда сочетались птички и вѣтки черемухи. На холмахъ моихъ останавливались ноги Его, я пошелъ за нимъ и искалъ Его, ковыли чистаго серебра расцвѣтали, гдѣ только коснулась ступня Его.

„Онъ проходилъ въ воскресный день утромъ чрезъ селенье, когда миръ уже утвердился въ городахъ моихъ, когда звонъ колоколовъ заставалъ въ постели тѣхъ, которые трудились всю недѣлю, когда чистое влажное утро, какъ весна подымалось надъ землей, когда дѣти смѣялись на полатяхъ и большухи управлялись у печекъ.

„Дѣвушки, ходившія за водой къ колодцу, видѣли, какъ тихо и величественно, но безостановочно проходилъ Невидимый Странникъ по главной улицѣ. Долго смотрѣли онѣ оборотившись, и вода изъ ведеръ пролилась на зеленую землю.

„Города были очищены давно и ангелы стояли на углахъ всѣхъ главныхъ улицъ"...*).

Послѣ этой Тайны, послѣ этихъ видѣній, послѣ этого безумія—что ему этотъ міръ, что люди, что дѣла ихъ, что науки ихъ и искусства? Какъ отъ заразы онъ уходитъ отъ нихъ все дальше; все дальше туда, гдѣ цвѣтетъ его рай, туда, гдѣ возможно невозможное, туда, гдѣ земля и небо сливаются въ одну вѣчную и беззакатную зарю... И никто не знаетъ, гдѣ онъ теперь. Уже давно была о немъ послѣдняя вѣсть...

Когда образъ его маячитъ въ моемъ сознаніи—онъ мнѣ кажется призракомъ, видѣніемъ, сномъ... Слишкомъ ужъ мы отвыкли отъ истинныхъ боговидцевъ, отъ чудесъ, отъ подвижниковъ, отъ святыхъ—и не хочется вѣрить, что они еще среди насъ... Но среди современныхъ религіозныхъ творцовъ личность Александра Добролюбова—единственная живая, яркая, необычная личность, и въ ней загадка Россіи, и въ ней—ея святыня. Ибо рѣдко въ наше время приходится слышать такое признаніе, освобождающее душу отъ житейскаго рабства, уносящее ее въ тѣ области, которыя лежатъ по ту сторону міра сего съ его ложью и скукой, туда гдѣ чудеса, гдѣ видѣнья, гдѣ свѣтъ новой, невѣдомой жизни:

„Я скинулъ одежду всѣхъ душевныхъ чувствъ. Тогда я увидѣлъ безсмертный истинный духъ у подножья храма и на самомъ верху лѣстницы безконечной Творца Его, Господа моего. Красота его—сила звѣздъ.

„На какомъ языкѣ говорить вамъ, современные люди?

---

*) Изъ книги невидимой, стр. 36.

„Все ваше образованье, всѣ ваши современные города и обычаи, вся ваша башня современной науки, весь холодный путь вашихъ сердецъ—какая великая, великая, страшная пустыня ужаса!

„Кто изъ васъ видѣлъ пламенную колесницу серафимовъ?

„На огненной колесницѣ всемірной любви я увидѣлъ подымающихся въ небеса и опускающихся въ смертную тѣнь нашей земли ради единой любви.

„И я услышалъ голосъ:

„Драгоцѣнный камень скрытъ отъ очей всего міра“...

XVI.

Исторія души Достоевскаго, эволюція его творчества—это исторія современной русской интеллигенціи, это ея пути, это ея судьба. Не время еще писать эту исторію, много еще метаморфозъ неожиданныхъ произойдетъ въ ней, много еще неизвѣстныхъ иксовъ таится въ нераскрытой глубинѣ ея, и много зрѣетъ такого, о чемъ никому невѣдомо. Но главныя черты ея, тѣ черты, которыя составляютъ ея внутреннюю суть, которыя являются ея особенностью—уже выступаютъ предъ нами довольно рельефно.

Какъ и Достоевскій, русская интеллигенція въ послѣднее время если не вполнѣ осознала, то во всякомъ случаѣ—приблизилась къ сознанію абсолютнаго значенія личности. Разочаровавшись въ общественности, какъ въ религіи, какъ въ своемъ философскомъ credo, она почуствовала свою оторванность отъ окружающаго міра, свою уединенность, свою безпочвенность и, непривыкшая къ одиночеству, къ личной жизни—устрашилась своего положенія, почувствовала себя повисшей надъ бездной, потеряла возможность творчества. И тутъ невѣдомыя стихіи охватили ее со всѣхъ сторонъ, всевозможные соблазны, искушенія овладѣли ею, воспользовавшись ея

растерянностью, и тутъ выступила наружу вся безпомощность русской души, вся ея внутренняя пустота, вся ея слабость, происходящая вслѣдствіе ея многолѣтней безсознательной жизни, жизни въ муравейникѣ и ради муравейника, жизни заглушающей индивидуальное сознаніе, жизни механической, а не творческой. Поэтому она не въ силахъ была побороть безвыходность своего положенія, не въ состояніи была противопоставить что-либо извнутри противъ напора убійственныхъ стихій, не могла подняться надъ окружающимъ безвременьемъ, потому что привыкла жить интересами стада, а не личности, и когда стадо разбѣжалось—образовалась пустота въ душѣ, обнаружилось отсутствіе какого-либо интереса къ жизни, осозналась *ненужность* отдѣльнаго я, его безсиліе, его безцвѣтность. Не будучи способной къ индивидуальному творчеству, потерявъ возможность продолжать слѣпую и безсознательную жизнь въ муравейникѣ,—личность очутилась на распутьѣ, какъ пьяная—стала метаться во всѣ стороны, ища пристанища, ища забвенья... И тутъ настигло ее „подполье“... И снова на днѣ души русской засквозилъ Достоевскій. И снова вернулась къ нему она. И снова драматизмъ его больной и измученной души сталъ понятенъ и близокъ... Но разница была большая: для Достоевскаго подполье было подземнымъ храмомъ, гдѣ переоцѣнивались цѣнности, гдѣ обсуждались геніальные замыслы, гдѣ творился бунтъ генія и изъ бунта рождался Сатана,—современное подполье это прежде всего слабость, растерянность, вопль человѣка, у котораго отняли душу; у этого человѣка можетъ быть и страданья нѣтъ, а геніальности и подавно, онъ просто оглушенъ неожиданностью положенія, онъ

оторванъ отъ стада и не можетъ придти въ себя, и вотъ онъ творитъ и философствуетъ... И какъ прежде находясь въ стадѣ—былъ онъ безцвѣтенъ и жалокъ, такъ безкрасоченъ и неоригиналенъ онъ въ подпольѣ: все, что составляетъ главную сущность его творчества—не его достояніе, а копія, все это создавалось кровью такими титанами мысли, какъ Достоевскій, Ницше, Шопенгауэръ, а для современнаго художника—это не кровь, это не вопросъ жизни и смерти, а лишь жалкая тѣнь, лишь средство, лишь одежда, въ которую облекается его выдохшаяся душа.

На помощь „подполью“ пришла характерная особенность русской души—нигилизмъ. Началось отрицаніе тѣхъ цѣнностей, о которыхъ не имѣли понятія, появились услужливые Смердяковы и потащили „отрицаніе“ на улицу, въ этомъ помогли особенные люди, которыхъ прежде не знала русская литература и которыхъ создалъ „прогрессъ“—литературные хулиганы. Можетъ быть именно благодаря имъ—„отрицать“ у насъ уже можетъ всякій, начиная отъ фельетониста и кончая гимназистами... Конечно, трудно искать при такихъ условіяхъ здѣсь чего либо заслуживающаго вниманія, просто мальчики, очутившись безъ баррикадъ, недавніе „товарищи“ изнемогаютъ отъ бездѣлія и вопятъ о томъ, что пропала жизнь... Самоубійства какъ бы доказываютъ, что они дѣйствительно страдаютъ, самоубійства стали чѣмъ-то вродѣ спорта... Но въ безвыходность положенія все же нельзя вѣрить: это признакъ минутной слабости, минутнаго пораженія, а не конца.

Прежде, когда русская интеллигенція находилась такъ сказать „въ строю“, вопросъ о смыслѣ жизни рѣшался самъ собою, или вѣрнѣе—его вовсе и не

было. Очутившись безъ дѣлъ—поняли, что долженъ быть смыслъ и стали искать его. (Только въ Россіи можетъ случится нѣчто подобное: такъ называемая „реакція“ сыграла такимъ образомъ благодѣтельную роль, благодаря ей—научились понятію смысла жизни)... Но для тѣхъ, которые собираются рѣшать его въ нарочно устраиваемыхъ для этого „лигахъ“ (были такія „лиги“ и есть, кажется, къ стыду нашему)—для тѣхъ этотъ вопросъ не такъ ужъ сложенъ, какъ это кажется, стоитъ только кому нибудь выкрикнуть громко что-нибудь вродѣ давнишнихъ „митинговыхъ рѣчей“ для того, чтобы вокругъ него столпилось это измочаленное и разбѣжавшееся стадо и объявило „смыслъ“ найденнымъ. Само собою разумѣется, что гораздо трагичнѣе судьба тѣхъ отдѣльныхъ индивидуумовъ, для которыхъ этотъ „смыслъ“ является дѣйствительно вопросомъ жизни и смерти, которые болѣютъ имъ въ своемъ одиночествѣ, которые рѣшаютъ его не для стада и посредствомъ стада, а лично для себя... Такіе заслуживаютъ названія мучениковъ и заслуживаютъ вдвойнѣ: они привыкли раньше жить безсознательной общественной жизнью, они привыкли къ тому, что ихъ „я“ затеривалось въ морѣ другихъ „я“ и они примирились съ этимъ, они нашли, что такъ и нужно и что въ этомъ-то и смыслъ; но вотъ эволюція ихъ жизни оторвала „я“ отъ общества, тѣмъ самымъ обнаруживъ и подчеркнувъ автономность этого отдѣльнаго „я“, его абсолютное значеніе, его отдѣльность, и вотъ тогда-то и пришло самосознаніе, возникла внутренняя необходимость въ отысканіи того смысла, о которомъ раньше не думалось... Но смыслъ (это ясно) долженъ заключаться въ самомъ-

то этомъ освобожденномъ „я“, а не внѣ его. Но этого не сознавали. Потому что это „я“—была пустота...

Для Достоевскаго „подполье“ было только однимъ изъ этаповъ пути. И это потому, что его „я“ обладало внутреннимъ содержаніемъ, потому что на днѣ этого „я“ лежали неизмѣримыя силы, несознанныя богатства, потому что онъ обладалъ геніальностью. Эта-то послѣдняя и спасла его отъ гибели, безъ нея онъ бы, пожалуй, остался нигилистомъ навсегда.

Не то у современныхъ художниковъ, они какъ бы обречены на вѣчное подполье, на вѣчную тоску, на вѣчное отчаянье, у нихъ—стѣна заслонила творческія дали, у нихъ нѣтъ истиннаго вдохновенія, потому что нѣтъ истинныхъ творческихъ силъ, нѣтъ религіознаго самосознанія, нѣтъ перспективы.

Достоевскій создалъ „Братьевъ Карамазовыхъ“; самое большее, что можетъ создать писатель современности—это апологію нигилизма, безвѣрія, безбожія, и пустоты. И въ этомъ наша трагедія.

Не внѣшними перемѣнами жизни, не внѣшними и общественными событіями—преодолѣется нашъ нигилизмъ, наше подполье, а внутреннею работою духа, истиннымъ творческимъ самосознаніемъ, расцвѣтомъ религіозныхъ сѣмянъ въ нашей душѣ, расцвѣтомъ настоящей культуры, которой у насъ еще все таки нѣтъ.

Русская душа адогматична по существу своему, она аморальна такъ сказать отъ рожденья и нѣтъ народа, который бы былъ въ такой степени анархиченъ какъ русскій. Для Достоевскаго эта особенность послужила только въ пользу его геніальности. Онъ въ этомъ отношеніи шагнулъ куда дальше Ницше; у послѣдняго былъ воинственный видъ только въ книгахъ,

въ жизни же онъ былъ образцовымъ, скромнымъ, тишайшимъ нѣмецкимъ профессоромъ. Жизнь Достоевскаго (а не только творчество, что очень важно и что когда-нибудь узнаютъ всѣ) была именно аморальна, я бы сказалъ—даже преступна, и въ этомъ трагичность его, и въ этомъ—стихійность его творчества, его сверхжизненность, его сверхлитературность... Это творчество есть одно сплошное „дерзаніе“, одна сплошная борьба съ догматами и законами жизни, одно безумное бунтарство, и сколько самыхъ утонченныхъ, самыхъ замысловатыхъ, самыхъ адскихъ замысловъ! Что передъ этимъ весь алкоголическій „демонизмъ“ французскихъ декадентовъ, что передъ этимъ Бодлеровскія кошки и опіумъ и Верлэновская золоченая мебель?!... Изъ всѣхъ міровыхъ геніевъ только Достоевскаго можно признать дѣйствительно анти-моральнымъ и „преступнымъ“ художникомъ въ истинномъ смыслѣ слова, и что-то поистинѣ „каторжное“ наблюдается въ этой сторонѣ его творчества.

Его „карамазовщина“—это не только оргіастическій бунтъ плоти противъ духа и противъ обыденной морали, это особенное сладострастье духа, какая-то садическая преступность, не знающая ни границъ, ни предѣловъ, ни императивовъ, ни кумировъ, это адскій огонь, въ которомъ горитъ, извиваясь въ корчахъ и стонахъ — раздавленное безумнымъ желаніемъ своимъ — сладострастное насѣкомое — человѣкъ... Одинъ изъ самыхъ изступленнѣйшихъ апологетовъ пола въ современной литературѣ—Пшибышевскій—кажется только блѣдною копіей Карамазовскаго оргіазма.

Въ современной русской литературѣ, „карамазовщина“ встрѣтила благопріятную почву. Но здѣсь

она не нашла не только геніальнаго, но даже талантливаго выраженія. Безумное оргійное вино проснулось въ жилахъ молодой интеллигенціи, выступилъ весь трагизмъ половой проблемы, но и здѣсь не могли ничего противопоставить навстрѣчу страшной силѣ жизни, кромѣ пассивнаго безволія, нелѣпѣйшаго и позорнаго явленія:—лигъ любви,—и литературной порнографщины!... Нѣтъ ни одного художника (Розановъ въ этомъ отношеніи стоитъ совершенно отдѣльно), который бы осмыслилъ чутко, проникновенно и тонко эту проснувшуюся стихію русской жизни, кромѣ искусныхъ „беллетристовъ“ и просто барабанщиковъ, которые, воспользовавшись этимъ—фабрикуютъ тысячи произведеній сомнительнаго качества, а ихъ подхватываетъ рынокъ—и такимъ образомъ идетъ одно сплошное развращеніе общества посредствомъ „литературы“... Эта послѣдняя стала почти сплошь „литературщиной“, въ ней нѣтъ ничего глубокаго, ничего положительнаго, ничего цѣннаго и вѣчнаго, она служитъ толпѣ и поддѣлывается подъ ея низкіе инстинкты и требованія, и не искусство она, не горѣніе, не сокровищница духа, а просто—ремесло и нажива... И причина—въ томъ, что и здѣсь нигилизмъ, внутренняя пустота, отсутствіе всякихъ идеаловъ, отсутствіе религіи свили себѣ достаточно прочное гнѣздо, и здѣсь мерзость запустѣнія и здѣсь—оскудѣніе и мертвечина...

„Карамазовщина“ Достоевскаго не только геніальными своими путями отличалась отъ современной: тамъ было нѣчто метафизическое, тамъ идеалъ Содомскій ставился наряду съ идеаломъ Мадонны, тамъ цвѣла земля, тамъ Грушенька казалась какимъ-то великимъ символомъ, чуть-ли не жизнью

самой, тамъ Мышкинъ молился передъ портретомъ Настасьи Филипповны, тамъ Версиловъ ради „фатума" вериги носилъ и разбивалъ образъ... У насъ же нѣтъ никакихъ кумировъ, у насъ нѣтъ не только идеала Мадонны, но просто идеала разврата. Нашъ развратъ безъидейный, безсмысленный, грубый, кошмарный, пьяный. Наша любовь какая-то кабацкая, вульгарная (попробуйте почитать Арцыбашева или Винниченка), мы какъ будто потеряли великій смыслъ любви, ея мистическую идею, ея божественность, у насъ нѣтъ ничего рыцарскаго въ любви, ничего благороднаго и возвышеннаго, ничего святого, и любовь чревата грубостью нравовъ, половой разнузданностью, ложью, обманами, преступленьями, цинизмомъ... И это—въ Россіи, въ странѣ великой тоски, тоски какъ бы не отъ міра сего, какъ бы вдохновляющей, гдѣ царятъ еще чудные образы Тургеневскихъ женщинъ, гдѣ Блокъ поетъ о Прекрасной Дамѣ...

Для Достоевскаго женщина была зловѣщимъ фатумомъ, больной и мучительной загадкой, образъ его женщины несомнѣнно мистиченъ, внѣ-реаленъ, сверхжизненъ, его Сонечка Мармеладова иногда кажется то символомъ всей многострадальной и ошалѣвшей въ страданіи Россіи, то—бредовой грезой—вдохновительницей всего его творчества. Типъ современной женщины, поскольку онъ сквозитъ въ искусствѣ—смутенъ, расплывчатъ, неясенъ и нѣтъ въ немъ ничего такого, что бы поразило, что бы прожгло, что бы дало почувствовать ее—эту современную женщину, вдохновительницу поэтовъ, жрицу любви, мать, общественную дѣятельницу... И не потому ли такъ обезцвѣтился и образъ этотъ и образъ любви, что мы уже не вдохновляемся, что изсякли въ женщинѣ

чары вдохновенія, что изсякла любовь? И любовь— вымученная, книжная, какая-то зловѣщая пустота лежитъ на ея днѣ... И чаще всего любовь философствующая, ее разъѣдаетъ анализъ, прагматическія разсужденія, циническая иронія или больная ненависть... Словно это наглядно показываетъ, какъ выдохлись наши творческія силы, какъ мы безмѣрно устали въ тоскѣ своей чахоточной и надрывной, до того устали, до того измочалились, до того вымотались, что не умѣемъ и не можемъ любить...

Въ результатѣ нашей „карамазовщины" получился только слабенькій, безкрасочный развратикъ, да порнографическая литература. Ничего великаго, ничего выходящаго изъ рамокъ, ничего творческаго не могла создать отраженная въ нашей литературѣ проблема пола.

Неврастеническая интеллигенція, больная своею безпомощностью, больная внутренней своей пустотой — и здѣсь осталась вѣрна своему роковому недугу... Такимъ образомъ и въ этой полосѣ Достоевскій и современность кажутся лишь близко стоящими, но ни въ единой точкѣ не могущими пересѣчься параллелями.

Для Достоевскаго „карамазовщина" была какъ бы антитезисомъ подполья: вѣчная изсушенность, придушенность, придавленность человѣка, сидящаго въ подвалѣ своемъ и какъ Діогенъ въ бочкѣ—философствующаго—не можетъ продолжаться долго. Онъ въ концѣ концовъ вылѣзетъ на свѣтъ Божій, и здѣсь, влекомый все той же садической, преступной жаждой, невольно ударяется въ другую крайность: онъ жадно припадаетъ къ забытому кубку жизни и начинаетъ пить съ какимъ-то остервенѣніемъ живительный на-

питокъ, до тѣхъ поръ, пока не захлебнется, до тѣхъ поръ, пока не ощутится дно...

Тогда окажется, что и здѣсь, какъ и въ подпольѣ—полнѣйшая безпочвенность, полнѣйшая пустота, полнѣйшее отсутствіе точки опоры. Тогда окажется, что и подполье, и это принятіе жизни во имя ея самое, —лишь непримиримые антитезы, и что жить ими невозможно, что необходимо еще нѣчто другое, чего не въ состояніи дать ни смерть, ни жизнь, что необходимъ могущественный и спасительный синтезъ. Этотъ синтезъ—третій творческій путь—религія.

Для Достоевскаго религія была не только творчествомъ, не только завершительной стадіей всей жизни, не только проблемой, но глубокимъ чувствомъ, преображающимъ душу, достигающимъ въ религіозномъ опытѣ пророческаго безумія. Для него вѣра была единственной почвой, на которой онъ могъ еще удержаться, и что—важнѣе всего—въ религіи онъ былъ крѣпко связанъ неразрывными узами съ народностью и церковью... Народная душа была для него храмомъ, въ которомъ онъ обрѣталъ спокойствіе свое и несокрушимый столпъ истины. Онъ свято вѣрилъ, что русскій народъ—богоносецъ, что ему предназначена великая миссія въ исторіи, что въ нѣдрахъ его зрѣетъ еще никому невѣдомая, спасительная, творческая сила, которая сотретъ главу великаго змія антихристова, которая побѣдитъ невѣріе, атеизмъ и нигилизмъ, которая повѣдаетъ міру свое таинственное, богооткровенное, новое слово... Шатовъ носился съ этою мыслью, вселившеюся въ его душу не безъ ставрогинскаго вліянія, Шатовъ вѣрилъ въ русскій народъ, въ его великое назначенье, въ его таинственную миссію даже больше, чѣмъ въ Бога (что вызвало

вполнѣ правильное замѣчаніе со стороны Ставрогина, что онъ Бога низводитъ до простого аттрибута народности), но не меньше Шатова вѣрилъ въ ту же самую народную идею и Достоевскій... Свои чаянія онъ символизировалъ въ образѣ старца Зосимы—этомъ основномъ столпѣ, на которомъ держится вся его религія. Старецъ Зосима знаетъ тайну русской народной души, ему вѣдомо то близкое чудо, мистическое, великое, преображающее чудо, которое зрѣетъ въ нѣдрахъ народной души. „Отъ народа спасеніе Руси"—говоритъ онъ—„Народъ вѣритъ, а не вѣрующій дѣятель у насъ ничего не сдѣлаетъ, даже будь онъ искренень сердцемъ и умомъ геніаленъ. Это помните. Народъ встрѣтитъ атеиста и поборетъ его, и станетъ единая православная Русь. Берегите же народъ и оберегайте сердце его. Въ тишинѣ воспитайте его. Вотъ вашъ иноческій подвигъ, ибо сей народъ богоносецъ"...*).

Вотъ, гдѣ была та твердая и незыблемая почва, на которой стоялъ Достоевскій въ своемъ религіозномъ сознаніи, вотъ, какова была прагматическая скрѣпа его вѣры...

Менѣе ясна его идея церкви; повидимому она тѣсно связана съ народничествомъ, съ особенными качествами православія, съ ролью монастырей въ народной жизни, съ государственной властью, чѣмъ съ мистическимъ организмомъ Церкви, какъ у славянофиловъ, у Вл. Соловьева и у современныхъ религіозныхъ мыслителей. Да и народъ Достоевскій мыслилъ часто больше въ видѣ сословія, нежели мистическаго общерусскаго духа, что сближало его съ славянофилами...

*) Братья Карамазовы.

Какъ бы то ни было, у него та сила, которая нынѣ символизируется въ догматахъ и служитъ единственной точкой опоры для нашихъ „неохристіанъ"— находилась въ корнѣ русской жизни, и отсюда *жизненность* его религіи и безжизненность современнаго религіознаго сознанія, которое не только въ народѣ разочаровалось, но (въ глубинѣ души) и въ самомъ себѣ... Ненависть Достоевскаго къ католицизму проистекала еще вслѣдствіе якобы тѣсной зависимости католицизма отъ соціализма, котораго Достоевскій былъ всю жизнь свою отчаяннымъ врагомъ, безсознательно чувствуя въ немъ губительную силу, направленную и противъ автономности личности и противъ особенности русскаго духа, особенности, враждебной всякой стадности, всякихъ рамокъ и императивовъ, всякихъ запретовъ и стѣсненій, особенности, которая скрывается въ источникахъ русской тоски, русскаго мистицизма и какъ бы врожденной религіозности (выраженіе Ставрогина: „русскій не можетъ быть атеистомъ, атеистъ перестаетъ быть русскимъ")...

Достоевскій глубоко сознавалъ ту разницу между Востокомъ и Западомъ, которой не хотѣлъ сознать Вл. Соловьевъ и которая именно въ томъ и заключается, что Западъ чрезъ идею Рима, чрезъ католицизмъ—выродился въ царство антихриста, въ царство князя міра сего, въ прикрѣпленіе къ землѣ, въ бездушную, мертвую, механическую культуру, въ то время какъ Востокъ (т. е. Россія) хранитъ въ себѣ таинственныя возможности, таитъ стихійную, земляную, дикую, правда, но многогранную и крѣпкую силу, и еще способенъ повѣрить въ Чудо, и еще хранитъ восторгъ свой неизреченный, восторгъ больной и мучительный, и еще обладаетъ безмѣрными

сокровищницами чувства, и еще способенъ молиться, способенъ сжигать себя на кострѣ жертвы, способенъ къ безумію творческому, къ горѣнію стихійному, къ младенческой правдѣ. „Надо чтобы возсіялъ въ опоръ Западу нашъ Христосъ, котораго мы сохранили и котораго они (т. е. Западъ) не знали"—говоритъ Достоевскій—дайте русскому человѣку отыскать сокровище, сокрытое отъ него въ землѣ! Покажите ему въ будущемъ обновленіе всего человѣчества и воскресеніе его, можетъ быть, одною только русскою мыслью, русскимъ Богомъ и Христомъ, и увидите какой исполинъ могучій и правдивый, мудрый и кроткій, вырастетъ передъ изумленнымъ міромъ, изумленнымъ и испуганнымъ, потому что они ждутъ отъ насъ одного лишь меча, меча и насилія, потому что они представить себѣ насъ не могутъ, судя по себѣ, безъ варварства"...*).

Сквозь горнило сомнѣній прошла вѣра Достоевскаго и вылилась въ надрывной, торжественной „осаннѣ", и чувство побороло сомнѣнія и безуміе спасло, безуміе во Христѣ...

Современное религіозное сознаніе, цѣликомъ вышедшее изъ Достоевскаго и на немъ утвердившее свою вѣру—правда отличается отъ него большей сложностью воззрѣній, большею философскою сноровкой (въ этомъ помогъ В. Соловьевъ), но зато оно не обладаетъ и десятой долей того воодушевленія, того рыдающаго, изступленнаго чувства, того творческаго безумія, той спаянности съ народомъ, что были у Достоевскаго. У послѣдняго наряду съ геніально обоснованными сомнѣніями была вѣщая вѣра,

*) „Идіотъ".

мы же отравлены, обезкрылены въ корнѣ своемъ, буквально изъѣдены сомнѣніями и только сомнѣніями (конечно религіозные мыслители ихъ хранятъ при себѣ и не выносятъ наружу, но не все ли равно?), у насъ нѣтъ творческой вѣры и—избытокъ вѣры книжной, риторической, богословской...

У Достоевскаго догмата и въ поминѣ не было, оттого что его для него замѣняло искреннее и неподдѣльное чувство, его религія по существу своему адогматична, какъ адогматично все его творчество. Не то у насъ: современные религіозные мыслители съ какою то роковою жадностью набросились на обоснованіе догмата, здѣсь они, что называется, лечь костьми готовы, только чтобы сохранить непоколебимость и святыню догматовъ. Нѣкоторые (какъ напримѣръ Леруа на Западѣ и Бердяевъ, Булгаковъ у насъ) пускаютъ въ ходъ всю силу своей философской эрудиціи, все хитроуміе діалектики, все богатство поэтической фантастики во имя того, чтобы сберечь догматъ неприкосновеннымъ, во имя того, чтобы сохранить эту единственную свою твердыню... Не такъ же ли оберегалъ свой категорическій императивъ Кантъ, но все же это не помѣшало подкопаться подъ него другимъ, болѣе изобрѣтательнымъ въ этомъ отношеніи философамъ... А для Канта категорическій императивъ былъ важнѣе Бога...

Въ этой отчаянной борьбѣ за догматъ я вижу признакъ творческаго безсилія современныхъ религіозныхъ мыслителей: выходитъ какъ будто, что не столько Христосъ для нихъ имѣетъ доминирующее значеніе, сколько именно самъ догматъ... Но Христосъ—не въ догматахъ, а гдѣ-то по ту сторону ихъ, можетъ быть—именно тамъ, гдѣ отсутствуетъ всякая

потребность въ догматахъ, можетъ быть въ нашей собственной душѣ, можетъ быть въ нашихъ переживаніяхъ и въ нашемъ чувствѣ, можетъ быть—въ тайникахъ нашей творческой интуиціи...

Трагизмъ современнаго религіознаго сознанія заключается въ его зависимости отъ науки: чувствуется внутренняя неизбѣжность — подчиняться правиламъ и законамъ логическаго мышленія и въ нихъ искать почву и утвержденіе. Такимъ образомъ—единственное сокровище, которое имѣется у человѣка и которымъ онъ долженъ дорожить, какъ зѣницею ока — религіозное чувство — также подвержено научной нивеллировкѣ, научнымъ теоремамъ и обоснованіямъ. И въ этомъ не крѣпость наша, какъ любятъ хвастать научные апологеты догматовъ, а гибель. Ибо разъ мы нуждаемся въ научныхъ доказательствахъ, мы допускаемъ сомнѣнія, а разъ есть сомнѣнія—тщетна вѣра наша и никакіе догматы тутъ не помогутъ. Я увѣренъ, что сами святые не заботились такъ о догматахъ, какъ „неохристіане", что однако не помѣшало имъ творить чудеса.

Передъ современнымъ религіознымъ сознаніемъ встала дилемма: или Живой Христосъ, вотъ такой Христосъ, какого видятъ часто передъ собой наши вѣрующіе (особенно женщины), нашъ народъ, наши святые, тотъ Христосъ, который выше нашей силы, который отрицаетъ всякое пониманіе и всякое объясненіе, который—*Чудо*, или же—христіанство, основанное на строгой логикѣ научнаго мышленія, на несокрушимыхъ (но все же время отъ времени нуждающихся въ защитѣ) догматахъ...

Конечно, они выбрали второе: нельзя же было культурнымъ людямъ, всѣмъ этимъ недавнимъ мар-

ксистамъ, профессорамъ, отречься отъ годами и трудомъ пріобрѣтеннаго знанія и оказаться „въ дуракахъ“ ради какого то чуда... И вотъ знаніе пошло навстрѣчу вѣрѣ. Въ результатѣ получился трагизмъ, сущность котораго уже не разъ излагалась въ этой книгѣ...

Но какъ и Достоевскому, нужно понять и намъ, что Христосъ возникаетъ не изъ догмы, а помимо догмы, что Христосъ не есть категорическій императивъ, а безумная, сверхжизненная сила, возникающая изъ насъ и творящаяся внутри насъ...

Нужно понять, что Христосъ не нуждается въ догматахъ, ибо догма есть смерть чувства, что Христосъ постигается лишь въ чувствѣ и въ безуміи.

Христосъ есть укрѣпленіе индивидуальной свободы. Будучи предоставлены самимъ себѣ, мы не въ состояніи выдержать ярма нашей свободы, она способна истребить насъ вмѣстѣ съ нашимъ „я“.

Для того же, чтобы не погибнуть, вися надъ бездной, чтобы не низвергнуться внизъ, чтобы сохранить крылья—нужна не человѣческая, а сверхчеловѣческая сила, и эта сила—Христосъ...

Достоевскій нашелъ эту силу въ своемъ сердцѣ, помимо догматовъ. Сквозь милліонъ сомнѣній, сквозь ужасъ подполья, сквозь разрушающую силу страданья нужно было ему пройти, чтобы почувствовать въ своемъ сердцѣ Христа... Но это *вчувствованіе* во Христа, эти минуты преображенія во Христѣ всего его чернаго міра, эта мученическая облегченность сквозь пытку, это вознесеніе въ экстазѣ, эта страстная, припадочная, больная его „Осанна!“—имѣютъ болѣе реальное абсолютное значеніе, чѣмъ вся многотрудная и хитроумная символика догматовъ, нуждающаяся въ научныхъ и риторическихъ доказательствахъ.

Догматическая вѣра мертва. Есть и должна быть другая вѣра—живая и истинно творческая, неразрывная съ опытомъ, вскормленная страданіемъ и освященная безуміемъ. И если даже эта вѣра окажется обманомъ, то лучше (выгоднѣе) принять возвышенный обманъ вмѣсто низкаго и мелкаго.

Но кто хоть разъ въ жизни въ душѣ своей почувствовалъ Христа, тому понятна Его ни съ чѣмъ несравнимая сила и знаетъ онъ, что если въ цѣломъ мірѣ нѣтъ спасенья—то эта сила—и только она—спасетъ.

Какъ въ оргіяхъ Діониса музыка служила оздоровляющимъ средствомъ, чтобы направить безуміе священнослужителей на правильный путь, путь творческій и мудрый, такъ оздоровляется и укрѣпляется наше больное безуміе Христомъ.

Какъ излечивалась болѣзнь душевная царя Саула звуками гармоніи, такъ находимъ мы—измученные послѣднимъ отчаяньемъ—успокоительное блаженство въ созерцаніи Христа. Пусть соблазнъ Сатаны шепчетъ намъ въ это время на ухо, что и Христосъ—обманъ, что не можетъ быть, чтобы въ мірѣ обмана и лжи Онъ не былъ обманомъ, мы знаемъ другое, мы знаемъ и чувствуемъ, что Христосъ смотритъ въ нашу душу и видитъ всю ея бездонность и чувствуетъ все наше страданье, всю нашу боль, всю нашу покинутость и одиночество—и оттого намъ легко...

И какъ преображались черты святыхъ въ экстазѣ, такъ преображаемся мы въ красотѣ Христа...

Мы дошли до послѣдней черты, дальше итти некуда. Мы пресытились всѣмъ возможнымъ и невозможнымъ въ мірѣ, больше пресыщаться нечѣмъ...

Мы низвергнули съ пьедесталовъ всѣхъ нашихъ божковъ и кумировъ, и послѣдніе огни погасли, и, стукаясь лбами—мы бродимъ, въ темнотѣ, и ужасъ объемлетъ душу, и утрачена надежда увидѣть свѣтъ.

Подгнили фундаменты нашихъ зданій и зловѣщій трескъ слышится въ наши черныя ночи: это скоро рухнутъ наши зданія и раздавятъ насъ...

Никакой истины больше намъ не надо: страхъ живетъ въ нашей душѣ передъ всякой истиной, страхъ людей, которыхъ всю жизнь обманывали, которые больны ложью, которые гніютъ отъ лжи...

И послѣднее намъ осталось геройство: убить себя. И вотъ совершается безуміе самоистребленія... Тѣ же, которые не могутъ и не смѣютъ убить себя,—какъ живые трупы бродятъ вокругъ жизни. Отъ нихъ бѣгутъ какъ отъ прокаженныхъ и въ ихъ одиночествѣ—такой стонъ, такой вой, такія проклятья и такая оргія муки, что кажется—будто стая волковъ разрываетъ на части другъ друга и съ остервенѣніемъ пожираетъ падаль своихъ полусгнившихъ тѣлъ.

Мы отравили себя и отравили міръ. И одна наша радость—это крикъ,—изступленный, послѣдній крикъ издыхающихъ жертвъ: „пусть погибнетъ міръ!“...

Вотъ, что дала намъ несчастная и безбожная наша свобода...

Христосъ есть единственно возможная катастрофа міра, ибо въ Немъ міръ становится ничѣмъ.

Но эта катастрофа творческая и преображающая.

И во имя этой возможной и необходимой катастрофы мы—измученные, мы—послѣдніе, мы—погибающіе—принимаемъ Христа...

Во имя оздоровленія личности, во имя укрѣпленія богочеловѣческой свободы своей, во имя избавленія отъ смерти—принимаемъ Его...

Во имя освященія міра въ непріятіи его, во имя неоскудѣнія божественныхъ силъ, во имя неизсякаемаго творчества и грядущей—неизрѣченно прекрасной жизни—принимаемъ Его.

Апрѣль—Сентябрь 1912 г.
Ирпень.

фанатик не без таланта
[illegible]
1965 г. VI-7.

[illegible]

ОПЕЧАТКИ.

Стран.	Строка,	Напечатано.	Слѣдуетъ читать.
37	8 снизу	спасенье	спанье
248	3 сверху	и въ Шиллеровскомъ	а въ Шиллеровскомъ
266	14 „	мислителѣ	мыслителѣ
304	7 „	стонетъ	спасетъ
327	9 „	символъ	символы
379	19 „	Достоеввкій	Достоевскій
380	3 снизу	преклоняются	преклоняться
382	17 сверху	хрупкія	хрупкіе
383	2 сверху	выставкахъ	выставкахъ,
385	4 „	имнное	именно
390	2 „	крайній:	крайній
„	17 „	оть	отъ
393	3 „	зашитѣ	защитѣ
397	1 снизу	Ѳ. Салогубъ	Ѳ. Сологубъ.
401	21 сверху	вса	вся
403	6 снизу	мучательно	мучительно
405	8 „	нащему	нашему
407	20 сверху	знаюі	знаю
409	4 „	муткій	жуткій
420	3 снизу	туманится	туманная
425	8 сверху	Приводитъ	Провидитъ

2007051117